ЛЕВ БЕРДНИКОВ

Евреи в царской России: сыны или пасынки?



ЛЕВ БЕРДНИКОВ

Евреи в царской России: сыны или пасынки?

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2016



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б 483

Бердников Л. И.

Б483 Евреи в царской России : сыны или пасынки? – СПб.: Алетейя, 2016. – 432 с.

ISBN 978-5-9906936-4-7

В новой книге известного писателя Льва Бердникова представлена панорама жизни российского еврейства XV – начала XX вв. Судьбы евреев, чьи литературные портреты предлагаются читателю, представлены на широком фоне общественно-политической и культурной жизни сменяющихся эпох правления русских венценосцев. Воспринимались ли иудеи в России полноправными гражданами или же чужаками-инородцами; кем при этом ощущали себя сами евреи, и в том числе те из них, кто оставил веру отцов и осенил себя крестным знамением? Автор убежден, что на эти вопросы не существует однозначного ответа – и тем более убедительны его выводы.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-9906936-4-7
9 785990 693647

© Л.И. Бердников, 2016
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016

Евреи будут еще жить в России, будут служить России,
как родные сыны родному Отечеству.

Саул Грузенберг („Восход", 1891, Т.11, Вып. 9)

Кто вы, пасынки России,
Неродные имена,
Что и жизнь свою и силы
Отдавали ей сполна?

Александр Городницкий

ЕВРЕИ В РОССИИ: ЧУЖАЯ РОДНЯ. ПРЕДИСЛОВИЕ

Название книги Льва Бердникова удивительно точное. На протяжении почти всей своей истории евреям доводилось есть горький хлеб изгнания и выживать на чужих землях. Но не просто выживать, жертвуя всем ради хлеба насущного и крова над головой. У них была Тора, которой они продолжали следовать и всегда решали мучительную задачу — как не потерять свое еврейское лицо, а именно преданность своей вере и своей древней общине, но и одновременно быть законопослушными гражданами. Второе особенно важно — ведь евреи, составлявшие религиозное меньшинство, пользовались недоверием титульных наций во всех государствах — особенно европейских. Да иное отношение было бы странным: ведь добрым христианам с малых лет внушали с церковных кафедр, что евреи распяли Бога. И основные еврейские профессии — ростовщики, купцы, кабатчики (на другие профессии им часто не оставляли выбора) — не способствовали любви нееврейских соседей. Этими людьми, молившимися на странном языке, одетыми в странную одежду, пугали детей, и они редко выходили за пределы своих кварталов-гетто. Но были и периоды, когда их образованность и ум ценили короли и вельможи, и евреи делали блестящую карьеру при Дворе.

Как сохранить себя евреем и быть законопослушным жителем в стране изгнания? Этот вопрос евреям приходилось решать веками, вырабатывать особую этику взаимоотношений с власть предержащими и преобладающим враждебным населением. И очень рано, уже в Талмуде сформировался принцип жизни в диаспоре, принцип законопослушания — „дина де-мальхута — дина“ („Закон государства — закон“) (Недарим 28а, Гиттин 10б). Евреи ему всегда следовали и служили на совесть своей новой родине, хотя часто и без взаимности.

Все сказанное в полной мере касается и жизни российских евреев. Они издревле жили на славянских землях — со времен Киевской Руси. Мы немало знаем имен евреев, так или иначе связанных с Московской Русью, а потом и русским государством XV–XVII вв. Но настоящая, „большая“ история евреев в России начинается со славных времен Петра Великого и особенно Екатерины II. После раздела Польши в Россию вместе с бывшими землями Речи Посполитой в Российскую империю влилась самая большая еврейская община в мире. С тех пор судьбы евреев и русских на территории России стали неотделимы и переплелись самым тесным образом.

Многое пришлось претерпеть евреям в России: тяжелую жизнь в гетто, унижения и гонения, а порой и кровавые наветы, ужасные погро-

мы. Но одновременно еврейство дало России много выдающихся граждан, настоящих сынов русской земли еврейского происхождения — генералов, поэтов, ученых, бизнесменов. За прошедшие века родилась особая еврейско-русская культура интеллигенции, особый „еврейско-русский" воздух. Но и выдающаяся роль многих евреев в русской жизни часто не мешала им оставаться здесь пасынками — людьми второго сорта, всегда рискующими оказаться в униженном положении.

Обо всем этом Лев Бердников пишет в новой книге, пытаясь на историях судеб своих героев решить этот вечный вопрос: евреи в России — сыны или пасынки? Акцент на трагическом раздвоении российского еврейства задается уже двумя эпиграфами — Саула Грузенберга и Александра Городницкого, каждому из которых судьба евреев видится под своим углом зрения. И начиная с евреев Московского царства, автор тщательно проводит нас по историческим путям России, где евреи оставили немало значимых отметок, неизменно оказываясь словно в подвешенном состоянии — между сыном и пасынком.

Так, к заболевшему сыну Ивана III, Ивану Молодому приставили лекаря-еврея из Венеции, Леона Мистро. Леон честно и самоотверженно лечил наследника, но лечение оказалось безуспешным, и лекарю отрубили голову — он просто стал побочной жертвой заговора, в ходе которого наследника отравили, а Леона заставили лечить его от несуществующей болезни.

Такая же трагическая судьба постигла еще одного еврея-врача — Стефана фон Гадена, который был едва ли не лучшим врачом при царском дворе, но его обвинили в отравлении царя Федора Алексеевича и после зверских пыток убили.

Верный сын обретает судьбу ненавистного пасынка. Но конечно же, далеко не всех евреев ожидала столь печальная судьба. Генерал Михаил Грулёв стал одним из виднейших русских военачальников и мирно почил в 86-летнем возрасте. Но и ему, как еврею, пришлось немало претерпеть на пути к вершинам военной славы. Столь же непрост был путь художника Моисея Маймона, писателя Виктора Никитина, ученого-фольклориста Павла Шейна, знаменитого фотографа Константина Шапиро, о которых пишет автор.

Чтобы достичь успехов в любой сфере российской жизни и доказать, что ты можешь причислять себя к „России верным сынам", евреям часто приходилось совершать очень трудный шаг — креститься. Как точно сформулировал эту трудность историк Семен Дубнов, „для еврея единственным способом снискать благоволение правительства было склониться перед греческим крестом". В условиях черты оседлости, жестких ограничений еврейства в проживании в крупных городах, университетском образовании, профессиональной деятельности, справка о крещении фактически служила пропуском в настоящую, большую жизнь.

Смена веры — это всегда очень сложный и деликатный процесс. Особенно он был сложным для российских евреев, поскольку, в стремлении вырваться через крещение в большой цивилизованный мир, они почти неизменно оказывались между двух жерновов. Бывшие единоверцы обвиняли их в самом страшном для еврея грехе — предательстве своего народа, после чего еврей приравнивался к умершему, по нему справляли траур. Но и новые единоверцы часто очень подозрительно относились к неофитам, считая их крещение притворным, а то и усматривая в них сатанинское желание уничтожить православное христианство изнутри. Веками, чтобы доказать свою лояльность новым единоверцам, крещеные евреи порой старались быть „святее папы", всячески демонстрируя христианам свою ненависть к соплеменникам, за что и получили презрительную кличку „выкресты". Некоторые из них — Иоганн Пфеферкорн, Яков Брахман и другие, жившие в разное время — играли саму печальную роль в еврейской жизни, клевеща на своих евреев, заявляя об антихристианской сущности Талмуда и прочих еврейских писаний. А были и такие, как Павел Вейнберг, которые высмеивали своих соплеменников в злобных анекдотах-карикатурах, разжигая тем самым юдофобию в России.

Но даже если евреи искренне желали влиться в новую общность, им часто не верили. Так, историк испанского еврейства Бенцион Нетаньяху в своих работах утверждал, что испанские евреи крестились вовсе не по принуждению, а вполне охотно и сознательно, желая раствориться в культурной среде испанского христианства. И тем не менее, их, марранов, христиане все равно ненавидели и подозревали в самых разных грехах.

Порой крещение не спасало от ненависти антисемитов, а иногда и от смерти. Это касалось и тех евреев, о которых автор пишет в своей книге, и многих других. С гимназических лет дружили будущий выдающийся экономист Михаил Герценштейн и будущий журналист Григорий Иоллос. Первый принял крещение, второй сохранил иудейскую веру. Оба были патриотами России, настоящими ее сынами и в 1906 г. стали членами Государственной думы первого созыва, записав в анкетах соответственно „иудей православного исповедания" и „русский иудейского вероисповедания". И оба были убиты черносотенцами, оказавшись ненавидимыми пасынками России.

Лев Бердников тщательно анализирует биографии российских евреев, получивших известность и внесших значительный вклад в жизнь дореволюционной России. Естественно, многие из них приняли православие. И хотя существует распространенный миф, особенно характерный для ортодоксальной иудейской среды, что смена веры всегда была циничным предприятием, с целью устроить свою жизнь — в духе высказывания, которое приписывают выдающемуся востоковеду Даниилу Хвольсону: „Лучше быть профессором в Петербурге, чем меламедом в

Эйшишке", немало евреев сознательно принимали православие, отождествляя его с близкой им русской культурой, а некоторые и искренне обращались в христианскую веру — вовсе не питая при этом ненависти к собственному народу.

Автор исследует нюансы внутренних борений, мучительных раздумий, зигзагов на жизненном пути известных евреев, принявших православие, но не забывавших о своем еврействе. И он создает поистине уникальный труд, в прямом латинском значении этого слова — „единственный в своем роде, неповторимый". Есть исследователи российской истории, уделяющие особое внимание православно-еврейским отношениям, но обычно они работают над очень конкретной, узко-научной проблематикой. Эти исследования очень важны, но только Лев Бердников ставит проблемы этих отношений, на примере их выдающихся носителей, в сферу общественного внимания, на оценку широкого читателя, сочетая тщательность биографических исследований с популярным и занимательным стилем изложения — что ему, безусловно, удается.

Заметка в газете „Вече" на смерть Григория Иоллоса заканчивалась словами „Еще одним жидом стало меньше". Это предельно трагическая модель жизни российского еврея. Но даже если насильственная смерть вовсе необязательно являлась еврейским уделом, любой еврей в России чувствовал себя пасынком — в той или иной степени. Автор пишет и об этом, но главный акцент его историй все же на другом — на сыновстве, на том огромном, замечательном вкладе, который часто истово, „положа живот свой", вносили евреи в жизнь России, в самых разных сферах. И знание об этом укрепляет взаимопонимание русских и евреев, прославляет тот самый „русско-еврейский" культурный воздух, аналога которому в мире не было. И в этом, помимо образовательной, большая гуманистическая сила книги Льва Бердникова.

Россия — многонациональная страна. Национальные общины испокон веков трудились на благо России. Можно перечислять десятки и сотни армян, грузин, осетин, украинцев, многих и многих, которых можно назвать истинными сынами России. Все они достойны быть запечатленными в истории, в слове, чтобы широкий читатель знал о славных страницах жизни национальных общин в России. К сожалению, таких работ, — увлекательно написанных для широкого читателя — очень немного. И книга Льва Бердникова является наглядным примером того, как надо хранить память о нашем прошлом.

Юрий Табак

JEWS IN RUSSIA: ALIEN KIN. FOREWORD

The title of Lev Berdnikov's book is surprisingly accurate. Throughout most of their history the Jews have had to eat the bitter bread of exile and survive in foreign lands. But they did not merely survive, sacrificing everything for the sake of sustenance and shelter. They had the Torah, which they continued to follow, and they always tried to solve the excruciating task how not to lose their Jewish identity, devotion to their faith and their ancient community, and at the same time to live as law-abiding citizens. The latter was particularly important because the Jews constituted a religious minority and were generally distrusted by the populace of all of their host countries, especially in Europe. This was to be expected; after all, from an early age good Christians were taught from the church pulpit that the Jews had crucified God. And the main Jewish professions — money-lending, trade, innkeeping (there were often no other choices) — did not contribute to their non-Jewish neighbors' good will. These people who prayed in a strange language and dressed in strange clothes frightened their children, and did not often venture out of their neighborhoods or ghettos. But there were times when Jews' education and intelligence were prized by kings and nobles, and there were those who made brilliant careers at court.

How to preserve one's Judaism and still remain a Jew and law-abiding citizen in one's country of residence? The Jews had to deal with this question for centuries, to develop a special way of dealing with the powers that be and with the predominantly hostile population. Very early, even in the Talmud, the principle for life in the Diaspora was „dina de Malchut — Din" or following the law („the law of state is the law", Nedarim 28a Gittin 10b). Jews consistently obeyed this obligation and served their new homelands conscientiously, if often without reciprocity.

All of this fully applies to the life of Jews in Russia. They lived in Slavic lands from ancient times — from the era of Kievan Rus. We know the names of many Jews who were in one way or another connected with Muscovite Rus' and then with the Russian state during the fifteenth through seventeenth century. But the central act in the historical drama of the Jews in Russia starts with the glorious times of Peter the Great and especially Catherine II. After Russia's partitions of Poland, these lands, together with the former territories of the Polish-Lithuanian Commonwealth, combined to create in the Russian Empire the largest Jewish community in the world. Since that time, the fate of the Jews and Russians on Russian territory became inseparable, interwoven in most intimate ways.

Jews in Russia had much to endure — including hard life in the ghetto, humiliation and persecution, and at times blood libels and horrifying pogroms. But at the same time the Jews provided Russia with many outstanding citizens and true sons of the fatherland — generals, poets, scientists and businessmen. Over the centuries a special Jewish-Russian intelligentsia culture was born, with its own unique „Jewish-Russian" cultural atmosphere. But the prominent role of many Jews in Russia did not prevent them from often being treated as second-class citizens, always at risk of being humiliated.

These are the issues Lev Berdnikov describes in his new book, trying to solve the eternal question: have Jews in Russia been its children or its stepchildren? The tragic dualism of Russian Jewry is suggested by the book's two epigraphs, by Saul Gruzenberg and Alexander Gorodnitskii, each of whom sees the fate of the Jews from his own point of view. Starting with the Jews of Muscovy, the author leads us down Russia's historical path, along which Jews left many significant marks but invariably found themselves in a kind of limbo, suspended between the roles of children and stepchildren.

Thus the Jewish doctor of Venice, Leon Mistro, was brought in to minister to Ivan III's ailing young son. Mistro treated the heir honestly and unselfishly, but the treatment was unsuccessful, and the unlucky healer was beheaded. He had been caught in the middle of a conspiracy: the heir had been poisoned and Leon tricked into trying to cure a non-existent disease. A similarly tragic fate befell another Jewish doctor — Stefan von Gaden, who was probably the best doctor at the tsar's court. He was accused of poisoning Tsar Fedor Alekseevich and killed after brutal torture.

Faithful sons thus shared the fate of hated stepchildren. But of course not all Jews experienced such unhappy endings. General Mikhail Grulev, for example, became one of Russia's most prominent military leaders and died peacefully at the age of 86. But he, as a Jew, had to endure a lot on the way to the heights of military glory. Equally difficult were the lives of the artist Moses Maimon, the writer Victor Nikitin, the folklorist Paul Shane, the famous photographer Konstantin Shapiro, all of which are described in this book.

To achieve success in any sphere of Russian life and prove that they could identify themselves as „true sons of Russia", Jews often had to make a very difficult step — to accept baptism. As the historian Simon Dubnov formulated this difficulty: „for Jews the only way to win the favor of the government was to bow before a Greek cross". Because of the laws limiting Jews to the Pale of Settlement and severe restrictions against living in large cities, getting a university education, taking part in professional activities, and so on, a baptismal certificate served as a ticket to the larger world and a better life.

Changing faith is always a very difficult and delicate process. It was especially difficult for Russian Jews because after conversion they almost invariably found themselves between a rock and a hard place. Their former coreligionists accused them of the greatest possible sin for a Jew, betraying their people;

converts were considered dead and ritually mourned. Christians, on the other hand, looked on them with suspicion, considering their conversion fictitious and possibly even as a satanic way of destroying Eastern Orthodoxy from within. To prove their loyalty baptized Jews sometimes endeavored to be „holier than the pope", trying to demonstrate their hatred for their former compatriots; such were branded with the contemptuous label „vykresty" (cf. „conversos" or „Marranos" in Spain). Some of these, like Johann Pfeferkorn and Jacob Brahman, and others who lived in different periods, played very sad role in Jewish life, e.g., slandering their fellow Jews and claiming the anti-Christian nature of the Talmud and other Jewish writings. And there were those like Paul Veinberg who mocked his fellow tribesmen in vicious caricatures, fueling Judeophobia in Russia.

But even if Jews sincerely wished to join the new community, they were often mistrusted. The historian of Spanish Jewry Benzion Netanyahu has claimed that the Spanish Jews were not baptized under compulsion, but willingly and consciously, wanting to assimilate into Spanish Christian culture. Nevertheless, Christians still hated the „Marranos" and suspected them of a variety of sins.

And baptism did not save them from the hatred of anti-Semites, or sometimes even from death. This applies to some of the Jews described in this book as well as to many others. Since their school years the prominent economist Mikhail Gertsenshtein and the journalist Grigory Yollos had been friends. The former was baptized while the latter preserved his Jewish faith. Both were Russian patriots, its true sons, and both became members of the first state Duma in 1906; in questionnaires they described themselves, respectively, as „Jew of the Orthodox Confession" and of the „Russian Jewish faith", And both were murdered by killed by the Black Hundreds as Russia's despised stepchildren.

Lev Berdnikov carefully analyzes the biographies of Russian Jews who became famous and made significant contributions to the life of prerevolutionary Russia. Naturally, many of them adopted Christianity. But there is a common myth, particularly characteristic of the Orthodox Jewish community, that Russian Jews' change of faith was always a cynical move in order to improve their siuation, as echoed in the statement attributed to the outstanding Orientalist Daniel Khvol'son: „Better to be a professor in St. Petersburg than a *melamed* in Eyshishke". To the contrary, many Jews consciously accepted Eastern Orthodoxy, identifying it with Russian culture, and there were those who genuinely converted to Christianity without harboring any bad feelings toward their people.

The author explores the internal struggles, painful reflections, and complex life paths of Jews who converted to Orthodoxy but did not forget about their Jewishness. And he has created a truly unique work. There are scholars of Russian history who pay special attention to Orthodox-Jewish relations, but usually they are focused on very specific, narrowly scholarly issues. These stud-

ies are important, but only Lev Berdnikov raises broader questions of the nature of those relations, based on the lives of those who experienced them, and, furthermore, he presents his arguments for the consideration of a broad, socially-conscious public. To do this he aims to combine, as far as possible, the thoroughness of biographical research with a popular and entertaining style — something in which he certainly succeeds.

A notice in the newspaper „Veche" on the death of Gregory Yollos ended with the words „One less zhid". This represents one extreme and tragic model of the life of Russian Jews. But even if a violent death is not necessarily universal Jewish destiny, any Jew in Russia felt her or himself a stepchild to one degree or another. Berdnikov writes about this a lot, but the main focus of his biographies is on something else — on Jews as „children of Russia", on their tremendous, remarkable contributions — often putting their lives on the line — that Jews made to the life of Russia in various fields. Knowledge of this history reinforces mutual understanding between Russians and Jews, strengthening and celebrating the „Russian-Jewish" cultural atmosphere, which hardly has an analogue elsewhere in the world. And this, in addition to its educational function, represents the great humanistic power of Berdnikov's book.

Russia is a multiethnic, multinational country. Since ancient times many national communities have worked to the benefit of Russia. One may list many hundreds of Armenians, Georgians, Ossetians, Ukrainians, and many, many, others, who can be called true sons of Russia. All of them deserve to be recorded in history, so that the general reader may become aware of the glorious pages from the life of national communities in Russia. Unfortunately, such books are very rare. Lev Berdnikov's informative and engaging book is a shining example of how to preserve this memory of our past.

Yuri Tabak
(translated by M. Levitt)

I. ЕВРЕИ ПОД МОНАРШЕЙ ПОРФИРОЙ

ГОНИТЕЛЬ ПОНЕВОЛЕ
ИВАН III

Собиратель Руси, державный великий князь Иван Васильевич привечал в своем Отечестве и иудеев. Им было дозволено „торговлю чинить" и беспрепятственно колесить по городам и весям Московии. Повсюду можно было заприметить еврейские повозки, обтянутые парусиной. „Высокие, худощавые лошади нерусской породы, — живописал в историческом романе „Басурман" Иван Лажечников, — казавшиеся еще выше от огромных хомутин, испещренных медными полумесяцами, звездами и яблоками, давали знать о мере своего хода чудным строем побрякушек такого же металла. На передках сидели большею частью жиды... В тогдашнее время не было выгодной должности, которую не брали бы на себя потомки Иудины. Они мастерски управляли бичом и кадуцеем, головой и языком... Во Пскове, в Новгороде и Москве шныряли евреи-суконники, извозчики, толмачи, сектаторы и послы.... В авангарде, из под общипанного малахая и засаленного тулупа торчала, как флюгер, остроконечная бородка и развевались пейсики, опушенные морозом".



Иван III

И все же великое княжение Ивана III стало злополучным для евреев на Руси. Ведь именно при нем восторжествовали воинствующая нетерпимость и решительное неприятие иудаизма и евреев. Словами „жид", "жидовин" стали называть „совратителей душевных", испытывая перед ними суеверный страх. Это в годину Ивана Великого запылают „костры очищения" — аутодафе, в которых сожгут заживо в прах десятки так называемых „жидовствую-

щих" — отступников от Христовой веры. Но произойдет это уже на самом излете его правления, а поначалу великий князь оказывал еретикам молчаливое покровительство и долго (десятилетиями) все противился, медлил и никак не решался предать их казни...

Впрочем, медлительность, постепенность ощущалась и в других действиях Ивана Васильевича. Его вообще отличала природная осторожность, свойственная умам зрелым. Он, по словам Николая Карамзина, „не любил дерзкой отважности; ждал случая, избирал время; не быстро устремлялся к цели, но двигался к ней размеренными шагами, опасаясь равно и легкомысленной горячности и несправедливости". Осмотрительность, проницательность, дальновидность в сочетании с широким кругозором соединялись в нем со стратегической масштабностью мышления. Историки называют его выдающимся стратегом, дипломатом, законодателем, и при этом — суровым прагматиком, чьими действиями руководило не романтическое вдохновение, а трезвый расчет, не сердечные влечения, а работа ума. Считая себя преемником греческих императоров (он увековечил это преемство принятием византийского герба — двуглавого орла), он чтил православные обряды, знал таинственную магию ритуала.

Почитание святынь и монастырей уживалось в нем с неукротимым стремлением проводить в жизнь свой идеал благочестия, вступая порой в острые конфликты с высшей церковной иерархией (чего стоят, например, его настойчивые попытки отобрать вотчины у монастырей!). Исследователи говорят о своеобычности религиозного сознания Ивана, отмечая, с одной стороны, его истую приверженность православию, с другой, — интерес к усвоению элементов вероучения иных конфессий. При великокняжеском Дворе длительное время господствовал дух религиозной толерантности. При этом Иван Васильевич не жаловал католиков, видя в них особую опасность для православия, зато „покровительствовал в России и магометан, и самых евреев". Историк Алексей Алексеев подчеркивает: „Ивану совершенно было чуждо предвзятое отношение к иудеям, которое господствовало в католических странах Европы".

Более того, великий князь не гнушался пользоваться услугами иудеев и вести с ними важные для державы дела. Едва ли здесь может быть усмотрено юдофильство, особая приязнь государя к народу Израиля. Иван радел исключительно об интересах России и заскорузлыми национальными фобиями не страдал. „Полезных евреев" он зазывал к себе в Белокаменную, на государеву службу и жаловал по-царски.

Не знаем, ведал ли о том Иван Васильевич, но институт придворных евреев существовал в большинстве стран Европы и Азии. Он имел

давнюю традицию и вел свое начало еще с книги Бытия, где рассказывалось об Иосифе — высоком сановнике при египетском фараоне. Впоследствии жизнеописания придворных евреев, сохранивших религию отцов и помогавших своим соплеменникам, вошли в книги Даниила и Эсфири, а также в апокрифическую книгу Товита. В Средние века правители некоторых мусульманских стран приглашали на службу еврейских врачей и финансистов, многие из которых играли выдающуюся роль в жизни этих стран: Хисдай Ибн Шафрут, Я'аков Ибн Джау, Шломо Ибн Я'иш и др. Пользовались финансовыми услугами евреев и средневековые правители. Так, в христианской Испании наибольшего влияния достигли врач и дипломат кастильского короля Иосеф Ха-Наси Фарузиель (XII век) и его племянник Шломо-Ибн Фарузиель, а позже член королевского совета Кастилии Иосеф де Эсиха (XIV век). В Арагонском королевстве выдвинулись ряд представителей еврейского семейства де ла Кабальерия (2-я половина XIII века), Альконстантини, Абравалья. В Португалии были широко известны астролог Ибн-Яхья, сборщик пошлин Гдалия бен Шломо, государственный казначей Ицхак Абраванель и др.



Вид г. Кафы (Феодосии)

Хотя придворных евреев на Руси XV века не находится, тем ценнее для нас „дружелюбная связь" между Иваном III и кафским (феодосийским) купцом-иудеем Хозей Кокосом. Кокос был одним из самых приметных торговцев Крыма. „Евреит сей мудр и в торговых делах и государственных. Вельми хитер. Сейчас он наиглавнейший из богатых купцов в Кафе", — говорили о нем. Этот „евреит" вел дела с государем еще с начала 1470-х гг. Сохранилось государево послание: „Да Кокосу ему также говорити от великого князя, чтобы купил великому князю лалы и яхонты, да зерна жемчужные великие, да прислали бы к великому князю; а цену им князь велики за то заплатит, да сверх того ещо своим жалованием пожалует". Монарх остался весьма доволен евреем, который, по его словам, вел честную игру не только в торговле, но и в делах тайных. Может быть, именно поэтому Кокосу было поручено передать Менгли-Гирею челобитную грамоту и уговорить его на союз с Московским государством. Так иудей стал важнейшим дипломатическим посредником между московским князем и крымским ханом.

При этом Кокос радел как о пользе Крымского ханства, так и о российских интересах. Он понимал, как важно для Ивана III заполучить надежного союзника на рубежах с Казанью, Ордой, Польшей и Литвой, как необходим ему союз с Крымом, а через него — и с турками: ведь ослабление распрей на сем пограничье решало важнейшую для Москвы задачу о вольнице Новгородской. Мечтал он о сильной власти на полуострове и о финансовых вливаниях в государственную казну, о союзе с султаном, о прекращении бесчисленных походов врагов на Крым и о контактах с дружественным Москве Казанском ханством.

В 1474 году Державный поручил прибывшему в Крым русскому послу Никите Беклемешеву передать Кокосу поклон от великого князя и просьбу поспособствовать сближению сторон, обещая еврею в случае успеха „свое жалование". Из документов видно: переписка между ними долгое время велась на иврите, что, как видно, доставляло царю немалые трудности с переводом. Потому, наверное, иудею было приписано, чтобы впредь „он жидовским письмом грамоты бы не писал, а писал бы грамоты русским письмом или бессерменским". Иван поручает также своему послу: „Да молвите Кокосу жидовину от великого князя... как еси наперед того нам служил и добра нашего смотрел, и ты бы и ныне служил нам, а мы аж даст Бог хотим тебя жаловати!"...

Кокос посылает к Ивану Васильевичу своего зятя Исупа, который после мучительно долгого пути достиг, наконец, Первопрестольной и предстал пред светлые государевы очи. Государь и бояре в горлатных шапках с удивлением взирали на басурманина в ермолке, с характерными пейсами.

В великокняжеских палатах могла происходить такая сцена. Поклонился Исуп царю и пожелал удачи.

— Почему руки не целует и в ноги не падает?! Аль не ведает, как вести себя с государем?! — взъярился было Иван Васильевич.

— Не казни, государь, не положено им, — вступился за еврея дьяк. — Вера у них такая. Один государь у них — Бог, а остальные все равны перед ним. На смерть идут ради своей веры, не прогневайся, государь!

— Коль за веру на смерть идут, это похвально. Вера — дело серьезное! — миролюбиво отозвался великий князь.

— Пишет Кокос, что хан только союза с Москвой хочет крепкого. Позовешь его на войну с Казанью или с польским „крулем" Казимиром — с тобой будет. Мыслит Менгли-Гирей, что от дружбы той обоим государям только польза будет!..

Хозя проявил себя как преданный друг русских в самое тяжелое для Московии лихолетье. Так, в 1479 г. хан Большой Орды Ахмат со-

брал недюжинное войско и всем раструбил о своем походе на Русь. Тогда Кокос, не мешкая, отправляется в Турцию, к султану Баязеду II, испрашивая у него мира, дружбы и взаимовыручки с северным соседом. Дорогого стоила привезенная им грамота султана, которую сей верноподданный еврей вручил русскому послу в Крыму.

Кокос всемерно содействовал русским купцам в Крыму, добивался для них привилегий от хана Менгли-Гирея. Нередко Хозя слал Ивану III знатные подарки: яхонты, жемчуга, сукно ипрское, бархаты и т.д.

Неоценима была роль Кокоса в освобождении русских пленных и, прежде всего, дьяка Федора Васильевича Курицына в 1487 году. Курицын рассказал царю о помощи Хози и просил Ивана щедро отблагодарить еврея. Но Хозя Кокос так и не смог приехать в Москву. Дружба и сотрудничество еврейского купца и царя, продолжавшиеся всю их жизнь, так и не увенчались встречей.



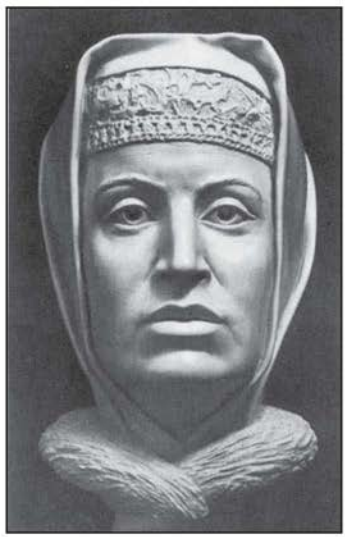
Крымский хан Менгли-Гирей. Османская миниатюра XVI в.

Последней акцией помощи Хози Ивану III было возвращение православных святынь, захваченных Менгли-Гиреем в Киево-Печерском монастыре. Кокос выкупил тогда все награбленные ханом православные ценности и отправил в Москву. При этом Хозя и не ждал благодарности: воспитанный Торой в уважении к святым местам и святыням своей религии, он просто совершил акт восстановления справедливости по отношению к другой религии.

В 1502 г. государь всея Руси Иван Васильевич торжествовал полную победу: крымский хан Менгли-Гирей уничтожил Большую Орду и стер с лица земли ее столицу Сарай. И в этом есть толика заслуги Кокоса.

Иван III вел длительную переписку и еще с одним жителем Кафы, которого считал евреем — с Гизольфи Заккарией (или Захарией). Тот писал великому князю в 1483 году о взятии турками своего родового замка на Таманском полуострове, просил принять его на государеву службу, на что получил обнадеживающий ответ: „Божию милостью, великий осподарь русския земли, Иван Васильевич... Захарие Евреянину... Писал

нам еси... о том, чтобы у нас бытии. И ты бы к нам поехал. А будешь у нас, наше жалование к себе увидишь. А похочешь нам служити, и мы тебя жаловати хотим, не похочешь у нас бытии, а всхочешь от нас в свою землю поехати, и мы тебя отпустим добровольно, не издержав". В посольских книгах Заккария аттестовался также „Захарья Жидовин", причем великий князь трижды (!) приглашал его в Москву и даже отрядил проводников для его торжественной встречи у устья реки Миуса. На самом деле, Заккария к иудеям никакого отношения не имел (он был по отцу итальянец — „фрязин", по матери — „черкасин"). И хотя еврейство ему приписали облыжно, из-за прозвания „Иверианин" (сходного по звучанию с „Евреянин"), важно то, что великий князь был рад „евреинам" покровительствовать.



Софья Палеолог

Отметим, что когда занедужил наследник русского престола, сын и соправитель Ивана III Иван Молодой, к нему был приставлен „лекарь *Жидовин* Мистро Леон из Венеции". А ведь обращение за исцелением к иудею строго порицалось в средневековом христианстве! Да и православная традиция сему претила: „Слово Иоанна Златоуста о лечащихся волхованием от болезни" гласило: „Христиане, почто ся зовете, да повинимся кресту и не идем к врагам Божиим, к волхом и чародеем, то врази Божии суть, лучшее умерети, нежели ко врагам идти. Кое пособие тело целити, а душю убити, так я обретатель зде мало прияти утешение, а тамо посланным быти с бесы в вечный огонь". И что еще более примечательно, этого еврейского эскулапа пригласила жена государя Софья Палеолог, ревнительница Христовой веры, которая, по словам историка, „из всех западных нововведений больше всех ценила одно — инквизицию". События показали, что действиями Палеолог руководил строгий, воистину инквизиторский расчет.

Врачевателю было объявлено, что Иван Молодой болен „камчугою" (то есть подагрой, ревматизмом) в ногах. Вот что сказывал летописец: „И видел лекарь жидовин Мистр Леон, похваляясь, рек великому князю Ивану Васильевичу, отцу: я вылечю сына твоего, великого князя, от сей болезни, а не вылечю его яз, и ты вели меня смертию каз-

нити; и князь великий Иван Васильевич иняв веру речем его, повеле ему лечити сына своего великого князя. И нача его лекарь лечити, зелие пити даде ему, наче жечи стекляницами [банками — Л.Б.] по телу, вливал воду горячую". Лечение оказалось, однако, безуспешным, и 7 марта 1490 года наследник престола испустил дух. Современники-книжники не могли оставить без внимания библейскую параллель: „И сделался Аса болен ногами на 39 году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела; но в болезни своей взыскал не Господа, а врачей" (2 Пар. 16:12).

Судьба еврейского эскулапа оказалось взыскательно-суровой: после сорочин (сорока дней) со смерти Ивана Молодого Леона свезли на Болвановку, что на берегу Яузы, и при огромном стечении народа отрубили ему голову.

Во всем винили лекаря-жидовина. О нем говорили как о самонадеянном шарлатане, не вызывающем к себе ни малейшего сочувствия. В расправе же над ним „народ видел одну справедливость: ибо Леон обманул государя и сам себя обрек на казнь". Или еще: „Этот мейстер лечил и залечил Иоанна младого и за то казнен всенародно. Об этом никто не жалел: поделом была вору мука!".

На самом же деле, молодой медик, сам того не ведая, стал пешкой в чужой игре и без вины виноватым в изощренном убийстве российского наследника. Тонкий знаток кремлевских тайн князь Андрей Курбский утверждал, что „предобрый Иоанн", „наимужественнейший и преславный в богатырских исправлениях", был отравлен „смертоносным ядом" именно своей окаянной мачехой. Такую же версию умерщвления наследника престола повторили и авторитетные российские историки Владимир Савва и Георгий Вернадский.

Отмечая особую изощренность Софьи в хитроумных каверзах, исследователи прямо говорят о том, что это она, страстно желавшая передачи трона своему сыну Василию (будущему Василию III), была кровно заинтересована в устранении постылого пасынка. Ее называли „греческой колдуньей", „злой женой" и „чародейницей". Говорили также, что ломота и онемение ног (от чего страдал покойный Иван) были симптомом отравления змеиными ядами. Софья же родилась и выросла в краях, где прекрасно знали свойства змеиных ядов. Так что царевича по указке Софьи „опоили", подмешав яд в пищу.

Когда жидовин ручался Ивану III за жизнь и исцеление сына, никакого самохвальства в его словах не было. Не подозревая об отравлении, он лечил его именно от „камчуги" (подагры), от которой, как он знал, не умирают. О том, что потребно было сильное противоядие, медик и не помышлял. И виной тому — Софья. Она потому и настаивала

на приезде медика из Венеции, чтобы тот не разобрался в ситуации: решилась отравить Ивана чем-то местным, специфическим, тем, что в Италии не растет и не ползает.

Интересно, что в „Русских народных сказках", собранных Александром Афанасьевым, имеются сюжеты об Иване-царевиче, который так же, как Иван Молодой, смел в бою, женился на Елене Прекрасной (Иван был женат на Елене Волошанке), боролся с расхитителями царской казны и тоже умер в результате отравления. Фигурирует там и некая Сонька-Богатырка, коей приписывается знание ядов и противоядий, хранение в пузырьках живой и мертвой воды. Не намек ли это на Софью Палеолог?



Преподобный Иосиф Волоцкий

Леон Поляков в своей книге „История антисемитизма" утверждает, что расправа над Леоном способствовала развитию юдофобии в России. Однако думается, никакой специфически антисемитской подоплеки здесь не было. Достаточно сказать, что за пять лет до истории с Леоном за неудачное лечение знатной особы был казнен другой доктор, к евреям никакого отношения не имевший. „Такую же участь, — сообщает историограф Николай Карамзин, — имел в 1485 году и другой врач, немец Антон, лекарствами уморив князя татарского, сына Даниярова: он был выдан родным головою и зарезан ножом под Москворецким мостом". Примечательно, что именно Иван Васильевич настоял на том, чтобы зарезать сего лекаря, „яко овцу", хотя даже отец знатного татарина соглашался выпустить его „за откуп" (за выкуп). Видать, крут и жесток был государь к неудачливым докторам...

А у истоков воинствующего антисемитизма на Руси стоит событие, смысл и значение которого откроются лишь спустя годы. В 1470 году в „господин Великий Новгород", тогда еще вольный город, прибыл луцкий князь Михаил Олелькович из Киева (он был двоюродным братом Ивана III), а с ним, как говорится в летописи, „жидове с торгом". Особым расположением сего князя пользовался „жид Схария". Как установлено, полное его имя Захария Бен Аарон га-Коген, и был он близким ко Двору киевских князей астрологом, тесно связанным с провансальскими и испанскими учеными евреями; к тому же весьма поднато-

рел в рационалистической философии. „Странствующий жид", он исколесил много стран, останавливался в Византии и Дамаске, побывал паломником в Иерусалиме, подолгу жил в Киеве и Крыму, и везде находился в самом средоточии умственных страстей века.

Захария Бен Аарон обладал поистине энциклопедическими познаниями (это вынуждены будут признать даже его злейшие враги). Есть свидетельства, что он глубоко постиг не только Ветхий и Новый Завет, но и творения отцов и учителей Христианской церкви. При этом занимался философией, естественными науками и особенно астрономией (мог, к примеру, безошибочно предсказывать солнечные и лунные затмения и т.д.). Владел испанским, итальянским, русским, татарским; писал на древнееврейском и латинском языках. „Сей Схария, — негодовал впоследствии его православный оппонент, преподобный Иосиф Волоцкий, — бяша дьяволов сосуд и изучен всякому злодейства изобретению, чародейства же и чернокнижию, звездозаконию и астрологы". Кроме того, был превосходным полемистом и диалектиком, что в соединении с исключительной на русскую мерку образованностью давало ему в руки неотразимое оружие. Интересно, что сей проповедник выписал из Литвы двух помощников — евреев Йосефа Шмойлу Скарявого и Моисея Хануша.

Захарию Бен Аарона и принято считать ересиархом, причем советские историки стыдливо называли его родоначальником „Новгородско-московской ереси". Современники, однако, прямо указывали на ее религиозную, а заодно и национальную подоплеку, аттестуя сектантов „жидовствующими". Некоторые историки полагают, однако, что в строгом смысле слова это была не секта, а светское антиклерикальное течение, связанное своим происхождением и направленностью с ранним европейским гуманизмом.

И в этом есть все резоны, ибо гуманисты Возрождения XIV–XV веков к евреям и еврейской культуре проявляли стойкий и неподдельный интерес. Известно, что немецкий ученый Иоганн Рейхлин, как и многие другие гуманисты, изучал еврейский язык, защищал еврейскую письменность (Талмуд, Зогар, комментарий Раши, Ким Хиды, Герсониды и др.) от нападок обскурантов.

Подобное движение возникло и в среде евреев. Во второй половине XV века османский султан Магомет Победитель (1451–1481) распространил на евреев права всех подданных немусульман. Эдикт этот вызвал большой прилив в Константинополь евреев, образовавших здесь центр интеллектуального движения, близкого к гуманистическому. Евреи выпускали в Константинополе книги, открывали школы, занимались медициной и астрологией. Среди еврейских ученых XV века особенно выделился раввин Мордехай бен Элиезер Комтино (1460–1490).

Он изучал астрономию, математику, механику, естественные науки. Отличаясь значительным свободомыслием, Комтино не делал различия между талмудистами и караимами, преподавал светские науки, не вдаваясь в религиозные споры своего времени. Аналогичное гуманистическое движение существовало в XV веке и в среде литовских евреев, что порождало многочисленные случаи перехода здесь христиан в иудейство.

Если говорить об исторических аналогиях, то культурная ситуация, в которой возникла ересь, может быть уподоблена времени расцвета „ученой магии" в Западной Европе XIII–XV веков, отмеченному обостренным интересом к сведениям по астрологии, алхимии и некромантии, почерпнутым из арабских и иудейских книг. Напрашивается также параллель между жидовствующими на Руси и еретиками при Дворе Роберта Благочестивого в 1022 году, связанными с иудейским учением, отрицавшими действенность святого крещения и т.д.

Что же втолковывал новгородской пастве этот Захария, „умом хитрый, языком острый"? Вот как передают его „кощунственные" слова сегодняшние толкователи-религиоведы: „Первое: главный догмат Православия о троичности Бога есть нелепость, поскольку никому и ничему невозможно быть одновременно единицей и троицей. Второе: поскольку Божество не может быть Троицей, то в Его составе не может быть Сына, следовательно Иисус, называвший себя „Сыном Божиим", на самом деле не был таковым, а был просто человеком. Третье: из той же невозможности Богу быть Троицей вытекает отсутствие в нем не только второго, но и третьего лица, то есть Святого Духа, который, таким образом, оказывается фикцией. А значит фикцией являются и церковные таинства, в которых Святой Дух якобы соединяет нас с горним миром, а этого мира вовсе не существует. Четвертое: раз горнего мира нет, значит, молитвы подвижников, обращенные к якобы обитающим в этом мире святым существам, тщетны, потому институт монашества вместе с монастырями должен быть упразднен как паразитарный, и освободившиеся людские ресурсы и денежные средства должны быть направлены на улучшение нашего земного обустройства..."

Богослов профессор Виктор Тростников поясняет: „Отрицание Троицы есть рационализм, отрицание божественности Христа — антропоцентризм, отрицание инобытия — материализм, призыв к роспуску монашества — прагматизм... Рационализм и прагматизм евреев, выработавшиеся в них за столетия внедрения в чужие культуры и коммерческую деятельность, хорошо всем известны. Так что этот мировоззренческий букет вполне справедливо можно назвать мировоззрением иудеев или тех, кто мыслит так же, как они, то есть жидовствующих".

Говорить об этих качествах как о некой квинтэссенции иудаизма (да еще в эпоху расцвета еврейской мистики) — слишком явная нелепица, чтобы полемизировать на сей счет. Кроме того, профессор, равно как и другие ревностные борцы за чистоту веры, сами того не желая, льстят ересиарху, ибо столь стройной и законченной системы воззрений у него не было. Захария Бен Ааарон не доверил их бумаге, а гонители его, одержимые обличительным запалом, подчас противоречили сами себе даже в определении самой сущности „жидовства". Так они, к примеру, то утверждали, что жидовствующие отрицали загробное существование, то — что признавали его. То говорили о том, что те не поклонялись иконам, то — что поклонялись иконе Иисуса-Спасителя и т.д. Известно также, что Захария со товарищи активно занимались астрологией. По словам современников, они лишь „примесили *мало нечто жидовского*" в свое учение, не имея какой бы то ни было готовой религиозной концепции. Русский философ Георгий Федотов утверждал, что среди еретиков были „и истинно православные, заподозренные в некоем богословском свободомыслии". А академик Дмитрий Лихачев резюмировал: „Это было движение свободомыслящих, связанное своим происхождением с отголосками гуманистического течения на Западе, возможно, через литовских евреев. Отдельные представители этого движения, очевидно, по-разному углублялись в это свободомыслие и тем давали повод к противоречиям в характеристике".

Что же представляли собой рукописные сборники, приписываемые жидовствующим? Это и так называемый „Шестокрыл" — рукопись астрологического содержания, автором которой был еврей Иммануэль-бар-Якоб, живший в XIV веке в Италии. Она явилась плодом того увлечения астрономией и астрологией, которое было характерно для Италии XIV–XV веков. Язык перевода — западнорусский, с немногими еврейскими терминами (например, в названиях знаков зодиака). Ярко гуманистический характер изложения сказывается в переводе (с еврейского же) „Тайной тайных" („Secretum Secretorum") или „Аристотелевых врат", получивших распространение в XV веке. Сочинение это, по преданию, было написано самим Аристотелем, как поучительное, и предназначалось для Александра Македонского. „Аристотелевы врата" распространялись в России и были популярны у русских читателей вплоть до XVII века. Они отвечали возникшему в XIV веке стремлению гуманистов к точному знанию, к медицине, к изучению зависимости человеческого поведения от телесных свойств. К числу названных текстов принадлежит и перевод с еврейского книги „Логика" Моисея Маймонида. Переводчик, не всегда справлявшийся с трудностями перевода, вынужден был придумать много новых терминов, до того от-

сутствовавших в русском языке: одержанный — объект, одержитель — субъект и т.п. Читая сей перевод, удивляешься тому, какие титанические усилия должен быть приложить читатель этой книги, чтобы расширить свой умственный кругозор. Среди рукописей есть и астрологическая книга „Лопаточник", а также переводы с иврита на древнерусский язык „Книги Даниила" и апокрифической „Книги Ханоха", равно как сборника еврейских праздничных молитв, именуемого „Псалтырью Федора Жидовина" (поскольку перевод осуществил в конце XV века крещеный еврей Федор) и др.

Утверждают, что Захария Бен Аарон „вкрадчиво, но настойчиво, стал знакомить представителей новгородской верхушки, к которой, конечно, принадлежали и духовные лица, с этим *неслыханным* здесь доселе учением". Опять неточность: факты свидетельствуют, что проповеди ересиарха легли в Новгороде на уже подготовленную почву, и был он не пахарем, а скорее сеятелем. Ведь еще в середине XIV века в Новгороде и Пскове возникла еретическая секта стригольников. По предположению исследователя Маргариты Елизаровой, слово „стригольник" отражает еврейское словосочетание, основанное на словах „делать тайным", „скрывать", „быть изгнанным". Таким образом, в переводе с еврейского языка „стригольник" означало „хранящий откровение" или „тайный изгнанник" — понятие, близкое к лексике тайных обществ гностиков и манихеев. Как полагает историк Гелиан Прохоров, „стригольничество" — след первого влияния караимства в Северной Руси.

Стригольники считали, что все русское священство „во зле лежит", потому что берет пошлины и подарки при посвящении в сан, и отказывались от общения с таким духовенством. Они объединялись в особые группы, во главе которых стояли особые наставники — „простецы". На русском Севере были в обычае религиозные споры; в Новгороде люди разных сословий сходились не только в домах, но и на площадях, обсуждали духовные проблемы, порой спорили до хрипоты, критикуя церковь, ее обряды и постановления. Стригольников преследовали: известно, что в 1375 году трех представителей секты сбросили с моста в реку Волхов; еретиков сих ловили в Пскове и Новгороде, сажали в темницы, а уцелевшие все не унимались, разнося повсюду свое „богоборное" учение.

Русские источники указывают, что Захария „прельстил в жидовство" двух влиятельных новгородских священников — Алексея и Диониcия, людей ищущих, критически мыслящих и открытых к знаниям и новой вере. При этом „обольститель" якобы „из коварства" запретил им совершать обрезание; еретики не отказывались при этом от священ-

ства, продолжая служить в храмах. „Иудейство" их держалось в глубокой тайне, равно как и новые их имена (священник Алексей получил имя Авраам, а жена его — имя Сарра). К новой вере обратились затем некий Иванька Максимов, Гридя Клоч, поп Григорий, Мишук Собака, дьяк Гридя, поп Федор, поп Василий, поп Яков, поп Иван, дьякон Макар, поп Наум и даже протопоп Софийского собора Гавриил и многие, многие другие. Через четыре месяца Михаил Олелькович[1], а с ним и Захария вместе с евреями уехали из города[2]. Ересь стала чрезвычайно активно распространяться без них, уже людьми русскими, одержимыми, по словам Николая Карамзина, „духом суетного любопытства". Филолог и историк Вадим Кожинов видит в этом проявление „русского экстремизма".

В 1479 году великий князь московский Иван III побывал в Новгороде после присоединения его к Московскому государству. До него дошли слухи о мудрости, красноречии и благочестивой жизни тайных еретиков Алексея и Дионисия, которые и при ближайшем знакомстве произвели на государя столь сильное впечатление, что он тут же предложил им переехать в Москву. В столице они были назначены протопопами главных храмов Русской церкви: первый — Успенского, второй — Архангельского соборов Кремля. По прибытии в Белокаменную, те сразу же спознались с главой Посольского приказа дьяком Федором Васильевичем Курицыным, полиглотом, человеком европейски образованным, который-то и стал „главным печальником московских еретиков". Похоже, однако, что к религиозному вольномыслию Курицын пришел независимо от новгородцев, а именно в бытность в Венгрии и Валахии, где находился с дипломатической миссией и общался с последователями великого чешского реформатора Яна Гуса. Проникшись идеями гуситов, он горой стоял за ликвидацию церковных земель, что весьма импонировало Ивану Васильевичу.

---

[1] Отметим, что сам Михаил Олелькович к ереси никакого отношения не имел. Он погибнет в начале 1480-х гг. в Литовской Руси как участник православного антиягеллоновского заговора.

[2] Последнее упоминание о Захарии Бен Аароне находим в послании инока Саввы (киевского митрополита Спиридона-Саввы) против „жидовствующих", адресованном Дмитрию Шеину, бывшему русским послом в Кафе с 1487–1489 гг. Савва предостерегает: «И ты, господине Дмитрий, коли был еси послом и говорил еси с тем жидовином с Захарией-Скарою. И я, господине, молюся тебе: что еси от него слышал словеса добры или худы, то, пожалуй, господине, отложи их от сердца своего и от уст твоих, якоже некое скаредие; несть с ними Бога, уже не действует Бог ими, ни на молитву их не внемлет: изриновени быша и не могут стати, якоже Давид глаголет... Тако и жидовское сокрушенье, встати им не мощно сокрушенным, и погребленным, и разметанным яко прах от лица ветра». И говорит далее: «Аще человек будет добр и украшен всеми добродетелями, и примесит к ним мало нечто жидовского семени, ино то все его житие не потребно перед Господом и человеки, и Бог не стерпит ему и обличит его».

Вокруг Федора Курицына создался кружок, который враги считали главным оплотом еретиков. Среди его непременных участников брат Курицына Иван Волк, дьяки Истома, Сверчок, писарь Иван Черный и многие, многие другие. Примечательно, что к ереси примкнула невестка великого князя Елена Волошанка, что удивления не вызывает. Воспитанная в православии своим отцом, валашским господарем Стефаном III, она в то же время была научена и религиозной терпимости (канцлером Двора был иудей Исаак бен-Вениамин Шор из Ясс). К тому же, на нее так же могли оказать влияние популярные в Валахии идеи гуситов. Важно и то, что Елена могла общаться в родных пенатах и с самим Федором Курицыным, который нередко наезжал в Валахию, а в 1483 году стал московским послом при Дворе Стефана III.

За великокняжеской невесткой последовала часть придворных, вознамеривавшаяся использовать новую веру во внутренней борьбе за власть. Даже сам Иван III временно „склонил слух" к ереси: впрочем, как это убедительно показал американский историк Александр Янов, царь проводил тогда политику конфискации монастырских земель, и критика „стяжателей" лила воду на эту его мельницу...

В течение семнадцати лет еретики, число коих, по некоторым подсчетам, умножилось до полутора тысяч (!), якобы ухитрялись держать свое учение в тайне, пока об их „кознях" не проболтался спьяну „жидовствующий" поп Наум. Тогда-то, в 1487 году и забил тревогу истый ревнитель православия Новгородский архиепископ Геннадий (Гонзов). Он направил государю извет, писанный совместно с помощником Дмитрием Герасимовым и католическим монахом обители св. Доминика Вениамином, в котором изобличил все „тягчайшие" вины „кощунников". При этом был противником всяких диспутов с еретиками, но призывал созвать церковный собор, чтобы „их казнити — жечи да вешати". Ему не давали покоя лавры ревнителя веры Христовой, испанского короля с его инквизиторскими аутодафе, о необходимости коих он и сигнализировал в Первопрестольную. Призывал последовать примеру „Шпанской земли", где еретиков „казнили многими казнми и многими ранами, да и сожгли... Да мучили их многыми разными муками, да и пережгли всех,... а животы (собственность) их и имения на короля поимали... А слава... и хвала того шпанского короля пошла по всем землям по латинской вере, что на лихих крепко стоит"[1].

[1] В 1483 году в Кастилии был создан инквизиционный трибунал, который возглавил исповедник королевской четы Томас Торквемада. За 18 лет, что он находился на сем посту, было убито и сожжено, по разным источникам, от полутора до восьми ты-

Новгородский владыка при всей своей пылкости и прямолинейности был удручающе непрозорлив. Надо же было понимать, что великий князь был непримиримым борцом с латинством. А Геннадий в своем обличении еретиков прибегал к помощи прелата и с воодушевлением возносил хвалу „шпанскому" королю. С точки зрения Москвы, восторги, расточаемые еретикам-католикам, были столь же неуместны, как и их жертвам. Из-за этой его связи с папистами энергичная деятельность Геннадия не могла иметь желанного успеха. Мало того, совершенно неожиданно для сего неистового обличителя некоторые из еретиков открыто выступили против него. Так, новгородский чернец Захар, пользовавшийся большим влиянием в псковском Немчинове монастыре, повел решительное наступление на владыку, рассылая по городам грамоты с „лайбою" (бранью), обвиняя самого его в ереси. И покровительство ему оказывал не кто иной, как сам великий князь! Когда Геннадий попытался выслать дерзкого чернеца вон, в пустынь, сам Иван Васильевич вступился за Захара и отослал назад, в Немчинов. Этот Захар поставил Геннадия в положение обороняющегося: „Зовет мя еретиком, а яз не еретик", — робко оправдывался он. Видно, что Геннадий принужден был не столько „растерзать утробы" своих врагов, сколько защищать свою собственную особу. Дело дошло до того, что в результате опалы он какое-то время даже не мог выехать в Москву.

Не удивительно поэтому, что Державный отнесся к доносу Геннадия прохладно. Его инквизиторское усердие не встретило поощрения в Кремле. Разногласия в сем вопросе между Новгородом и Москвой были столь значительны, что владыке стало казаться, будто „Новъгород с Москвою не едино православие". Из всех преступлений, инкриминируемых еретикам Геннадием, государь признал только обвинение в иконоборстве и, скрепя сердце, дал ему разрешение „обыскать" и в случае необходимости „понаказать" еретиков. Однако наказанию подверглись лишь несколько (третьестепенных по значению) участников движения, виновных в открытом иконоборстве. Наиболее же видные еретики, так или иначе связанные с великокняжеской властью, никак не пострадали и всемерно противодействовали уничтожению секты.

сяч „неверных", в основном, мусульман и евреев. По некоторым данным, 10220 жертв было сожжено живьем, а еще 97321 человека подвергнуто опозоренью, конфискации имущества, пожизненному тюремному заключению и исключению из службы на общественных и почетных должностях. Общий итог этих варварских казней доводит число навсегда погибших семейств до 114401. 31 марта 1492 года под нажимом Торквемады король и королева Испании Фердинанд и Изабелла издали декрет об изгнании всех евреев из Испании. При этом христианам запрещалось укрывать иудеев в своих домах после этого срока под угрозой тех же наказаний. Эта мера заставила покинуть Испанию до 800 тыс. евреев.

Но ревнители Христовой веры шли в решительное наступление, и тучи над новгородцами сгущались. В 1489 году новым митрополитом Руси стал Симоновский архимандрит Зосима, которого ортодоксы тут же окрестили „вторым Иудой" за то, что тот не был склонен к жестокой расправе над еретиками. На церковном соборе 1490 года (под водительством того же Зосимы) ересь подверглась осуждению, а ее сторонники были названы „сущими прелестниками и отступниками". Еретики упорно отрицали свою вину, но собор лишил их духовного сана, предал проклятию и осудил на заточение. Многих из них отправили к Геннадию в Новгород, и архиепископ распорядился за чинимые святотатства „бить их кнутом", а также встретить их за сорок верст от города, надеть на них вывороченную одежду, шлемы из бересты с мочальными кистями и соломенные венцы с надписью „се есть сатанино воинство". Их сажали на лошадей лицом к хвосту, а народу было велено плевать на них и улюлюкать: „Вот хулители Христа, враги Божии!". Затем на головах „поганых" зажигали шлемы из бересты...



Изображение семьи Ивана III на шитой пелене того времени

Для борьбы с „неверными" были наново прочитаны основные церковные книги, и все чуждое православной традиции из них нещадно изымалось. По инициативе неистощимого Геннадия была полностью переведена на русский язык Библия (с изобретением книгопечатания она потом будет напечатана в Остроге в 1580–1582 гг.), а также некоторые полемические сочинения. Свою роль в идейной борьбе с „еретиками" сыграли и составленные преподобным Нилом Сорским Жития Феодора Студита и Иоанна Дамаскина, где открыто осуждалось иконоборчество.

Тема отступничества стала особенно актуальной в 1492 году, когда, согласно христианскому исчислению, окончились семь тысяч лет от сотворения мира. Час пришел, а предсказываемый конец света почему-то не наступал, что дало повод к еретическим мыслям, сомнениям в вере, превратным толкованиям Библии. „Если бы Христос был Мессией, —

говорили сектанты православным, — то почему же он не является в славе, по вашим ожиданиям?" Понятно, что это было весомым аргументом в пользу учения еретиков.

Наиболее ярким, сильным и неустрашимым противником ереси стал игумен Волоцкого монастыря Иосиф (Санин), возгласивший: „Ныне шипит тамо змий пагубный, изрыгая хулу на Господа и Его матерь". Наиболее полно критика сектантов изложена в его сочинении „Просветитель". Он вопиял: „С того времени, как солнце православия воссияло в земле нашей, у нас никогда не бывало такой ереси. В домах, на дорогах, на рынке все, иноки и миряне с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении о вере пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, отступников Христа: с ними дружат, пьют и едят и учатся у них жидовству". Примечательно, что, составляя сию „книгу на еретиков", преподобный Иосиф был весьма тенденциозен. Он всячески стремился слить воедино „ересь Алексея" и „ересь Федора Курицына", изобразив их единой жидовской ересью, сиречь чистым иудаизмом. Понятно, что обвинение в жидовстве крылось в обычной манере средневековой полемики обвинять своих противников в наиболее зловредных с христианской точки зрения взглядах.

Между тем, его предшественник Геннадий уличал в этом лишь некоторых новгородцев. Что до московских еретиков, то их в „жидовстве" не обвинял никто. Да и трудно было отыскать черты иудаизма в похвалах „апостольских и евангельских", вышедших из под пера Федора Курицына и его товарищей. К тому же, многие факты, приводимые Волоцким, в пользу „жидовства" своих противников, оказывались голословными и доверия не вызывали. Откуда, к примеру, ведомо было, что они хулу на евангельские и апостольские писания изрыгали, если делали это, только встретив кого „из простых", причем с глазу на глаз? Озадачивало и то, почему у этих самых жидовствующих не было малейших признаков иудейской обрядности? Иосиф утверждал, что так повелели сами жиды, дабы держать в тайне свое учение, но было совершенно непонятно, отчего русские вольнодумцы так слепо и безропотно им подчинились. Чтобы доказать свое в ход шли сомнительные, не поддававшиеся проверке факты: якобы Ивашка Черный и Игнат Зубов пустились в бега за море и перед тем обратились в жидовство.

Дальше — больше. Преподобный Иосиф убеждает духовника государя Нифонта открыть глаза Ивану Васильевичу, очистить церковь от неслыханного доселе соблазна и свергнуть митрополита Зосиму. И тот отлучается от метрополии, вроде бы „за страсть к вину и нерадение к церкви" (на самом же деле — за мягкотелость и потворство „кощунникам"). Казалось бы, победа, но поверженные добиваются назначения

архимандритом Юрьева монастыря, что в Новгороде, монаха Кассиана, тоже тайного еретика. Последний вновь устраивает свои „злобесные" сборища. И вновь сие „осиное гнездо" уничтожает бдительнейший архиепископ Новгородский Геннадий!

Но даже и после этого ересь не ослабела. Как отмечает „Еврейская энциклопедия", ее позиции даже усилились, когда сын тайной сектантки княгини Елены Волошанки царевич Дмитрий был объявлен наследником престола и в 1498 году в Успенском соборе Кремля торжественно венчан шапкой Мономаха. Тогда в опалу попала Софья Палеолог, ибо открылось, что по ее наущению Дмитрия пытались отравить. По счастью, меры безопасности в Кремле были тогда усилены, и знахарки, доставлявшие яды Софье, были схвачены и утоплены в Москве-реке.

Но что не смог сделать яд — сделала ловкая византийская интриганка. Уже с августа 1501 года великим князем всея Руси и соправителем отца именуется ее сын Василий Иванович. Какое-то время Дмитрий и Елена продолжали жить в Кремле, но вскоре государь их „посадил в камень и железа на них положил". На настойчивые расспросы о причинах смены наследника Державный отвечал уклончиво: „Который сын отцу служит и норовит, отец того боле и жалует, а который не служит и не норовит, того за что жаловать?". Впрочем, историки связывают сию опалу не только с каверзами Палеолог. Виной тому и международная обстановка: Иван, воевавший с Польско-Литовским государством, был заинтересован в поддержке духовенства Западной Руси — с этой точки зрения его связь с еретиками была неблагоприятным фактом; кроме того, отец Елены Стефан III перестал быть военным союзником Москвы. Мало того, он в 1501 году задержал у себя русских послов во главе с Дмитрием Ралевым, что было расценено как акт откровенно враждебный. Важно и то, что Василия Ивановича очень поддерживал Иосиф, требовавший самых крутых мер против еретиков.

Державный несколько раз приглашал преподобного к себе для беседы. Известно, что Волоцкий говорил с ним о „конечной муке" для всякого „начальника", знавшего о еретиках и не „предавшего" их. И монарх сознался, что „ведал ересь" и просил простить ему его прегрешения. Можно понять, как много значила эта уступка для великого князя, который еще недавно „во всем послушаша" Курицына. Однако ценой уступок, ценой почти унизительного разговора с главным „обличителем", суровый прагматик Иван хотел спасти то, что, по-видимому, больше всего привлекало его в ереси: идею полной или хотя бы частичной конфискации монастырских вотчин. „Государь, — парировал Иосиф, — подвинься только на нынешних еретиков, а за прежних тебе

Бог простит". Когда же Иосиф стал высказываться в пользу жестокого наказания, Иван резко прервал беседу. Он стоял на том, что надобно искоренять разврат, но без казни, противной духу христианства. Так что, „многие действительные или мнимые еретики умерли спокойно; а знатный дьяк Федор Курицын еще долго пользовался доверием государя и был употребляем в делах посольских".

И когда в августе-сентябре 1503 года в Москве был созван собор, Иван намеренно не включил вопрос о ереси в его повестку, но сосредоточился на вопросах упразднения церковного землевладения и церковных поборов (за что как раз ратовали еретики). И хотя соборяне вопреки его воле высказались в защиту монастырских вотчин, Иван добился отмены оплаты за поставление священнослужителей.

Примечательно, что первейшей жертвой сего постановления стал обличитель ереси Геннадий, который, вернувшись из Москвы в Новгород „начал мзду брать с священников за ставление и еще больше прежнего" вопреки обещанию, данного на соборе, и в результате „оставил свой престол неволею". Едва ли причиной удаления сего пастыря стали происки „покровителей жидовства", его оклеветавших, как полагал биограф Петр Градницкий. Геннадий был пойман с поличным. Потому-то великий князь и митрополит свели его с престола и заключили под арест: „владыку Геннадия взяли, и казны попечатали и поехали к Москве". Он был помещен в Чудов монастырь, где и кончил свои труды и дни. Впрочем, некоторые историки видят в этой опале и низложении руку Ивана III, не простившего Геннадию его слишком усердную борьбу с еретиками.

А преподобный Иосиф сокрушался бездействием Ивана Васильевича: „Уже тому другой год велика дни настал, а он государь не посылывал, а еретиков умножилося по всем городом, и християнство православное гинет от их ересей". Он гремел красноречием, грозно обличая жидовствующих, и требовал для них самой лютой казни, для чего объявил сектантов отступниками, ибо, согласно традиции, казни подвергались не еретики, а именно отступники от истинной веры. И неважно, что многие из них покаялись: раскаяние, вынужденное пылающим костром, настаивал преподобный, не есть истинное и не должно спасти их от смерти, потому они „огнем сожжены бысть"[1]. Забавно, что в качестве примера Волоцкий приводил примеры казней преимущественно из Ветхого Завета, в приверженности к которому он как раз обвинял еретиков. На это потом прямо укажет преемник вождя нестяжателей Нила

[1] Первое известие о сожжении в клетке на Руси относится к январю 1493 года, что явилось влиянием испанской инквизиции.

Сорского старец Вассиан. Он выступит против суровой расправы с покаявшимися еретиками, а Иосифа едва ли не самого заклеймит жидовствующим: „Аще же ты повелеваеши брата брату согрешивша убити, то вскоре и субботство будеть и вся ветхого закона".

Наконец, зимой 1504 года „Иван Васильевич и сын его Василий Иванович с отцом своим Симоном митрополитом всея Руси и со епископы со всем собором обыскаша еретиков и повелеша лихих смертною казнию казнити. И сожгоша их в клетке 27 декабря 1504 года". А вот другое летописное свидетельство: „Того же лета князь великий Иван людей жег ересников развратников веры христианския многых".

Некоторые российские историки, по существу, оправдывают эту варварскую казнь. По их разумению, „лжеучение" еретиков, суть не что иное, как „идеологическая диверсия", „опаснейшая угроза самому бытию Руси", и для устранения этой самой опасности все средства хороши. В этой связи вызывает интерес позиция Николая Карамзина, который хотя и признает, что „сия жестокость скорее может быть оправдана политикою, нежели Верою христианскою", тем не менее, оставляет последнее слово за Иваном III: „Если явный дерзостный соблазн угрожает церкви и государства, коего благо тесно связано с ее невредимостью: тогда не митрополит, не духовенство, но государь может справедливым образом казнить еретиков. Сия пристойность была соблюдена: их осудили, как сказано в летописях, по градскому закону". Историограф добавляет: *„Великий князь решился быть строгим*, опасаясь казаться излишне снисходительным в деле душевного спасения".

На самом деле, это решение претило великому князю, так долго и отчаянно сему противившемуся. С его стороны оно было вынужденной уступкой — ревнителям веры и примкнувшим к ним сыну Василию. Как точно сказал историк, „наконец, Иван III сдался". При этом государь тяжело переживал эту свою духовную капитуляцию. Иные исследователи говорят даже о резком переломе, произошедшем тогда в сознании Державного.

Характерно, что на смертном одре Иван Васильевич решил покаяться перед „жидовствующим" Дмитрием. За день до своей кончины, когда церковь праздновала память великомученика Дмитрия Солунского — небесного покровителя великокняжеского внука, он „приказал привести к себе Дмитрия и сказал: „Дорогой внук, я согрешил против Бога и тебя тем, что заточил тебя в темницу и лишил наследства. Поэтому я молю тебя о прощении. Иди и владей тем, что принадлежит тебе по праву". Государь получил от внука желанное

прощение, что вызвало у присутствующих слезы умиления. Однако когда Дмитрий вышел, его, по приказу уже нового великого князя Василия, тут же схватили и бросили в тюрьму.

По мнению писательницы Алины Ребель, ересь жидовствующих стала одним из разрушительных факторов в отношениях между славянами и евреями, которые поплатились за безрассудство исторически недальновидных сектантов. Есть, однако, и полярно противоположные оценки: ересь будто бы имела важное просветительское значение для русской цивилизации и культуры. Исследователи Лев и Наталья Пушкаревы отмечают высокую интеллектуальность сектантов, способствующих русскому духовному возрождению. А корифей исторической мысли Сергей Платонов подчеркивал, что созданное еретиками настроение критики и скепсиса в отношении догмы и церковного строя не умерло в России. Академик Дмитрий Лихачев резюмировал: „Движение жидовствующих имело серьезное прогрессивное значение, будя мысль, вводя в круг образованности новые книги, создав в конце XV — начале XVI века большое умственное возбуждение". В этом контексте расправа над еретиками толкуется уже как акт воинствующего мракобесия.

Существенно то, что именно с тех самых пор, как запылали костры, в которых сжигали жидовствующих, евреев на Руси начали воспринимать как „антихристов", квинтэссенцией зла и извращенности. Русский посол в Риме Дмитрий Герасимов (в прошлом сподвижник Геннадия Новгородского) заявил в 1526 году: „Евреи для нас отвратительнее всех, даже простое упоминание их имени внушает нам отвращение; мы не позволяем им приезжать в нашу страну, поскольку это мерзкие и злобные люди". Своего апогея антисемитская истерия достигнет в Московии при внуке Ивана III, деспотичном Иване Грозном, о коем писали: „Как ни был он жесток и неистов, однако же не преследовал и ненавидел никого, кроме жидов, которые не хотели креститься и исповедовать Христа: их он либо сжигал живьем, либо вешал и бросал в воду". Но Иван Васильевич уходил из жизни, не ведая о сих мрачных последствиях: он не запирал от иудеев рубежей, продолжал вести переписку с надежным „жидовином" Кокосом и получил, наконец, благословение от несправедливо обиженного им внука.

ТИШАЙШИЙ ПРОЗЕЛИТ
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Во времена Тишайшего царя всея Руси Алексея Михайловича (1629–1676) был чрезвычайно популярен сюжет из библейской „Книги Есфирь" о чудесном спасении евреев от погибели, замышленной высшим сановником персидского царя Артаксеркса, злокозненным Аманом. Хвалебные вирши во славу защитницы своего народа Есфири слагали многие российские пииты. Известный вития русского XVII века Симеон Полоцкий возглашал:

Есфирь подобне есть спасительница,
Яко бе рода си заступница,
Меч отвративши, уже изощрённый,
На исраилтян главы извлечённый.

Однако некоторые юдофобствующие церковники толковали историю Есфири на свой лад. Архимандрит Черниговского Елецкого монастыря Иоанникий Галятовский (ок. 1617–1688) очень даже сочувствовал антисемиту Аману и назвал его „несчастным", убиенным коварными жидами. Этот выпускник Киевской коллегии испытал на себе заметное польское влияние и не только проникся фанатическими воззрениями католиков, но и перенял у них приёмы изощрённой юдофобии. В своём трактате „Мессия правдивый" (Киев, 1669), посвящённом царю Алексею Михайловичу, этот, как он себя называет, „недостойный иеромонах", пожалуй, впервые в православной литературе излагает „свидетельства" осквернения евреями просфоры, убийства христианских младенцев в ритуальных целях, заражения колодцев и тому подобные претензии, характерные для польских источников. И подобно „несчастному" Аману, Иоанникий требует истребить всех евреев: „Мы, христиане, должны ниспровергать и сожигать Жидовские божницы, в которых вы хулите Бога; мы должны вас, как врагов Христа и христиан, изгонять из наших городов, из всех государств, убивать вас мечём, топить в реках и губить различными родами смерти". Вызывает удив-

ление, что авторитетный историк Николай Костомаров, отметив, что Иоанникий вознамерился побудить царя „принять надлежащие меры против иудейских козней", умолчал о призыве архимандрита к геноциду.

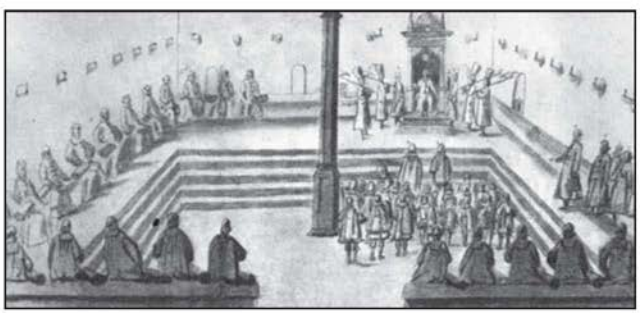
При этом Галятовский объявлял царя своим ревностным единомышленником: „Яко Христос ненавидит жидов неверных, в некрестии затверделых, врагов и злобонцов своих,... так и Ваше Пресветлое Царское Величество, наследуючи Христа Царя Славы, ненавидишь жидов неверных,... не позволяешь [им] меж верными христианами в земле Твоей и царстве Твоём житии". И в этом утверждении „недостойный иеромонах" не одинок. Историк Александр Пятковский, а следом за ним и современный публицист-почвенник Анатолий Глазунов сводят политику царя к тотальному изгнанию иудеев из городов и весей Московии, да и всех завоёванных земель. Самого же Тишайшего они объявляют таким же отчаянным врагом иудеев, как и свирепый Иван Грозный, который, как известно, объявил: „Жидам ездити в Россию непригоже, для того, что от них многие лиха делаются", а при взятии Полоцка приказал всех евреев, не пожелавших креститься, утопить в Двине.



Царь
Алексей Михайлович

Действительно, царствование Алексея Михайловича иногда ассоциируется с Хмельнитчиной, названной евреями „гзерот тах" („Господни кары 5408 (1648)") — эпохой бед и зверской жестокости. Тогда в погромах, учиненных в Украине и Молдавии казаками гетмана Богдана Хмельницкого, погибло более 100 тысяч человек, около четверти местного еврейского населения. „Не приказывал я убивать невинных, а только тех, которые не хотят пристать к нам или креститься в нашу веру", — говаривал гетман-изувер после очередного погрома и совершал новые — в Немирове, Тульчине, Яссах. Но православный царь Алексей за ту кровавую вакханалию никак не в ответе, ибо казаки Хмельницкого не находились под российским владычеством, не подпадали под действие русских законов. И, что ещё более важно, геноцид никак не сопрягался с национально-религиозными принципами русского государства, с благочестием самого Тишайшего государя.

Такое прозвание он получил, поскольку обладал замечательно мягким, добродушным характером, был, по словам беглого дьяка Григория Котошихина, „гораздо тихим". Современники отмечали набожность и глубокую религиозность Алексея Михайловича. Очень точную и ёмкую характеристику дал ему историк Сергей Платонов: „Религиозным чувством он был проникнут весь. Он много молился, строго держал посты и прекрасно знал все церковные уставы. Его главным духовным интересом было спасение души... Средство к спасению души царь видел в строгом последовании обрядности и поэтому очень строго соблюдал все обряды... Религия для него была не только обрядом, но и высокой нравственной дисциплиной... Он ревниво оберегал чистоту религии и, без сомнения, был одним из православнейших москвичей... Ко всему окружающему он относился с высоты религиозной морали, и эта мораль, исходя из светлой, мягкой и доброй души царя, была не сухим кодексом отвлечённых нравственных правил, суровых и безжизненных, а звучала мягким, прочувствованным, любящим словом, сказывалась полным житейского смысла тёплым отношением к людям". Монаршая порфира воспринималась Алексеем как власть, установленная Богом, назначенная для того, чтобы „рассуждать людей вправду" и „беспомощным помогать". И слова, сказанные им князю Григорию Ромодановскому: „Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать людей своя на востоке и на западе, и на юге, и на севере вправду", — стали смыслом и целью его державных полномочий, постоянной твёрдой формулой государевой власти.



Приём в Кремле 27 мая 1661 г. Первый в группе стоящих бояр с шапкой в руке — Алмаз Иванов

Конечно, царь Алексей был воспитан в духе святоотческой традиции с её воинствующим анти-иудейским пафосом. Конечно, филиппики „богоубийцам-жидам, которых всем христианским людям ненави-

деть должно", были дежурными на официальных дипломатических приёмах в Кремле, а некоторые иноземцы утверждали, что в Московии к дикарям-самоедам, поклонявшимся идолам и солнцу, относятся куда терпимее, чем к монотеистам-иудеям.

И всё же образ порфироносного антисемита под воздействием фактов рассыпается, ибо в нём наличествует весьма существенный для гонителя евреев „дефект" (именно это слово употребил применительно к царю Анатолий Глазунов): дело в том, что в узаконениях того времени запретов иудеям на пребывание и жительство в России не находится. И де факто евреи приезжали и жили в стране без всякой утайки. Да и невозможно было им скрыть свой характерный племенной тип, отказаться от национальной одежды, потому даже при тогдашнем неустройстве полицейского надзора сыны Израиля были легко узнаваемы. А это означает, что они пользовались *правом* жить в России. И конкретная миграционная политика царя это право как раз подтверждала. Более того, к последней трети XVII века пребывание иудеев в Московии стало тогда столь обычным явлением, что „Новоуказные статьи" 1669 года, устанавливая казни за совращение христиан в другую религию, упоминали особо о евреях: „аще жидовин или агарянин дерзнет развратить от христианской веры христианина, повинен есть казни главней; а аще жидовин христианина раба имый и обрежет его, да отсекнут ему голову". Из сих строк можно сделать заключение, что еврейское население было представлено свободными обывателями, которые могли даже пользоваться трудом христиан.

Впрочем, и ранее, при царе Михаиле Федоровиче, правительство против жительства евреев решительно ничего не имело. Так, в результате Поляновского мира 1634 года иудеи, как и прочие пленные, были разосланы по отдалённым местностям страны; разделяя общую судьбу, они были сосланы в города „в службу" и в деревни „на пашню". При этом было специально оговорено, что не крестившимся должно быть дано столько же хлеба, сколько обращенным.

Можно определённо сказать, что и в годину царя Алексея иудеи, как правило, разделили участь прочих пленных, литовцев и поляков. Обратимся к фактам. Государева грамота от 27 июля 1656 года Гродненскому воеводе повелевала: „А которые Жиды придут в Гродно и учнут нам, великому государю, бить челом, чтоб их под нашею Царского Величества высокою рукою, и ты бы тех Жидов принимал и к вере *по их закону* приводил, и велел им жить в Гродне по-прежнему". А когда после трёхмесячной осады в 1655 году пал Витебск, царь распорядился поступить со всеми „полоняниками" (включая и евреев) по справедливости. Значительное еврейское население осталось и в Смоленске и после сдачи его русским в 1655 году. Да и в Договоре о перемирии между

государствами Российским и Польским, учиненном в деревне Андрусово (1667), утверждалось безусловное освобождение еврейских пленных и разрешение им остаться в России.

Между тем, иные историки говорят о лютой нетерпимости Тишайшего к евреям, и именно ею объясняют изгнание иудеев из завоёванных русскими Могилёва (1654) и Полоцка (1658). На самом же деле, государь здесь был вынужден подчиниться многочисленным ходатайствам местных жителей, которые, в свою очередь, ссылались на старинные привилегии и статуты, так называемое Магдебургское право, основанное на недопущении евреев в эти города. Правда, из-за алчности и непомерной жестокости казачьего полковника Константина Приклонского (между прочим, только присягнувшего царю) в Могилёве не обошлось без кровопролития. Евреи, вынужденные спешно покинуть город, были обманом согнаны частью на Печёрское поле, частью — на равнину у городской дороги, и перебиты все без остатка. Очевидец, игумен Орест, сообщал в своих „Записках", что смертоубийства учинили покорыстовавшиеся еврейским добром мародёры-казаки. Но избиение евреев вызвало гнев в Москве, так что мещане города вынуждены были оправдываться и „сложили эту *вину* на казаков Поклонского", о чём пишет историк Сергей Соловьёв.

И примечательно, что власти всегда проявляли внимание к евреям-изгнанникам, направляя их в российские города в сопровождении стрельцов и за казенный счёт. Как отмечает историк Юлий Гессен, когда благодаря военным действиям в московском государстве появились пленные евреи, к ним относились никак не хуже, чем к прочим пленным. Иудеи, попавшие в Московию во время русско-польских войн 1654–1667 гг., переводились из одного города в другой для приискания им надлежащего жилья. Документы Разрядного приказа указывают на обширную географию миграции иудеев. В одном из указов говорится об отправке нескольких сотен человек из Калуги в Нижний Новгород, причём „провожатых дать Калужских стрельцов 20, а государева жалования [им] в дорогу на корм велено дать на месяц, семьянистым по шти денег, одиноким по четыре деньги человеку на день". Есть сведения, что другие партии евреев из Новгорода были перевезены в Ярославль, а затем отправлены в Казань. Большинство же иудеев было расселено в Поволжье, на Урале и в Сибири и постепенно растворилось в окружающем населении.

Царь всемерно поощрял переход пленных евреев на русскую службу, особенно если те были изрядными мастерами. Известно, что после Андрусовского перемирия 1667 года Пушкарский приказ хлопотал о неотпущении на родину могилёвского еврея Исачки, по-

скольку тот „научен огнестрельным и гранатным делам, стрелять гранаты умеет; да ему ж дана для ученья огнестрельных и гранатных дел и для всяких тайных промыслов немецкого языка печатная книга". Вполне вероятно, что евреями были живший с 1654 года в Москве „в пушкарях" изготовитель пороха Ивашка Григорьев родом из Дубровны; Гришка Мотовицкий из Полоцка, определившийся „в Оружейную палату в кормовые мастера"; а также отданный „на кормление частному лицу" пленный из Литвы некто Мосейка. Документ 1659 года упоминает ещё ряд московских обывателей-евреев: некий Марка с женой, торговец ветошью; Оспа с женой и сыном, занимавшийся „черной работой"; Якубка Израилев, который „пёк на торг хлебы"; Моска Марк, торговец мясом и т.д.

Вообще же, как свидетельствуют документы, в Москве могли селиться преимущественно крещеные евреи. Некоторые оказались в московской Немецкой слободе, где жили лютеране и католики, и среди них Марко Яковлев с женою Дворкою из Горок (Белоруссия), девушки Ганка и Рыся, дочери Меоровы и Эстерка Юдина (все из Мстиславля), Махля из Горок, Марчко-Захар Яшев из Дубровны. Немало евреев обосновалось и в московской Мещанской слободе, образованной выходцами из западного края, что отражено в списках лиц, живших там своими домами и снимавших в наем клети (относительно некоторых есть отметки „еврей", „еврейской породы", „родины еврейские"). Кое-кто из них весьма преуспел и, освободившись от тягла и личной повинности, выбился в купеческий класс. При этом некоторые евреи скоро достигли видного положения среди московского купечества. Так, Федор Григорьев и Афанасий Самойлов в апреле 1659 года были „выборными": их подписи имеются в „протоколах" мирских сходов того года. Историк-краевед Владимир Снегирев указывает на значительную еврейскую популяцию и называет среди жителей Мещанской слободы будущего видного деятеля петровской эпохи, вице-президента Главного магистрата Илью Исаева, а также Федора Иевлева, Давида Тимофеева, Владимира Израилевича Елисеева, Ивана Константинова, Якова Самойлова, Семёна и Ивана Яковлевых, их зятя Павла Степанова и других. Мещанскую слободу называли ещё „слободой перекрестов", ибо там могли жительствовать лишь лица, обращённые в православие. Их имена и фамилии становились не отличимыми от русских.

Здесь необходим краткий экскурс об общей религиозной политике царя, напрямую связанной с судьбами российского еврейства. Истый ревнитель православия, Тишайший был сторонником деятельного прозелитизма среди иноверцев. Причём к крещению их нередко побуждали самыми жёсткими мерами. „Немцам" было законодательно воз-

бранено носить русскую одежду и селиться в тех местах, где проживали московиты. Иногда прибегали к вероломству, пуская в ход облыжные обвинения. Так, на шотландца-полковника Александра Лесли донесли, будто они с женой „заставляли русских слуг есть в пост собачье мясо" и над святыми иконами ругались, после чего их взяли под стражу. Тогда-то боярин Илья Милославский ненавязчиво предложил „проштрафившемуся" католику обратиться в православие, что тот, понятно, и свершил, и сразу же был помилован, произведён в генералы и пожалован угодьями и подарками на сумму три тысячи рублей. На миссионерской ниве немало усердствовал духовник царя Стефан Вонифатьев, который в 1652 году просил Его Величество не стеснять его в действиях, и тогда все служилые иноземцы обратятся в праведную веру. Как отмечал американский историк Джозеф Фурман, „государь надеялся показать русским ортодоксам, что убеждение и щедрая награда вызовут огромный приток обращённых, ибо иноземцы скоро поймут все преимущества и выгоды крещения в православную веру". Неофит, помимо прочих наград, получал ещё и дворянство „по московскому списку". Всё же крещение не приобрело тогда массового характера среди „немцев".

Зато обращение татар и мордвы проводилось столь энергичными темпами, что вызывало даже вооружённые протесты басурман. Архиепископ Рязанский Мисаил, успевший окрестить в Шацком и Тамбовском уездах более четырёх тысяч иноверцев, был затем атакован толпой из пяти сотен бунтовщиков, которые „учинились сильны и непослушны и во крещение не пошли", и некто мордвин Гаречишка „устрелил" святого отца насмерть. Но настойчивый прозелитизм ничуть не утишился. За неофитами были законодательно закреплены всяческие привилегии: им надлежало незамедлительно выдать 15 рублей; предоставлялось право пожизненного и наследственного владения своими поместьями; после смерти феодала-мусульманина его поместье переходило к любому, даже дальнему, крещеному родственнику, невзирая на претензии более близких наследников-мусульман. Иногда татары крестились из-за боязни царского гнева. Рассказывают, что представитель средней ветви известного княжеского рода Юсуповых, Абдул-Мирза Секшевич, принимая в своём доме патриарха Никона, по незнанию православных норм, угостил его гусём, приготовленным „под рыбу". Проведав о том, что его обманом накормили скоромным, Его Святейшество пожаловался государю, и тот так разъярился, что наложил на Абдул-Мирзу опалу. Чтобы сохранить за собой свои имения, испуганный князь решил принять православие и умилостивить тем царя и патриарха, и судя по всему, в этом преуспел.

Был, однако, богослов, который возвысил голос против политики обращения иноземцев в православие, осуществляемой государем. То был униат и панславист, серб Юрий Крижанич (ок. 1617–1683), сосланный в 1661 году за свои „крамольные" писания в неблизкий Тобольск. В главном своём труде, трактате „Политика", он изображает инородцев ненавистными поработителями славян: „Затопило нас множество инородников; они нас дурачат, за нос водят, больше того — сидят на хребтах наших и ездят на нас, как на скотине, свиньями и псами нас обзывают". И провозглашает, что первейшее благо для России есть „запертие рубежей" (говоря современным языком, „железный занавес") и „гостегонство" (непринятие и изгнание всех иноземцев). Такую изоляционистскую политику он объявляет „палладиумом" (щитом) для государства, обусловливающим самую возможность его политического существования. Указав на примеры такого „гостегонства" в Польше, Германии, Испании, Франции и даже Китае, он желает, чтобы и Московия последовала сему „благотворному" историческому опыту. Крещение иноверных он решительно порицает, более того, предостерегает: „Если Русское царство когда-нибудь погибнет, то оно примет гибель от перекрестов и их потомков". При этом метит, прежде всего, в протестантов-немцев, но питает недобрые чувства даже к единоверцам — православным грекам, которых корит за плутовство в торговле. Убеждённый шовинист, он пышет злобой ко всем, кто только не русский и не славянин. А уж представителей таких „скитальческих народов", как цыгане и жиды, по Крижаничу, и на пушечный выстрел к Святой Руси подпускать не следует.

Между тем, обращение иудеев в православие не только поощрялось, но было возведено в ранг государственной политики. Сохранились четыре челобитные „старозаконных" жителей города Бреславля (Силезия) на имя царя и три записи их о крещении в „православную христианскую веру". Польские жиды Азик, Хоныш, Монка, Маер и Ицко со своими женами и детьми, а также вдова Биска в разгар русско-польской войны подают прошение о принятии православия. Известно также, что там же, в Бреславле, они представили свои „заручные челобитные" российскому посланнику в Силезии Л.И. Писареву, который, получив от царя указ с „пожалованием" евреев, передал его для исполнения священникам Архангельского собора и Успенской, Никольской и Воскресенской церквей Москвы. Крещение евреев становилось семейным делом: „с женишками и с детишками".

Но, как отметил историк Дмитрий Фельдман, добровольность обращения по существу оказывалась вынужденной. В противном случае местом проживания еврея могла стать какая-нибудь сибирская глухо-

мань, где успешная продуктивная деятельность на любом поприще была крайне затруднена. Среди выкрестов мы находим немало смекалистых и предприимчивых. Вот "Матюшка Григорьев — еврей", родом из Мстислава, попал с семьёй в русский плен в 1655 году. Был отправлен в Москву, где жил у некоего Кирилла Волосатого из гостиной сотни, на которого гнул спину полтора десятка лет. Но подфартило — смышлёного юношу приметил один важный боярин, и именной указ царя освободил его от ярма. Поселился Матюшка сначала в Новомикитской, а затем перебрался в Мещанскую слободу, где бойко торговал в овощном ряду. Благодаря оборотистости и изрядным способностям этот еврей был и сам взят в гостиную сотню. При Петре Великом он учредит первую в России мебельную фабрику, наладит широкую торговлю с Персией и Китаем. Сын же его Яков получит фамилию „Евреин", впоследствии „Евреинов" и станет при императрице Елизавете президентом Коммерц-коллегии. А их потомкам — уже „благородным" дворянам Евреиновым — суждено будет оставить заметный след в российской истории и культуре.

Можно назвать и других перекрестов, ставших родоначальниками славных российских дворянских фамилий — Шафировых, Веселовских, Копиевых, Аршеневских, Вистицких. Павел Шафир, пращур баронов Шафировых, дед знаменитого вице-канцлера при Петре I Петра Шафирова; Павел Веселовский, выходец из местечка Веселово, оказавший русским крупную услугу при осаде Смоленска; Степан Копиев, дед знаменитого комедиографа XVIII века; Николай Аршеневский, вступивший после крещения на русскую военную службу и ставший подполковником; братья Петр и Самуил Вистицкие, тоже пленённые под Смоленском (они фигурировали в бумагах того времени как „дети боярские", и сохранился документ с подписью „Шмула Вистицкий" на древнееврейском языке).

Среди евреев, достигших высоких степеней, выделяются потомки принявших крещение при прежних государях. Род с говорящей фамилией Жидовиновы, которые владели поместьями ещё при Иване Грозном. В одном историческом документе за 1551 год поименованы Фёдор Евстафьевич, Кузьма Фёдорович и Семён Федорович Жидовиновы как помещики в Твери. Жидовиновы Иван Тихонович, Иван и Роман Васильевичи в 1658 году названы московскими дворянами. А Богдан и Дементий Андреевичи Жидовиновы в 1652 году владели вотчинами — деревнями Боблово и Залужье в Воскресенской трети и деревней Андрюшино в Корнской волости Вологодского уезда. Но особенно поднялся Василий Степанович Жидовинов. В 1627 году он значился дворянином и смоленским помещиком, затем был русским послом в Кахетии,

позднее продолжал служить по дипломатической части и был царским приставом. Иноземец Андрей Роде рассказывает, как сей пристав, уже „человек преклонных лет", привечал в Московии датское посольство Ганса Ольделанда. Сын же этого Жидовинова, Иван Васильевич, занимал ещё более высокую должность — был главой московских стрельцов (по современным понятиям, это никак не ниже начальника московского военного округа).

Говорящей оказывается и фамилия Юдины, генеалогию которой израильский историк Савелий Дудаков возводит к крещёному еврею Афанасию Юдину, что вёл крупные торговые дела в царствование Ивана Грозного. Во времена же царя Алексея мы находим несколько дьяков Юдиных: дьяк Сибирского приказа Никита Юдин; дьяк Серебряной палаты Андрей Семенович Юдин; дьяк Алексей Никитич Юдин и другие. А другой Алексей Юдин, раскольник, выборный Выробина полка, станет потом правой рукой мятежного князя Ивана Хованского, начальника Стрелецкого приказа, и примет, как и князь Хованский, мученическую смерть.

Но наиболее впечатляющей в XVII веке была карьера человека по имени Алмаз с парадоксальной для еврея фамилией Иванов (1669)[1]. Он происходил из семьи вологодского торговца, посадского человека, и, по-видимому, был крещён при рождении и наречён Ерофеем, но его называли Алмазом даже в официальных документах.

Сызмальства он проявил интерес к торговле и, как отмечают очевидцы, занимался ею весьма успешно. В составе купеческих караванов и торговых судов Алмаз немало поколесил по свету и выучил в чужих краях турецкий и персидский языки. В 1639 году он целиком сосредоточивается на государевой службе, получив назначение на должность дьяка Казенного приказа; участвовал в отборе подарков, вручавшихся знатным иноземцам, контролировал ведение специальных книг посольских расходов. В 1646 году Иванова по настоянию царя переводят в Посольский приказ. Как сказал о нём посол Священной Римской империи барон Август Мейерберг, „при исполнении многих посольств [Алмаз] столько показал примеров хитрости, коварства, находчивости, что удостоен был должности смотрителя за тайным архивом царства, за иностранными послами и докладчика их посольств". А, по словам проницательного голштинца Адама Олеария, Иванов — „человек тонкий, способный, одаренный ясным умом и твердой памятью". Неудивительно, что в 1653 году его возводят в чин думного дьяка, то есть назначают главой Посольского приказа. Это был, между прочим, первый случай

[1] Следует, однако, отметить, что еврейство Алмаза Иванова оспаривается публицистом Виктором Остерцовым.

в российской истории, когда этнический еврей стал главой всего дипломатического ведомства державы (напомним, что впоследствии, уже в советской России, наркомами иностранных дел также будут евреи Лев Троцкий и Максим Литвинов).

Алмаз прослыл тонким знатоком русского дипломатического искусства и придворного этикета. На многих аудиенциях монарха, данных иноземным послам, Иванов неизменно представительствовал, выполняя по существу обязанности церемониймейстера. Трудно переоценить роль Иванова в решении украинского вопроса. В Золотой палате Кремля он торжественно принимал депутацию Богдана Хмельницкого. В документе той поры читаем: „И указал государь думному посольскому дьяку Алмазу Иванову посланникам объявить свое государево жалованье, что гетмана Богдана Хмельницкого и войско Запорожское пожаловал, велел их принять под свою государеву высокую руку". Что должен был испытывать еврей Алмаз, когда привечал погромщика Хмельницкого, на чьих руках была кровь десятков тысяч его соплеменников? Об этом история умалчивает...

В 1653 году востребованными оказались и коммерческие способности бывшего купца Иванова. Под его руководством был разработан и введен новый Торговый устав. Историки отмечают ревностную приверженность Алмаза царю и православию. Богомольность Иванова подтверждают и его многочисленные вклады в монастыри (в основном это были книжные пожертвования). И, что еще более важно, этому еврею было не только позволено, но и вменено в обязанность (нет, не вступать!) — врываться в самые заповедные области русской церковной жизни. Дьяк был уполномочен царем вести такое тонкое и деликатное дело, как переговоры с поляками об отмене Зборовской унии между католиками и православными, что потребовало от него недюжинных богословских познаний. И разве не удивительно, что царь, желая подчинить церковников своей судебно-гражданской власти, именно Алмаза назначил главой Монастырского приказа?! Ему было поручено чинить „суд во всяких истцовых исках на митрополитов, архиепископов, епископов, их приказных и дворовых людей, на монастыри и т.д.". Так перекрест вершил судьбы всего православного клира России.

И среди пастырей Русской церкви того времени можно было заприметить этнических евреев. Одним из них был просветитель, переводчик греческих и латинских церковных книг, составитель славяно-латинского лексикона иеромонах Арсений Грек (ок. 1610 – ок. 1666). Уроженец города Трикала, он был крещен при рождении. Вознамерившись обучаться философии, врачебному делу и богословию в Падуанском университете в Риме, Грек был вынужден принять католичест-

во, но затем, вернувшись на родину, громогласно проклял римскую веру. В 23 года он принял монашеский постриг, но жажда знаний привела его в Киевскую Академию, пользовавшуюся тогда славой цитадели славянского образования. Там молодого студиозуса завидел патриарх иерусалимский Паисий и в январе 1649 года взял его с собой в Москву. Арсений был удостоен должности „патриаршего уставщика" и одарен „царским жалованием", как вдруг открылось нечто ужасное: оказалось, что он обрезан, стало быть, принял басурманскую веру. За такое отступничество полагалась казнь смертная. Но Арсений заявил, что якобы „обусурманен неволею", потому был пощажён и сослан на три года на Соловки, старался смиренным поведением расположить к себе монашескую братию.

Из ссылки его вызволил новый патриарх Никон. Он остро ощущал нужду в образованных людях и поручил ему заняться „риторским учением", наставлять юношество и исправлять богослужебные книги. С именем Арсения Грека связывают учреждение в 1653 году первой в России школы с преподаванием греческого и латинского языков. Человек просвещённый, „многим языкам искусный", Арсений в то же время слыл человеком нетвёрдой морали, менял друзей, да и религиозные убеждения, исходя из удобства момента. Так, привеченный Никоном, он не преминул отвернуться от него, когда тот потерял власть и силу. Впрочем, конформизм Грека не уберег его от конфликтов с высшими иерархами церкви: по некоторым сведениям, с 1662 по 1666 годы он вновь находился в ссылке в Соловках. И среди старообрядцев и раскольников о нём сложилось мнение: „волхв, еретик, звездочетец, исполнен скверны и смрада езувитских ересей".

Английский историк Джон Клиер обратил внимание на то, что оба вождя церковного раскола в России имели контакты с евреями. И в самом деле, лидер старообрядцев протопоп Аввакум участвовал в дискуссии в доме боярина Фёдора Ртищева, на которой присутствовал некий „еврей Бацка", позднее обвинённый в пропаганде ереси жидовствующих. А низложенного патриарха Никона, находившегося в заключении в Воскресенском монастыре, с разрешения властей посещали „иноземцы, поляки, черкесы, белорусы и крещёные немцы с евреями".

Между прочим, скандальную известность получили дворовые слуги опального Никона, перекресты „Демьянка жид" и „жид Мишка" (Демьян Иванович Левицкий и Михаил Афанасьев). Последний в октябре 1666 года известил „государево дело", вследствие чего против Никона было учинено локальное следствие, которым руководил архимандрит Московского Чудова монастыря Иоаким. Никон узнал об извете на него только спустя пять лет и, конечно же, стал задним числом

хулить доносчика и прочих своих супостатов: „Да у меня же в Воскресенском монастыре были два жида крещёных и, оставя православную веру, начали они старую жидовскую держать и молодых чернецов развращать. Я, сыскав об этом подлинно, велел жида Демьяна посмирить и сослать в Иверский монастырь, а Демьян другому жиду, Мишке, сказал: не пробыть тебе без беды, беги в Москву и скажи за собою государево слово; тот так и сделал..., а в это время молодые чернецы, бывшие в жидовской ереси, покрали у меня деньги, платье и тем жидам помогали, да им же помогал архимандрит Чудовский". За совращение в жидовство, по законам того времени, преступника надлежало сжечь заживо. А здесь бывший патриарх сигнализировал о целом гнезде „жидовских еретиков" и покровительствовавшем им церковном иерархе. Но государь не внял словам Никона: евреев не наказал, а архимандрита Иоакима впоследствии возвёл на престол московских патриархов.



Познанский В. Богоматерь "Умягчение злых сердец". 1682
Крестовоздвиженская церковь. Кремль

Среди мастеров иконописи второй половины XVII века мы находим недюжинные еврейские таланты. Известный живописец Иван Башмаков прослужил в Оружейной палате шесть лет. По-видимому, фамилию он получил при крещении от своего восприемника, думного дворянина и печатника Дементия Башмакова. Сохранилась челобитная Ивана от 23 марта 1672 года, а также указ государя о том, что ему, Башмакову, дадено „на кафтан сукна кармазину, шапка, 4 чет. муки ржаныя для того, что он, Ивашко, оставя жидовскую веру и крестился в православную христианскую веру и отдан для иконного учения иконописцу Симону Ушакову".

Подлинных вершин искусства иконного писания достиг Василий Познанский. Как отмечают исследователи, в историю русской культуры он вошел как „единственный известный нам художник, который раз-

рабатывал в станковых произведениях сложную технику аппликации, соединения живописи и ткани, технику, которую применяли до него только в произведениях прикладного искусства". Он поступил в Оружейную палату двенадцатилетним отроком и искусился в „живописном деле" под руководством знаменитого Ивана Безмина. Известно, что в 1672 году Познанский „писал и золотил" царский дворец Коломенское. Позднее „написал вновь золотом и серебром знамя полковое по тафте лазоревой, с оба лица по кресту о пяти степенях, около крестов написано солнце да месяц с звездами, по каймам написаны травы золотыя с серебром, — в поднос великому государю недели святыя Пасхи". А в 1678 году числился уже в списке жалованных живописцев Оружейной Палаты.

А Иосиф Познанский, по-видимому, отец Василия, еврейский выходец из Смоленска, тоже замечательный иконописец, был учеником немца Иоганна Детерса. Интересно, что Иосиф принял православие только 1691 году, то есть на склоне лет. Стало быть, долгое время святые лики для божьих храмов было дозволено писать некрещёному еврею (?!).

Примечательна личность и судьба придворного царского доктора Даниила, или Стефана фон Гадена (1682), которого величали на русский манер Даниил Жидовин или Степан Фунгаданов. „По происхождению еврей, по вере московит, который пользуется необыкновенным расположением царя и один свободно посещает внутренние покои дворца (так как вместе с тем был и старшим спальником)", — говорили о нём современники. А некоторые из них прямо утверждали, что доктор внушал царю терпимость к народу Израиля.

Сын „дохтура Итальянские земли жидовские веры", он родился и жил в Бреславле, науке врачевания обучался в Польше. Отличался честолюбием и со свойственной ему изворотливостью устранял любые препятствия на пути к своей карьере: в Бреславле, где большинство населения исповедовало лютеранство, становится лютеранином; оказавшись же в католической Польше, — принимает католицизм. Определяется врачом к польскому гетману Николаю Потоцкому, но армия поляков терпит поражение, и Даниил попадает в татарский плен в Крыму. Там его продают в рабство османам в Константинополь, откуда он бежит с помощью одного еврейского купца и оказывается в Каменец-Подольском, где лечит поляков, сражавшихся с казаками под водительством сына гетмана Богдана Хмельницкого, Тимофея. Жительствует в живописном Черткове, близ Тернополя, где также практикует медицину. Там-то и настигли его в 1656 году русские, взявшие Чертков штурмом. Даниил попадает в Киев, в полк

воеводы Василия Бутурлина, и столь же ревностно, как он лечил поляков, врачует украинцев и великороссов. „И лечил государевых ратных людей, — вспоминал он впоследствии, — а излечил государевых ратных людей сто двадцать пять человек".



А.С. Матвеев

Бутурлин был самым тесным образом связан с боярином Артемоном Матвеевым (1625–1682), бывшим тогда начальником Малороссийского и одновременно Аптекарского приказа. О нём надо сказать особо. Сын дьяка Посольского приказа, Матвеев двенадцатилетним отроком был зачислен „жильцом" в военную службу; в 1642 году пожалован в стряпчие и приставлен к Алексею Михайловичу; в 1654 году получил назначение стольником и полковником; в 1671 году он стал ведать и Посольским приказом. Артемон слыл истым западником и национальными фобиями не страдал: среди его дворовых находились Иван-еврей с женой. Он женился на шотландке Гамильтон из Немецкой слободы, которую на русский манер стали звать Авдотья Григорьевна. При ней состояла и воспитывалась Наталья Кирилловна Нарышкина, будущая жена царя Алексея, что ещё более сблизило Матвеева с царём.

Именно Матвеев способствовал тому, чтобы Гадена перевели на службу в Москву. Даниил был принят цирюльником (фельдшером) в Аптекарский приказ — образованное в 1620 году учреждение, ведавшее управлением всей врачебной деятельностью державы. Благодаря уму и таланту Даниил добился того, что стал едва ли не самым авторитетным эскулапом при Дворе. Но на это ушли долгие годы. Звание доктора, самое высокое в медицинской иерархии страны, он получил только в 1672 году, когда крестился по православному обряду. Один только перечень подарков, полученных им от Алексея Михайловича по сему случаю, занял бы несколько страниц печатного текста. В числе прочего — золото, серебро, дорогие меха, шелка, бархат и т.д. Вместе с Даниилом принял православие и его сын Михаил и сразу же был пожалован царёвым стольником. Впрочем, историк Илья Берхин полагает, что принятие Гаденом греческой веры было только казовым, „внешним, каковые примеры нередки в сред-

невековой еврейской истории". Знаменательный факт — его мать осталась правоверной иудейкой и жительствовала в Смоленске, и царь не только позволял Даниилу ездить к ней на побывку, но однажды послал ей в подарок богатые меха.

Отметим, что добившись высокого положения, еврейский доктор использовал его во благо своим соплеменникам. Английский врач Самуэль Коллинс свидетельствовал: „Жиды с недавнего времени очень размножились в городе и при Дворе: им покровительствует лекарь-жид (почитаемый за лютеранского перекреста)". Это очень точное слово — „покровительствует"! Действительно, этот „перекрест" принимал под свой кров не только родственников, но и евреев, едва ему знакомых. Они часто гостили в его доме, и доктор добивался, чтобы при отъезде им давались казенные подводы и подарки — пушниной и деньгами. При нём был врач-ассистент Ян Гутменш (фамилия которого в переводе с идиш означает — "хороший человек"), также, по-видимому, еврейского происхождения. По словам историка Юлия Гессена, вокруг Гадена в Москве образовалась целая колония иноземных евреев. Способствовал он и тому, чтобы, несмотря на все строгости тогдашних законов, иудейские купцы приезжали в Москву с сукнами, жемчугом и другими товарами и получали комиссию от Двора. Так, согласно Новоторговому уставу (1667), в Москву пропускались только те иноземные купцы, у которых были государевы жалованные грамоты с красной печатью. И это благодаря Гадену иудеи могли добыть себе такие грамоты. Известно, что в 1672 году шкловские евреи Самуил Яковлев с товарищами отпущены были за рубеж для покупки венгерского вина.

Конец Даниила Гадена, как и его патрона Артемона Матвеева, был трагическим. Оба они в 1682 году были подвергнуты мученической казни, ибо „царевны Софьи Алексеевны стороне противны и подозрительны были". Причём еврейского доктора объявили первостатейным злодеем, якобы уморившим царя Федора Алексеевича ядовитым кушаньем. Обвинение странное, если принять во внимание, что все лекарства и блюда, прежде чем попасть к царю, непременно дегустировались челядью и врачами. Современник свидетельствует: „Разыскивали и лекаря жида Даниила, но не нашли его, потому что он, переодевшись в страннические одежды, пробрался на Кукуй [Немецкую слободу — Л.Б]". Но был узнан, схвачен и приведен на пытку в Константиновский застенок. Поэт Сильвестр Медведев так описывает зверства заплечных дел мастеров: „Доктора Даниила фон Гадена, родом Жидовина, выдали им предати ругательной смерти. Ох, беды, увы, жалости!... Крепко пыташа, биша и огнём жгоша и потом таможде выведше на Красную площадь, иссекоша на мелкие части". С Гаденом вместе были умерщвлены его сын Михаил, доктор Ян Гутменш,

которых „с красного крыльца сверху бросили на землю и, на земле такожде наругательно убив, иссекли, и нагих на ту же площадь выволокли", а заодно и слуги — пятьдесят человек простого люда. О том, как оплакивали Гадена его соплеменники, говорится в респонсах люблинского раввина Мордуха Зискинда Ротенберга, где приведено свидетельство о его погребении: „Я приехал в Москву через три или четыре дня после погрома... Даниил был изрублен на куски: отрублены были одна нога и одна рука, тело проколото копьем, а голова разрезана топором. Я и другие анусим [насильственно крещёные евреи — Л.Б.] похоронили Даниила и его сына... в поле...".

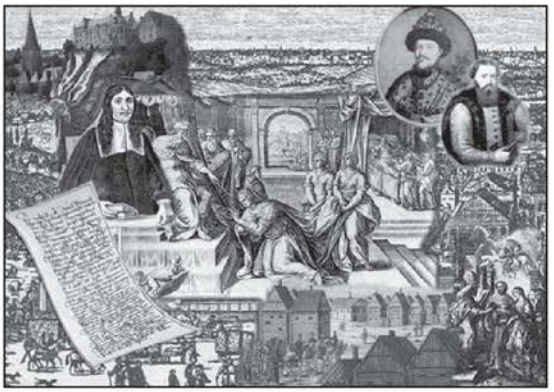
Но то будет спустя годы, а пока веселы и бодры православный государь Алексей Михайлович и его придворный эскулап Даниил Гаден. Царь спешит отметить рождение у своей молодой жены Натальи Кирилловны сына Петра, будущего великого преобразователя России, доселе небывалой у нас потехой. Получив добро на такую новину от своего духовника, он поддался, наконец, на уговоры своего ближнего боярина Артемона Матвеева:

Комидия в иных землях ведётся,
На свете нам немало образцов,
И стало быть, то недурное дело,
Когда она угодна государям
Таких земель, которым свет ученья
Открыт давно. И в нашем государстве
Комидию заводит царь великий
На пользу нам: народ её полюбит
И доброго царя добром помянет.
(Островский А.Н. „Комик XVII столетия")

Было решено представить на публике „комидию" по мотивам „Книги Есфирь". Надо сказать, что сюжет этой ветхозаветной книги с его сценичностью, конфликтностью, а также придворным характером действа как нельзя лучше подходил для яркого театрального представления. Ранее, в „политичной" Европе, по мотивам „Книги Есфирь" ставились и пользовались неизменным успехом пьесы Ганса Сакса (1536, 1559), Вальтена Войта (1537), Андреаса Пфейлшмидта (1555), Жозефа Мурера (1567), Маркуса Пфеффера (1626), а впоследствии и Жана Расина (1689). Вот и пастору Немецкой слободы Иоганну Готфриду Грегори поручили написать пьесу о Есфири и набрать группу актёров для обучения.

Наконец, в ноябре 1672 года в селе Преображенском была сооружена „комедийная храмина". Там и состоялось представление „Артаксерксово действо", в коем были заняты 64 человека — дети разных служилых и торговых иноземцев, а также дворовые Матвеева. Вот что со-

общает современник: „В комидии с государем была царица, царевичи и царевна — всё семейство, а также бояре, окольничие, думные бояре, думные дьяки, ближние люди, стольники и всяких чинов люди. Тешили государя и публику немцы да люди боярина Матвеева — и в органы играли и на фиолях и в страменты и танцевали". Государево место, выступавшее вперед, было обито красным сукном, а для царицы и царевен устроили особые места вроде лож с частой решёткой, сквозь которую они смотрели на сцену, оставаясь невидимыми (Домострой того требовал!) для остальных зрителей, сидевших на деревянных скамьях.



Ярхо В. Театр пастора И.Г. Грегори

На сцене строил ковы и каверзы вероломный Аман, убеждая царя персов Артаксеркса истребить евреев и, прежде всего, советника государя, иудея Мардохея, не пожелавшего идти против своей веры и воздать ему, первому сановнику, божеские почести. А мудрый Мардохей возглашал, что это ему да молодой жене Артаксеркса Есфири вверена судьба еврейского народа. Слышалась горячая молитва евреев об освобождении от врагов:

Подаждь же нам, да тя узрим
Израиля в возношении,
Врагов же в сокрушении!..
Израиль да радуется,
Усердно да веселится,
Бог ещё бо живёт прежный,
Иже тя спасёт от скорби.

Некоторые стихотворные монологи герои произносили на неведомом царю Алексею древнееврейском языке, придававшем „действу" особую торжественность. Видно, что над ними немало потрудились еврейские обитатели Немецкой слободы, не забывшие своего рода-племени. И радость спасённых евреев сопрягалась с весельем нынешних москвитян:

Радуйся ты с ними,
израилские гражданине,
Прииде, да попирай выю твоего врага...
Все глаголют:
Ей, ей, ей, ей!
Великая Москва с нами ся весели!

Алексей Михайлович смотрел пьесу с жадностью, не сходя с места, целых десять часов (!) кряду. Он остался весьма доволен увиденным и щедро наградил пастора Грегори. Государя впечатлила представленная здесь яркая картина придворной жизни с возвышением и падением всевластных фаворитов; вызвала сочувствие судьба народов, зависящая от каприза очередного временщика; тронул сердце и трагический образ нежной Есфири, выступившей в защиту своего гонимого племени. Близка и понятна была основная идея пьесы, её моралистическая сентенция, изложенная в прологе: *„гордость сокрушается, и смирение венец приемлет"*.

Примечательно, что „Артаксерксово действо" обнаруживало разительные параллели с российской действительностью. Артаксеркс непосредственно сравнивался с царем Алексеем Михайловичем, а его супруга Наталья Нарышкина — с иудейкой Есфирью. Но вряд ли потому, что прадедом её был караим (то есть этнический еврей) Нарышко (об этом едва ли кто помнил) — Наталья, московская Есфирь, так же, как и ветхозаветная, происходила из незнатного рода, была второй женой царя и притом сияла молодостью и ослепительной красотой. Сопоставление же её родственника и опекуна, ближнего боярина Тишайшего Артемона Матвеева с советником царя персов Мардохеем тоже было весьма прозрачно.

Едва ли сочувствие к богоспасаемым персидским евреям („людям божьим") распространялось зрителями, да и самим царём на реальных современных „жидов", получивших после распятия Спасителя имя „богоубийц". О какой-либо преемственности между ними и древними их пращурами говорить здесь трудно. И слова Артаксеркса: „жиды безо всякой злобы и вреда поживут", обращались в метафору. Лютеранский пастор и его единоверцы-актёры проводили тогда иную очевидную аллюзию: как Артаксеркс некогда избавил от гибели израильтян, так и Алексей приютил в Москве протестантов. А на некоторых изображениях XVII века герои истории Есфири представлены в традиционных русских одеждах. Как будто вовсе не об иудеях шла здесь речь. А смысл в том, что в России под скипетром Тишайшего прозелита, царя всея Руси Алексея Михайловича, „безо всякой злобы и вреда поживут" православные христиане.

ИМПУЛЬСИВНЫЙ ПРАГМАТИК
ПЕТР I

Пожалуй, нет кроме Петра Великого ни одного монарха в России, чье отношение к иудейскому племени толковалось бы столь неоднозначно и противоречиво. Характеристики поражают своей полярностью. Почвенник Анатолий Глазунов утверждает, что сей император „жидов не терпел" и считал их „нежелательным элементом". А израильский писатель Давид Маркиш, напротив, говорит о завидной веротерпимости Петра и вкладывает в его уста такие обращенные к иудеям слова: „Что ж это, вы тут гуляете, Пасху свою жидовскую празднуете, а меня и пригласить забыли!.. Мне на вашу Пасху поглядеть весьма любопытно и даже полезно для общего знания" (и в довершение сего царь надевает на голову ермолку). Парадокс, однако, в том, что для этих взаимоисключающих (и с явным перехлестом) оценок есть свои резоны, ибо великий реформатор России в разных жизненных ситуациях вел себя по-разному, демонстрируя то благодушие к народу Израиля, то нескрываемую антипатию. Возникает вопрос, где же истинный Петр Алексеевич: когда он кривил душой, а когда прямо выказывал то, что было на сердце? Да в том-то и дело, что сей самодержец, натура импульсивная, взбалмошная, был искренен во всех своих проявлениях — и когда чествил иудеев, и когда защищал их...



Пётр I

Но разговор этот логичнее всего начать с курьеза, а именно со спекуляций по поводу этнических корней самого царя. В последнее время на интернетовских порталах и сайтах нередко стали появляться репли-

ки, иногда весьма едкие, о том, что государь-то батюшка, оказывается, по материнской линии „хазарин", „караим", „еврей". Причем ревнители чистоты русской крови прямо указывают на то, что он был „жгучим брюнетом", и „лицо Петра Первого — это явно не славянское лицо". Поиски инородческого следа в происхождении императора получили особенно сильный импульс после выхода в свет двух книг американского литератора Р.И. Слободчиковой: „Романовы, Нарышкины и их потомки" (2007) и „Не родись красивой, или Заложницы судьбы" (2008). Их автор, потомок рода Нарышкиных, к коему принадлежала мать Петра Наталья Кирилловна, воссоздала его генеалогию и отметила, что основателем династии был крымский караим Нарышко, принявший православие и ставший окольничим московского князя ИванаIII. Род Нарышкиных, давший Отечеству немало замечательных государственных, военных, политических деятелей, дипломатов, ученых, литераторов, был разветвленным и многочисленным. Однако то, что восходит он к караимам, отнюдь не было открытием Америки. Об этом писали и прежде многие видные российские историки, среди них Н.М.Карамзин, В.О.Ключевский, В.В.Нехлюдов, М.А. Миллер, М.И.Артамонов, так что в который раз новое оказывается хорошо забытым старым.

Занимались сим вопросом и исследователи-караимы М.С. Шапшал и М.М. Казас. А известный меценат, основатель „Караимской народной энциклопедии", академик М.С. Сарач утверждал, что Романовы знали о своем караимском происхождении и чтили память своего предка Нарышко, чем он объясняет и благожелательность к караимам всей царской династии. Однако нет решительно никаких данных о том, что Петр подозревал о своем караимском, а соответственно, еврейском пращуре (ведь, согласно господствующей версии, караимы — этнические евреи). К тому же родство это было столь отдаленным (Нарышко приходился ему прапрадедом), что совершенно невозможно судить по нему о национальной принадлежности матери царя и тем более самого Петра Алексеевича. И вполне очевидно, что это, в глазах антисемитов, „сатанинское семя" в родословной царя никак не могло повлиять на его отношение к иудеям.

Но Петра Великого уличали в еврействе не только бдительные интернетовские информаторы, но и его современники — противники его грандиозных реформ. И это, по мнению историков, оказало на позицию Петра I по сему вопросу самое непосредственное воздействие. Староверы с целью дискредитации ненавистного им монарха объявили его Антихристом, который „соберет всех жидов, поведет их в Иерусалим и будет там царствовать над ними". Примечательно, что и об упразднении

Петром патриаршества и учреждении Святейшего Правительствующего Синода будут говорить: „Вместо него жидовский синедрион учредил, еже есть духовный синод". А предпринятую по инициативе царя всеобщую перепись жителей России станут сравнивать с переписью населения, проведенной в Иудее Октавианом Августом в начале новой эры.

Досужие толки „супротивников" по сему поводу воссозданы в III части трилогии Д.С. Мережковского „Антихрист (Петр и Алексей)":

„ — А что, правда ли, слыхала я давеча... государя же нынче на Руси нет, а который и есть государь — и тот не прямой, природы не русской и не царской крови, а либо немец, либо швед обменный?

— Не швед, не немец, а жид проклятый... — объявил старец Корнилий...

— Я, батюшки, знаю, все про государя доподлинно знаю, — подхватила Виталия, — ...как де был царь наш благочестивый Петр Алексеевич за морем в немцах и ходил по немецким землям, и был в Стекольном, а в немецкой земле стекольное царство держит, и та девица, над государем ругаючись, ставила его на горящую сковороду, а потом в бочку с гвоздями заковала, да в море пустила.

— Нет, не в бочку, — поправил кто-то, — а в столп закладен.

— Ну, в столп ли, в бочку ли, только пропал без вести — ни слуху ни духу. А на месте его явился оттуда же, из-за моря же, некий жидовин проклятый из колена Данова, от нечистой девицы рожденный. И в те поры никто его не познал. А как скоро на Москву наехал, все стал творить по-жидовски: у патриарха благословения не принял; к мощам московских чудотворцев не пошел, потому что знал — сила Господня не допустит его, окаянного, до места свята... Да он же, проклятый жидовин, с блудницами немками всенародно пляшет; пьет вино не во славу Божию, а некако нелепо и безобразно, как пропойцы кабацкие, валяясь и глумясь в пьянстве: своих же пьяниц одного святейшим патриархом, иных же митрополитами и архиереями называет, а себя самого протодиаконом, всякую срамоту со священными глаголами смешивая, велегласно вопия на потеху своим немецким людям, паче же на поругание всей святыни христианской".

Стоит ли говорить об абсурдности отождествления еврейства и оргий Всепьянейшего Собора? Нелепость и вздорность таких инвектив не мог не понимать и сам Петр. Тем не менее, он стремился избежать упрека в „жидовском" характере своих реформ. И, как отмечает историк, подобные разглагольствования „могли повлиять на решение Петра не приглашать евреев в Россию... Во всяком случае, в своем манифесте за 1702 год о приглашении в Россию „искусных" иностранцев Петр I сделал оговорку: „кроме евреев".

Следует признать, что к евреям как к этносу он относился без особых симпатий. И, запрещая им селиться в России, он, конечно, не мог не принять в расчет нетерпимость к иудеям православных церковников, взгляды коих достаточно красноречиво выразил ректор Киевского духовного коллегиума Иоанникий Галятовский: „Мы, христиане, должны ниспровергать и сожигать еврейские божницы, отнимать синагоги и обращать их в церкви, изгонять [иудеев] из городов, убивать мечом, топить в реках". Как заметил историк И. Зайдман, в Великороссии не было евреев, „потому что в ней веками существовал антисемитизм — несмотря на отсутствие евреев, в то время был старый добрый [религиозный] антисемитизм".

Однако во взглядах Петра можно усмотреть и влияние протестантизма. Ведь известно, что еще в юности царь пропадал в Немецкой слободе, где усвоил протестантскую религиозность и начала европейского мировоззрения. Монарх объявил себя учеником Запада и не расставался с портретом М. Лютера, автора антисемитского трактата „Против евреев и лжи" (1543), осуждавшего иудаизм и призывавшего изгонять евреев, разрушать их жилища, конфисковать их священные книги. И многие протестантские пастыри в Европе (не говоря уже о католических прелатах) проповедовали с амвона презрение и ненависть к народу Израиля. И то были не только слова! Сколько дискриминационных инструкций и предписаний измыслили для евреев досужие бюрократы-юдофобы! Очень поднаторел в этом „сумрачный германский гений", воплотившийся, впрочем, во вполне конкретном драконовском законодательстве. Вот муниципалитет Франкфурта-на-Майне заставляет иудеев носить отличительный знак, запрещает бродить по улицам без цели и во время христианских праздников, гулять вдвоем, отовариваться на рынке раньше, чем это сделают христиане, попадаться на глаза владетельному герцогу. А крючкотворы из Гамбурга регламентируют количество гостей за еврейским столом, виды подарков, а также разрешенные блюда. Но всех переплюнули австрийские кувшинные рыла: для сокращения популяции нехристей они издают закон, согласно которому только старший сын в каждой еврейской семье имеет право вступать в брак (остальные должны холостяками век вековать). И ведь закон сей действовал и в Богемии, и в Моравии, в Пруссии, Палатинате, Эльзасе!

Судьба большинства иудеев во многих европейских странах была весьма незавидной. В то время как горстка их утопала в роскоши, служа факторами и банкирами при дворах королей, герцогов и курфюрстов, еврейские же массы были заперты и отгорожены от мира стенами гетто, нередко подвергались нападкам агрессивной черни, науськанной на

погромы „христолюбивыми" церковниками. Во Франции, например, где существовал эдикт об изгнании евреев (подтвержденный в 1615 году Людовиком XIII), сыны Израиля находились фактически на полулегальном положении. Кстати, попытки изгнания евреев предпринимались в Европе и после Петра I. Так, в 1744 году это учинила в Богемии императрица Мария-Терезия, громогласно объявив: „Впредь ни один еврей, независимо от того, кто он такой, не будет оставаться здесь без моего письменного разрешения. Я не знаю никакой другой злополучной чумы внутри страны, как эта раса, которая разоряет народ хитростью, ростовщичеством, одалживанием денег и занимается делами, отталкивающими честных людей".

Отсюда ясно: европеизм и протестантская ориентация Петра не только не исключали враждебности к евреям, а, напротив, ей способствовали. Так что, с какой стороны ни посмотри (с западной или с доморощенной, российской), антисемитская тенденция все равно выплывает наружу. То было знамение времени, и Петр Великий был у этого времени в плену.

Впрочем, была в ту пору страна со свободой вероисповедания и общинной автономией, куда стекались иудеи со всех концов Европы — Голландия. В 1698 году к Петру в Амстердаме обратился бургомистр города Н. Витсен с просьбой разрешить въезд в Россию еврейским купцам. „Мой друг, — ответил ему царь, — вы знаете нравы и обычаи евреев, а также знакомы с русскими. Я также знаю и тех, и других, и поверьте мне: еще не пришло время для встречи этих двух народов. Скажите евреям, что я благодарю их за их предложения и понимаю ту выгоду, которую мог бы извлечь..."

Прервем пока цитату. Видно, никакой религиозной подкладки в ответе царя нет. Примечательно и то, что Петр говорит о своем знании нравов и обычаев иудеев (не вполне, правда, понятно, сколь глубоки сии знания, понаслышке ли или из первых рук получены, и где он их приобрел). Но интерес царя к еврейству очевиден, и когда у писателя Д. Маркиша Петр заявляет о полезности знания религиозных обрядов евреев, он говорит сущую правду, ибо верен своему реальному прототипу. Важно и то, что царь говорит об очевидной выгоде, приносимой евреями державе. Далее следует замысловатый отказ царя. Почему? „Мне было бы их жаль, — говорит Петр о евреях, — если бы им пришлось жить среди русских". В другом варианте эта фраза продолжена: „Хоть и говорят, что жиды в торговле всех надувают, но не думаю, чтобы они провели моих русских"[1].

[1] Любопытно, что те же забавные аргументы приводит секретарь посольства императора Леопольда I к Петру I И.Г. Корб: „В Московии некрещеные евреи жить не мо-

Может показаться, что Петр печется здесь не столько о русских, сколько о еврейских интересах. Ан нет! Это лишь дипломатическая увертка, ибо в другом месте царь говорит недвусмысленно: „Народ мой и без того плутоват, а дозволь переселиться евреям, они окончательно его развратят". И категорично заявляет: „Я хочу видеть у себя лучше народов магометанской и языческой веры, нежели жидов. Они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не располажаю. Не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о том они ни стараются и как ближних ко мне ни подкупают". Нельзя не сказать, что в подобной оценке сказались заскорузлые представления той эпохи о коммерции и ростовщичестве, коими было дозволено заниматься евреям и в чем они преуспели, как о махинациях жульнических и презренных (сейчас это называется бизнесом и никакого отторжения не вызывает).

Примечательно, однако, что Петр не изгонял иудеев из областей, ранее относившихся к Речи Посполитой и присоединенных к России при его отце, „Тишайшем" Алексее Михайловиче. Кроме того, как отмечает исследователь А.А. Мялеховецкий, он „вполне благожелательно относился к евреям новоприобретенных областей Прибалтики". При этом подчеркивал, что там, где евреи водворены, следует, не изгоняя их, стараться извлечь из них возможную пользу для Отечества.

Известно, что царь был резок и невоздержан на язык. С его уст нередко слетали слова, что евреи, дескать, „подлая орда" и „бездельные люди". На практике же он нередко вникал в жизнь этих людей и даже оказывал им посильную помощь. Известно, что в 1708 году во время пребывания в Мстиславле Петр посетил городскую синагогу, интересовался вопросами веры и долго расспрашивал о житье-бытье местных иудеев. Когда же узнал от них, что его русские солдаты мародерствуют и чинят насилие, приказал вздернуть на виселицу 13 виновных. Вот что повествует об этом Кагальная книга города „на память грядущим поколениям": „28 элула 5468 года пришел Кесарь, называемый царь Московский, по имени Петр сын Алексея, со всей толпой своей — огром-

---

гут, потому, как говорят Москвитяне, что было бы странно, если бы от них, Москвитян, религией отличались те, в нравах и поведении которых оказываются не менее замечательная хитрость и способность к обману" (Корб И. Г. Дневник поездки в Московское государство... М., 1867, с. 281). Австрияка И. Г. Корба можно было бы, конечно, обвинить в русофобии, но он ссылается на мнение самих москвитян, а это уже заставляет призадуматься. Примечательно, что нечто подобное высказал ранее секретарь голштинского посольства при царе Михаиле Федоровиче Адам Олеарий в книге „Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно" (1656): „Многие из [русского] купечества довольно похожи на жидов". Интересно, что впоследствии классик марксизма Ф. Энгельс заметит: „После русского купца трем евреям делать нечего"

ным, несметным войском. И напали на нас из его народа грабители и разбойники, без его ведома, и едва не дошло до кровопролития. И если бы Господь Бог не внушил царю, чтобы он самолично не зашел в нашу синагогу, то наверное была бы пролита кровь. Только с помощью Божьей спас нас царь и отомстил за нас, и приказал повесить немедленно тринадцать человек из них, и успокоилась земля". Так Петр I лично встал на защиту евреев.

В другой раз царь примерно наказал рейтара Карпа Кизилова, который в 1701 году „местечка Белогородки у жителя евреина деньги и всякую рухлядь крал, и в этой покраже был пытан и бит кнутом". Сообщалось, что „покраденные деньги и рухлядь сысканы и отданы истцу".

Впрочем, далеко не всегда монарх оказывал иудеям внимание. Рассказывают, что, когда Петр в 1706 году был проездом в Могилеве и „евреи могилевские пришли встретить его хлебом и живого осетра в чане принесли государю; но государь на них и не взглянул, только хлеб велел от них принять".

Порой импульсивный царь делал заявления многообещающие, но безответственные: „Для меня все едино, был ли человек крещен или обрезан, лишь бы отличался порядочностью и хорошо знал дело". На деле же некрещеные евреи при Петре в Россию, как правило, не допускались. Отдельные исключения подтверждают правило. Это царский фактор Израиль Гирш и его сын Зундель, торговец Самсон Соломон, аптекарь Абрам Рот, купец Леви Липман и откупщик Борух Лейбов.

Но знаменательно, что, когда российские войска занимали города, где проживали иудеи, Петр не только не гнушался сотрудничеством с ними, но иногда отдавал им предпочтение перед местным христианским населением. В „Листе Его Величества Петра Алексеевича войску", датированном 27 мая 1707 года, он приказал, чтобы никто препятствий не чинил „стражнику гродненской коморы, еврею Мовшу Шмойловичу", на коего возлагалась ответственная канцелярская работа. Отметим и царский указ фельдмаршалу Б.П. Шереметеву от 28 января 1707 года об учреждении почты в Мозыре (этот город относился тогда к Речи Посполитой, и в нем закрепились русские). „А почту положить на жидов, — распорядился монарх, — а где нет (жидов), на жителей тамошних". Интересно, что почин проницательного Петра использовать евреев как почтарей будет подхвачен в России. В войне с Наполеоном неоценимую помощь русской армии окажет так называемая „жидовская почта", созданная еврейскими торговцами (почтовыми станциями служили корчмы) и передававшая информацию с невиданной в то время быстротой.

Но в чем великий реформатор был действительно революционером — он впервые и единственный раз в истории России — до реформ Александра II — ввел в высшие коридоры российской власти значительную группу евреев крещеных. Если учесть, что православная церковь традиционно относилась к таким выкрестам подозрительно (как об этом писал ортодокс Юрий Крижанич: „Если Русское царство когда-нибудь погибнет, то оно примет гибель от перекрестов и их потомков"), решение это действительно может показаться беспрецедентно смелым. Существенно, однако, заметить, что и при отце Петра, Алексее Михайловиче, иные выкресты занимали важные государственные посты; и сей царь всемерно поощрял крещение евреев (напомним, когда его придворный врач Даниил фон Гаден принял православие, то был осыпан дорогими подарками, один перечень коих занял бы несколько страниц). Однако при Петре число выкрестов во власти столь возросло, что количество переходит в качество. И в этом может быть усмотрена и смелость, и широта мышления великого реформатора, впрочем, вполне согласные с его программной установкой выдвигать человека „по годности", а не по происхождению.



П.П. Шафиров

Вот наиболее приметные из крещеных евреев — надежная опора царю в проведении модернизации страны. Фактическим главой дипломатического ведомства был вице-канцлер П.П. Шафиров, кавалер ордена Андрея Первозванного, спасший Отечество в 1711 году от унизительных условий мира с Оттоманской Портой. Первым обер-полицмейстером Петербурга был выходец из Голландии А.М. Дивьер, заслуги коего перед северной столицей неоспоримы. А первым почт-директором был Ф.Ю. Аш — он проработал на сем ответственейшем посту 67 лет! Пригодились России и братья Веселовские, двое из которых стали видными дипломатами, а третий обучал русскому языку великого князя Петра Федоровича. Нельзя не упомянуть и камердинера царя П. Вульфа, дослужившегося до высокого чина тайного советника, начальника тайного сыска А. Вивьера и т. д.



Ян Лакоста

Замечательную роль играл при дворе и любимый шут императора Ян Лакоста, которо-

го Петр пожаловал потешным титулом самоедского короля и подарил ему остров Соммерс в Финском заливе. Этот крещеный еврей цитировал наизусть целые главы из Священного Писания.

Некоторые выкресты прямо ходатайствовали перед царем за своих соплеменников, пытаясь примирить национальное чувство с интересами империи. Так, резидент посольства в Лондоне А.П. Веселовский убеждал Петра I принять на российскую службу иудеев-врачей, поскольку страна остро нуждалась в квалифицированных медиках. П.П. Шафиров занимал для императора большие деньги у евреев-банкиров и испрашивал у царя разрешения открыть еврейские торговые конторы в России, на что, кстати, получил согласие (сделка сорвалась по иным причинам).

С каждым из верноподданных, близких к трону, у императора складывались свои особые отношения, в коих национальность едва ли играла заметную роль. Когда влиятельный гоф-хирург, француз И.-Г. Лесток, соблазнил дочь шута, еврея Яна Лакосты, царь наказал обидчика, сослав его под крепкий караул, без права переписки в Казань, где тот провел в ссылке долгие пять лет! Однако руководствовался Петр исключительно чувством справедливости, и никакой национальной подоплеки здесь нет и в помине. Показательно, что на родплемя соратников Петра обращали внимание разве что сторонние наблюдатели. Так, один шведский дипломат писал в депеше от 21 декабря 1716 года из Амстердама, где находилось тогда русское посольство, что Петр „окружен совершенно простым народом; в числе его перекрещенец еврей" (речь, по-видимому, идет о П.П. Шафирове).

Могут сказать, что с некоторыми придворными евреями царь обошелся весьма жестоко. Тот же вице-канцлер П.П. Шафиров был приговорен к смертной казни и уже положил голову на плаху, когда услышал „милостивое" петровское повеление о том, что он, лишаясь всех чинов и орденов, отправляется с семьей в ссылку и на содержание им отпущено аж 33 копейки в день. А братья А.П. и Ф.П. Веселовские, ожидая расправы, убоялись вернуться в Россию и стали первыми дипломатами-невозвращенцами. Однако никакой антисемитской подоплеки в действиях Петра не было, ибо точно таким же образом поступал император и с провинившимися коренными русаками. Шафирову, к примеру, вменялось в вину казнокрадство, завышение почтовой таксы, укрывательство беглых крепост-



А.П. Веселовский

ных; А.П. Веселовскому (правомерно ли или нет) потворство бежавшему в Австрию от Петра I царевичу Алексею, а резиденту Ф.П. Веселовскому — сокрытие в Англии его опального брата. Как говорил Петр, „чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги, ежели в сию вину впадет".

Уместно обратиться к мотивам поступков ближайшего сподвижника Петра А.Д. Меншикова. Сын конюха, светлейший князь, которого называли левой, „сердечной" рукой царя, был в сердце, в отличие от Петра, откровенным антисемитом. Когда А.М. Дивьер стал просить руки его сестры, Меншиков пришел в такое неистовство, что нещадно отлупцевал жида, и только усилиями Петра этот „неравный" брак стал возможен. Однако после кончины императора Меншиков поквитался и с ненавистным шурином (упек его в Якутскую глухомань), и с ослушницей-сестрой, которую сослал с детьми-жиденятами в дальнюю деревню. Именно Меншиков инициировал в Сенате обвинение П.П. Шафирова в сокрытии своего еврейского происхождения и покровительстве „жидовской родне". Когда же Петр I находился в беспамятстве на смертном одре, светлейший 26 января 1725 года дал ему на подпись указ о лишении евреев откупов на Смоленщине, который царь подмахнул. Полагают, что именно Меншиков стоял за указами Екатерины I от 14 марта 1727 года о высылке евреев из Смоленского края за рубеж и от 20 апреля 1727 года об изгнании всех иудеев из Российской империи. А при императоре Петре II, на заседании Верховного Тайного Совета, именно Меншиков бросил фразу, которую сегодня охотно цитируют „патриоты": „Жидов в Россию ни с чем не впускать!"

Убежденный антисемит, Меншиков может быть противопоставлен Петру I, который к евреям относился без особых предубеждений. Однако известен случай, когда на одной из ассамблей дочь барона Шафирова отказалась от предложенной царем чарки водки. „Я тебя выучу слушаться, жидовское отродье!" — прорычал взбешенный монарх (а в гневе он был невоздержан и крут!) и отвесил строптивой девице две увесистые пощечины.

Но таковы были реалии той эпохи: хоть и твердили, что человек ценится по заслугам, а не по породе, на евреев сие правило распространялось далеко не всегда. „Жидовская порода" считалась чем-то постыдным. Вот, к примеру, гетман И.С. Мазепа узнает, что императору из Полтавы поступил донос от Петра Яценко с обвинением его, гетмана, в государственной измене. Но Мазепа-то калач тертый, знает, как очернить изветчика половчее. Он сразу же берет быка за рога и в письме от 24 февраля 1708 года пишет царю: „Человек худородный, с Жида перехрист, прозываемый Петр Яценко... В Ахтырском полку промыс-

лами, по обыкновению жидовскому, арендовыми упражняющийся... подал за рукою своею все лжи превосходящую сказку, будто я Вашему Царскому Величеству неверен". То, что Яценко, „по обыкновению жидовскому", не „сказку" баял, а чистую правду говорил, выяснится позднее. Петр повелит отчеканить для предателя специальный орден Иуды, которым вознамерится наградить Мазепу перед повешеньем. И если бы не скоропостижная смерть гетмана в турецких Бендерах, висеть бы ему, как Иуде, на осине, да еще в придачу с презренным наградным знаком в петлице. Но в рассматриваемое нами время вероломный гетман оправдался перед царем, а его разоблачители (В.Л. Кочубей, Искра) подверглись мучительным казням; „худородный" же П.Я. Яценко был допрошен с пристрастием, а потом сгинул бесследно, быть может, повторив участь своих злополучных сотоварищей.

Говоря об Украине, нельзя не упомянуть указа Петра 1708 года о дозволении еврейским купцам въезжать только в Киев и продавать там товары оптом, а также его распоряжений о высылке с левобережья Днепра и из Киева всех находившихся там иудеев (помещики и казацкие старшины, понимая пользу иудеев, саботировали эти решения). Однако меры эти были вызваны экономическими резонами, а именно борьбой с контрабандной торговлей, и распространялись, конечно, не только на евреев...

Хотя взгляды Петра на еврейский вопрос отличает непоследовательность, а его поступки противоречивы, все же невозможно согласиться с антисемитами, объявившими великого реформатора России своим ревностным единомышленником. Тот же А. Глазунов заявляет: „Как православный, русский император, он не мог относиться к жидам благожелательно. Жиды были для него — враги Христовы. Жиды были для него — враги русского народа. Жиды были для него — враги Православной Российской империи". На самом же деле император благожелательно относился ко многим евреям, которых возвел на высшие должности Российской империи, и хотя считал, что время для исторической встречи русского и еврейского народов еще не настало, понимал выгоды от сотрудничества с иудеями на благо своих соотечественников. В этом вопросе он, несомненно, был прагматиком, а учитывая его взрывной характер и непредсказуемость поведения, Петр Великий вполне может быть назван импульсивным прагматиком. Но он всегда действовал в интересах государства и народа России.

КАРМАННАЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА I

На излете царствования Екатерины I Алексеевны грянули два монарших указа, направленные на полное и безусловное изгнание из России всех иудеев. Надо сказать, что и ранее, при Петре Великом, отношение к евреям было трудно назвать благосклонным: им возбранялось не только жительствовать, но и въезжать на территорию империи (исключение делалось лишь для иудеев из свиты герцога Карла-Фридриха Гольштейн-Готторпского и австрийского графа Шато де Бюсси-Рабутина). Но на ослушников при Петре иногда смотрели сквозь пальцы, и для них находились законодательные послабления.



Ж.М. Натье.
Портрет Екатерины I 1717 г.

Показательно в этом отношении дело откупщика и предпринимателя Боруха Лейбова из сельца Зверовичи на Смоленщине, о чем мы подробно расскажем в главе „Казнить смертью и сжечь". Здесь же лишь отметим, что, несмотря на требования недоброхотов, в Петровское время этого проштрафившегося иудея никто не стал выселять из родных пенатов. Сенаторы сослались на узаконения Тишайшего царя Алексея Михайловича о том, что всем лицам, проживавшим в присоединенных от Польши областях (и евреям в том числе), разрешено оставаться на прежнем месте. При этом и иудеи,

осевшие там ранее, не подвергались ограничениям в правах жительства, торговли и промыслов в России. Потому донос, в коем говорилось о якобы незаконном их пребывании в крае, заключал в себе одну только ябеду на власти и в расчет принят не был.

Но с восшествием на престол Екатерины все круто переменилось, и для сынов Израиля наступили самые лихие времена. Преданное, казалось, забвению дело еврейского откупщика снова вышло наружу и решилось наново, и крайне неблагоприятным образом, причем не только для него одного. Монарший указ от 14 марта 1727 года повелевал выслать всех иудеев за рубеж из сельца Зверовичи, а „сборы отдать на откуп всем, кроме жидов". Мало того, новая метла вымела евреев из всех сопредельных городов и селений.

Новация заключалась в том, что если ранее, при Петре, присутствие иудеев было терпимо на Смоленщине, да и на Украине, то теперь известие об их проживании в империи стало восприниматься в штыки и побуждало Петербург к строжайшим репрессивным мерам. Как отметил историк Юлий Гессен, именно „в связи со смоленскими событиями было решено удалить евреев и из других областей". И действительно, не прошло и двух месяцев после выселения Лейбова со товарищи, как последовал другой именной указ императрицы, относящийся уже ко всем без исключения представителям еврейского племени: „Сего 20 апреля Ее Императорское Величество указала: жидов, как мужеска, так и женска пола, которые обретаются на Украине и в других Российских городах, тех всех выслать вон из России за рубеж немедленно, и впредь их ни под какими образы в Россию не впускать и того предостерегать во всех местах накрепко". Евреев стали повсеместно выселять из России. При этом все их серебряные и золотые монеты принудительно менялись на медные.

Что же одушевляло антисемитское законотворчество Екатерины? Виной ли тому свойственная ей религиозная нетерпимость, или же своим рьяным усердием на ниве борьбы с иноверцами она рассчитывала снискать популярность и любовь подданных? Так или иначе, придется выяснить, насколько самостоятельна была она в своих действиях и к чьим советам прислушивалась. И разговор следует начать с ее происхождения и воспитания, дающих ключ к пониманию личности будущей первой российской императрицы.

Придворные панегиристы тщились навести тень на плетень и облагородить пращуров этой монархини, приписывая ей дворянскую кровь хотя бы со стороны отца, коим объявляли то подполковника шведской армии Розена, то полковника Иоганна Рабе, то лифляндского дворянина Афендаля, якобы согрешившего с простолюдинкой. Од-

нако происхождения она была самого низкого. Родителем ее был Самуэль (Самуил) Скавронский — крестьянин-католик, уроженец Минска, обосновавшийся в Лифляндии. Некоторые биографы аттестуют его „ливонским обывателем", но большинство сходятся на том, что он был крепостным и занимался преимущественно земледелием, хотя время от времени пробавлялся ремеслом (не гнушаясь и приработком гробокопателя). По одной версии, первой его супругой была Доротея Ган, которую иногда называют матерью нашей героини и ее двух сестер и трех братьев. Согласно другим данным, в 1680 году вдовый Скавронский в Якобштадте (ныне Екабпилс) обвенчался с Елизаветой Мориц, и не исключено, что все эти дети — от второго брака.

Достоверно известно: будущая российская императрица родилась в городке Ринген (Ливония) 5 (15) апреля 1684 года и была наречена Мартой. Ей не исполнилось и трех лет, как семью стали преследовать жестокие несчастья. От морового поветрия, свирепствовавшего в Лифляндии, умерли ее отец, а затем и мать. Девочка-сирота была взята в Круспилс, к родной тетке Катерине-Лизе, бывшей замужем за курляндцем, лютеранином Яном Василевским. Но жить там ей довелось недолго: после кончины кормильца и добытчика Василевского в 1691 году, ее тетке пришлось избавляться от лишнего рта, и Марту отдают на воспитание сначала к роопскому пастору Дауту, а затем в приют Николая Экка при рижской церкви св. Иоанна. Можно предположить, что именно здесь, в Риге, она впервые увидела иноземцев с пейсами, в широкополых круглых шляпах и черных одеждах. То были заезжие еврейские купцы, прибывшие в портовый город лишь на время, по торговым делам; останавливаться же им дозволялось на особом еврейском подворье. Когда такой странноватый индивид проходил мимо, слышалось неодобрительное шушуканье, а самые дерзкие мальчишки-сорванцы улюлюкали ему вслед что-то бранное. Причины этой стойкой враждебности девочка понять еще не могла, но вид чужака-инородца едва ли вызывал у нее теплые чувства.

В рижском приюте ее заприметил пастор Иоганн Эрнст Глюк (1654–1705) и взял к себе в Мариенбург (ныне Алуксне, Латвия, на границе с Эстонией). Сейчас трудно сказать, почему этот выдающийся миссионер, просветитель и культуртрегер, переведший Библию на латышский и русский языки и открывший впоследствии в Москве, на Покровке, одну из первых в России светских школ, не научил Марту элементарной грамотности (она всю жизнь даже не могла подписать свое имя). Нет сомнения, что он воспринимал ее лишь как помощницу по хозяйству и уходу за детьми. Правда, преподобный Глюк иногда вел с Мартой душеспасительные беседы, чи-

тал вслух лютеранский катехизис и настоял на том, чтобы она, рожденная в католичестве, перекрестилась в протестантскую веру. Он наставлял ее в духе учения Мартина Лютера, который считал иудеев наследниками Иуды Искариота, народом „злокозненным", чьи молельные книги надобно конфисковать и сжечь, жилище их разрушать, а самих гнать в шею. Сомнительно, что ветреная Марта глубоко вникла в сию проповедь, но осадок брезгливого неприятия у нее, несомненно, остался, узелок на память завязался, хотя занимали нашу героиню в ту пору совсем иные предметы.

Имеются сведения, что повзрослев и превратившись в прехорошенькую девушку, она проявляла излишнюю благосклонность к сильному полу. Рассказывали, что от одного из домочадцев пастора Марта даже родила дочь, умершую через несколько месяцев. Подобное, как говорили тогда, „рассеянное" поведение заставило Глюка немедленно выдать замуж свою семнадцатилетнюю воспитанницу за шведского драгуна Раабе (по другим сведениям, Крузе), который то ли накануне, то ли сразу после свадьбы отбыл на войну.

При взятии Мариенбурга русскими войсками 24 августа 1702 года Марта попала в плен. Сначала она стала наложницей одного русского унтер-офицера, который избивал ее; затем к ней воспылал страстью генерал от кавалерии Родион Боур; после него — генерал-фельдмаршал Борис Шереметев, и, наконец, в 1703 году она попала в дом Александра Меншикова, где, между прочим, стирала белье (сколько раз она потом будет шутить о себе как о бывшей „портомое"!). Здесь-то и пленился ею Петр Великий, бывавший запросто в доме своего „Данилыча". А в 1705 году Марта была уже дважды беременна от царя — у нее родилось двое сыновей, впрочем, вскоре умерших. Тогда же она приняла православие, и ее нарекли Екатериной Алексеевной. Между прочим, в одной собственноручной записке Петр называет ее *„Василевской"*, и историки гадают, происходит ли эта фамилия от мужа ее тети или дана по имени крестившего ее архимандрита Варлаама, в миру *Василия* Высоцкого.



А.М. Дивьер

Какое-то время Екатерина жила в доме Меншикова вместе с его сестрой Анной, наложницами Дарьей и Варварой Арсеньевыми и Анисьей Толстой. Они представляли своего рода общий гарем Петра и Меншикова. К ним зачастил тогда и генерал-адъютант Антон Дивьер, ладно сбитый мускулистый красавец-сефард, веселый, обходительный, галантный. Меншиков смотрел на Дивьера свысока и однажды в сердцах назвал „жидом". Услышав такое, Екатерина очень удивилась: щеголеватый Антон ей очень нравился, и статью своей, и бравостью, и лицом точеным. Не было в нем ничего отталкивающего, что о породе иудиной от пастора слышала. Да и Петр всегда был рад его появлению и, хотя евреев не жаловал и называл „плутами и обманщиками", нахваливал Антона за его смышленость, бескорыстие и неутомимость.

И надо же было Дивьеру влюбиться в сестру своего супостата — Анну Меншикову, женщину яркую и эмансипированную (она залихватски ездила верхом, была, в отличие от брата, грамотной и говорила на нескольких языках). Антон сделал ей предложение руки и сердца, но тут в дело вмешался „полудержавный властелин". Вознесенный из грязи на вершины российского Олимпа, он ответил еврею категоричным отказом. И если бы не Петр, который сразу же взял сторону генерал-адъютанта и буквально обязал Меншикова выдать за него сестру, счастливой свадьбы бы не случилось.



Семья Петра Великого.
XVIII век

О свадьбе мечталось и нашей героине, но никаких решительных перемен в жизни Екатерины долго не происходило. Кроме нее, у Петра были и метрессы на стороне. Но и позднее, живя во дворце царя, Екатерина ни разу не упрекнула его за внимание к другим женщинам. Петр заставлял ее не только снисходительно относиться к его мимолетным связям, но и слушать собственные откровения о своих интимных забавах с девками, а

также — это кажется сейчас невероятным! — принуждал ее саму подыскивать ему метресс. А среди них были и ее потенциальные „совместницы" (так называли тогда конкуренток). И особенно опасны они были на раннем этапе, когда Екатерина была еще Петру никакая не жена, а только мать двух его незаконнорожденных дочерей Анны и Елизаветы (1708 и 1709 годов рождения).

Но тревога была напрасной. Никакие фаворитки уже не могли заменить царю „свет-Екатеринушки". Приворожила она Петра и тем, что была „телесна, во вкусе Рубенса, и красива", и своим неиссякаемым весельем, а главное — редким качеством: сочувствием ко всем его делам и заботам. А еще она обладала природным умом, глубоким пониманием мужчин и владела искусством обходиться с ними. Она одна умела успокаивать царя в минуты нервных приступов, которые сопровождались дикими головными болями. В такие моменты все в ужасе прятались от монарха. Только Екатерина подходила к нему, заговаривала с ним своим особым языком, и это действовало успокаивающе. Затем она ласкала и гладила голову Петра, и он засыпал у нее на груди. И дорожа благотворным воздействием сна на государя, она долго сидела неподвижно, пока Петр не проснется. И царь просыпался свежим и бодрым.

Она нечасто расставалась с Петром: сопровождала супруга повсюду, даже будучи беременной. Выдающуюся роль Екатерина сыграла в 1711 году в Прутском походе, когда русскую армию, возглавляемую царем, окружили втрое превосходившие по численности турки и крымские татары. В русском лагере началась общая паника — на исходе было продовольствие и запасы питьевой воды, не было корма лошадям. Даже Петр потерял самообладание, но Екатерина сохранила присутствие духа. Любительница роскоши, она в этот судьбоносный момент, казалось, забыла об этом своем пристрастии — и все имевшиеся у нее драгоценности пожертвовала на подкуп турецкого паши, командовавшего вражескими войсками. В этом деле ей споспешествовал искусный дипломат и переговорщик, вице-канцлер Петр Шафиров. Это был еще один приметный еврей, вызвавший ее глубокое уважение. Даже внешность его располагала: вице-канцлер был „малого роста, чрезвычайной толщины и едва передвигал ноги, но соединял ловкость в поступках с великою приятностью в лице". О нем говорили: „жидовская порода", хотя перекрестом не называли, ибо он был крещен при рождении. Шафирова ценили за недюжинный и цепкий ум, хитрость, изворотливость и особое обаяние силы, свойственное лишь натурам энергичным, волевым. Его неоспоримые заслуги отметил даже известный историк-почвенник Вадим Кожинов: „[Он сумел] в очень трудной ситуации за-

ключить необходимый для России мирный договор с Турцией. Еврей Шафиров стал одним из самых знатных лиц в России". Человек нетерпеливый и пылкий, он должен был по требованию врага два с половиной года томиться в турецком плену в качестве заложника. „Держат нас в такой крепости, — писал он оттуда в Петербург, — что от вони и духа в несколько дней вынуждены будем умереть". И ведь выдюжил, устоял, за что и награжден был по-царски!

Тогда же Петр, в ознаменование „вечной памяти знаменитого освобождения армии, царя и царицы у реки Прут" учредил орден Святой Екатерины, которым награждались самые заслуженные женщины России, и первой из них была сама Екатерина. По его словам, в то опасное время она „не как жена, но как мужская персона видима была". А в 1713 году царь спустит на воду 60-пушечный фрегат „Святая Екатерина".

В 1712 году состоялось бракосочетание Петра I с Екатериной Алексеевной. Несмотря на то, что царь вновь подчеркнул при этом заслуги своей избранницы перед государством и армией, в народе распространялись „неудобь сказаемые толки" против новой жены: „Не подобает Катерине на царстве быть: она не природная и не русская... Она с Меншиковым его величество кореньем обвели". Надо сказать, что Екатерина и Меншиков и впрямь были очень дружны. По степени близости к ней Данилыч был вне конкуренции, ибо, прежде всего, ему безродная Марта Скавронская была обязана тем, что стала супругой императора. И она не раз выручала светлейшего из беды, то и дело оказывавшегося в немилости у Петра, который грозил лишить его богатства, чинов и званий. Да и Данилыч всячески потрафлял своей коронованной подруге: первейший поклонник роскоши в Петровскую эпоху, он баловал ее то драгоценностями, то отрезом на модное платье. Словом, Меншиков — бесстыдный, дерзкий, решительный — имел на Екатерину огромное влияние.

Но как же непохожи были эти двое, из коих светлейший всегда задавал тон, а Екатерина довольствовалась ролью ведомой! Мемуарист свидетельствовал: „Она не была ни мстительна, ни злопамятна, чем сильно отличалась от своего друга и советчика Меншикова, всегда мстительного и непреклонного". Кроме того, Данилыч был антисемитом самого непримиримого свойства. Лютая враждебность к евреям, причем, не только религиозная, но и расовая, носила подчас столь необузданный характер, что даже Петр, как в случае с Дивьером, вынужден был остужать его юдофобский пыл.

И еще один еврей удостоился симпатии Екатерины: ее весьма забавлял любимый шут Петра Ян Лакоста. Человек неистощимого остроумия, он не лез в карман за словом, был широко образован, знал

наизусть Священное писание и вел с царем бесконечные богословские дебаты. К тому же он носил потешный титул самоедского короля. Лакоста называл вора вором, без обиняков высмеивал пороки и злоупотребления придворных, а когда те жаловались царю на бесцеремонное поведение шута, тот невозмутимо отвечал: „Что вы хотите, чтобы я с ним сделал? Ведь он дурак!". Меншиков сразу же возненавидел вертлявого паяца-жида и пригрозил ему виселицей. Лакоста пожаловался царю, Петр рассердился и сказал, что скорее повесит самого Меншикова. Находчивый Лакоста и тут пошутил: „Сделайте это раньше, чем он повесит меня!" Меншиков вынужден был отступить, затаив злобу и жажду мести.

И когда в 1722 году в Сенате схлестнулись интересы Меншикова и уважаемого Екатериной Шафирова (они не поделили барыши от совместной беломорской компании), она не приняла сторону своего благодетеля. Тогда вице-канцлера обвинили во многих тяжких грехах. При этом антисемитизм явственно присутствовал и воодушевлял враждебно настроенных сторонников Меншикова. Клеврет светлейшего Григорий Скорняков-Писарев, уличив вице-канцлера в казнокрадстве и незаконной выдаче жалования брату, члену Берг-коллегии Михаилу Шафирову и в прочих злоупотреблениях, присовокупил к сему еще сокрытие им своего еврейского происхождения. В последнем пункте Шафирову как раз удалось оправдаться: он сослался на знакомство государя с его крещеным отцом, который получил дворянство еще при царе Федоре Алексеевиче. По поводу же других его „вин" (казнокрадство, завышение почтовой таксы, укрывательство беглых крепостных и т.д.) Петр грозно повелел: Шафиров „казнен будет смертию без всякия пощады и чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги, ежели в сию вину впадет".

Екатерина присутствовала на той утренней казни в Кремле, 15 февраля 1723 года, где в прошлом блистательный дипломат, спасший Россию от позора и поражения, являл собой зрелище самое жалкое. Осужденного в простых санях привезли из Преображенского приказа; при прочтении приговора сняли с него парик и старую шубу и взвели на эшафот, где он несколько раз перекрестился, стал на колена и положил голову на плаху. Топор палача уже взвился в воздухе, но ударил по дереву: тайный кабинет-секретарь Алексей Макаров провозгласил, что император в уважение заслуг Шафирова заменяет смертную казнь ссылкой в Сибирь. Шафиров поднялся на ноги и сошел с эшафота со слезами на глазах. Царь смилостивился (если, конечно, можно назвать милостью лишение чинов, орденов, титулов, всего движимого и недвижимого имущества): он даровал Шафирову

жизнь и заменил ссылку в Сибирь на Новгород. Ссыльный содержался там „под крепким караулом", где ему со всей семьей отпускалось на содержание всего 33 копейки в день. А Меншиков праздновал победу над поверженным евреем. Екатерина явно не сочувствовала столь суровому наказанию, и впоследствии, вступив на престол, она помилует Шафирова и вернет его в Петербург.

Как только в опалу попал Шафиров, Меншикову удалось поквитаться и с Лакостой. С его подачи против шута были выдвинуты нешуточные обвинения, и главное из них — тайная встреча с осужденным на смерть „государственным преступником" Шафировым накануне казни. За сии предерзкие проступки Лакоста был сослан в Сибирь, в село Воскресенское, недалеко от озера Байкал. И опять-таки, стараниями Екатерины, ставшей самодержавной императрицей, он будет потом освобожден из северного плена...

А Данилыч все продолжал ублажать Екатерину дорогими модными вещицами, понимая, что только ими можно задобрить лакомую до роскоши мариенбургскую пленницу. Она так любила блистать в обществе, подчеркивая высокий сан исполина Петра — хозяина великой империи! Очень точно охарактеризовал ее А.С. Пушкин: „Чудотворца-исполина чернобровая жена". Екатерина облачалась то в новомодные французские одеяния, то в испанские робы, то в щеголеватые немецкие платья, блистая дорогим атласным нарядами, расшитыми серебряным шитьем, великолепнейшими костюмами. Поистине неподражаема была она на ассамблеях и, по словам современника, „танцевала чудесно и выполняла артистически самые сложные пируэты, в особенности, когда сам царь был ее партнером. Ее низкое происхождение не смущало ее".

Однако плебейство Екатерины сразу же бросалось в глаза придворным, искушенным в политесе. Сохранился отзыв маркграфини Байрейтской Вильгельмины о приезде царской четы в Берлин в 1719 году: „Царица была мала ростом, толста и черна; вся ее внешность не производила выгодного впечатления... Платье, которое было на ней, по всей вероятности, было куплено на рынке; оно было старомодного фасона, и все обшито серебром и блестками. По ее наряду можно было принять ее за немецкую странствующую артистку. На ней был пояс, украшенный спереди вышивкой из драгоценных камней, очень оригинального рисунка в виде двуглавого орла, крылья которого были усеяны маленькими драгоценными камнями в скверной оправе. На царице были навешаны около дюжины орденов и столько же образков и амулетов, и, когда она шла, все звенело, словно прошел наряженный мул". Впрочем, раздавались и иные голоса. Другой иностранный дипломат заметил, что „несмотря на неизвестность ее рода, Екатерина вполне

достойна на милости такого монарха", и дал весьма лестное описание ее наружности: „Она имеет приятную полноту, цвет лица ее бел с примесью природного, несколько яркого румянца, глаза у нее черные, маленькие, волосы у нее такого же цвета длинные и густые, шея и руки красивые, выражение лица кроткое и весьма приятное".

После кончины императора Екатерина I, возведенная на престол усилиями соратников Петра — Александра Меншикова, Петра Толстого, Павла Ягужинского, а также покорной им гвардии, процарствовала лишь 26 месяцев. Ее царствование было неярким. Отбыв положенный траур, императрица пускается во все тяжкие: утопает в праздности и удовольствиях („повседневных пиршествах и роскошах", как говорит князь Михаил Щербатов). Казалось, этим неразборчивым и безудержным стремлением к наслаждениям она желала вознаградить себя за то постоянное напряжение, в котором жила при Петре. Кутежи, возлияния, развлечения проходили при Дворе ежедневно.

Проявила императрица и свою неукротимую любовь к мужскому полу, особенно к щеголям. Среди ее амантов называют Рейнгольда Левенвольде, красавца, франта, дамского угодника и альфонса; молодого польского графа Петра Сапегу, отчаянного модника, так и сиявшего парчою и бриллиантами. Мемуаристы говорят и о романе Екатерины с щеголеватым Антоном Дивьером, к которому она давно благоволила.

И жаловала императрица своих любовников прямо-таки по-царски — Левенвольде был произведен в графы (с привилегией носить на шее ее, Екатерины, портрет); Дивьер тоже стал графом и генерал-лейтенантом; Сапега к своему графскому титулу добавил высокий чин генерал-фельдмаршала вкупе с орденом св. Андрея Первозванного — высшей наградой Российской империи.

Дни правления сей монархини, говорит биограф, „были преступным образом принесены в жертву эгоизму, сладострастию, корысти и властолюбию". Пристрастившись к вышивке еще во времена Петра, Екатерина совсем распустилась после прихода к власти, и все ее царствование, как говорят историки и иностранные посланники при русском Дворе, превратилось в сплошную попойку.

Екатерина не обладала ни государственным умом, ни самостоятельным мышлением и всегда была зависима от чужих мнений. Раньше она была тенью Великого Петра. Вступив на престол, она проявила добрую волю, вернув из ссылки Лакосту и Шафирова. Но вскоре правителем империи фактически становится Меншиков, все более и более захватывавший власть в свои руки, и Екатерина по существу выступает в роли его карманной императрицы. Именно Меншиков был виновником и вдохновителем дискриминационных антисемитских указов, ко-

торые за безграмотную Екатерину подписала ее дочь Елизавета (заметим в скобках, подписала, видимо, не без удовольствия, поскольку впоследствии станет коронованной юдофобкой). О том, что именно Меншиков был инициатором этой антисемитской кампании, свидетельствуют его слова на заседании Верховного тайного совета в 1727 году: „Жидов в Россию ни с чем не впускать!"

Надо отметить, что, как у всякого антисемита, у светлейшего был „свой жид". Это был некрещеный еврей, предприниматель Леви Липман, получивший право на жительство в России как лицо из свиты герцога Голштинского. Но интерес к нему Меншикова был небескорыстным: тот заказывал у него ювелирные изделия самой высокой пробы (сохранился подписанный им указ „об уплате еврею Липману шести тысяч рублей за сделанные три кавалерии [ордена — Л.Б.] Святой Екатерины с бриллиантами"). Впрочем, Липман — исключение, которое лишний раз подтверждало правило, от которого светлейший не отступал.

Накануне кончины императрицы светлейшему удалось, наконец, добиться, невозможного: отмстить ненавистному шурину Дивьеру, хотя тот был явным фаворитом Екатерины, ею обласканным и облагодетельствованным. Пользуясь тем, что воля монархини была уже полностью парализована, он составил от ее имени документ, в коем Дивьера обвиняли в „предерзости", непочтительности к монархине, и даже в вертопрашестве (что обычно так импонировало коронованной распутнице Екатерине). Будто бы юному великому князю Петру Алексеевичу Антон „напоминал, что его высочество сговорился жениться, а они за его невестою будут волочиться, а его высочество будет ревновать".

Дивьер был бит кнутом, а затем сослан в холодную Якутию, в Жиганское зимовье, что на пустынном берегу Лены, в 9000 верстах от Петербурга и в 800 верстах от Якутска. В этой забытой Богом глухомани он остался без самого необходимого, питаясь одним хлебом и рыбой. Не пощадил Меншиков и собственную сестру Анну, повелев ей вместе с малолетними детьми безвыездно жить в дальней деревне...

На этом можно было бы завершить наш рассказ, если бы не опубликованная в блоге „Семь искусств" претенциозная, бьющая на сенсацию заметка, буквально взорвавшая русскоязычный интернет. Более того, 17 января 2013 года она была размещена и в блоге „Эха Москвы" под заглавием „Первая императрица России была еврейкой". Автор ее, Юрий Магаршак, делает поистине ошеломляющее заявление: „У всех русских царей — потомков Петра Великого, от Елизаветы до Николая Второго, русских генов столько же, сколько еврейских". Надо заметить, что версия о еврействе Екатерины I не нова. Впервые подобное высказала русско-американский литератор Алла Кторова (В.И. Кочурова); ее горячо поддержал Григорий Фридман в статье „На троне великой дер-

жавы" на форуме портала „Заметки по еврейской истории" (6.6.2010); затем, правда, с некоторыми оговорками — историк Савелий Дудаков в книге „Петр Шафиров и другие" (М., 2011).

Но не будем корить Юрия Магаршака за подражательность. Нет, аргументы этого автора более чем оригинальны. Так, доказывая еврейское происхождение Самуила Скавронского, он риторически вопрошает: „Много ли Вы, высокочтимый читатель, знаете литовцев, латышей, эстонцев, белорусов, имя которого [так!] Самуил?". И сам же отвечает: „Уверен, что ни одного. В истории этих стран таковых и не было". Но самоуверенность здесь плохой помощник, ибо Самуил, равно как Самуел, Самуеле, были и есть имена латышские и эстонские, а близкое по звучанию Самойло — белорусское. Или еще такой перл: „Изменение отчества Первой Русской Императрицы с Самуиловны на Алексеевну было первым в русской истории прецедентом присвоения [так!] нового отчества. Противоречащим не только русской традиции, но и основополагающим принципам христианства". На самом же деле, общепринятая православная традиция как раз и состояла в том, что неофит получал отчество по имени своего крестного (вспомним хотя бы знаменитого арапа Петра Великого, нареченного при крещении Абрамом Петровичем по имени крестившего его царя). Так что, сенсации — увы! — не получается.

Но самый важный пункт для доказательства еврейства Екатерины, на котором сходятся и другие авторы, это якобы ее родство с крещеными евреями Веселовскими. Некоторые публицисты пишут, что Екатерина им покровительствовала, а ее собственные братья и сестры будто бы состояли с этими евреями в браке. И неистощимый фантазер Юрий Магаршак даже уточняет: „Над еврейскими родственниками Екатерины... хихикал весь Петербург". Отмечалось уже, что Ян Василевский (а не Веселовский) в кровном родстве с Екатериной не состоял, а был мужем ее тети, то есть ее свойственником. Никакими брачными узами Веселовские с прочими родственниками Екатерины — Скавронскими, Гендриковыми, Ефимовскими связаны не были, ни малейшей протекции императрица им не оказывала. Напротив, именно в царствование Екатерины, в 1727 году, Петербург домогался от Англии немедленного ареста и выдачи России беглых братьев-дипломатов Авраама и Федора Веселовских. Знаменательный факт — престарелый Авраам Веселовский, взявшийся, по предложению Ивана Шувалова, „вспомогать" Вольтеру писать „Историю Российской империи при Петре Великом", ни полслова не обмолвился о связи своего семейства с первой русской императрицей. А ведь старец находился в богоспасаемой Швейцарии, зоне полной безопасности, и кривить душой ему не было никакого резона.

Еще один аргумент — Екатерина якобы и внешне походила на дочь Израиля. Впрочем, некоторые авторы лишь допускают такое сходство и говорят о нем с осторожностью. „Антропологические данные смуглой и черноглазой Екатерины не противоречат ее принадлежности к „дому Якова", — замечает Григорий Фридман. „Круглое лицо и жгучая брюнетка — первое, что бросается в глаза", — вторит ему Савелий Дудаков. А вот пылкий Юрий Магаршак без экивоков и околичностей заявляет об этом резко и прямолинейно в обращенном к читателю страстном монологе: „Вглядитесь-ка в это лицо. В эти глаза. В эти губы. В этот нос (на официальных портретах спрямлявшийся, как только возможно, — и все же). На кого похожа Российская Государыня: на прибалтийку (как учат выводы комиссию по определению ее происхождения)? На польку? На белоруску? Или на еврейку? Видели ли вы прибалтиек, полек или же белорусок с такими формами? С такими пышными грудями? С таким носом, глазами, волосами? А среди евреек — типичнее не бывает... Знаете на кого похожи портреты Марфы [?] Самуиловны Романовой больше всего? На Элину Авраамовну Быстрицкую".

Следуя логике Юрия Магаршака, мы бы охотно признали Екатерину не только вылитой еврейкой, но и прапуром Элины Быстрицкой. Только вот незадача, к императрице всегда было приковано всеобщее и самое пристальное внимание современников, но никто из них нигде ни разу (!) не указал на такое сходство. А ведь россияне XVIII века были очень неплохими физиономистами. Уж Меншиков-то „жидовскую породу" за версту чуял, да и сам царь Петр с евреями многажды встречался и дома, и за границей, и распознавать их умел.

Надо сказать, наружность жены Петру очень импонировала, и почему-то с еврейским племенем никак не ассоциировалась. Царь не мог нарадоваться на „свет-Екатеринушку" и заказывал ее портреты самым искусным художникам — Иоганну Генриху Ведекинду, Карелу де Моору, Григорию Мусикийскому и др. Но далеко не все портреты принимались с восторгом и благодарностью. Вот французский живописец Людовик Каравакк возомнил, что полнота — достоинство русской женщины, а потому на его портрете дородность Екатерины нарочита и переходит в излишество. Или голландец Карел де Моор живописал царицу как грубоватую, не слишком молодую для своих тридцати трех лет даму. А вот ее парадный портрет, выполненный в Гааге в 1717 году французским рисовальщиком Жаном-Марком Наттье, — совсем другое дело! Монархиня предстает здесь в платье из серебряной парчи; на ней горностаевая мантия, крытая малиновым бархатом, лента и звезда ордена Святой Екатерины; на темных волосах зо-

лотая диадема с крупным жемчугом и рубинами. Здесь искусно скрыта излишняя полнота, которой отличалась Екатерина, зато подчеркнуто присущее ей обаяние и миловидность. Неудивительно, что портрет очень понравился Екатерине, и она тут же отослала его Петру, который был настолько очарован, что сразу же заказал с него копии лучшим голландским и французским граверам.

Нелишне также отметить, что серьезные историки говорят о смешанном прибалтийско-славянском этническом типе внешности Марты-Екатерины. Американский исследователь Фил Стонг аттестует ее натуральной блондинкой (волосы она потом чернила), невысокого роста, широкоплечей, полной, коренастой, с широко расставленными глазами.

Любой портрет, каким бы точным он ни казался, — это, в отличие от фотографии, всегда преображение и украшение оригинала, который сокрыла от нас завеса столетий. Но Юрий Магаршак пишет так, будто Екатерину видел живьем и лично наблюдал, как злонамеренный художник — лакировщик действительности — изменил черты ее якобы семитического лица. Как иначе следует понимать слова автора о том, что на официальных портретах нос императрицы „спрямлялся"? Откуда сведения, что Марта-Екатерина горбоносая? Из каких исторических источников почерпнуто? Да нет таковых! Интересно, что тонкий знаток русского XVIII века, историк-документалист Михаил Семевский дает такое описание внешности царицы: „Роскошная черная коса убрана со вкусом; на алых полных губах играет приятная улыбка; черные глаза блестят огнем, горят страстью; *нос слегка приподнятый*; высоко поднятые брови; полные щеки, горящие румянцем, полный подбородок, нежная белизна шеи, плеч, высоко поднятой груди". И становится ясно, что горбоносой первая русская императрица становится исключительно по прихоти Юрия Магаршака. Уж очень ему хочется, чтобы она была еврейкой — любой ценой! В данном случае, путем вымысла и весьма сомнительных доказательств. Тем печальнее, что абсурдную версию о еврействе Екатерины I повторил 24.11.14 президент Института Ближнего Востока авторитетный Евгений Сатановский в телеэфире программы „Познер". Но может быть, довольно объявлять евреями всех, кого ни попадя?! Тем более что коронованная щеголиха Екатерина, женщина малообразованная и распутная, никакому народу славы не прибавит. Да и не нужна вовсе еврейскому народу чужая слава.

АННА ИОАННОВНА И ЕВРЕИ

I. БИРОНОВЩИНА ИЛИ ЛИПМАНОВЩИНА?

Царствование императрицы Анны Иоанновны (1730–1740), племянницы Петра Великого, называют иногда временем засилья инородцев. Процитируем Василия Ключевского: „Немцы посыпались в Россию, как сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении... Бирон с креатурами своими ходил, крадучись, как тать, позади престола". С легкой руки словесников XIX века правление Анны получило название — Бироновщина, по имени фаворита императрицы. И хотя видные российские историки (Сергей Соловьев, Александр Каменский, Евгений Анисимов) убедительно показали, что никакой особой „немецкой партии" при Дворе вовсе не существовало, тезис о злокозненных русофобах продолжает муссироваться.



Вортман А.Х.
Портрет императрицы
Анны Иоанновны. 1740 г.

Однако некоторые исследователи считают, что ту эпоху следовало бы именовать не Бироновщина, а Липмановщина, поскольку среди лиц, приближенных к фавориту, находился влиятельный еврей-банкир Леви Липман. По версии Александра Солженицына, изложенной в его книге „Двести лет вместе", Бирон якобы „передал ему [Липману — Л.Б.] все управление финансами" и „обращался к нему за советами по вопросам русской государственной жизни". Иные мемуаристы идут еще дальше, утверждая, что и Бирон, а заодно и покровительствовавшая

ему Анна Иоанновна, были марионетками в ловких руках сего кукловода, который-то и правил Россией. Спорное, мягко говоря, утверждение! Нам остается, следуя историческим фактам, показать действительное положение дел.

Анна была дочерью старшего брата Петра, слабоумного Ивана. Воспитывалась она в подмосковном Измайлово. Ее мать, богомольную царицу Прасковью, отличала неукротимая тяга к роскоши. При ней одних только стольников было 263 человека, а многочисленная челядь из нищих молебщиков и калек, одетая из рук вон плохо, особенно ярко подчеркивала пышность наряда царицы и ее ближнего круга (Петр I в сердцах назвал ее Двор: „гошпиталь уродов, ханжей и пустословов"). И в родительском дворце в Петербурге (на его содержание выделялось ежегодно 24,5 тысяч рублей), куда семейство вдовой Прасковьи переехало в 1708 году по настоянию Петра, Анна везде была окружена сказочным богатством. Ей, одной из последних царевен, были свойственны и суеверие, и набожность, и патриархальные старомосковские привычки, правда, в значительной мере смягченные новшествами царя-реформатора Петра. Анна стала первой в чреде августейших невест, сочетавшейся по государственным конъюнктурам династическим браком с „полезным" иноземцем — герцогом Курляндским Фридрихом Вильгельмом. Свадьбу закатили знатную — в роскошном дворце светлейшего князя Александра Меншикова. Звенели заздравные кубки, гремели пушки после каждого тоста, горели над фейерверками слова, обращенные к молодым: „Любовь соединяет!"

Но молодой муж в январе 1711 года скоропостижно скончался от перепоя, и Анна, теперь новоиспеченная герцогиня Курляндская, переселилась в Митаву. „Любит пышность до чрезмерности", — говорили о ней. И Анна бомбардировала Петербург письмами, вопия о скудости материальных средств. Среди адресатов были и Петр, и Меншиков с домочадцами, и влиятельный вице-канцлер Андрей Остерман. Но более всего курляндская вдова одолевала просьбами „матушку-тетушку" царицу Екатерину Алексеевну: „Принуждена в долг больше входить, а, не имея чем платить, и кредиту не буду нигде иметь".

Анна лукавила: как заметил Сергей Соловьев, на самом деле, „в Курляндии жаловались на сильную роскошь, которою отличался Двор герцогини-вдовы". Фридрих Вильгельм Берхгольц в 1724 году зафиксировал, что каждую неделю у Анны бывают по два куртага; Двор же ее состоит из обер-гофмейстера, шталмейстера, двух камер-юнкеров, русского гоф-юнкера и многих придворных служителей. Между прочим, царь посчитал придворный штат герцогини „весьма раз-

дутым" и дал нагоняй обер-гофмейстеру Петру Бестужеву, повелев очистить Курляндский Двор от „дармоедов".

Недоброхоты говорили, что Анна излишне толста и „престрашного вида". Но даже если они и сгустили краски, ясно, что не на ее женские прелести, а на герцогскую корону и курляндскую роскошь позарился в 1726 году известный ловелас и авантюрист, незаконный сын короля польского Августа II Мориц Саксонский, искавший ее руки. „Война и любовь, — говорит о нем историк Петр Щербальский, — сделались на всю жизнь его лозунгом, но никогда над изучением первой не ломал он слишком головы, а вторая никогда не была для него источником мучений: то и другое делал он шутя, зато не было хорошенькой женщины, в которою бы он не влюбился бы мимоходом". Этот галантный повеса и сердцеед, скитавшийся по европейским дворам, сумел тогда обаять не только курляндское шляхетство, но и вдовую герцогиню. Анна настолько им пленилась, что „умоляла с великою слезною просьбою... [исходатайствовать] у императрицы утверждение Морица герцогом и согласие на вступление с ним в супружество".

Тогда-то в Митаве и состоялась встреча герцогини с эмиссаром Екатерины I, „крещеным жидом" обер-полицмейстером Антоном Дивьером, вызвавшим у нее самые враждебные чувства. Дивьер был направлен туда с важной миссией — убедить местное дворянство отказаться от избрания Морица герцогом, что было противно государственным интересам империи. И Антон в точности исполнил монаршую волю. Он отправился в Митаву сразу же после возвращения оттуда Меншикова, чья миссия в Курляндии с треском провалилась: восхотев сам стать герцогом, светлейший действовал оскорблениями и угрозами, чем восстановил против себя всю местную знать. Потому, дабы исправить положение, Дивьеру надлежало действовать тонко и умно. Мориц Саксонский предложил ему десять тысяч экю за содействие его браку с Анной. „Все мое предшествующее поведение может служить доказательством, что я неспособен не только за несколько тысяч рейхсталеров, но и за сокровища всего света сделать хотя самомалейшее отступление от поручения, возложенного на меня инструкцией моей всемилостивейшей государыни", — с достоинством ответствовал Дивьер. Этот еврей проявил себя как талантливый дипломат, что в сочетании с его бескорыстием оказало неоценимую услугу российской короне. Но, конечно, Анна затаила на человека, который разлучил ее с женихом, жгучую бабью обиду. Впоследствии, став императрицей, она ему это припомнит.

Почвенник Анатолий Глазунов утверждает, что в Курляндии Анну окружали лишь „немцы да жиды". Что до евреев, то публицист яв-

но преувеличивает. В окружении новоиспеченной герцогини иудеев не обнаруживается вовсе. Да и откуда было им взяться? Еврейская община возникла в Митаве только в начале XVIII века, и сыны Израиля проживали в крае на полулегальном положении. Местные ландтаги то и дело издавали постановления об изгнании их из Курляндии под страхом внушительного штрафа. Но знать и бюргеры саботировали исполнение указов, ибо были крайне заинтересованы в евреях, которые продавали их сельскохозяйственную продукцию, поставляли им предметы роскоши, гнали водку и арендовали корчмы. В результате к 1730 году в городе проживали несколько сот иудеев, и даже было учреждено погребальное общество „Хевра Кадиша". Однако низкий социальный статус евреев никак не располагал к общению с ними, и едва ли таковое было возможно.



Соколов И.А.
Портрет герцога
Э.И. Бирона

Впрочем, из всякого правила есть исключение: ее камер-юнкер и сердечный друг Эрнст Иоганн Бирон, желая потрафить охочей до роскоши Анне, в бытность в Петербурге по делам герцогства свел знакомство с финансовым воротилой, некрещеным евреем Леви Липманом. Он был придворным евреем герцога Голштейн-Готторпского Карла Фридриха — отпрыска шведских королей. Хотя еврейская община в Голштинии была не слишком многочисленна и не все города проявляли к иудеям одинаковую толерантность (в Киле и Любеке, к примеру, евреям жилось хуже, чем во Фридрихштадте, Глюкштадте и Ренсбурге), сам Карл Фридрих национальными и религиозными фобиями не страдал и услугами евреев-финансистов пользовался охотно.

Да что Карл Фридрих! Без придворных евреев не обходился тогда ни один европейский венценосец. Сыны Израиля занимали высокие посты и рядились в пышное платье, словно опровергая слова из известной песни Александра Галича: „Ах, не шейте вы евреи, ливреи!". Обладая аналитическим умом и предприимчивостью, „еврей в ливрее" обычно служил своему государю как финансовый агент, поставщик драгоценностей и ювелирных изделий, главный квартирмейстер армии; он начальствовал над монетным двором, открывал новые источники дохода, заключал договоры о займах, изобретал новые нало-

ги и т.д. При этом евреи-финансисты Вены, Гамбурга и Франкфурта были тесно связаны с банкирами и агентами Амстердама, Гааги, Лондона, Парижа, Венеции, Рима, Варшавы и т.д.

Что до Карла Фридриха, то император Петр Великий связывал с этим претендентом на шведский престол, насущные геополитические интересы империи, прочил ему в жены свою дочь, а летом 1721 года радушно принимал его в России. Его высочество прибыл в Московию со своей свитой, в коей были и придворные Моисеева закона, получившие специальное (!) разрешение въехать в страну как сопровождающие такую августейшую особу. Первое упоминание о Леви относится именно к этому времени. Голштинский камер-юнкер Фридрих-Вильгельм Берхгольц в своем „Дневнике" от 23 июня 1721 года сообщает о своей остановке на пути в Петербург в известном трактире Красный Кабачок, что в 15 верстах от города. „Вскоре после меня, — продолжает он, — приехал туда же с почтою из Ревеля *наш еврей* Липман и немедленно отправился дальше". Пребывание герцога в России затянулось на долгих шесть лет: он сочетался браком со старшей дочерью императора, цесаревной Анной Петровной, стал членом Верховного тайного совета. И именно благодаря своему патрону Липман обрел в этой стране полезные связи.

Когда со смертью Екатерины I поддержка притязаний Карла Фридриха на шведский престол ослабела, он утратил какое-либо влияние в России и был вынужден летом 1727 года убраться восвояси в свою Голштинию, Леви заслужил благосклонность императорского Двора и остался в Петербурге. Примечательно, что согласно указу, подписанному Меншиковым 26 июня 1727 года, „еврею Липману" было выплачено 6000 рублей „за сделанные три кавалерии (ордена) Святой Екатерины с бриллиантами". Через Липмана юному Петру II и его августейшей сестре Наталье Алексеевне доставлялись баснословно дорогие перстни и „разные золотые и серебряные с бриллиантами вещи". Леви признавали и авторитетным знатоком ювелирных изделий: после кончины цесаревны Натальи Алексеевны именно ему было поручено оценить все оставшиеся после нее драгоценности.

Историк Мендель Бобе в книге „Евреи Латвии" (2006) утверждает, будто бы Липман достиг у Анны такого фавора, что „управлял всеми финансами герцогства". Более логичной представляется нам версия авторитетного историка Юлия Гессена: герцогиня тогда сильно нуждалась в деньгах, а Липман имел возможность быть ей полезным. Ублажая курляндскую вдовушку, он пустил в ход все мыслимые и немыслимые связи в денежном мире, целую сеть финансовых агентов Старого Света; баловал ее, чем мог — перстнями и ожерельями из Голландии

(там его соплеменники монополизировали гранение и торговлю бриллиантами), золотыми и серебряными украшениями. Встречи с ним были Анне в радость.

Во время пребывания в Северной Пальмире, куда Анна нередко наезжала из своего медвежьего угла Европы, она свела знакомство еще с двумя приметными крещеными евреями. И оба они под конец царствования „батюшки-дядюшки" Петра I подверглись жестокой опале по наветам Меншикова. Вице-канцлер Петр Шафиров, блистательный дипломат, сумевший в очень трудной ситуации заключить необходимый для России мирный договор с Турцией и ставший одним из самых знатных лиц в империи, был, тем не менее, лишен имущества, чинов и орденов и приговорен к казни, замененной „смилостивившимся" царем ссылкой в Новгород. Там он содержался под „крепким караулом", и ему со всей семьей отпускалось на содержание всего 33 копейки в день.

Еще один знакомец Анны — „португальский жид" Ян Лакоста, любимый шут Петра, немало ее забавлявший. Нравились его комичные ужимки, как рожи корчил и в оленьи шкуры облачался, играя роль самоедского короля. Но злость ее брала, когда тот нахально дерзил, резал правду-матку, пытался образованность свою показать, ведя с государем скучные богословские дебаты. Вот кабы она была царицей, то вразумила бы дурака, научила, как правильно шутить надобно. Впрочем, Лакоста дошутился до того, что был обвинен в „преступной связи" с вице-канцлером Шафировым и в 1723 году сослан в сибирское село Воскресенское (ныне Каслинский район Челябинской области). По счастью, и Шафирова, и Лакосту вернула из ссылки вступившая на престол „тетушка" Екатерина I. Шафирову были возвращены регалии и часть конфискованного имущества, в 1725–1727 гг. он (хотя и был понижен в чине) занимал пост президента Коммерц-коллегии. Вдобавок ко всему, по проискам того же Меншикова, был бит кнутом и отправлен в холодную Якутию, в Жиганское зимовье, что в 9000 верстах от Петербурга, „разлучник" Антон Дивьер. Он продолжал томиться там и в царствование Петра II. Не у дел при этом малолетнем императоре оказался не только Шафиров, но и Лакоста, имени которого мы не встречаем ни в одном из документов того времени.

После скоропостижной смерти юного Петра II Анна, призванная на царство решением Верховного тайного совета, приехав в Москву, тут же порвала подписанные ранее ущемлявшие ее власть „Кондиции" и стала самодержавной российской императрицей. Князь Михаил Щербатов дал ей такую характеристику: „Ограниченный ум, никакого образования, но ясность взгляда и верность суждения; постоянное ис-

кание правды; никакой любви к похвале, никакого высшего честолюбия, поэтому никакого стремления создать великое, сочинять новые законы; но определенный методический склад ума, любовь к порядку, забота о том, чтобы не сделать что-нибудь слишком поспешно, но посоветовавшись со знающими людьми; желание принять самые разумные меры, достаточная для женщины деловитость и любовь к представительству, но без преувеличения".

Бытует мнение, что Анна испытывала к иудеям стойкую неприязнь. Однако подтверждений сему не находится, хотя воспитанная в догматах св. Предания, эта цесаревна, казалось бы, не могла не испытывать брезгливый страх перед басурманами, а уж тем более — перед „врагами Христовыми", об изуверстве и каверзах коих только и вещали святые отцы Церкви. Не знаем, насколько глубоко сии проповеди укоренились в ее душе, но вот затейливые сказания бахарей, кликушества юродивых и прорицателей были затвержены Анной еще с детства, протекшего под сенью подмосковного Измайлова.

И по отношению к евреям на раннем этапе царствования Анна ставит во главу угла экономические интересы страны, потому проводит политику скорее осторожно-прагматичную, не столь суровую, как в прежние времена. Достаточно обратиться к постановлениям той поры, чтобы увидеть тенденцию к ослаблению законодательных препон для евреев. При фактическом всевластии Меншикова въезд в Россию иудеям был заказан; в 1728 году, при Петре II, было разрешено „допущение евреев в Малороссию, как людей, полезных для торговли края", правда, с оговоркой, „лишь на время", и что они могут торговать только оптом („гуртом"). При Анне же это право в 1731 году было распространено на Смоленскую губернию. А в 1734 году вышли еще два „мягких" именных указа о разрешении евреям торговать и в розницу на ярмарках, по причине малочисленности „купецких людей" в Слободских полках и Малороссии. Речь опять шла о „временном посещении" евреями России, но, как отметил Александр Солженицын, „конечно, временное посещение стало превращаться в постоянное пребывание", и власти фактически закрывали на это глаза.

Приветила императрица и нескольких выкрестов, которых приблизила к себе. Вновь востребованным оказался Петр Шафиров. К его помощи прибегают для создания антитурецкой коалиции. Он получает назначение в Персию в качестве полномочного посла (1730–1732), где подписывает так называемый Рештский договор между Россией и Персией о совместных военных действиях против Оттоманской Порты. В 1733 году он пожалован в сенаторы, опять назначен президентом

Коммерц-коллегии и оставался на этом посту до конца жизни; в 1734 году участвует в заключении торгового договора с Англией, а в 1737 году — Немировского трактата.

Анна страсть как любила шутовство и приобщила Яна Лакосту к команде своих придворных забавников. В новых условиях престарелый паяц, однако, был вынужден мимикрировать. Ведь если при Петре шутам поручалось высмеивать предрассудки, невежество, глупость (а подчас они обнажали тайные пороки придворной камарильи), то у Анны они стали просто бесправными потешниками, которым запрещалось кого-либо критиковать или касаться политики. Теперь вся шутовская кувыр-коллегия подчеркивала царственный сан своей хозяйки — ведь шуты выискивались теперь все больше из титулованных фамилий (князь Михаил Голицын, князь Никита Волконский, граф Алексей Апраксин), а также из иностранцев (Педрилло, он же Пьетро Мира). Остроты шутов отличались редким цинизмом и скабрезностью. Монархиня забавлялась, когда они, рассевшись на лукошках с куриными яйцами, начинали по очереди громко кукарекать. Ей были любы самые низкопробные выходки придворных паяцев — чехарда, идиотские гримасы, побоища. „Обыкновенно шуты сии, — писал мемуарист, — сначала представлялись ссорящимися, потом приступали к брани; наконец, желая лучше увеселить зрителей, порядочным образом дрались между собой. Государыня и весь двор, утешаясь сим зрелищем, умирали со смеху".

Впрочем, Лакоста, этот любимый шут Петра I все равно выделялся на фоне других забавников Анны Иоанновны: как отмечал ученый швед Карл Берк в своих „Путевых заметках о России", среди всех шутов монархини „только один Лакоста — человек умный". И он, надо думать, весьма потрафлял императрице — недаром был награжден специальным шутовским орденом св. Бенедетто, напоминавшим своим миниатюрным крестом на красной ленте орден св. Александра Невского. Орден сей „был покрыт красной эмалью с маленькими отшлифованными драгоценными камнями вокруг". В конце концов, Лакоста стал любимцем и императрицы Анны, и даже титул самоедского короля, пожалованный шуту Петром, она охотно подтвердила. А в 1735 году под водительством Лакосты состоялось карнавальное действо — „аудиенция самоядей" у императрицы. Сообщается, что „шут Лакоста разыгрывал роль важной особы при представлении самоедских выборных и, выслушав их приветствие, в старинной одежде московского двора... сыпал серебро пригоршнями из мешка, с тем, чтобы для большей потехи государыни, смотревшей на шутовскую церемонию, самоеды, бросившись собирать деньги, потолкались и подрались между собою".

Монархиня распорядилась назвать именем Лакосты фонтан в Летнем саду и на фонтане установить каменную скульптуру любимого шута в натуральную величину. По сведениям петербургского археолога Виктора Коренцвига, строительство фонтана начал осенью 1733 года мастер Поль Сваль, а в 1736 году водомет уже задорно бил, омывая струями это изваяние. Что это как не знак особого благоволения! Фонтан этот будет разобран позже, уже в царствование Елизаветы.

И еще один еврей снискал милость Анны — в 1731 году, по рекомендации известного нидерландского врача Германа Бургаве, на русскую службу определяется потомок португальских марранов, доктор Антонио Нуньес Рибейро Санчес. Поначалу он обучал медицине русских фельдшеров, повитух и фармацевтов в Москве, а затем служил в военном ведомстве и „не малое время находился при войсках, с которыми неоднократно бывал в походах". Позже перебрался в Северную Пальмиру, где практиковал при Сухопутном шляхетном кадетском корпусе. Талант и мастерство Санчеса обратили на себя внимание начальства, и Анна призвала его ко Двору и сделала своим лейб-медиком. Он часто пользовал императрицу, особенно во время ее обострившейся мочекаменной болезни.

Но жаловала императрица не всех крещеных евреев. Она помнила зло, и участь опального Дивьера, разрушившего ее брак с Морицем, облегчить не спешила. Лишь на закате царствования она смилостивилась и в апреле 1739 года издала указ о его назначении командиром вновь отстраивавшегося Охотского порта. И хотя сей новоявленный начальник, со свойственной ему энергией и порт достроил, и снаряжение экспедиции Витуса Беринга организовал, и мореходную школу, превратившуюся впоследствии в Штурманское училище сибирской флотилии, основал, из ссылки его вернет только императрица Елизавета в 1743 году.

А вот для некрещеного еврея Леви Липмана при императрице Анне, казалось, наступил звездный час. По-видимому, при всех ее недостатках, эта монархиня была памятлива и на добро. Как заметил датчанин Педер фон Хавен, „как скоро императрица достигла престола, то в особенности наградила очень щедро некоторых купцов, которые именно решались давать деньги в заем". Одним из них был Леви. И думается, не вполне правы те историки, которые полагают, что он — ставленник исключительно Бирона, а Анна Иоанновна была к нему благосклонна только потому, что будто бы не решилась перечить своему фавориту и возвысила его протеже. В действительности императрица была снедаема самыми противоречивыми чувствами: ее религиозный антисемитизм утишила благодарность к Леви за его прежние услуги,

а нетерпимость к басурманам разбилась о неукротимое стремление не отставать в роскоши от Дворов политичной Европы. Итак, чаша весов склонилась в сторону „полезного" еврея Липмана. „Ее Двор великолепием превосходит все прочие", — говорили знатные иноземцы. И никто лучше Липмана не мог угодить самым прихотливым вкусам лакомой до роскоши русской монархини. Уже в первые годы ее царствования Липману „за взятые у него к высочайшему Двору" алмазные вещи, перстни, ордена императрицей заплачено сотни тысяч рублей.

В 1734 году происходит важное в жизни Липмана событие — иудей становится поставщиком Двора не только де факто, но и де юре, получив официальную придворную должность обер-гоф-комиссара, а в 1736 году — камер-агента. Историк князь Петр Долгоруков отмечает, что должности эти „были созданы специально для Липмана". На самом же деле все как раз наоборот: это Липман был создан для должностей, в коих так нуждался новообразованный русский Двор.

Надо помнить, что Анна Иоанновна приучила русскую знать жить по-европейски. Утверждая придворный штат со множеством новых чинов, по примеру немецких венценосцев, она не могла не видеть, что в Вене, Гамбурге, Франкфурте и даже у мелких курфюрстов — везде в услужении находятся придворные евреи. А иные вознеслись так высоко, что отстроили себе великолепные хоромы, закатывали такие празднества, кои сами августейшие особы посещать не брезговали, держали дома открытые столы, ездили цугом с лакеями на запятках и т.д. И при этом имели должности гоф-фактора, гоф-комиссара, обер-гоф-комиссара, камер-агента, а кое-кто из них даже дворянский титул заполучил. Нет, в России, конечно, тому не бывать, ибо евреям тут не то что жировать, но и жить заказано, но — так и быть! — пусть будет при ее Дворе один такой придворный жид, чтобы злые языки на Западе не судачили: дескать, в этой варварской Московии все не как у людей. Тем более, Липман был личностью небезызвестной: по его векселям платили и в Вене, и в Мадриде. Европейские его агенты Билленбах, Симон, Ферман, Вульф по первому требованию спешили исполнить его финансовые поручения.

И вот, как и его сотоварищи-банкиры, Леви стал обер-гоф-комиссаром, камер-агентом и выполнял сходную работу. Он занимался и ювелирным делом, и переводом денег русским дипломатам для чрезвычайных нужд, и финансированием российской армии за границей; торговал вином и поташом, и даже ведал переговорами о найме на службу иноземной театральной труппы и специалистов-врачей и т.д. Это Липман финансировал постройку величественных барочных дворцов в Митаве и Рундале по проекту знаменитого Бар-

толомео Франческо Растрелли. Двор отпускал ему суммы все более внушительные. Достаточно сказать, что в одном только 1734 году он получил 95 000 рублей!

Каким же был обер-гоф-комиссар Липман? Трудно отыскать в исторической романистике описание фигуры более отталкивающей. Достаточно обратиться к внешности Липмана, какой ее живописует Иван Лажечников в романе „Ледяной дом" (1835), чтобы читатель мог проникнуться омерзением к этому персонажу: „Вытянутая из плеч голова Липмана, с ее полудиском рыжих волос, разбежавшихся золотыми лучами из-под черного соболя шапки, с раскрытою пастью, с дозорными очами, как бы готовыми схватить и пожрать свою жертву... Глаза его вцепились, как когти дьявола в душу". У него „бледное вытянутое лицо, взоры, бросавшие от себя фосфорический блеск", „двигающиеся взад и вперед орангутановы уши", и он так улыбается „огромными своими губами, что в аде сонм зрителей, конечно, рукоплескал этой художнической архи-дьявольской улыбке". Нам, однако, почему-то не хочется рукоплескать писателю, давшему волю своему воспаленному воображению: ведь портретов гоф-комиссара не сохранилось, потому живописать его с натуры автор никак не мог и оказался в плену навязших в зубах юдофобских клише. (О трафаретных изображениях евреев в русской словесности XIX века существует обширная литература; среди наиболее ярких работ — исследования Савелия Дудакова, Габриэлы Сафран, Михаила Вайскопфа).

„Интриганом и канальей прекомплектной", „христопродавцем" величает Липмана герой повести Василия Авенариуса „Бироновщина", который „при имени придворного банкира Липмана, бывшего в то же время шпионом, наушником и ближайшим советчиком Бирона, сердито поморщился". „Графский жид", продувная бестия, кровосос, пекущийся только о собственной выгоде и окружающий себя такими же отвратительными „жуликами без роду и племени, алкавшими сребра и злата от России", — таким предстает Леви в романе-хронике Валентина Пикуля „Слово и дело" (1971). При этом Бирон хотя и восторгается финансовым гением еврея, памятует будто бы о свойственном Леви корыстолюбии. „Подлый фактор, — говорит он Липману, — наверняка знаю, что тебе известны еще статьи доходов, до которых я не добрался! Ну-ка, подскажи..."

Однако эти голословные обвинения и оскорбления в адрес гофкомиссара в прах рассыпаются при обращении к историческому материалу. Примечательно, что отличавшийся юдофобией испанский посол, герцог Иаков Франциска Лириа-и-Херика (он считал иудеев „народом грязным и свинским"), назвал Липмана „*честным* евреем", а такая по-

хвала дорогого стоит! И правда, Леви всегда был готов протянуть страждущему руку помощи. В критический момент он поддержал, причем совершенно бескорыстно, начинающего ювелира, швейцарца Еремея Позье, когда тот задолжал кому-то немалую сумму и вздумал бежать за границу. Леви не только ободрил его и убедил остаться в России, но погасил его долг и предоставил выгодные заказы. По словам Позье, Липман будто бы сказал ему, что в России тот может „*честно* заработать весьма приличные деньги". Благодаря Леви, молодой ювелир стал лично известен Анне Иоанновне, и дела у него пошли. Есть свидетельства, что Липман слово свое держал крепко, в делах был надежен, и — это знали все! — на него всегда можно было положиться. Он знал счет деньгам и работу свою выполнял безукоризненно и точно в срок.

Между прочим, в случае с Позье проявилось еще одно свойство Леви — проницательность, дар распознавать людей. Ведь он поверил в молодого швейцарца, угадал в нем будущего любимого ювелира русских императриц, „Фаберже XVIII века", как его потом аттестовали.

Спешил Липман делать добро и попавшим в беду единоверцам. В 1734 году у шкловского еврея Кушнеля Гиршова некий поручик Бекельман и солдат Иванчин украли малолетнего сына, Берка. И вот последовал именной указ императрицы от 19 ноября — вернуть сына отцу и наказать похитителей. Вдумаемся в сам факт: в России действует закон о недопущении иудеев жительствовать в империи, а императрица вдруг озаботилась судьбой какого-то там еврея (да где? — в захолустном белорусском местечке) и приняла в нем участие. И это исключительно заслуга Липмана: именно ему была потом отослана копия этого указа. Можно только догадываться, сколько дипломатии, такта да и смелости, употребил Леви, чтобы побудить самодержицу российскую помочь его злополучным соплеменникам!

Он, как и его европейские сотоварищи, ходатайствовал перед троном за своих единоверцев, и часто ему удавалось кое-что сделать. По словам современника, он получил разрешение от императрицы „держать при себе евреев, сколько ему угодно, хотя вообще им возбранено жить в Петербурге и Москве". А историк Лев Тихомиров утверждает, что благодаря Липману в столицах прочно укрепилась целая еврейская колония. Факты свидетельствуют о том, что фигура Леви стала своеобразным центром жизни иудеев, как это было принято и в Европе, где вокруг придворных евреев обычно группировалась религиозная община. Липман поддерживал тесные отношения, и не только коммерческие, но и приятельские, с откупщиком Борохом Лейбовым. Известно, что тот жил в Москве, в Немецкой слободе, в доме „у золотаря Ивана Орлета". При этом Лейбов и его зять Шмерль, также житель слободы,

выполняли обязанности резников при Липмане и его слугах, как и Авраам Давыдов, который был на это „благословлен от синагоги в польском местечке Копуст". Давид Исаков и Авраам Самойлов состояли приказчиками, а некий Файвеш — писарем Липмана, и все они проживали „у иноземши Болденши" и не таясь разгуливали по улицам Первопрестольной в „жидовском платье".

Правда и то, что Липман лоббировал дерзкие проекты и своих европейских соплеменников. Благодаря его протекции, в сентябре 1736 года бывший голландский колониальный чиновник „жид Симон Абрагам" был впущен в Северную Пальмиру и подал доношение в Сенат „об обысканной им Америке против острова Допага земле, которая де и поныне ни под чьим владением, где возможно коммерцию производить и оную населить". Речь шла о колонизации русскими острова Тобаго и сопредельной с ним земли на Американском континенте, богатых златом, серебром, дарами фауны и флоры. Там правил туземный князь Юпитер Таривари, очень расположенный к бледнолицым. Хотя идея создать российскую базу на Тобаго показалась сенаторам интересной, но они убоялись, что это вызовет неизбежный конфликт с главными колониальными державами — Испанией и Англией, посему от нее отказались. Между тем, колонии в той части мира основывали все, кому не лень, не только испанцы и англичане, но и шведы, голландцы, датчане и даже курляндцы, потому отказ от колонии некоторые историки считают промахом тогдашних властей России.

Некоторые историки утверждают, что Липман якобы „опутал империю грязными сетями": „Самые высокопоставленные и влиятельные лица старались угодить этому фавориту [Бирона], который не раз отсылал людей в Сибирь по капризу. Он торговал своим влиянием, продавал служебные места, и не было низости, на которую он не был способен". Но подтверждений этому нет никаких.

Несомненно, однако, что еврейский вопрос был для Леви весьма чувствительным. О действительной же его роли в государственной политике можно судить по его влиянию Липмана на общее положение его единоверцев в России. Надо признать, что это влияние было очень не велико. Не говоря уже о том, что иудеям в то время возбранялось жительствовать в России, в 1737 году произошло событие, крайне отяготившее положение всех сынов Израиля. Был дан ход делу о „совращении отставного капитан-поручика Александра Артемьева сына Возницына в жидовскую веру откупщиком Борохом Лейбовым", возбужденному по доносу постылой жены Возницына, Елены Ивановны. Как мы покажем, на самом же деле „вина" Лейбова состояла лишь в том, что он, видя твердое желание Возницына принять еврейство, не отка-

зал неофиту в настойчивой просьбе и помог совершить гиюр. Семидесятипятилетний иудей был обречен на мученическую смерть. Леви, конечно, не мог предотвратить казни, но сделал все возможное и невозможное, чтобы облегчить участь товарища и своего добился — избавил Лейбова от дыбы и пыток.

Как отметил авторитетный английский историк Джон Д. Клиер, паническая боязнь прозелитизма побудила российские власти теперь уже энергично, и без всякого снисхождения бороться с иудеями. По следам суда и казни над „преступниками" Сенат в 1739 году предписал выслать всех евреев из Малороссии, и только по представлению Генеральной Войсковой Канцелярии распоряжение это было отсрочено до окончания войны с Турцией. По окончании же войны, в июне 1740 года, последовала резолюция монархини о приведении в исполнение означенной меры, в результате чего с Украины приказали выдворить в общей сложности 573 евреев, проживавших в 130 частных поместьях.

Правда, и с сим распоряжением мешкали, и кое-кто из малороссийских евреев успел схорониться и уцелел, в чем опять-таки видят руку „всесильного" Липмана. Но очевидно, что придворный еврей тут вовсе не при чем, а виной всему как головотяпство местных властей, так и заинтересованность помещиков в толковых арендаторах.

О том, что реальной силы и влияния в еврейском вопросе Леви не имел, свидетельствуют и действия Бирона в Курляндии, где он был „своя рука — владыка". Показательно, что 3 июля 1738 года, а затем 4 июля 1739 года последовали постановления о том, чтобы все без исключения евреи, уплатив налоги, покинули герцогство ко дню св. Иоанна, то есть к 8 марта 1740 года. А помещикам, укрывающим их у себя, пригрозили немалым денежным штрафом! И это в то время, когда Липман был фактическим министром финансов Курляндии! После этого как-то слабо верится в то, что Бирон „следовал только тем советам, которые одобрит жид Липман".

Утверждают, что Липман и Бирон были связаны самым теснейшим образом. Но близость их, на наш взгляд, не столь бесспорна. Ведь Леви был отнюдь не единственным кредитором герцога: Бирон испытывал постоянную нужду в деньгах и занимал их у кого угодно (даже у своего камердинера). И богатеи, к евреям никакого отношения не имевшие, ссужали временщика куда большими суммами, чем наш гоф-комиссар.

Едва ли Липман, как утверждается, сам был наушником герцога и дворец опутал сетью своих шпионов. Говорят, он предупредил своего патрона о готовившемся против него заговоре и перевороте. Драматург

Николай Борисов в своей исторической комедии „Бирон" (1899) рисует подобную сцену, где временщик отвечает на такое предостережение с ужасающим немецким акцентом: „Полни вздор болтай... Ах, Липман! У каво поднельси штоб рука на мой особ?" Однако подобная беспечность как-то не вяжется с приписываемыми герцогу излишней осторожностью и подозрительностью. Современники-мемуаристы свидетельствуют: когда ночью 9 ноября 1740 года 80 гвардейцев ворвались в опочивальню Бирона с целью его ареста, ошарашенный герцог истошно закричал: „Караул!" Ясно, что низложение регента явилось для того полной неожиданностью.

И вот еще что примечательно: после опалы Бирона его якобы ближайшего клеврета Липмана почему-то никто не тронул. Между тем, пришедшая на смену регента Бирона правительница Анна Леопольдовна расправилась со всем окружением герцога. Когда же в иностранных газетах появились вести об отставке финансиста, столичные „Санкт-Петербургские ведомости" от 13 января 1741 года их опровергли. „Обер-комиссар, господин Липман, — сообщила газета, — коммерцию свою по-прежнему продолжает и при всех публичных случаях у здешнего Императорского Двора бывает". Правда, некоторые историки говорят, что Леви якобы потому сохранил свое положение при регентше, что сообщил ей, где находятся капиталы низложенного Бирона. Но это явный абсурд, ибо известно, что сам Липман так и не смог получить от Бирона крупную сумму, которую тот ему задолжал. Причина „непотопляемости" Леви совсем в другом — венценосцы остро нуждались в его услугах. Достаточно сказать, что за год правления Анны Леопольдовны Брауншвейгская фамилия приобретет через посредничество еврея бриллиантов и ювелирных изделий на сумму более полторы сотни тысяч рублей.



Свадебный кортеж направляется в Ледяной дом. Гравюра XVIII века

К концу царствования Анны Иоанновны отношение ее к евреям стало настороженным и враждебным (хотя „дежурного еврея" Липмана она все еще терпела). Документальных свидетельств на сей

счет не находится, но Валентин Пикуль, которому нельзя отказать в бытописательской точности, изображает выплеск ее юдофобских настроений весьма натурально. Лейб-медика Антонио Рибейро Санчеса она называет не иначе как „христопродавцем". „Ну, жид! — сказала ему Анна Иоанновна, до подбородка одеяла на себя натягивая. — Смотри мое величество... Но одеяла снять не давала: — Ты так меня... сквозь одеяло смотри... Твое счастье, что я больна лежу. А то бы показала тебе... Пиши рецепт, гугнявец такой!.. Чтобы я, самодержица всероссийская, тебе жопу свою показывала? Да лучше я умру пусть, но не унижусь!" Но униженным предстает здесь крещеный еврей Санчес, которому пеняли на его „иудину породу".

Апофеоз Аннинского царствования, его венец и слава — это свадьба шута Михаила Голицына и шутихи Авдотьи Буженинoвой в знаменитом Ледяном доме зимой 1739–1740 годов. То было первое в истории России яркое красочное интернациональное празднество. Императрица повелела губернаторам всех провинций к этому событию прислать в Петербург по несколько человек „не гнусного вида" обоего пола. „Сии люди по прибытии своем в столицу были одеты на иждивении ее Двора каждый в платье своей родины". Посланцы населявших Российскую империю народов и племен ехали на санях, запряженных оленями, волами, свиньями, козлами, ослами, собаками и даже верблюдами. Они играли на народных „музыкалиях", а затем ели каждый свою национальную пищу и залихватски плясали свои туземные пляски. Этнографическая пестрота костюмов призвана была продемонстрировать огромность могущественной империи и процветание всех ее разноплеменных жителей. Пиит Антиох Кантемир назвал императрицу Анну „Матерью народов". А Василий Тредиаковский возгласил: „Торжествуйте все российские народы, у нас идут златые годы!".

Но стоит ли удивляться, что „златые годы" — это не про иудеев сказано, и в том шумном празднике племен не слышалось идишского говора, не было зажигательных еврейских танцев? А все потому, что евреев в России вроде бы как и не было вовсе, точнее, не надлежало быть. И неважно то, что и вид их был „не гнусен", и число их в империи значительно превышало количество аборигенов какого-нибудь северного племени — терпеть в Отечестве „врагов Христовой веры" строго возбранялось законом...

Совсем скоро истает Ледяной дом, отшумят бубны, цимбалы, гусли, бандуры, почит в Бозе благонравная государыня Анна, и для иудеев в России под скипетром „веселой царицы Елизавет" наступят времена еще более лихие. Извлекут из архива и примут к руководству завет Меншикова: „Жидов в Россию ни с чем не впускать". Не-

смотря на всепоглощающую страсть к роскоши, прагматизм отступит, и все евреи будут заклеймены „имени Христа Спасителя ненавистниками", получать „интересную прибыль" от которых новая монархиня объявит делом недостойным и презренным. Первым делом прогонят со Двора Липмана вкупе со всеми его финансовыми агентами, да и сами должности гоф-комиссара и камер-агента упразднят, потому как Ее Величество не соизволят „иметь на Своей службе ни одного жида". А затем грянет указ о немедленном удалении из России всех иудеев.

А пока в веселой праздничной процессии шествовали „копейщик один, во образе воина, в самоедском платье", „самоеды, один мужского, а другой женского вида", и во главе дикарей — отпрыск марранов Ян Лакоста, сокрывший свою „жидовскую породу" под оленьими шкурами.

II. „КАЗНИТЬ СМЕРТЬЮ И СЖЕЧЬ!"

Теплым петербургским летом 1738 года на фасадах домов и фонарных столбах города было приметно объявление: „Сего июля 15 дня, то есть в субботу, по указу Ея Императорского Величества имеет быть учинена над некоторым противу истинного Христианского закона преступником и превратителем, экзекуция на Адмиралтейском острову, близ нового гостиного двора. Того ради публикуется сим, чтоб всякого чина люди, для смотрения той экзекуции сходились к тому месту означенного числа по утру с 8 часа". „Преступником" был отставной капитан-поручик Александр Артемьевич Возницын (1701–1738), отрекшийся от православия, а „превратителем" — еврей-откупщик Борух Лейбов (1663–1738), якобы обративший его в иудаизм. И сих „беззаконников" надлежало „казнить смертью и сжечь".

Экзекуция состоялась в день Святого Владимира, когда дозволено миловать даже закоренелых убийц, но только не врагов Христовой веры. А для двоих приговоренных, дюжего русоголового мужчины и седовласого широкобородого старца, была Божественная суббота, а в этот день, как учит Тора, работать правоверным евреям возбраняется. Да и вообще (прав кенигсбергский раввин Лейб Эпштейн!), летом в этом Петербурге иудею жить просто невозможно — наступают белые ночи и поди попробуй разберись, когда утренняя, а когда вечерняя молитва. Однако ребе ни словом не обмолвился о том, позволительно ли еврею в сей Северной Венеции умирать! Вроде не упомянул об этом, а то, что прямо не запрещено, дозволяется. И вот сейчас, в субботу, они — слава

Всевышнему! — заповеди не нарушают, ибо не трудятся вовсе, а только обреченно идут на эшафот, как на заклание, под гиканье и улюлюканье толпы иноверцев. Причем русоголовый всячески ободряет широкобородого: „Борух, не торопись!" (на языке того времени это означало: не бойся, мол, Борух, не робей!).

Современный почвенник Анатолий Глазунов сетует на то, что рисунков сей казни не находится, и обвиняет русских художников в „постыдной трусости". По его же разумению, картина с изображением, „как сжигали жида-мясника и поганого капитана", должна быть вывешена на самом видном месте в Русском музее — на радость таким же, как он, лютым „патриотам" и в назидание всему крещеному миру! Однако в XVIII веке российские власти, хоть и относились к иудаизму нисколько не лучше Глазунова, не пожелали громогласно заявить о предании огню „кощунников". Показательно, что газета „Санкт-Петербургские ведомости", внимательно читавшаяся при дворах Берлина, Парижа и Лондона, об этом скромно умолчала.



Аутодафе на Руси. Гравюра

Некоторые историки пытаются представить аутодафе Возницына и Лейбова как беспрецедентный и чуть ли не единичный случай в России XVIII века. Между тем, в годы правления ортодоксальной Анны Иоанновны, строго каравшей всех религиозных отступников, сжигали заживо не столь уж редко. Так, в 1730 году сгорели „богохульники" солдат Филипп Сизимин и дворовый Иван Столяр; в 1736 году такой казни подвергся знахарь Яков Яров; а в одном только 1738 году в огне погибли 6 (!) человек. Оторопь берет от дела о сожжении татарина Тойгильда Жулякова, который, по словам доморощенных инквизиторов, „крестясь в веру греческого исповедания, принял снова магометанский закон и тем не только в богомерзкое преступление впал, но, яко пес, на свои блевотины возвратился и клятвенное свое обещание, данное при крещении, презрел, чем Богу и закону его праведному учинил великое противление и ругательство".

Чтобы представить себе, как сие могло произойти, перенесемся в Петербург 30-х годов XVIII века. До нас дошло описание одного ауто-

дафе, свершившегося в 1736 году. Это свидетельство о сожжении двух злоумышленников оставил шотландский врач Джон Кук: „Каждый мужчина прикован цепью к вершине большой, вкопанной в землю мачты; они стояли на маленьких эшафотах, а на земле вокруг каждой мачты было сложено в форме пирамиды много тысяч маленьких поленьев... Мужчины стояли в нижних рубашках и подштанниках. Они были осуждены на сожжение таким образом в прах... К пирамиде дров был поднесен факел, и поскольку древесина была очень сухой, пирамиды мгновенно обратились в ужасный костер... Мужчины умерли бы быстро, если бы ветер часто не отдувал от них пламя; оба они в жестоких муках испустили дух меньше чем через три четверти часа". Таков был обычный порядок.

Какая же сила, какая злодейка-судьба раздула пламя костра, где погибли наши друзья-единоверцы? Как пришли они к смерти такой?

Они познакомились и душевно сблизились в 1736 году в Москве, где тогда жили, и часто вели жаркие споры о Боге и сотворении мира, обсуждали вечные вопросы смысла бытия. Ко времени судьбоносной для обоих встречи каждый из них прошел немалый жизненный путь.



г. Дубровна.
Высокая синагога

Борух Лейбов был родом из Дубровны, польского местечка, что в 80 верстах от Смоленска, игравшего тогда заметную роль в общественной жизни евреев (здесь проходили совещания белорусского ваада). Он был успешным откупщиком, занимался в 1717–1722 годах таможенными и кабацкими сборами на Смоленщине, вел торговые дела в Москве, а также в Петербурге, частенько туда наезжая. Его поддерживал придворный еврей, финансист Леви Липман.

Израильский писатель Давид Маркиш в своей книге „Еврей Петра Великого, или Хроника из жизни прохожих людей" (2001) живописует Боруха тонким знатоком религиозных обрядов и ведущим пасхального седера. Он и в самом деле был вовлечен в жизнь религиозных евреев обеих столиц, вдохновителем и своеобразным центром которой был влиятельный „придворный жид Липман". Лейбов был весьма сведущ в духовной литературе, особенно в Торе, Талмуде и Махзоре. Кроме того, он выполнял обязанности шой-

хета (резника), что отчасти позволяет судить и о его моральных качествах: ведь согласно иудейской традиции, резник непременно должен быть человеком порядочным и богобоязненным.

Имя Лейбова встречается в русских документах с 1722 года. Именно тогда, 28 ноября, в Синод поступил извет от смоленских мещан Герасима Шилы и Семена Паскина. В нем говорилось, что со времени присоединения Смоленского края к России (а именно с 1654 года), „жидовская поганая вера искоренена была без остатка", но вице-губернатор князь Василий Гагарин самовольно допустил сюда евреев в кабацкие и таможенные откупа. Те размножились и „старозаконием своим превращают в жидовство христиан", заставляют их работать в воскресные дни и православные праздники, „отвращая от Церкви Божьей". Евреи будто бы продают мертвечину и „нечистые кушанья, не освященные молитвой", оскверняя тем самым простой народ. А один из супостатов, откупщик Борух Лейбов, ругался Христовой вере и до того обнаглел, что дерзнул построить в сельце Зверовичи „жидовскую школу" (синагогу) прямо рядом с церковью Николая Чудотворца. А когда тамошний священнослужитель отец Авраам „в строении школы в басурманской их вере укоризны чинил", Борух помянутого божьего пастыря „бил смертно и голову испроломил и, оковав, держал в железах", а хотя потом и освободил, „от того жидова мучения священник одержим был болезнью, и, не освободясь от нее, умер".

В том же году был подан и другой донос на Лейбова, состряпанный отцом Никитой Васильевым и дьяконом Григорием Никифоровым, якобы жид Борух и его жена мучили булавками и иглами служившую у них крестьянскую девицу Матрену Емельянову, чтобы извлечь из нее „руды" — захотелось нехристям христианской кровушки!

Как отмечал историк Илья Оршанский, многочисленность преступлений, инкриминируемых Лейбову, „невольно вызывает сомнение в их действительности". И в самом деле, есть сведения, что служитель культа Авраам умер вовсе не от „жидова мучения", а от беспробудного пьянства. Что до прозелитской деятельности Боруха среди русских простолюдинов, то возможность ее исключает даже такой замшелый юдофоб, как Иполлит Лютостанский: „Религиозная пропаганда не слишком сродна и близка духу еврейского народа, — комментировал он этот эпизод, — непосредственное миссионерство чуждо иудеям". Обвинения же в кровавом навете и продаже мертвечины — это знакомые антисемитские клише, заимствованные из соседней Польши и, по-видимому, приписанные доносчиками Лейбову, дабы отстранить от откупов удачливого конкурента.

Святейший Синод, между тем, отнесся к доносам самым серьезным образом и представил дело как крайне опасное. В этом может быть усмотрена традиционная вражда православного духовенства к иудеям — роду, по мнению многих попов, „строптивому и изуверному". Синод тут же распорядился построенную Борухом синагогу, „противную христианской вере", разорить до основания, а обретающиеся в ней „книги прелестного содержания" собрать и сжечь „все без остатку". Святые отцы обратились в Сенат, требуя расправиться со злокозненным Лейбовым, а также „разыскать со всяким прилежанием и истинно, какие противные благочестию от сих жидов пакости происходили". Настаивали они и на примерном наказании вице-губернатора Гагарина, который открыто сим „врагам Христовым" потворствовал. Старцы повелевали „учинить ко изгнанию из оной Смоленской провинции всех тамо обретающихся жидов за границы Российские", чтобы „никогда бы в тех странах, где православных жительство имеется, никакого пристанища и жительства им не было".

Сенат выполнил требование уничтожить синагогу и предать огню молельные книги (для сих целей в село Зверовичи был отряжен бравый капрал Степан Кочкин). Что же до пункта о поголовном выселении иудеев из Смоленска, то здесь сенаторы ослушались духовные власти и в деятельности вице-губернатора никакого криминала не усмотрели. Ведь еще царем Алексеем Михайловичем установлено было: всем лицам, в присоединенных от Польши областях проживавшим (и евреям в том числе), разрешено оставаться на прежнем месте. При этом и иудеи, осевшие там ранее, не подвергались ограничениям в правах жительства, торговли и промыслов в России. Потому донос, в коем говорилось о якобы незаконном их пребывании в крае, заключал в себе одну только ябеду на власти и в расчет принят не был.

Сам же обвиняемый Лейбов нашел себе защитника в лице влиятельного генерал-рекетмейстера (он „ведал управлением дел челобитчиковых") Матвея Воейкова. Тот заявил, что Лейбов ему ведом, поскольку еврей этот приезжал иногда по важным казенным делам в Петербург. Воейков настолько расположился к Боруху, что взял его на поруки и тем самым спас от преследования

Упоминают указ от 26 января 1725 года за подписью императора Петра Великого о лишении евреев откупов на Смоленщине. Однако подлинник этого указа не обнаружен; кроме того, даже если таковой и был, то подписан за два дня до кончины Петра, когда царь был уже прикован к постели и вполне очевидно, что за подобным указом стоял „полудержавный властелин" Александр Меншиков, антисемит самого непримиримого свойства.

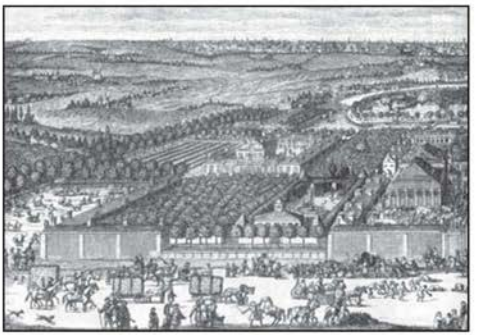
Вполне вероятно, что именно Меншиков был вдохновителем дискриминационных анти-еврейских мер, предпринятых во времена правления Екатерины I. Кстати, именно по ее монаршему повелению от 14 марта 1727 года, из сельца Зверовичи предписывалось выслать всех иудеев, в том числе и Лейбова, за рубеж, а „сборы отдать на откуп всем, кроме жидов". Через полтора месяца последовал и другой ее именной указ от 20 апреля 1727 года об изгнании всех иудеев из Российской империи.

Неизвестно, оставил ли тогда Борух свою предпринимательскую деятельность на Смоленщине, только после падения „прегордого Голиафа" Меншикова положение евреев в империи несколько улучшилось. 22 августа 1728 года император Петр II разрешил им приезжать в Малороссию на ярмарки „для купеческого промысла". А вступившая затем на престол Анна Иоанновна 11 сентября 1731 года распространила это разрешение и на Смоленский край. В 1734 году евреям была позволена розничная продажа товаров, хотя (и это настоятельно подчеркивалось в указах) жить в России постоянно им по-прежнему возбранялось. Однако — вопреки всем запретам! — таковое разрешение Лейбову испросил непотопляемый Леви Липман, и откупщик был как раз тем исключением, которое лишний раз подтверждало правило.

По своим торговым делам Лейбов часто бывал в Первопрестольной. Здесь-то он и встретил этого русского, замечательного тем, что тот вел разговоры исключительно о Боге и жадно интересовался догматами и обрядами иудейской веры. Звали его Александр Артемьевич Возницын, и был он отпрыском древней дворянской фамилии, внесенной во II часть родословной книги Владимирской губернии. Пращур рода Возницыных Путило был ведом в Новгородской республике, где не боялись свободного слова, распространились ереси стригольников и „жидовствующих", спорили до хрипоты о Боге и сущности веры. Предки Александра торговали с заморскими странами, занимали выборные должности, а после падения Новгорода под натиском рати великого князя Ивана III перешли на службу к великому князю московскому. Наибольшую известность получил Прокопий Богданович Возницын — видный дипломат при Алексее Михайловиче, Федоре Алексеевиче, но особенно проявивший себя при Петре I, когда в составе „Великого посольства" 1697–1698 годов они под водительством императора колесили по Европе, выполняя важную государственную миссию. Возведенный Петром в должность думского советника, этот, по свидетельству современников, „высокий, грузный и необщительный человек... с неприятным лицом и важной осанкой", проявил настойчивость, твердость, изрядное упрямство в достижении целей, обладая при этом известной гибкостью и чувст-

вом юмора, иногда доходящим до сарказма. Его брат, отец нашего героя, Артемий Богданович, тоже какое-то время служил по дипломатической части, а затем стал дьяком Разрядного приказа и был не последним участником московской городской реформы.

Говорили, Александр и внешне походил на отца и дядю (высокий рост, стать, русые волосы, большие серые глаза), а еще его отличала особая возницынская „упрямка" — до всего дойти хотел своим умом, а коли доищется, на своем будет стоять и нипочем не отступит. Русской грамоте его обучал на дому словолитец Московской типографии Михаил Петров. Именно этот учитель заронил в нем и интерес к древнееврейскому языку, который знал и называл „святым", цитируя мальчику Ветхий завет: „Рече Господь к Моисею, рцы сыновом Израилевым вы есте речение церковное и язык святый". Петров рассказал ему и о 613 заповедях, которые сыны Израилевы старались неукоснительно исполнять. И в школе иноземца Густава Габе (открытой на кошт купца Франца Гизе), что в Немецкой слободе, куда попадает наш семилетний герой, он наряду с географией, историей, арифметикой, немецким языком и латынью постигает и начатки сего „святого" языка; и хотя не может читать по слогам, но литеры заучивает твердо.



Де Витт Г.
Немецкая слобода
в конце XVII века

Тринадцатилетним недорослем Александр был „написан" в Морскую Академию, о чем походатайствовал его шурин, муж сводной сестры Матрены, контр-адмирал Иван Синявин. Главное внимание уделялось в Академии математике, фортификации, навигации, геометрии, геодезии и прочим предметам, „до рисования и такелажа касающимся". Студенты должны были искуситься и в политесе — „друг к другу иметь всевозможное почтение и друг друга называть моим господином". Однако с „господ" здесь драли три шкуры, как с последних салажат: во время занятий у дверей класса стоял здоровенный дядька с хлыстом в руке, и того, кто урок не зазубрил, порол нещадно и непочтительно. Впрочем, успехов в учебных предметах Возницын не выказывал, ибо не лежала душа его к Нептунову ремеслу. Он получил тогда прозвание „неслух", поскольку лекции слушал вполуха, зато слыл зав-

зятым книгочеем и домоседом. Круг чтения Александра не вполне ясен, но есть сведения, что книги он заимствовал из богатейшей библиотеки профессора математики, энциклопедически образованного Андрея Фарварсона (1675–1739), с коим, несмотря на разницу в возрасте и положении, приятельствовал. Не исключено, что Возницын и последователь англиканства Фарварсон обсуждали вопросы религии и веры, всегда волновавшие Александра.

В отличие от отца и дяди, государственным человеком Александр Возницын не был. Он знал наверняка, что судьбой ему определена иная стезя, и службу воспринимал как несносное бремя, а подчас и откровенно ею манкировал. Окончив Морскую Академию, он в 1717 году был определен во флот гардемарином, а в 1722 году был произведен в мичманы и принял участие в Низовом походе. В 1728 году, при императоре Петре II, он служил в Кавалергардском корпусе, куда был принят за благородное происхождение, стать и высокий рост, но при этом не только рвения не проявлял, но и к своим прямым обязанностям относился с прохладцей. Не леность тому причиной — просто другой закваски был этот человек, мыслями парил высоко. И пожелал всецело отдаться тому, что возвышало его душу, не пренебрегая для сей цели ничем и проявляя порой изрядную долю возницынской хитрости и упрямства.

В начале царствования Анны Иоанновны наступил, казалось, звездный час его карьеры: заслуженный вице-адмирал Наум Синявин добился назначения своего свойственника вторым капитаном пакетбота „Наталия". Но, управляя судном, Александр тут же посадил его на мель, демонстрируя тем самым полную свою несостоятельность. Похоже, он сделал это нарочно, чтобы освободиться от тяготившей его службы (ведь трудно все-таки предположить, что учеба в Академии не дала ему ровным счетом ничего). И в 1733 году по Высочайшему указу он был исключен из флота „за незнанием действительно морского искусства". Дальнейшую судьбу капитана-поручика должна была определить Военная коллегия.

Последующее поведение Возницына говорит о том, что он не желал служить решительно нигде, для чего сказался больным. В декабре 1733 года он подает прошение об отставке, ссылаясь на то, будто бы у него „кровь повредилась, так что всякие опасные у него в руках и ногах сделались и на левой руке и затем тремя пальцами владеть не может", а потому „к воинской службе не способен". И Коллегия отпустила Александра Артемьевича домой на год для поправки здоровья. Но 30 апреля 1735 года Возницын подал новое заявление, „что от болезней не токмо свободы не получил, но

и больше прежнего оные умножились". Освидетельствовавший его майор объявил, что новоявленный недужный „в доме своем сидел в постели, в лице бледен..., сказывал, что у него имеется болезнь ипохондрия и в речах имеет запность и признавается, что в нем есть меланхолия; при том же осмотре служители его объявили, что он временем бывает в беспамятстве и непорядочно бегает и дерется". В другой раз направленный к нему для инспекции солдат Степан Каширин „сказкою показал, лежит, де он, Возницын, в доме своем в людской избе, на печи, обут в лапти и поднимал ноги вверх". Последовали еще множество врачебных комиссий, после которых было принято решение: „за несовершенном в уме состоянии в воинскую службу употреблять его не можно". И по окончательному решению Правительствующего Сената от 2 октября 1735 года Возницын был „от дел отставлен и отпущен в дом во все".

Так сбылась его мечта, и Александр освободился от тяготивших его должностных забот. Он был довольно зажиточным помещиком: от покойных отца, матери Мавры Львовны и брата Ивана получил имения в Белявском, Вологодском, Дмитровском, Кашинском, Московском и Рузском уездах с 370 четями пашни и 962 душами крестьян. Казалось бы, живи себе на покое, наслаждайся деревенской жизнью! Возницын, однако, заниматься хозяйством не пожелал. И не возражал вовсе, когда Матрена Синявина, сославшись на безумие сводного брата „по силе указа 1723 года, до освидетельствования дураков касающегося" взяла под опеку все его недвижимое имущество, исключая только села Непейцило Коломенского уезда с тридцатью крепостными душами, полученного им в приданое после женитьбы. Этим Александр вызвал острое негодование законной супруги Елены Ивановны (урожденной Дашковой), с которой они и без того жили в постоянной и обоюдной вражде. Еще в 1733 году Александр вознамерился развестись с постылой женой, о чем подал прошение по форме и ждал решения Духовной дикастерии на сей счет.

Но мысли Александра Артемьевича были далеки от мирских дел и житейских невзгод. Он мог теперь полностью отдаться чтению и волновавшим его вечным жгучим вопросам бытия. А искал Возницын Бога в мире и собственной душе и совершил в 1735 году паломническую поездку на Север, в Соловецкий монастырь, а именно, в Анзерский скит. По-видимому, уже тогда он стал отходить от христианских догматов. Сопровождавший его в поездке слуга Андрей Константинов свидетельствовал, что барин там „святым иконам нигде никогда не маливался и не поклонялся и крестного знамения на себе не изображал". Он будто бы говорил Константинову, „чтоб точно веровал единому Богу и не кре-

стился, а, став бы на коленки, говорил следующие речи: Боже! Буди яко по земле хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя от них яко благ и человеколюбец!". В минуту душевного волнения, рассказывал далее Константинов, Возницын сорвал с него крест и бросил в огонь, в печь, к неописуемому ужасу сего верного крепостного раба...

Александр проникся иконоборческими настроениями, приказал крестьянам сломать часовню и утопить иконы в Москве-реке в своем имении Никольское. Когда же те пытались устраниться от сего „богопротивного дела", Возницын на них бранился и криком кричал и настоял-таки на своем; причем некоторые святые лики, как говорят очевидцы, он сам в реку „броском метал". Подобное кощунство учинил он и в сельце Бабкине, что на реке Истра, о чем свидетельствовали староста и приказчик.

Несомненно, он изучал догматы разных религий. Поначалу он вослед известному вольнодумцу Дмитрию Тверитинову (которого, между прочим, обвиняли в „жидовстве") пришел к убеждению, что „во всякой вере спастись можно" и, по-видимому, лишь в результате долгих духовных исканий обратился к иудаизму. Вот как говорится о Возницыне в историческом романе Леонтия Раковского „Изумленный капитан" (1936): „Он на всех языках книги читает. С иноземцами любит беседовать. Бывало, в Астрахани перса ли, татарина ли в гавани встретит, — к себе позовет, расспрашивает: как они живут да какой у них Закон? Эти годы здесь, в Москве, жили — в Немецкую слободу часто ездили. К нам, в московский дом, жидовин один со Старой Басманной часто хаживал. Целый вечер, бывало, с Александром Артемьевичем говорят".

Этим жидовином и был Борух Лейбов. По рассказам крепостного человека Возницына Александра Константинова, в один погожий июльский денек 1736 года барин наказал ему отправиться в Немецкую слободу, сыскать там „ученого жида" и уговорить его к нему в гости пожаловать, что он, Константинов, в точности и исполнил. Пришлось, правда, поплутать по слободе этой, чтобы найти там дом золотых дел мастера Ивана Орлета, где, сказывали, квартиру снимал книжный человек, евреин Глебов. Впрочем, то, что он нехристь, за версту было видно, ибо ходил этот Глебов в самом что ни на есть жидовском платье, словно в Москве-матушке, где их брату и жить не велено, напоказ жидовство свое выставлял. Хотя понимал старозаконник пейсатый, что православным с такими, как он, якшаться не велено. Константинов не ведал, почто таиться надобно (слова „конспирация" тогда в русском языке не было), а потому никак не мог взять в толк, отчего еврей этот попросил остановить коляску за квартал от их дома, почему говорили они с барином на непонятном языке. Не знал он, что то был немецкий,

хотя Лейбова выдавал сильный идишский акцент. И уж совсем невдомек было Константинову, зачем Александр Артемьевич этого зачастившего к нему жидовина так ублажать стал: то двух индеек ему в слободу пошлет, то барана, то сукна дорогостоящего аж за 10 рублей 50 копеек, то голову сахарную, то пшена сорочинского. И все-то осторожничал, норовил дело так обернуть, что подарки вроде бы неизвестной особой дадены, будто предвидел, корить потом его будут: „С нехристем спознался! Почто тебе так дорог оказался жид этот? Почто не гнушался ясти и пити с ним? В жидовскую веру переметнулся?".

Поначалу отставной капитан еще не изжил традиционных взглядов и утверждал, что „от сотворения мира 7000 с несколькими летами, а Борух сказывал, что 5496 лет, и каждый в своем рассуждении при летах остался". Но постепенно, сличая тексты переведенной с греческого языка Библии и Торы — „Библии Моисеева Закона" и усматривая в них явные расхождения, Александр пришел к выводу, что „в еврейской [Библии] напечатано справедливее". Их разговоры тянулись нескончаемо долго. То была дискуссия двух книжников, в ходе которой Лейбов свободно излагал свои мысли. И Возницын в конце концов пленился логикой аргументации, ясностью рассуждений и, как ему показалось, правдой учения своего еврейского собеседника. Их взгляды сблизились, и они „более никакого спора не имели". Постепенно диалог невольно обратился в монолог — и Александр лишь внимал словам Боруха, все более проникаясь благоговением к иудейскому Закону. Дальше — больше: он стал настоятельно просить еврея принять его в свою веру.

Что же подвигло на такой шаг православного человека? Любопытно, как объясняли это наши соотечественники. Преподобный Иосиф Волоцкий в XV веке о причинах притягательности „жидовства" для паствы рассуждал: „Так пришел на землю прескверный сатана — и нашел у многих землю сердечную, возделанной и умягченной житейскими удовольствиями, тщеславием, сребролюбием, сластолюбием, неправдой и посеял гнусные плевелы чрез порождения ехидны". Однако столь откровенно враждебная оценка иудаизма в „Истории государства Российского" Николая Карамзина сглажена. Здесь говорится, что евреи, „обитавшие в земле козарской или в Тавриде, присылали в Киев мудрых законников" и что Владимир, „великий князь, охотно их выслушал" (по крайней мере, учение мудрое и внимают ему с интересом!). Писатель Сергей Максимов отмечает, что для некоторых русских людей „евреи стали идеальным народом, Ветхий Завет исключительным руководством в жизни... Русский человек самым делом доказал сочувствие к угнетенному и презираемому племени и

принял его веру". Обращение к „чуждому" иудаизму историк Вадим Кожинов связывает с характерным для некоторых русских „экстремизмом". Другой исследователь, Лев Усыскин, видит причину перехода в „любознательности" обращенного. „Воспитанный в православии русский человек, — поясняет он, — в какой-то момент приходил к мысли прочесть Ветхий Завет самостоятельно. И вот такое внимательное чтение, к удивлению читателя, обнаруживало, что привычный ему религиозный обиход этому старому Закону, наоборот, противоречит, игнорирует его требования и вообще довольно плохо с ним стыкуется. Начиная с еврейской субботы, перенесенной христианством почему-то на воскресенье".

Русские историки-почвенники и некоторые писатели не устают повторять, что Лейбов чуть ли не заставил Возницына принять иудаизм, а тот, „не отличавшийся ни умом, ни образованием" (хотя на самом деле все было как раз наоборот), поддался его диктату. „Борох Лейбов сотоварищи обнаруживает деятельный прозелитизм, — пишет Лев Тихомиров, — совращает в „жидовский закон" отставного флота капитан-поручика... при помощи других жидов совращает в Смоленске простой народ". „Дерзкое проповедование жидовства" инкриминирует Боруху и историк Александр Григорьев. А бурная фантазия Александра Пятковского живописует „целое гнездо пауков, широко раскинувшее свою паутину": вместе с Лейбовым, оказывается, действовала „шайка приспешников" и эти изверги „затеяли пропаганду обрезания, которому, может быть, подверглись и другие лица". Ему вторит писатель Феликс Светов в романе „Отверзи ми двери" (1978): „Несчастный Возницын был соблазнен", а все потому, что евреям якобы „даже законом предписано совращать в свою веру". (Интересно, что тот же Светов православный прозелитизм считает делом законным и святым).

На самом же деле, взгляд иудеев на миссионерство наиболее рельефно выражен в лапидарной формуле Шломо Лурия: „Пусть племя Израиля продолжает жить и занимать свое собственное место среди других народов в дни нашего изгнания, и пусть чужие, те, кто не из нашего народа, не присоединяются к нам". Начиная же с XVII века, когда отрицательное отношение еврейства к христианству ослабело (что не оставляло места для стремления приводить неевреев „под крылья Шхины"), отказ иудаизма от прозелитской деятельности получил идейно-философскую базу. Если же единичные случаи обращения происходили, то, как отмечает „Еврейская энциклопедия", „неофиту указывали на все невыгодные стороны его перехода в иудейство и на бремя еврейского законодательства. Новообращенному задавали вопрос: что привело его к тому, что он предпринял этот

шаг? Разве он не знаком с тем грустным положением, в котором находится ныне Израиль? Новообращенный отвечал: „Я знаю, но не достоин разделить их славного удела". Ему указывали затем на все ограничения в пище и питье... Если неофит оставался тверд, его подвергали обрезанию в присутствии трех ученых, а затем его вели к омовению, после чего он считался евреем".

В условиях XVIII века, когда за переход в иудейскую веру лишали жизни, новообращенному надлежало быть непоколебимым в своих убеждениях. Из той эпохи ведомы всего еще два случая такого перехода, причем с самым плачевным исходом. В 1716 году в городе со старейшей еврейской общиной, Дубно, были казнены две прошедшие гиюр (именно так называют принятие иудаизма) христианки. Мещанки Марина Сыровайцова и Марина Войцехова показали на следствии, что „задумали перейти в иудейство по собственной воле" и „готовы погибнуть еврейками за живого Бога, потому что христианская вера ложна". Выяснилось при этом, что о преимуществах иудаизма Сыровайцовой насказал ее отец, бывший... священником. Женщин многажды пытали. Сыровайцова была приговорена к терзанию тела клещами, а затем к сожжению заживо на костре, а Войцеховой, которая после сотни ударов плетьми покаялась в отступничестве, отрубили голову, а ее труп сожгли.

В исторической памяти сохранилась и легенда о Гер-Цедеке, знатном польском дворянине, графе Валентине Потоцком. Он перешел из католичества в еврейство и был по приговору церковного суда сожжен за это в Вильно 24 мая 1749 года. Однако мы — увы! — лишены возможности проследить, как вызревало в Потоцком желание обратиться к иудаизму, какие душевные борения довелось ему преодолеть. Известно лишь, что, будучи в Париже, куда он направился совершенствоваться в науках, Потоцкий забрел как-то в лавку букиниста. Здесь его внимание привлек склонившийся над фолиантом старик-еврей. Узнав, что речь в книге идет об иудейской вере, пытливый граф решил с ней ознакомиться, и старик согласился давать ему тайные уроки. Далее известен только результат этих уроков: разочаровавшись в истинности христианства (хотя графу благоволил сам римский папа), Потоцкий уехал в Амстердам, где принял иудаизм и был наречен Авраам бен Авраам.

Если говорить о Руси, то примеры иудейского миссионерства отмечены лишь на раннем этапе ее истории. Об одном из них, так называемом „прении вер" с участием хазарских раввинов при дворе князя Владимира-Крестителя, мы уже упоминали. Историк Василий Татищев указывает также, что при веротерпимом князе Святополке „жиды...

имели великую свободу и власть, чрез то... они же многих прельстили в свой закон", однако подтверждений этому нет. А Киево-Печерский патерик (XI век) повествует о мученике Евстратии, который был взят в плен при разорении Киева половцами и продан в рабство иудею из крымского города Корсуня. По преданию, этот самый иудей-святотатец потребовал от него и от 50 других русских пленных отречься от Христа и совершить гиюр, но не добился ничего, и тогда уморил всех голодом, а Евстратия, привыкшего к постам и потому выжившего, распял во время празднования еврейской пасхи. Однако православные богословы Александр Мень и Яков Кротов сомневаются в достоверности данных о Евстратии и называют их „баснями", „издевательством над здравым смыслом, Истиной, Христом". И безусловно прав историк Николай Градовский, автор монографии „Отношение к евреям в древней и современной Руси..." (Т.1, 1891), резюмировавший, что „евреи вообще не уличались в склонности к пропаганде и прозелитизму". Очень точно сказал об этом и Лев Толстой: „В деле веротерпимости еврейская религия далека не только от того, чтобы вербовать приверженцев, а напротив — Талмуд предписывает, что если нееврей хочет перейти в еврейскую веру, то должно разъяснить ему, как тяжело быть евреем, и что праведники других религий тоже унаследуют царство небесное"[1].

Но вернемся к Александру Возницыну. Есть все основания думать, что он принял иудейскую веру не „по коварственным наговорам жида Боруха Лейбова" (как об этом будут писать в официальных документах), а по собственному разумению. При этом он ясно понимал, с какой нескрываемой злобой и ненавистью будет воспринят сей его шаг окружающими, и по возможности тщился себя обезопасить. Так, направляясь в декабре 1736 года в Смоленск, а затем в Польшу „к лучшему познанию Жидовского закона", он объявил домочадцам, что едет, дескать, к тамошнему искусному лекарю, дабы тот излечил его от недугов (явно мнимых, поскольку, по показаниям многочисленных свидетелей, никаких болезней у него не наблюдалось). Знаменательно, что в путешествие они должны были ехать вдвоем с Лейбовым, но (опять-таки конспирация!) их крытые коляски встретились в условленном месте на пути к Смоленску, в 50-ти верстах от Москвы.

Материалы дела позволяют восстановить факты: оказавшись в польском местечке Дубровна, Возницын поселился в доме сына Боруха, Меера. Далее Александр настоятельно просил о своем переходе в иудаизм и желал совершить обрезание, о чем „согнув руки свои, при-

[1] Авторство этих слов приписывается также Г. Гутману.

сягал". И Лейбов, вняв его просьбам, призвал „жидов трех человек", среди коих находился и моэль, „который от Рабинов, то есть Жидовских судей благословен на обрезание рождающихся... младенцев". После сего была совершена брит мила, и Возницын, вступивший в союз с праотцом Авраамом, на радостях пожаловал моэля 10 рублями. И „все означенные Жиды с оным Борухом и сыном его по Жидовскому обряду обедали, а он, Возницын, от обрезания изнемог и лежал в постели своей". При этом „Жидовские шабасы [соблюдал] и богохульные противные о Христе Господе Боге слова... он, Возницын, произносил".

Когда Возницын вернулся из Польши в Москву, отношения Возницына с женой еще более накалились, так что дело и до рукоприкладства дошло. Елена Ивановна злобилась на „немалые мучительства" и „нестерпимые побои", учиненные ей благоверным. К тому же, она опасалась остаться без гроша за душой в случае развода. Так или иначе, у нее были все резоны избавиться от чуждого и не любящего ее супруга. Вообще, сохранившиеся сведения о Возницыной, позволяют говорить о ней как о женщине склочной, вздорной, корыстолюбивой и малограмотной. Тем не менее, в извете, поданном ею 4 мая 1737 года в канцелярию Московского Синодального правления, Елена Ивановна внятно и достаточно красноречиво рассказала о всех „преступлениях" муженька. Бойкий канцелярский стиль ее извета явственно обнаруживает, что рукой Возницыной водил некий поднаторевший в крючкотворстве человек. Им мог быть священник отец Никодим, большой дока по этой части, который, надо думать, небескорыстно, подучил ее, что и как писать, да на какие пружины нажимать надобно.

В доносе, между прочим, говорилось, что муж ее, Возницын, креста нательного давно не носит, и вообще, „оставя святую православную греческого исповедания веру, имеет веру жидовскую и никаких господских праздников не почитает. И в страстную седмицу употреблял себе в пищу пресные лепешки и мясо баранье... А оной же муж в молитву имеет по жидовскому закону, оборотясь к стене... Он жидовский шабас содержал и мыслил тем умаслить Бога... Живность по жидовскому закону резал... Опресноки по жидовскому закону пек и ел". И из семейной, передававшейся из рода в род „Псалтыри Доследованной" с изображением Спаса нашего Иисуса Христа и прочих святых злодейски страницы вырвал, а иные гравюры кощунственно подскоблил. Носил с собой какую-то жидовскую молитву и никогда с ней не расставался. Сообщила она и о разрушенной часовне, и о надругательстве над иконами. Но, главное, муж ее „от жидов обрезан, а больше из тех жидов имел он дружбу с жидом Борохом Глебовым". При этом Возницына сообщила, казалось бы, неопровержимое доказательство

его еврейства: „до отъезда [в Польшу] повреждения [у него] не видала, а после приезда повреждение на тайном уде усмотрела, да и потому обрезан и явно себя изобличает".

Между тем, иудейство его и без того так или иначе выплыло наружу. Один из его слуг утверждал, что барин заставлял его молиться по-жидовски. А бывший духовник Возницына, московского Благовещенского собора священник Михаил Слонский корил его, что годами не исповедуется и не причащается и что вместо слов раскаяния услышал от сего раба божьего беззастенчивую проповедь жидовства. Александр распространялся о том, что „знает, как Бог нарицается различными именами еврейскими, да еще знает, как похвалы его Бога по-еврейски хвалят и величают, и что значит имя ангел, и что аллилуйя, и что аминь, библия, вседержитель, и как псалтырь прямо сказать знает". Он также дал православному пастырю „жидовскую молитву своеручного ж их писания".

Делу о „совращении отставного капитан-поручика Александра Артемьева сына Возницына в жидовскую веру откупщиком Борохом Лейбовым" был дан ход. Несчастных схватили, одного — в Москве, другого — в Зверовичах, и препроводили в Санкт-Петербург с предписанием содержать в кандалах „под самым крепким арестом. Особое внушение сделала Анна Иоанновна караульным: „Дабы [сии преступники] от жидов каким воровским способом или происком выкрадены или через взятку перекуплены не были!". Предостережение странное и вздорное, если учесть, что иудеям жительствовать в России, а тем более в Москве или Петербурге, категорически воспрещалось, а тех, кои случайно осели в Немецкой слободе, можно было по пальцам одной руки пересчитать. Видать, уже тогда русской императрице мерещился тотальный еврейский заговор, от которого спасу нет!

Вместе с Лейбовым и „объевреенным" капитаном в застенках томились трое крепостных Возницына — Сашка и Андрюшка Константиновы да староста Федька Григорьев. А фигурантами по сему делу проходили 20 человек! Всем им надлежало дать самые подробные признательные показания начальнику Канцелярии тайных розыскных дел Кавалеру и Генералу А.И. Ушакову — человеку с землистым лицом, чем-то смахивавшему на великого инквизитора. И уж, конечно, самое пристальное внимание обратила на сие „богопротивное" дело государыня, которая видела в нем вопиющее беззаконие и опасность для Христовой веры. Увы (слаб человек!) — все крепостные Возницына подтвердили то, что барин их и богохульные речи говорил, и иконы не почитал, а Сашка Константинов вспомнил, как в Дубровне сын Лейбова, Меер, ему сказал: „как де твой помещик обрежется, то де будет у нас великое веселье". Тем самым факт обрезания слуга прямо подтвердил.

Борух Лейбов, вопреки очевидным фактам, все отрицал, признав лишь то, что вел с Возницыным разговоры о Боге и сличал с ним тексты Библии и Торы (впрочем, как мы видели, тактику конспиратора он избрал с самого начала их общения). На вопрос, не совращал ли он Возницына в иудейство, Лейбов ответил: „Того не было. В наш Закон его никто не принял бы — у нас строго запрещено в иудейскую веру переманивать. И как господин Возницын мог перейти в нашу веру, не зная всех наших установлений. А их 613. Но кабы и выучил он все установления, все едино — ни в Польше, ни в Литве принять в наш Закон никого не могут, а только в Амстердаме. Так установлено от наших статутов".

Подобным образом поначалу вел себя и Возницын — отвергал все обвинения и не каялся ни в чем, „учинив умышленное запирательство". Однако после того как заплечных дел мастера на дыбу его подняли, признался он и в том, что обрезание „учинил по своевольному желанию" и „о содержании Жидовского закона присягал", и „произносил важные и Церкви Святой богохульные слова". А одно только последнее деяние каноническим грехом считалось и каралось самым суровым образом — 1-я же глава 1-го пункта „Соборного Уложения" 1649 года, которого в первой половине XVIII века никто не отменял, гласила: „Будет кто иноверцы или и Русской человек возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа или на родившую его Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, или честный крест, или на Святых его угодников, и того богохульника, изобличив, казнити, сжечь".

Дело было передано в Сенат, а затем в Юстиц-Коллегию, которая постановила „произвести указанные розыски, для того, не покажется ли оный Борух и с ним кого из сообщников в превращении еще и других кого из благочестивой, греческого исповедания веры в жидовский закон". Лейбова (которому, помимо совращения православного, припомнили и старые грехи 1722 года) решили, как и Возницына, подвергнуть пытке в надежде, что и у жестоковыйного иудея тоже тогда язык развяжется. Однако пыл палачей нежданно-негаданно охладила... сама православная государыня. Она вдруг распорядилась: хотя Борух Лейбов по силе совершенных им преступлений и подлежит допросу с пристрастием, чинить того не надобно. Ибо, в противном случае, из его „переменных речей" могут произойти нежелательные для интересов государства последствия.

Как уже отмечалось, к сему „удивительному" решению монархини руку приложил Леви Липман, действовавший через всесильного Бирона. Но все, что мог сделать придворный еврей для попавшего в беду

единоверца — это освободить его от дыбы и пыток. Судьба же Лейбова была предрешена. 24-ая статья 22-й главы того же „Соборного Уложения" гласит: „А будет кого басурман какими-нибудь мерами или насильством или обманом русского человека к своей басурманской вере принудит, и по своей басурманской вере обрежет, а сыщется про то допряма, и того басурмана по сыску казнить, сжечь огнем безо всякого милосердия". При этом выходила явная несообразность, о чем говорит историк: „Признав, что Возницын отпал от православной веры и признал жидовский закон „самовольно", то есть без всякого со стороны Боруха принуждения к тому насилием или обманом, [Юстиц-] Коллегия тем не менее нашла возможным подвергнуть Боруха казни, следовательно, с другой стороны, признала его виновным в насильственном и обманном принуждении Возницына к своей жидовской вере". Но искать логику в действиях оголтелых ортодоксов, одержимых инквизиторской истерией, — занятие зряшное. На самом же деле „вина" Лейбова состояла лишь в том, что он, видя широкую эрудицию и твердое желание Возницына принять еврейство, не отказал иудею-неофиту в его настойчивой просьбе и помог совершить гиюр.

Монаршая резолюция гласила: „Дабы далее сие богопротивное дело не продолжилось, и такие, богохульник Возницын и превратитель в Жидовство Жид Борох других прельщать не дерзали: того ради за такие их богопротивные вины, без дальнего продолжения, по силе Государственных прав, обоих казнить смертью и сжечь, чтоб другие смотря на то невежды и богопротивники, от Христианского закона отступать не могли и в свои законы превращать не дерзали".

„Казнить смертью и сжечь!" — громко повторил приговор пунцовощекий, с лицом, как вымя, кат, и беспощадные слова эти эхом пронеслись над толпой зевак, пришедших поглазеть на экзекуцию Лейбова и Возницына там, на Адмиралтейском острове, 15 июля 1738 года. Тогда в неистовом огне утонули последние крики этих двоих, сожженных заживо лишь за то, что были последовательны и крепки в религии Моисея: один был привержен ей с рождения, другой сознательно пришел в ряды иудеев. Кто же выиграл от их мученической смерти?

Ну, прежде всего, постылая жена, а теперь уже вдова Елена Возницына, которая „в награждение за правый донос" на мужа получила часть оставшегося после него имущества, а также „100 душ с землями и с прочими принадлежностями". Власти намеревались облагодетельствовать и слуг, братьев Константиновых и Григорьева в благодарность за то, что те изобличили злостного отступника. Им вознамерились было дать вольную, но, в конце концов, рассудили за благо отдать в собственность той же Возницыной, может статься, усмотрев между барыней и угодливыми изветчиками особое душевное сродство.

В русской словесности XVIII века аутодафе Лейбова и Возницына упоминается в „Сатире IX. На состояние сего света к солнцу" князя Антиоха Кантемира. Автор высмеивает некоего олуха, опасавшегося читать Библию, дабы не отпасть от Христовой веры:

„Как, — говорит, — Библию не грешно читати,
Что она вся держится на жидовской стати?
Вон де за то одного и сожгли недавно,
Что, зачитавшись там, стал Христа хулить явно.
Ой, нет, надо Библии отбегать как можно,
Бо, зачитавшись в ней, пропадешь безбожно".

К сим словам пиит сделал характерное примечание: „В Санкт-Петербурге 1738 году месяца июля и средних числах сожжен, по уложениям блаженные памяти российских государей, бывший морского флоту капитан за то, что принял жидовскую веру и так крепко на оной утвердился, что, не смотря на правды, упрямством своим в страшном на спасителя нашего Христа хулении погиб; который случай безмозгим невеждам немалую причину подал сумневаться о Библии, когда они слышат, что жиды ветхого закона держатся. О, как безумные и дерзкие невежды! Причина ли Библия святая дьявольского того орудия погибели?" Подтекст ясен: вовсе не Библия повинна в том, что воспринимается как еврейское учение („жидовская стать"), а „безмозгии", „безумные и дерзкие невежды", превратно ее толкующие.

Между тем, таких „безумных и дерзких невежд", обратившихся к еврейству, в России XVIII–XIX веков были, по сведениям историка Савелия Дудакова, сотни тысяч (и это несмотря на то, что иудаизм был в те времена официально объявлен „лжеучением", и осквернение синагоги преступлением отнюдь не считалось!). Еще до Кантемира известный публицист Иван Посошков упоминает о них в своих письмах. А св. Дмитрий Ростовский в „Розыске о раскольничьей Брынской вере" (1709) пишет о сектантах-щельниках (на Дону): „иже субботу пожидовски постят". Субботники отвергали христианское вероучение, почитали Ветхий завет. А в нем их привлекали запрет пожизненного рабства, идея единобожия (а не Троицы) и отрицания „кумиров" (икон). В культе они стремились выполнять ветхозаветные предписания (обрезание, празднование субботы и еврейских праздников, пищевые и другие запреты). В царствование Екатерины Великой, и особенно при Александре, I секты молокан-субботников пустили такие глубокие корни, что стали появляться в губерниях, находившихся за чертой еврейской оседлости (Московской, Тульской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, Пензенской, Ставропольской и т.д.). А Николай I пове-

лел „именовать субботников жидами и оглашать, что они подлинно жиды". При этом, в отличие от иудеев, „жидовствующие" пропагандировали свое учение, обращая в свою „вреднейшую секту" все новых и новых адептов. С конца XIX века в среде субботников — русских людей, в той или иной степени соблюдавших Моисеев закон, возникло движение за переселение в Палестину, и они целыми семьями (Дубровины, Куракины, Матвеевы и др.) обосновывались в еврейских сельскохозяйственных поселениях, главным образом, в Галилее, где через два-три поколения растворились среди местного люда.

А что власти предержащие? Запалить костры инквизиции по всей православной России, в пламени коих сгорели бы заживо, в прах бы обратились тысячи „поганых капитанов Возницыных", им было уже не под силу. Да и времена уже наступили не те. Пришлось ограничиться поражением их в правах, запретами на передвижение и на брак с православными подданными, а то и ссылкой в Сибирь на казенные фабрики и заводы, а также призывом детей сектантов на армейскую службу кантонистами. Однако масштабы этого явления афишировать никто не собирался, и начальство подчас делало вид, будто и не происходило ничего вовсе. Да и сегодня мало кто знает о капитане Александре Возницыне и откупщике Борухе Лейбове, которые поплатились жизнью за свободу совести и веры.

ДВА ЛИКА ИМПЕРАТРИЦЫ

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА



Портрет императрицы Елизаветы Петровны. Гравюра Е.П. Чемесова

„Не жалеть за целость веры и Отечества последней капли крови, быть вождем и кавалером воинства, собирать верное солдатство, заводить шеренги, идти грудью на неприятеля!" — с такими словами 24 ноября 1741 года обратились к красавице-цесаревне Елизавете гвардейцы Преображенского полка. И она, дщерь Петрова, их „кума" и „царь-девица", в золоченой офицерской кирасе, увлекла за собой на штурм Зимнего дворца 308 гренадеров — и постылое „немецкое" правление пало. Занималась заря нового царствования. Его декларируемый пафос очень точно передал историк Евгений Анисимов: „Именно [Елизавета], видя неимоверные страдания русского народа под гнетом ненавистных иноземных временщиков, восстала „на супостаты". И с нею на Россию взошло солнце счастья. Прежний мрак и нынешний свет, вчерашнее разорение и сегодняшнее процветание — эта антитеза повторялась все царствование императрицы Елизаветы Петровны".

И в самом деле, не прошло и месяца после гвардейского путча, как в Успенском соборе Кремля 18 декабря 1741 года архимандрит Заиконоспасского монастыря Кирилл Флоринский уже клеймил иноверцев, с коими связывалось прежнее правление, называя их „человекояды птицы со своим стадищем". А архимандрит Свияжского монастыря Дмитрий Сеченов в присутствии монархини гневно обличал супостатов-немцев, которые „прибрали к рукам Отечество наше, коликий яд злобы на верных чад российских рыгнули; коликое гонение на Церковь Хри-

стову и на благочестивую веру восставши, их была година и сила темная, что хотели, то и делали. А во-первых, тщилися благочестие отнять, без которого бы мы были горшия турок, жидов и арапов". Учитель Троицкой семинарии Иннокентий Паскевич произнес знаменательные слова: „Нейтралитета наш Христос не любит".

С легкой руки Елизаветы политика церкви в те времена стала воинствующе ортодоксальной. Как отметил писатель Казимир Валишевский, „религиозное проповедничество, ничем не стесненное в выборе средств; борьба страстная и пламенная против ереси пользовались ее поощрением и постепенно вылились во все виды, не исключая наиболее насильственных". Было резко ограничено распространение нехристианских вероучений, прежде всего, мусульманства; возбранялось строить мечети в местностях, населенных православными и крещеными иноверцами (только в Казанской губернии в 1743 году было снесено 418 мечетей). Крещение магометан и язычников, по большей части насильственное, приняло небывалые масштабы и, по некоторым данным, с 1743–1760 составило около 410 тысяч обращенных, причем неофит, как правило, освобождался от рабства, податей, уголовного преследования и награждался деньгами. Гонениям подверглись и не православные христианские конфессии: сократилось число армянских церквей; предполагался также перенос с Невского проспекта на окраины протестантских кирх. И хотя браки православных с католиками и протестантами допускались, но дети их могли быть крещены только по православному обряду.

При этом отход от православия и богохульство оставались тяжкими преступлениями и наказывались смертной казнью (которую Елизавета, вступив на престол, чинить как будто зареклась, но отступников и беззаконников секли кнутом, батогами и розгами в буквальном смысле „смертным боем"). Как отметил Александр Солженицын, императрица осуществляла и „железо-огненное преследование старообрядцев". По подсчетам историка Николая Костомарова, в царствование Елизаветы было совершено не менее шести тысяч самосожжений религиозных сектантов.

К слову, монархиня упорно боролась с „кощунниками" и в своем окружении: распорядилась сажать на цепь тех придворных, которые посмели „громко разговаривать в церкви" (для высокопоставленных сановников эта цепь была позолоченной). А именной ее указ 1757 года вменял в обязанность судейским служителям принимать участие в крестных ходах.

Но наиболее суровым религиозным преследованиям подверглись в те времена иудеи: елизаветинское правление отмечено беспрецедент-

но жесткими антиеврейскими узаконениями. Сама же императрица заслужила репутацию „последовательной и принципиальной антисемитки" (Фортунатов В. Российская история в лицах. Спб., 2009, С.195).

И в самом деле, 2 декабря 1742 года грянул „всемилостивейший" монарший указ: „Из всей Нашей Империи, как из Великороссийских, так из Малороссийских городов сел и деревень, всех мужеска и женска пола Жидов, какого бы кто звания или достоинства ни был... немедленно выслать за границу и впредь оных ни под каким видом в Нашу Империю ни для чего не впускать". Сия мера была вызвана фанатическим убеждением Елизаветы, что от евреев, „имени Христа Спасителя ненавистников, Нашим верноподданным крайнего вреда ожидать должно". При этом она объявляла себя правопреемницей „вселюбезнейшия Матери Нашей Государыни Императрицы Екатерины", которая указом 26 апреля 1727 года изгнала иудеев и запретила им въезд в Россию под любым предлогом. Хотя своих предшественников на троне (Петра II, Анну Иоанновну, Анну Леопольдовну) Елизавета не упомянула в своем указе, но таковое умолчание было весьма красноречивым, ибо это они, по ее разумению, неосмотрительно дозволили евреям торговать в ряде областей и городов, и вот теперь „Жиды в Нашей империи, а наипаче в Малороссии под разными видами... жительство свое продолжают". Терпеть врагов Христовых никак невозможно, их надлежит, наконец, всех выгнать вон, предварительно отобрав у них наличное золото и серебро. Укрывателям же евреев и прочим ослушникам грозит „высочайший гнев и тягчайшее истязание". А вот „кто из [евреев] захочет быть в Христианской вере Греческого вероисповедания", получит от монархини милость, благостыню и российское подданство.

Надо сказать, что нетерпимая политика монархини в отношении иудеев не оправдывалась ни экономическими, ни финансовыми резонами. Деловые люди Риги, Малороссии и прочих областей, где с помощью оборотистых сынов Израиля осуществлялась значительная доля коммерческих операций, свою выгоду знали и пробовали возражать. С мест полетели ходатайства в Сенат с просьбами разрешить евреям вести торговлю хотя бы в пограничных областях. И сенаторы выразили императрице „всеподданнейшее мнение", что из-за запрещения иудеям приезжать в страну не только купечество понесет убытки, „но и высочайшим интересам не малый ущерб приключиться может", и де не согласится ли государыня для „распространения коммерции" разрешить иудеям приезжать с товарами на ярмарки в Малороссию, Слободские полки, Ригу и другие прирубежные земли? На это 16 декабря 1743 года последовала знаменитая монаршая резолюция: „От врагов Хри-

стовых не желаю интересной прибыли". Вследствие сего указом Сената от 25 января 1744 года повелевалось категорически запретить евреям въезд в Россию „даже для торга на ярманки" и „о впуске их никаких ни откуда представлений не присылать".

Где же искать корни столь острой нетерпимости дщери Петровой к иудеям, беспрецедентной даже на фоне ее державных предшественников? Не ошибемся, если скажем, что она была впитана ею с молоком матери. Это подчеркивала и сама Елизавета, говоря, что выдворяя евреев из России, следовала „Всемилостивейшим матерним намерениям". Впрочем, известно, что антисемитские узаконения Екатерины I были в значительной мере внушены ей Александром Меншиковым, антисемитом самого непримиримого свойства, при котором она была лишь „карманной императрицей". А известно, что дочери Петра росли в семье Меншикова, в компании с его тремя чадами. И не исключено, что заскорузлая злоба и ненависть к евреям Меншикова, то и дело прорывавшиеся наружу, нашли в Лизетке (так ее называли домочадцы) самый горячий отзвук. И хотя Меншиков потом отстранит Елизавету от трона и станет ее злейшим врагом, все же преподанные ей уроки юдофобии легли на самую благодатную почву. Ведь и в подмосковном Измайлово, при Дворе благочестивой вдовы ее дяди — царя Иоанна V, Прасковьи Федоровны, где Елизавета воспитывалась вместе с двоюродными сестрами, они читали Святое Предание, затверживали поучения отцов Церкви о том, что евреи „нечистые и мерзкие", а синагога — „убежище демонов". Впрочем, Елизавета впитала в себя и европейский антисемитизм. В ее личной библиотеке наличествовали книги по истории средневековой Испании, а также Португалии и Польши. Она узнала и о кровавом навете и об отравлении колодцев и о прочих (мнимых) преступлениях потомков Иудиных, и все это множило ее высочайший гнев на „злокозненных жидов". Нет, конечно, устраивать показательные аутодафе, как это делали инквизиторы в Испании и Португалии, в России не следует, но с неверными надлежит расправиться со всей суровостью.

Предыдущие царствования, особенно правление регентши Анны Леопольдовны, ассоциировались у Елизаветы с непростительной терпимостью по отношению к нехристям. Более всего ее возмутила зловредная статейка в официальных (!) „Санкт-Петербургских ведомостях" (1741, № 45, 5 июня) о том, как „праздновали жиды с торжественною церемонию рождения Эрцгерцога". Сие действо, проходившее в основанном еще в XVI веке Еврейском квартале Праги, получило в газете самое подробное и детальное описание. И что особенно огорчительно, жиды представали здесь не как гарпагоны и изгои, а, по-

добно другим народам, во всем многообразии родов и званий. Ведь согласно газете, среди них были трубачи, скороходы, сапожники, мясники, позументщики, писари, сторожа, студенты с серебряными книгами в руках, меламеды, врачи, музыканты, скорняки, „перед которыми несли два щита, из мехов сделанные, на одном из оных изображены портреты королевы и принца, а на другом виден был Давыдов щит", акробаты, арлекины, шуты и т.д. Да и внешний вид иудеев автора статьи явно впечатлил: он назвал их „богатоубранными жидами", причем некоторые были с круглыми черными шляпами, иные в венгерском платье, кто-то был одет „самыми дорогими мехами всех сортов", другой в гусарской одежде публике „всякие приятные мины показывал". Зачем вообще подданным Российской империи, куда въезд евреям заказан, знать о каком-то там жидовском празднестве?! Да к тому же, благожелательный тон по отношению к христопродавцам совершенно недопустим. Уж не собиралась ли Анна Леопольдовна дать им какое послабление?

А в России главной костью в горле Елизаветы был некрещеный еврей-банкир Леви Липман. Этот финансовый воротила, поставлявший ювелирные изделия августейшим особам на астрономические суммы, куролесил при русском Дворе уже с десяток лет и казался непотопляемым. При этом, когда в Европе распространились слухи о его отставке, власти их опровергли: „Обер-комиссар господин Липман коммерцию свою по-прежнему продолжает и при всех публичных случаях у здешнего Императорского Двора бывает". Коммерция и впрямь выдалась знатная: правительница Анна Леопольдовна и ее окружение наперебой заказывали „придворному жиду" украшения и драгоценности на огромные суммы (один только принц Брауншвейгский Антон Ульрих остался должен ему 14 000 рублей).

Писатель Евгений Маурин в историческом романе „Людовик и Елизавета" сообщает, что цесаревна, погрязшая в долгах во время правления Анны Леопольдовны, будто бы „пыталась обратиться к придворному банкиру Липману; но еврей поставил такие условия, что Елизавете Петровне, если бы она приняла их, пришлось бы запутаться на несколько лет". Подтверждения этому не находится — более того, нет сведений, что обер-комиссар ссужал царствующим особам деньги под большие проценты. Однако факт знакомства будущей императрицы с Липманом несомненен (уж больно приметной фигурой был он при Дворе), равно как и то, что еврейский толстосум вызвал у нее самые враждебные чувства. Ведь о том, сколь одиозной фигурой был Липман в глазах окружения Елизаветы, можно заключить из записок близкого к ней маркиза Жака-Иоахима де ла Шетарди. Тот по-

вторяет миф о всемогуществе „придворного жида", говорит о его хитрости и способности „распутывать и заводить всевозможные интриги", и делает однозначный вывод: „можно сказать, что Липман правит империею!"

Впрочем, секрет долгожительства Липмана объясним: он угождал самым изысканным вкусам лакомых до роскоши царствующих особ. А что Елизавета? Ее фанатическая страсть к пышности и щегольству не только не уступала, но и превзошла своих венценосных предшественниц. По словам князя Михаила Щербатова, Двор ее „в златотканные одежды облекался, вельможи изыскивали в одеянии — все, что есть богатее, в столе — все, что есть драгоценнее, в питье — все, что есть реже, в услуге — возобновя прежнюю многочисленность служителей, приложили к оной пышность в одеянии их... Подражание роскошнейшим народам возрастало, и человек становился почтителен по мере великолепности его жилья и уборов".

Тон при этом задавала сама императрица-модница — обладательница пятнадцати тысяч платьев, тысяч пар обуви, сотен отрезов самых дорогих тканей. Она и сама переодевалась по семь раз на дню, и своим придворным наказала являться на бал или куртаг каждый раз в новом платье (по ее приказу гвардейцы даже метили специальными чернильными печатями одеяния гостей — чтобы впредь в старых костюмах показываться не смели!). А поисками самых модных вещиц для государыни были озабочены не только в России, но и за границей. Все парижские новинки сперва доставлялись во дворец; монархиня отбирала понравившееся, расплачивалась с поставщиками весьма скупо, и только после этого они получали право продавать оставшееся простым смертным. И не дай Бог нарушить сие правило: одна ослушница, некая госпожа Тардье, была за это арестована — в гневе императрица была страшна! Необыкновенная красавица в молодости, она страдала стойким комплексом нарциссизма; как сказал о ней историк Василий Ключевский, Елизавета „не спускала с себя глаз". Императрица страсть как была охоча до драгоценных камней, жемчуга, а особенно бриллиантов, которые вошли при ней в большую моду.

Казалось, расторопный и исполнительный обер-гофкомиссар Липман мог ей очень пригодиться, если бы... не оказался жидом. Исследователи говорят о мистическом страхе Елизаветы перед иудеями, приправленном к тому же брезгливым высокомерием. Ближайшая ее наперсница, болтунья-интриганка Мавра Шепелева (о ней говорили: „злая, как черт, и такая же корыстолюбивая") хорошо знала вкусы своей госпожи и умела подстроиться под ее капризный характер. Вот и в своих цидулках к Елизавете она писала лишь о том, что могло за-

деть ее за живое. „Жидов множество, и видела их, собак!" — сообщала она в письме из Нежина в 1738 году, подзадоривая августейшую подругу в ее нелюбви к евреям.

Получается, что императрица ненавидела этих „собак" больше, чем любила роскошь и пышность. Она не собиралась терпеть „христопродавца", да еще у кормила власти, и тут же прогнала его со Двора. Монархиня незамедлительно упразднила даже сами придворные должности обер-гоф-комиссара и камер-агента, напоминавшие о ненавистном инородце. Но, устранив Липмана, Елизавета не преминула воспользоваться четко отлаженным механизмом ювелирной работы при Дворе, пружины которого завел этот ненавистный еврей.



Иеремия Позье

Для самой монархини и для сливок общества, не покладая рук, трудился ювелир Иеремия Позье, который имел к государыне более свободный доступ, чем генерал-прокурор или даже канцлер империи. Этот самый Позье был креатурой Липмана. Когда-то еврей угадал в нем, нищем, погрязшем в долгах швейцарце, будущего „Фаберже XVIII века", поддержал его в трудный момент и ввел в придворный круг. Позье, личный бриллиантщик Елизаветы, долгое время работал с евреем в тесной спайке и с благоговением вспоминал об их тандеме. Получилось так, что Липман, как заправский кукловод, делегировал Позье ко Двору новой императрицы, и тот продолжил его дело. Между прочим, отойдя в тень, этот еврей продолжал заниматься огранкой бриллиантов за границей (имел контору в Голландии), и не исключено, что его агенты поставляли камни в Москву и Петербург через христианских посредников.

И что же? — нигде в мире (разве что, кроме как в Индии, где „не счесть алмазов в каменных пещерах") не было такого обилия бриллиантов, как в России в елизаветинские времена! Они покрывали головные уборы и прически дам, украшали их платья, у мужчин камни сверкали на пряжках, орденских знаках, шляпах, тростях, табакерках, пуговицах, обшлагах камзолов. Мелкие солитеры лежали кучами при Дворе на карточных столах. Их приманчивый блеск говорил о неимоверном богатстве русской знати.

Погрязшая в роскоши государыня все же немало радела и о духовном здоровье подданных. С ее именем связана так называемая Елизаветинская Библия (полный перевод Священных книг Ветхого и Нового Завета на старославянском языке), увидевшая свет в 1751 году. Она и сегодня, с некоторыми незначительными изменениями, продолжает использоваться Русской церковью в богослужении. По этому поводу один историк-почвенник язвительно заметил: „Интересно получается: Елизавета, как известно, жидов не любила и выпустила даже приказ об их высылке из России, но Библию, в составе которой был Танах, разрешила напечатать, очевидно, не связывая одно с другим или вообще не вникая в суть явлений". Замечание странное, если принять во внимание, что почитание христианами и церковниками Ветхого Завета никогда не исключало их антисемитизма. Ведь вполне очевидно, что в общественном и религиозном сознании преемственность между современными „жидами" и их библейскими пращурами вовсе не осознавалась. Кроме того, само по себе следование Ветхому Завету (а не последующим „превратным" его толкованиям) в царской России никак не дискриминировалось. И хотя в проповедях читались лишь Псалтирь и некоторые места из Пророков, к караимам власти проявляли исключительную терпимость.

Надо сказать, что и по мнению некоторых российских интеллектуалов той поры, евреи вполне заслужили изгнание. Известный историк, в прошлом член „ученой дружины", Василий Татищев назвал указ Елизаветы „мудрым" и „своевременным". Он взял на себя труд разъяснить монаршую волю и гневно шельмовал: „Изгнаны они, иуды, из России за великие и злые душегубства, убиения ядом лучших людей, людей русских. Распространение отравных зелий и тяжких смертельных заразительных болезней всяческими хитроковарными способами, за разложения, кои они в государственное дело вносят. [...] Особливо опасны они, природные ростовщики-кровососы, тайные убийцы и всегдашние заговорщики для Великой России". Не вполне понятно, кто поведал Татищеву о помянутых душегубствах евреев и где он их наблюдал (а он мог встречаться с иудеями и на Украине, где служил в составе драгунского полка, и в Берлине, Дрездене, Бреславле во время учебы, и когда находясь в действующей армии под Кенигсбергом и Данцигом). Но вот на „злое душегубство" самого Татищева указать можно. Это по его представлению в 1738 году был сожжен заживо татарин Тойгильд за отступничество от православия и возврат в магометанство (как изъясни-

лись доморощенные инквизиторы, „он, яко пес, на свои блевотины вернулся"). Аутодафе несчастного состоялось на глазах у толпы крещеных татар, чтобы другим неповадно было!

Воинствующий пафос инвектив Татищева достиг такой точки каления, что оставил далеко позади даже непримиримых к иудеям церковников, для которых преступления евреев состояли в распятии Христа и упорном отрицании его божественной природы. Польские же и западноевропейские приемы юдофобии — более изощренные и причудливые (частично взятые на вооружение Татищевым) — в России просто не понадобились, ибо и этого оказалось вполне достаточно, чтобы не пускать евреев в страну, о чем писал английский историк Джон Клиер. Примечательно, что и в великоросских пословицах, песнях, частушках евреи вообще не упоминаются. А знаток русского лубка Дмитрий Ровинский подытожил: „В прежние времена о евреях в Москве не слыхивали, поэтому не существует никаких смешных картинок, их изображающих". Единственное найденное им исключение для XVIII века представляет собой гравюра на дереве, изданная в Киеве Адамом Гошенским с надписями на польском (!) языке.

И все же именно в царствование Елизаветы в русском литературном языке слово „жид" стало употребляться с отрицательной экспрессивной оценкой и определилось как оскорбительное. Интересно в этом отношении свидетельство мемуариста Андрея Болотова, принявшего участие в прусском походе. В бытность под Кенигсбергом ему предложили „посмотреть на жидовскую свадьбу". И увиденное настолько не согласовалось с расхожими представлениями о евреях (с коими он никогда ранее не встречался), что россиянин воскликнул в сердцах: „Я смотрел тогда с особливым любопытством на сих новобрачных и не мог довольно надивиться всему поведению их, которое было столь порядочно, что я никак бы не подумал, что это жиды были, если б мне того не сказали". Болотов настолько был впечатлен „порядочными" еврейками, что беспрерывно танцевал с ними менуэт, польский, мазурку и „затанцевался" до полуночи. Так что ему пришлось сделаться толерантным к народу Израиля.

А вот дипломату и стихотворцу, князю Антиоху Кантемиру приписывают такие слова: „По мудрости Государей российских Великая Россия доселе есть единственное государство европейское, от страшной жидовской язвы избавленное. Но зело тайные иудеи, притворно в христианство перешедшие, в Россию ныне проникают и по телу ее расползаются. Особливо норовят и хощут сии лейбы и пейсохи вполз-

ти ко Двору в лейб-медикусы, пролезть в академию де Сиянс (Академию наук — Л.Б.), к пружинам и ключам державной махины подобраться. Посему за кознями и происками жидовскими зорко следить надобно"[1]. Нет сомнений, что речь идет здесь о втором лейб-медике императрицы потомке марранов, значившемся католиком, Антонио Нуньес Рибейро Санчесе (1699–1782), талантливом враче и ученом. Монархиня часто прибегала к его квалифицированной помощи. Между прочим, среди его выдающихся заслуг перед империей есть одна, которую невозможно переоценить: в 1744 году он излечил опасно больную плевритом невесту великого князя Петра Федоровича, будущую императрицу Екатерину II (как потом писала она сама, „с Божьей помощью меня от смерти спас"). Иными словами, не будь этого еврея, Россия бы осиротела, ибо лишилась бы Великой Екатерины!



Антонио Нуньес Рибейро Санчес

Когда лейб-медик Санчес из-за болезни глаз подал в отставку, его проводили из России во Францию с большими почестями. В выданном ему аттестате (абшиде) от 4 сентября 1747 года за подписью Елизаветы указывалось, что „в исправлении по искусству его медицинского дела, будучи в разных местах, доныне препроводил, как искусному доктору и честному человеку надлежит, добропохвально". Петербургская Академия наук поспешила избрать Санчеса „почетным членом физического класса, с определением Ея Императорского Величества жалования 200 руб. в год" с тем, чтобы он из-за кордона „для здешней Академии разные пьесы и диссертации присылал". Он отправился во Францию,

[1] Публицист Олег Платонов, обнародовавший это высказывание, привел ссылку на книгу: „Приватные письма князя Антиоха Дмитриевича Кантемира к некоторым вельможам и ученым людям" (Спб., 1807, С.14). Однако таковое издание, согласно справке, полученной нами в группе „Сводного каталога русской книги 1801–1825 гг." РГБ, не существует в природе и не находится ни в одной из библиотек России. На наш взгляд, весьма сомнительно, чтобы автором этого текста был Кантемир. Ведь речь идет здесь о тайном иудаизме лейб-медика и члена Академии наук, а таковым в ту пору был только один человек при Дворе — доктор Антонио Рибейро Санчес. Однако его приверженность религии Моисея открылась только в 1748 году, через пять лет после кончины князя. Другое дело, что Кантемир придерживался непримиримо юдофобских воззрений и вполне бы мог под этими словами подписаться

чтобы после продолжительного отдыха снова практиковать медицину и писать научные трактаты. Выполнял он и поручения петербургских академиков: вел переговоры о поступлении на русскую службу видных ученых-иностранцев.

Тем неожиданнее и обиднее стал для него полученный из России указ Елизаветы Петровны от 10 ноября 1748 года о том, чтобы Санчеса „из академических почетных членов выключить и пенсии ему с сего числа не производить". Лишившись ученого звания и важного источника существования, доктор пишет президенту Петербургской Академии Кириллу Разумовскому недоуменное письмо. И вот ответ: „Императрица полагает, что было бы против Ее совести иметь в Своей Академии такого человека, который покинул знамя Иисуса Христа и решился действовать под знаменем Моисея и ветхозаветных пророков". Отчаявшись, Санчес прибегнул к заступничеству известного математика-швейцарца Леонарда Эйлера, бывшего членом Петербургской Академии со дня ее основания. Но ни ходатайство Эйлера (написавшего: „Я сильно сомневаюсь, чтобы подобные удивительные поступки могли содействовать распространению славы Академии наук"), ни явное расположение к Санчесу Разумовского положения его не изменили: Елизавета Петровна была непреклонна.

Стоит подчеркнуть, что антисемитизм императрицы носил исключительно религиозный характер, в отличие, скажем, от Вольтера, питавшего к евреям расовую неприязнь, на что обратил внимание американский историк Джеймс Ф. Бреннан. В самом деле, французский просветитель говорил о „природной глупости и лживости евреев", аттестовал их народом „варварским, корыстолюбивым", „самым отвратительным на земле". Елизавета же этническими фобиями не страдала, всемерно поощряя обращение иудеев в православие, желала видеть таковых своими подданными. И в этом она была весьма принципиальна и последовательна. Подобно своему великому отцу, она возвысила многих крещеных евреев, причем некоторые из них сыграли заметную роль в ее жизни, да и в истории всего Дома Романовых. Христиане „жидовской породы", несмотря на наветы об их извечных кознях и происках, не вызывали у императрицы подозрений в тайном иудаизме. Казус с лейб-медиком Санчесом — единственный случай такого рода, да и произошел он из-за доноса: как полагает историк XIX века Михаил Шугуров, письмо Санчеса из Парижа с неосторожными высказываниями в пользу иудейской веры было перехвачено и доведено до сведения монархини, после чего тот и был подвергнут обструкции.

Забавно, что перлюстрацию корреспонденции из-за границы осуществлял тогда директор Петербургского почтамта лютеранин Федор

Юрьевич Аш (1683–1783), тоже этнический еврей. Впрочем, это было вменено ему в должностные обязанности, в изветах же упражнялись совсем другие кувшинные рыла, поднаторевшие в кляузах. Федор Аш начал служить по почтовому ведомству еще при Петре и возглавил его при Екатерине I. Елизавета высоко ценила его за исполнительность, аккуратность и, главное, за столь редкую среди чиновников несклонность к мздоимству. В 1744 году она пожаловала ему полковничий ранг, а также вечное владение мызой Хотинец, что в Ямбургском уезде, с 296 крепостными душами. Окончил же он свои труды и дни в чине статского советника.

Весьма покровительствовала императрица и братьям-выкрестам Исааку и Федору Павловичам Веселовским. Исаак Павлович сыграл в жизни Елизаветы немаловажную роль, ибо в течение трех лет (с 1722–1725 гг.) обучал ее, тогда еще отроковицу-цесаревну, французскому языку, приобщал к французской словесности и культуре. Не здесь ли следует искать истоки той галломании, которая заполонит впоследствии Двор Елизаветы Петровны? Впрочем, карьера Исаака была крайне затруднена, сначала из-за противоборства с всесильным Меншиковым, а затем из-за каприза взбалмошной Анны Иоанновны. Из бумаг видно, что ему много лет не выплачивали жалования. В марте 1741 года он в чине коллежского асессора был отставлен от службы, как он писал, „за немощию". Но „немощь" разом покинула Исаака Павловича, как только на российский престол взошла Елизавета. Уже в декабре 1741 года Веселовский был произведен в действительные статские советники, перемахнув тем самым через целых четыре ступени в „Табели о рангах". Его назначают главой Секретной экспедиции Коллегии Иностранных дел. В 1745 году Веселовский был произведен в тайные советники, а в 1746 году ему был пожалован орден св. Александра Невского.

В 1742 году императрица приставила Исаака к наследнику престола Петру Федоровичу для обучения его русскому языку, которым тот, живя в Голштинии, не владел. Если принять во внимание мнение некоторых современных писателей России о том, что постичь „глубокие корневые корни русского языка" может только натуральный русак, то выбор еврея в качестве учителя словесности было для „принципиальной антисемитки" Елизаветы поступком легкомысленным и даже беспринципным. Но Исаак Павлович — на удивление нынешним почвенникам! — ментором оказался превосходным, поскольку уже через год занятий порфирородный отрок свободно изъяснялся и грамотно писал по-русски. „Самый умный человек в России" (так назвал его один именитый иностранец), Исаак Веселовский жил передовыми идеями эпохи. Он был завзятым книгочеем и напряженно следил за современной ему литературой.

И Веселовский не побоялся перед лицом императрицы настойчиво ходатайствовать о своих соплеменниках. Какие только резоны он не приводил, объясняя все выгоды жительства иудеев в Российской империи! Он склонил на свою сторону даже канцлера Алексея Бестужева. Но монархиня к „врагам Христовым" была неумолима. Как же отреагировала она на это „дерзкое" прошение крещеного еврея? Во всяком случае, она его не наказала, не подвергла опале, демонстрируя к нему свою прежнюю приязнь. Скорее всего, она приняла его настойчивость за проявление наивного благодушия, впрочем, извинительного для христианина.

До генеральских чинов дослужился при Елизавете и брат Исаака, Федор Веселовский. Став в 1720 году дипломатом-невозвращенцем из-за укрывательства в Лондоне опального брата Авраама, он в 1742 году получил, наконец, всемилостивейшее разрешение вернуться в Россию и стал (пожалуй, первым и единственным в российской истории!) евреем-церемониймейстером императорского Двора. Можно вообразить, как этот царедворец открывал торжественные церемонии, представительствовал на праздниках, куртагах! И никого, включая монархиню, почему-то не заботила его „жидовская порода", хотя она всем бросалась в глаза. Между прочим, в 1757 году он ездил в Женеву и вел переговоры с Вольтером о написании им истории царствования Петра Великого. Знаменательно, что просветитель и меценат Иван Шувалов привлек Федора, как человека энциклопедически образованного, в недавно основанный Московский университет — куратором. Труды Веселовского были отмечены государыней, которая в 1761 году пожаловала ему орден св. Александра Невского, а также высокий чин тайного советника.

Между прочим, императрица предлагала вернуться в Россию и Аврааму Веселовскому, посулив ему полное прощение и милости (правда, тот ехать не пожелал и остался доживать свой век в Швейцарии).

Елизавета всегда симпатизировала соратнику отца, обер-полицмейстеру Петербурга, красивому и ладному Антону Дивьеру, радушно принимая его при Дворе. И ее мать когда-то тоже была к нему более чем благосклонна — пожаловала графским титулом, чином генерал-лейтенанта, орденом св. Александра Невского; поговаривали даже об их с Екатериной романтических отношениях. А вот светлейший князь Меншиков испытывал к нему жгучую ненависть (не мог смириться с тем, что его родная сестра вышла замуж за этого жида). На излете царствования Екатерины I и схлестнулись интересы властолюбивого Меншикова и группы царедворцев, к коей примкнул Дивьер. Светлейший возжелал возвести на престол сына покойного царевича

Алексея, малолетнего отрока Петра, женить его на своей дочери Марии, а самому стать при этом фактическим регентом империи. Дивьер же был сторонником того, чтобы Екатерина короновала цесаревну Елизавету или Анну, или обеих вместе. „Тогда государыне будет благонадежнее, потому что они ее родные дети", — настаивал он.

В этой баталии верх взяла партия Меншикова. Под нажимом светлейшего ослабевшая от болезни Екатерина за несколько дней до кончины подписала нужный ему указ. Антон был схвачен, вздернут на дыбу, бит кнутом, а затем сослан в холодную Якутию, в Жиганское зимовье, что на пустынном берегу Лены, в 800 верстах от Якутска. В этой глухомани он томился долгих пятнадцать лет. Но Елизавета, памятуя о его верности и неподкупности, став самодержавной императрицей, вернула его в Петербург. Дивьеру были возвращены все чины, ордена и регалии. Монархиня пожаловала ему 1800 душ крестьян из имения ненавистного им обоим Меншикова, а также деревню Зигорица в Ревгунском погосте (180 дворов). Он был также произведен в генерал-аншефы. Идя по стопам отца, она вновь назначает Дивьера обер-полицмейстером Петербурга. Но многолетние страдания и лишения надломили его здоровье; он часто хворал и умер в 1745 году, прослужив наново в полиции не более полутода.

И еще один еврей, сержант Преображенского полка Петр Грюнштейн пользовался особым расположением Елизаветы. Он сыграл выдающуюся роль в возведении Елизаветы на престол. В прошлом саксонский купец, этот дважды перекрещенец (сначала в лютеранство, а затем в православие) вел агитацию в пользу дщери Петровой в гренадерской роте, которая и стала главной силой гвардейского путча 25 ноября 1741 года. Человек недюжинных организаторских способностей, он, по словам историка, был „настоящим вожаком, который мог справиться со своевольной толпой своих товарищей". Елизавета пожаловала его знатными поместьями, генеральским чином, потомственным дворянством, 927 крепостными душами. С помпой отпраздновала она свадьбу этого еврея и преподнесла молодым в подарок еще 2000 душ. Прознав же о том, что сержант лейб-компании Ивинский совратил новобрачную, а самого „жида" вознамерился предать смерти, монархиня тут же пришла на помощь Грюнштейну и отправила злоумышленника в тюрьму.

Но, к несчастью, Грюнштейн не выдержал испытания монаршей щедростью. Милости, посыпавшиеся на него, как из рога изобилия, ослепили незадачливого гвардейца. Он настолько уверовал в свои огромные возможности, что стал вмешиваться в важные государственные дела. Грубо, в ультимативной форме он стал требовать от своего коман-

дира Алексея Разумовского отставки влиятельного генерал-прокурора Никиты Трубецкого — угрожал, что сам убьет этого „изменника, спасая императрицу от самого зловредного человека". А в бытность в Нежине учинил драку и нещадно отлупцевал родственников самого Разумовского, крича при этом: „Я Алексея Григорьевича услугою лучше, и он через меня имеет счастье, а теперь за ним и нам добра нет, его государыня жалует, а мы погибаем!" Государыне ничего не оставалось, как отправить опасного буяна в ссылку, в Великий Устюг.

Понятно, что никакой антисемитской подоплеки опала и ссылка зарвавшегося Грюнштейна никак не имела. Ведь покровительством Разумовского, да и самой монархини пользовался еще один еврей, Василий Алексеевич Вагнер, который даже управлял имениями Разумовского в должности генерал-адъютанта. Любопытно, что этот иудей — в обход запрещения — был в 1716 году тайно привезен в Россию из Пфальского графства Саксонии родовитым Семеном Салтыковым, крестился в 1729 году, причем его восприемником был богатейший помещик, сенатор и тайный советник Алексей Черкасский. Именным указом от 3 сентября 1750 года Елизавета пожаловала Вагнеру потомственный дворянский титул, ибо он, по ее словам, "из Еврейского закона восприял православную веру греческого исповедания, и притом своими честными поступками Нашего Императорского Величества Высочайшую милость себе заслужил". Сын же Вагнера, Алексей, был произведен в придворные пажи. Монархиня также высочайше повелела записать Вагнера в герольдию. А умельцы из рисовальной конторы изготовили и герб этого „еврея во дворянстве": на голубом поле плоский золотой крест в сердце щита между тремя серебряными подвесками. Над щитом — стальной дворянский шлем, с поставленным на нем голубым крылом. По сторонам щита опущен намет голубого цвета, с правой стороны подложенный золотом а с левой — серебром.

Надо сказать, что и слова об „интересной прибыли", которую императрица от иудеев получать не желала, на выкрестов не распространялись. В ее правление не гнушались пользоваться их сноровкой и коммерческой хваткой. Свидетельство сему карьера сына московского купца Якова Михайловича с говорящей фамилией Евреинов. Его заприметил еще Петр I — отправил в Голландию учиться иностранным языкам и коммерции, а в 1723 году назначил генеральным консулом в Кадис в чине коллежского советника. Елизавета, оценив способности оборотистого еврея, в 1742 году сначала сделала его членом, а в 1753 году и президентом Мануфактур-коллегии и действительным статским советником, с жалованием в 1058 рублей. Он также возглавил Коммерческий банк российского купечества. В дарованном ему монархиней

селе Троицком он построил великолепную Суконную фабрику. Государыня наградила его за труды орденом св. Анны. Интересно, что обыкновенно скупой на похвалы пиит Александр Сумароков отозвался о Евреинове весьма благосклонно. Рассказывают, что однажды в книжной лавке он услыхал, как слуга одного барина спрашивал комедию „Честный человек и плут". — „Друг мой, — парировал Сумароков, — я советую тебе разделить свою покупку пополам; „Честного человека" отнеси к товарищу моему Евреинову, а „Плута" к своему барину".

В числе еврейских промышленников, поощряемых императрицей, мы находим и бумажного фабриканта Якова Христиана Лакосту, сына известного шута Яна Лакосты, забавлявшего Петра I и Анну Иоанновну. О том, что Елизавета осталась довольна работой Якова Христиана, говорит хотя бы то, что она дважды повысила его в чине и произвела в майоры.

Остается неясным, сколько же иудеев было изгнано из России в царствование Елизаветы. Данные разнятся. Согласно официальной справке Генеральной войсковой канцелярии, в 1743 году из Малороссии выдворили 142 иудеев. Никакими другими точными сведениями мы не располагаем, и о масштабах депортации можно лишь гадать. Историк Юлий Гессен утверждает, что в результате сей акции „Россия осталась при Елизавете без евреев". А Семен Дубнов приводит другую цифру: 35 тысяч иудеев было изгнано из империи к 1753 году. С ним полемизирует Александр Солженицын, напомнивший, что тонкий знаток еврейства Генрих Грец ровно ничего не пишет об исполнении этого указа Елизаветы. Он также приводит мнение публициста Генриха Слиозберга о том, что в царствование Елизаветы лишь „делались попытки к выселению евреев из Украины". „Скорей надо признать вероятным, — заключает Солженицын, — что, встретив многочисленные сопротивления и у евреев, и у помещиков, и в государственном аппарате, указ Елизаветы так же остался неисполненным или мало исполненным, как и предыдущие подобные".

Ясно одно: если кто из иудеев и обретался в империи, то нелегально. Сыны Израиля вынуждены были прятаться, вести унизительное подпольное существование, переезжая с места на место. Единственный известный нам случай проживания и активной деятельности некрещеного еврея под скипетром Елизаветы — это феномен Давида Леви Бамбергера. Обладатель иноземного титула „покровительствуемый еврей", он, несмотря на все гонения, ухитрился шестнадцать лет заниматься коммерцией в курляндской Митаве, жительствовал в Риге, а во время Семилетней войны подвизался сначала в качестве фактора командующего русской армией при Гросс-Егерсдорфе генерал-фельдмаршала

Степана Апраксина, а затем поставщика русского корпуса в Курляндии. В 1760 году «обер-офицерам, состоящим при складах», было приказано оказывать снабженцу-еврею всякое содействие. Впрочем, едва ли императрица знала о его существовании. Впоследствии, в начале царствования Екатерины II, Бамбергер в числе трех митавских евреев будет тайно вызван в Петербург для обсуждения правительственного проекта об организации переселения евреев в Новороссию...

Такой она была, российская государыня Елизавета Петровна, последовательной и принципиальной в своей суровости к иудеям и полной милосердия и благожелательности к крещеным евреям. Она покинула сей мир 25 декабря 1761 года. Во всех православных храмах проходили траурные песнопения на помин души почившей в бозе императрицы. А раввины синагоги Кенигсберга выбрали для отпевания Елизаветы 48-й псалом, где говорится о наказании нечестивых после смерти. Звучали беспощадные слова осуждения: „Ведь человек в чести не пребудет, он подобен животным, которые погибают. Такова участь тех, кто надеется на себя, и доля тех, кто после них одобряет слова их. Как овцы, они уготованы миру мертвых; смерть будет их пасти... В прах обратятся их тела, жилищем их будет мир мертвых". Осквернение памяти монархини вызвало бурю возмущения в России и Европе. Однако и иудеев — нет, не оправдать! — понять можно: они платили за ненависть к своим единоверцам той же монетой.

ОТ РАВНОПРАВИЯ — К ЧЕРТЕ ОСЕДЛОСТИ

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ



Дикинсон В.
Портрет императрицы
Екатерины II

Во время своего путешествия на юг империи в 1787 году Екатерина Великая приняла депутацию новороссийских евреев. Те подали петицию с просьбой отменить употребление в России оскорбительного для них слова „жид". Императрица согласилась, предписав впредь использовать только слово „еврей". Сговорчивость Екатерины тем понятнее, что речь шла не об искоренении национальной и религиозной нетерпимости к евреям, а лишь о слове, ни к чему ее не обязывавшем. Слова, слова, слова... Подобный прецедент уже был: императрица незадолго до того издала указ, запрещавший в письмах на высочайшее имя уничижительную подпись „раб", заменив ее на просвещенное: „верноподданный". Любопытно, что нашелся пиит (Василий Капнист), который написал по этому поводу хвалебную „Оду на истребление звания раба", где толковал монарший указ не иначе как освобождение от крепостного права. И что же Екатерина? Она велела передать зарвавшемуся стихослагателю: „Вы хотите уничтожения рабства на деле... Довольно и слова!". Сказанное императрицей можно отнести и к евреям, тем более, что табу на бранное слово „жид" распространялось только на официальные правительственные документы; в устной же речи, равно как и в произведениях изящной словесности, употребление этого слова отнюдь не возбранялось.

Если говорить об отношении Семирамиды Севера к еврейскому племени, то явственно прослеживается ее неукротимое желание примирить, казалось бы, непримиримое: передовые идеи века Просвеще-

ния и вытекающие из них эмансипацию и интеграцию этого малого народа в составе многонациональной империи — и заскорузлую ненависть к нему большинства населения, приправленную вдобавок религиозным антисемитизмом и ксенофобией.

Однако на словах императрица не уставала повторять, что занята „неусыпной заботой о благе *всех* подданных", „*без различия расы и веры*". В „Наказе, данном Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения" (1768) Екатерина провозгласила весьма прогрессивные постулаты. Их основой во многом были идеи французских просветителей, которыми она была одушевлена.: „Равенство граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам... В толь великом государстве, распространяющем свое владение над толь многими разными народами, весьма бы вредный, для спокойствия и безопасности своих сограждан, был порок запрещение или недозволение различных вер ... Человек, кто бы он ни был... сие одно слово подает уже совершенное изображение всех нужд и всех средств к удовлетворению оных". В этой связи историк Сергей Бершадский замечает: „Для ученицы философов XVIII в. вероисповедные различия не имели никакой важности. Поэтому в основе ее политики не могли лечь ни старомосковские взгляды на евреев как на басурман вообще, ни мысли преемников Петра Великого, выраженные всего лучше в известной резолюции императрицы Елисаветы Петровны ".

Екатерина настойчиво подчеркивала свою приверженность идеям и духу Просвещения, покровительствовала философам, состояла со многими из них в переписке, а некоторых радушно принимала в Северной Пальмире. Но все ли из них, корифеев века, проявляли к евреям одинаковое благодушие и толерантность? Мнения существенно разнились. Шарль Луи де Монтескье в своем „Духе законов" считал источником бед евреев нетерпимость к ним христиан. Призывал „отменить все частные подати, наложенные на евреев, а также дать им более обширные привилегии" и грезил о том времени, когда можно будет возгласить: „Теперь евреи спасены: суеверия более не восторжествуют, их более не станут уничтожать из-за убеждений". В этом же ключе писал шевалье Луи де Жокур: „Государи осознали свои собственные интересы и стали проявлять больше умеренности в отношении к евреям. В отдельных местах, как на севере, так и на юге почувствовали, что без их помощи невозможно обойтись. Не говоря о великом герцогстве тосканском, Голландия и Англия, вдохновляемые самыми благородными принципами, всеми способами смягчили их положение при неизменном покровительстве правительств этих стран". Но были и другие. Жан Жак Руссо, хотя и отмечал сплоченность и своеобычность евреев, назы-

вал их „самым подлым из народов, когда-либо существовавших". И энциклопедист Никола Буланже обличал: „Евреи остаются рассеянными, потому они необщительны, нетерпимы, слепо привязаны к своим предрассудкам". Целые потоки брани в адрес иудеев изрыгал Поль Анри Тири Гольбах. Он горячо настаивал на том, что современные евреи, равно как и их пращуры, чужды истинной морали и „хорошо известны своими мошенничествами и недобросовестностью". При этом предостерегал, ни в коем случае не давать им силу, ибо, „если бы они были более могущественными, ... то возобновили бы те трагедии, которые в древности постоянно происходили в их стране".

Да и Вольтер, к мнению которого Екатерина II очень прислушивалась, стоял на непримиримо антисемитских позициях, как точно заметил Евгений Дюринг, „он презирал евреев как античных, так и современных, не только от всего сердца, но и всеми силами своего ума". Его инвективы пышут злобой. Он обращался к евреям: „Возвращайтесь по возможности скорее в Иудею — там вы можете вволю исполнять на своем отвратительном жаргоне вашу отвратительную музыку". И Дени Дидро, с одной стороны признавал, что „во всех странах Европы, где правит коммерция, находясь в безопасности, [евреи] стали средством, с помощью которого самые отдаленные друг от друга народы могут вступить в контакт", с другой не уставал повторять, что они „обладают всеми недостатками, присущими невежественной и суеверной нации".

Когда Дидро в бытность в Петербурге обратился к Екатерине с вопросом касательно евреев, та ответствовала: «Евреи были изгнаны из России императрицей Елизаветой в начале ее царствования, около 1742 года. В 1762 году шла речь о том, чтобы их вернуть, но так как вопрос был поднят несвоевременно, то дело осталось в том же положении. В 1764 году евреи были допущены жить и торговать в заднепровской Новороссии... В конце концов, допущение их в Россию сильно повредило бы нашим мелким торговцам; эти люди все себе загребастают и вызовут больше неудовольствия, чем дадут выгоды при возвращении своем в Россию". Любопытно в этой связи напомнить, что в свое время Петр Великий, отказывая евреям в праве торговать и селиться в России, говорил прямо противоположное: „Хотя они [жиды — Л.Б] и считаются искусными обманщиками в торговле целого света, однако, сомневаюсь, чтобы им удалось обмануть моих русских". Кто же прав? Думается, Екатерина, которой были известны свойства купеческого сословия России и способность евреев конкурировать с ним. Только не о мошенничестве и обмане иудеев надо здесь говорить, а об их особой предприимчивости, находчивости и жизнестойкости. Можно заключить, что положение просвещенной монархини

призывало Екатерину к терпимости и равноправию „без различия расы и веры", но симпатий непосредственно к евреям она, как и некоторые философы-энциклопедисты, не питала.

Однако в государственных решениях Екатерина приспосабливалась к требованиям текущего момента. Вот что произошло, когда в Сенате обсуждался вопрос о разрешении евреям селиться в стране. Предоставим слово самой Екатерине. В своих „Записках" она писала: „На пятый или шестой день по вступлении на престол явилась в Сенат... Случилось по несчастию, что в этом заседании первым на очереди... оказался проект дозволения евреям въезжать в Россию. Екатерина, затрудненная по тогдашним обстоятельствам дать свое согласие на это предложение, *единогласно признаваемое всеми полезным,* была выведена из этого затруднения сенатором князем Одоевским, который встал и сказал ей: „Не пожелает ли Ваше Величество прежде, чем решиться, взглянуть на то, что императрица Елисавета собственноручно начертала на поле подобного предложения?". Екатерина велела принести реестры и нашла, что Елисавета... написала на полях: „Я не желаю выгоды от врагов Иисуса Христа". Повторив, что с момента вступления ее на престол не прошло и недели, Екатерина пишет о себе в третьем лице: „Она была взведена на него для защиты православной веры; ей приходилось иметь дело с народом набожным, с духовенством, которому не вернули его имений и у которого не было необходимых средств к жизни..; умы, как всегда бывает после столь великого события, были в сильнейшем волнении: начать такой мерой не было средством для успокоения [умов], а признать ее вредной было невозможно. Екатерина просто обратилась к генерал-прокурору, после того как он собрал голоса и подошел к ней за ее решением, и сказала ему: „Я желаю, чтобы это дело было отложено до другого времени". Императрица резюмирует: „Так-то нередко недостаточно быть просвещенным, иметь наилучшие намерения и власть для исполнения их; тем не менее, часто разумное поведение подвергается безрассудным толкам".

И хотя, по-видимому, опасаясь этих „безрассудных толков", Екатерина в одном из первых своих Манифестов, о дозволении иностранцам селиться в России, (от 4 декабря 1762 года) специально оговорила: „кроме жидов", все же уже на самой заре ее царствования угадывались приметы нового, отличного от ортодоксальной тетушки отношения к евреям. Достаточно вспомнить, что Елизавета, едва воцарившись, первым делом изгнала со Двора некрещеного гоф-комиссара Леви Липмана, а затем оставила без средств к существованию знаменитого лейб-медика Антонио Рибейро Санчеса, всего лишь заподозрив его в при-

верженности к иудаизму. Екатерина же, вступив на престол, поступила иначе: незамедлительно распорядилась „доктору Санше производить из комнатной суммы пенсиону по тысячу рублей в год, по смерть его".

И потом, укрепившись на троне, прагматичная Екатерина принимает уже другие решения. Руководствуясь идеями „общественной пользы" и „интересной прибыли" (что ранее отвергала ортодоксальная Елизавета), она облегчает положение иудеев. Впрочем, инициатива шла и снизу: в 1764 году поступило обращение от шляхты, старейшин и гетмана с просьбой хотя бы краткосрочно пускать евреев на земли Украины. А в марте того же года городской совет Риги эхом повторил сию петицию, подчеркнув экономические трудности, которые переживал город после изгнания евреев. Обе эти петиции были приняты во внимание. Одновременно правительство приступило к освоению присоединенной Новороссии, которую готовы были заселять „хоть жидами". И управлявший краем Алексей Мельгунов нанимал эмиссаров, чтобы привлечь еврейских колонистов из Пруссии и Польши.

А в Риге, куда при Елизавете даже въезд евреям был заказан, теперь можно было приметить ермолки и пейсы. Вели свою коммерцию оборотистые иудейские купцы, для которых за чертой города отстроили специальное подворье. Там же останавливались сотни сынов Израилевых, которых приветила комиссия по переселению евреев в Новороссию. Выделялись так называемые „шютс-юден" — около четырех десятков семей привилегированных евреев, свободных от ограничения на проживание, — те укоренились в Риге всерьез и надолго. Прочим иудеям разрешалось постоянно жить на землях Шлока (ныне Слока).

Историки обращают внимание на скрытые действия императрицы в пользу иудеев. И действительно, в ее ранних письмах и реляциях мы не найдем ни одного прямого упоминания о евреях. Монархиня словно стыдится произнести это неудобное для нее слово. Так, в письме к генерал-губернатору Риги графу Юрию Броуну от 29 апреля 1764 года она требовала снабдить новороссийских купцов паспортами, без указания национальности и без различия вероисповедания. Речь-то явно шла о евреях, и Екатерина приписала своей рукой по-немецки: „Если вы меня не поймете — не моя вина. Держите все в тайне!".

Екатерина поначалу была чужда национальных фобий. Монархиня закрывала глаза на незаконное пребывание в Петербурге нескольких иудеев, разместившихся в доме... ее духовника (!). „Их терпят вопреки закону; делают вид, что не знают, что они в столице", — откровенничала императрица.

Мнилось, жизнь иудеев в империи начала налаживаться, но тут произошло событие, приведшее к внезапной немилости к ним государ-

рыни. Дело было осенью 1770 года, когда в Литве и Польше свирепствовала эпидемия моровой язвы. Монархиня распорядилась тогда соблюдать предосторожности от заразы и, несмотря на остановку в торговле, направлять всех проезжающих христиан в карантинные дома. А вот евреев (и только евреев!) вознамерилась выслать вон из всех городов и весей края, особо отметив при этом их „лакомство [алчность — Л.Б.] и пронырство". При этом грозилась: „А если они упорно в том стоять будут и пренебрегут общей целостью, в таком случае принуждена буду тех жидов через нарочные военные команды высылать". Высылка оказалась делом многотрудным, ибо этому сильно воспротивились местные помещики (те пользовались услугами евреев и получали от них знатную прибыль), так что и впрямь пришлось военную силу употребить.

Подоплека изгнания иудеев разумному объяснению не поддается. Рижский еврей Беньямин Шпеер даже подал на имя императрицы прошение в защиту своих соплеменников, где разъяснял, что мера сия смысла не имеет, так как многие поляки, пренебрегая предосторожностью, „ездят беспрепятственно в Ригу". Как заметил историк Илья Оршанский, моровая язва была здесь лишь удобным предлогом. И утверждает, что к сему руку приложили местные купцы: уж очень они боялись соперничества с „пронырливыми жидами" — вот и восстановили против них власть имущих. Да и Екатерина, приняв на веру дурные толки о евреях, пишет о них теперь с нескрываемой антипатией. Именно в этом князь Николай Голицын видит перемену взглядов императрицы на народ Израиля, отмечая, что в 1760-е годы она относилась к евреям куда более благожелательно.



Г.А. Потёмкин-Таврический

По счастью, евреи обрели тогда неожиданного и самого надежного защитника: нашелся в русской истории XVIII века государственный муж, который без обиняков и лавирования заговорил об их правах во весь голос. То был всесильный сподвижник и фаворит Екатерины, фельдмаршал и светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический (1739–1791). Блистательный администратор и военачальник, покоритель Крыма и строитель Черноморского флота, Потемкин был личностью харизматической. „Гений, потом гений — и еще гений, — рисует его психологический портрет современник, — природный ум,

превосходная память, возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без лукавства, счастливая смесь причуд, великая щедрость в раздаянии наград, чрезвычайная тонкость, дар угадывать то, чего он сам не знает, и величайшее познание людей". Влияние Потемкина на императрицу трудно переоценить. „Усердия и труд твой, — писала ему Екатерина, — умножили бы мою благодарность, естьли б она и без того не была такова, что увеличиться уже не может".

Годы головокружительного взлета карьеры этого фактического соправителя императрицы (1772–1790) совпали по времени с первым разделом Польши, в результате которого под российским скипетром оказалось семидесятипятитысячное еврейское население. И во многом благодаря светлейшему князю преобразования века Просвещения распространились и на новообретенных евреев. Вообще, „фактор Потемкина" представляется значимым и на каком-то этапе даже определяющим в еврейской политике Екатерины.

Не исключено, что отчасти под его влиянием императрица в 1772 году предоставила евреям присоединенных территорий определенные права гражданства. В официальном „Плакате" от 11 августа 1772 года провозглашалось: „Еврейские общества, жительствующие в присоединенных к Империи Российской городах и землях, будут оставлены и сохранены при всех тех свободах, коими они ныне в рассуждении закона и имуществ своих пользуются". Однако, хотя иудеи и получили права отправления религиозных обрядов и пользования имуществом, осторожная Екатерина лишила их возможности свободно передвигаться по империи. Это подтвердил и генерал-губернатор Белоруссии Захар Чернышев, указав, чтобы евреи торговали „только в Белорусских губерниях, а в Россию бы с товарами не ходили". На деле же, невзирая на препоны, иудейские купцы ходили в русские города и промышляли там своими товарами.

С подачи Потемкина власти озаботились освоением новоприсоединенных земель, требовавших трудолюбивых хлебопашцев. Уже упомянутый нами Беньямин Шпеер, пользовавшийся покровительством полоцкого губернатора Михаила Кречетникова, представил проект, в коем впервые высказался в пользу приобщения российских иудеев к сельскохозяйственному труду, что в дальнейшем, вплоть до XX века, рассматривалось как способ „нормализации" еврейского народа.

Разрабатывались планы и по привлечению поселенцев в южные губернии России, и, по преданию, именно Потемкин убедил Екатерину добавить в проект 1775 года небывалую оговорку: „включая и евреев". Это он представил целую программу привлечения иудеев в Новороссию, чтобы как можно скорее развернуть торговлю на отвоеванных

землях: в течение семи лет не взимать с них налогов, предоставить право торговать спиртным, обеспечить защиту от мародеров. Иудеям разрешалось открывать синагоги, сооружать кладбища и т.д. В целях увеличения народонаселения края поощрялся ввоз в Новороссию женщин из еврейских общин Польши: за каждую такую потенциальную невесту светлейший платил пять рублей. Известно, что на сем поприще подвизался „еврей Шмуль Ильевич". Вскоре Екатеринослав и Херсон стали частично еврейскими городами.

Надо сказать, что законодательство 1780-х годов принесло еврейским общинам защиту и статус. А с вводом в действие 1 января 1780 года акта „Учреждения об управлении губерний" в Могилевской и Полоцкой губерниях интеграция евреев в российское общество заметно усилилась. Иудеи обрели новое социальное положение по сравнению с тем временем, когда они находились в составе Польши, и не были интегрированы в социальную структуру государства. Как и христианам, им было предложено записываться в сословия в зависимости от рода занятий и наличия собственности. Все они оказались причисленными к купечеству или мещанству, платили налоги и были подсудны магистратам и ратушам. То есть, по существу, христианскому населению верховная власть предложила общаться с евреями, как с равными.

Не случайно во время путешествия Екатерины II вместе с Потемкиным и австрийским императором Иосифом II (в 1781 году он издаст знаменитый Эдикт толерантности) по Белорусскому наместничеству, в 1780 году она трижды (!) приняла депутации местных евреев.

Когда 25 мая 1780 года Ее Величество посетила Могилев, самым пышным и ярким оказалось убранство еврейских улиц. Современник живописует разноцветные фейерверки и иллюминации, оркестр еврейских музыкантов на главной площади города, который „попеременно почти денно-нощно" играл зажигательную народную музыку. А перед оркестром, со стороны входа, горела надпись: „Торжествуем, яко же во времена Соломона". Представители кагала церемонно поднесли государыне оду на расшитой золотом парчовой подушке, которую та благоволила милостиво принять. Сие празднество, как будто, было учинено по случаю того, что евреи теперь — равноправные подданные Российской империи, покровительствуемые просвещенной Екатериной.

Так же торжественно проходила и встреча в Шклове, 31 мая, где евреи „обоего пола с их кагалом", рассредоточенные по обе стороны затейливых триумфальных ворот, приветствовали императрицу „радостными криками".

Но особенно замечательным был приезд государыни в Полоцк, 19 мая. Еврейская община города поднесла ей книгу in folio с золо-

тым вензелем „C.A." (Catherina Alexiewna), увенчанным лаврами. На 12-ти страницах из белого атласа напечатаны еврейские панегирические стихи с переводом на французский и немецкий языки. И вот что интересно — экземпляр этой оды попал в библиотеку Григория Потемкина, который, по-видимому, и был инициатором встреч императрицы с иудеями.

А 7 мая 1786 года вышел указ, явившийся самым ранним в Европе официальным признанием гражданского равноправия евреев. Под властью Екатерины II они — еще до Французской революции — получили возможность избирать и быть избранными на общественные должности, то есть иудеям позволили выбирать представителей во все городские институты, наравне с другими группами населения, и передали их в юрисдикцию губернских судов. Кроме того, им разрешалось арендовать винокурни и корчмы на тех же условиях, что и всем остальным. Это означало, что отныне власти станут официально терпеть их и в сельской местности. Как отметил американский историк Ричард Пайпс, указ „впервые формально провозгласил, что евреи наделены всеми правами их сословия и что дискриминация их на основе религии или происхождения является незаконной".



Путешествие Екатерины II в Крым

Чтобы понять, насколько прогрессивными и беспрецедентными в судьбе евреев стали эти узаконения вдохновленной Потемкиным Екатерины, достаточно бросить взор на „просвещенную" Европу того времени. Мы увидим и венценосного юдофоба, короля прусского Фридриха II, инициатора жестоких гонений на евреев; и императрицу Священной Римской империи Марию Терезию — зоологическую антисемитку, сравнившую иудеев с чумной заразой (даже со своим банкиром Диего де Агиларом она беседовала через ширму). В своей книге „Двести лет

вместе" (Т.I, 2001) Александр Солженицын подчеркивает, что евреи находились в более привилегированном положении, чем абсолютное большинство русского народа: „Евреи в России от начала имели ту личную свободу, которой предстояло еще 80 лет не иметь российским крестьянам". Что ж, действительно, получается, что к инородцам правительство относилось лучше, чем к своим же крепостным рабам. Только уж не иудеи в этом повинны.

Надо иметь в виду, что избирательные права евреев не были реализованы во всей полноте. Палки в колеса ставили и местные бюрократы и нееврейское население городов. Как отметила английский историк Исабель де Мадариага, „хотя власти, возможно, и намеревались создать серьезные предпосылки для развития еврейского городского сословия, в издаваемых ими распоряжениях царила такая двусмысленность и неточность, что антисемитски настроенным губернаторам или местным властям легко было их обойти".

С другой стороны, хотя равноправие подданных громогласно провозглашалось, Екатерина гарантировала евреям, принявшим христианство, особые привилегии. Так ее указ от 17 октября 1776 года разрешал выкрестам вступать в любую купеческую гильдию или ремесленное сословие, а также наделял их правом свободно передвигаться по всей империи. Православный прозелитизм весьма одобрялся, ибо знаменовал признание России и русского образа жизни. Еврей, обращенный в христианство, в правовом смысле переставал быть евреем. Показателен в этом отношении указ от 19 ноября 1781 года „о свободе Польских пленных, воспривявших Греческое исповедание", разрешивший „крещеному из Жидов Кириллу Федорову... свободное житье в России".

А в 1782 году императрица рассматривала прошения о поселении в Херсоне изгнанников с завоеванного испанцами острова Менорка, но согласилась принять только православных греков и корсиканцев, а евреям категорически отказала. И это несмотря на то, что те обязались вывезти в Херсон своих торговцев, ремесленников, земледельцев, художников, рукодельных и шелковых мастеров, рабочих по устройству завода „цветных и других всякого рода стекол" — без малейших издержек со стороны русского правительства! Для себя же испрашивали лишь поселение в местах, удобных для торговли; земли наряду с другими колонистами; денежную помощь художникам и рукодельным мастерам „для скорейшего проведения их работ"; свободное отправление веры и открытие синагог; „вольность и свободу в отправлении торгов"; все права русских подданных, наравне с переселенцами прочих национальностей. Впрочем, в своем ответе монархиня оговорила, что если помянутые евреи перейдут в православие, тогда — милости про-

сим! Решение Екатерины, на первый взгляд, противоречило ее действиям в 1764 году и закону 1769 года, когда она хотела заселять евреями Новороссию. Но условия меноркских евреев могли показаться ей чрезмерными и наглыми, особенно получение всех прав наравне с переселенцами-христианами, которым, в частности, по закону 1763 года было разрешено расселяться по всей стране. Да и антипатия к „пронырливым жидам" сыграла не последнюю роль. А что же Потемкин, радевший о привлечении в Херсон людей активных и предприимчивых? Думается, он был разочарован своей „матушкой, государыней", учинившей через его голову такой афронт евреям.

„Почти уникум среди русских военных и государственных деятелей, — подчеркивает английский историк Себаг Монтефиоре, — Потемкин был больше, чем просто толерантным к евреям: он изучал их культуру, наслаждался обществом их раввинов и стал их покровителем". Где же искать истоки такой благосклонности светлейшего князя к „сынам израилевым"? Он происходил из Смоленского края, где исстари селились евреи (это оттуда вышли прославившиеся впоследствии роды Шафировых и Веселовских). Уже в детские годы он общался с иудеями, и его симпатии сложились в их пользу.

Потемкин вообще отличался исключительной веротерпимостью: недаром в 1767 году он исполнял должность „опекуна татар и иноверцев" в Уложенной комиссии. И в окружавшей его разноязыкой толпе явственно слышался и идишский говор. Причем светлейший проявлял живой интерес не только к делам практическим — его занимали и материи высокие: поэзия, философия, греческий и латинский языки, и особенно богословие („Хочу непременно быть архиереем или министром,"— часто говорил он друзьям). Современник рассказывает о пристрастии Григория Александровича к богословским диспутам: „Он держал у себя ученых раввинов, раскольников и всякого звания ученых людей; любимое его было упражнение: когда все разъезжались, призывать их к себе и стравливать их, так сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях".

Получив в дар от монархини огромное поместье Кричев-Дубровна на Могилевщине, в Белоруссии, частично отошедшей к России после первого раздела Польши, князь приглашает сюда деловых людей без разбора племени и веры. Сохранилось предание о том, как Потемкин решил построить здесь ткацкую фабрику и заставить там работать местных иудеев. Те восприняли такую перспективу как страшное бедствие, собрали общинный сход и решили идти к самой императрице с жалобой на фаворита. Долго думали евреи Дубровны, как склонить на свою сторону монархиню, и решили дать ей крупную взятку. Выбрали

двух депутатов и отправили в Петербург. Представ перед императрицей, депутаты обещали ей „дать десять тысяч рублей, а то и больше", лишь бы только не строили фабрики. „Дураки!" — парировала Екатерина, но решение о постройке фабрики все-таки велела отменить. Достоверность сего эпизода весьма проблематична, особенно в части жалоб евреев на светлейшего, а вот факт его тесного с ними общения сомнений не вызывает.

В окружении Потемкина было немало выдающихся евреев. Карл Иванович Габлиц (1752–1821), принявший лютеранство еврей, переселившийся с отцом из Пруссии, стал выдающимся ботаником, почетным членом российской Академии наук и тайным советником. Ему суждено было основать научное лесное хозяйство в России. Габлиц выполнял разные, в том числе секретные, поручения Потемкина и в 1783 году был назначен вице-губернатором Крыма. По заданию светлейшего он написал ученый труд „Физическое описание Таврической области, по ея местоположению, и по всем трем царствам природы" (Спб., 1785). За этот труд Карл Иванович был удостоен монаршего „благоволения" и получил от императрицы осыпанную бриллиантами табакерку.



Белорусские евреи. XVIII век

Еврейский „прожектер" Яков Гирш (1788), переехавший в 1770-е гг. из Бреславля в Могилев, начинал свою деятельность как предприниматель, получивший „высочайшее одобрение" Екатерины на учреждение „овечьего завода". В 1783 году его предприятие насчитывало уже 770 голов и выпускало лошадиные попоны, байковые одеяла, за это он был награжден золотой медалью Вольного экономического общества „За труды воздаяние". Однако Гирш, по собственному признанию, „горел всегда желанием помочь, сколько ни есть, невежеству и, следственно, бедственному и презрительному состоянию моих несчастных соотечественников". Он разработал „Опыт учреждения главного иудейского училища в наместническом городе Могилеве и заведения по одному иудейскому училищу в прочих Белорусских наместничествах", в коем настаивал на централизации еврейского образования в Белоруссии, включении в программу светских наук и „художеств", необходимых „сочлену гражданского общества". Предлагал для начала принять в училище 50 „убогих" детей, обучить их бесплатно и представить в качестве „опытного образца".

Один из доверенных лиц Потемкина, Николай Штиглиц (1776–1820), происходил из семьи Якова Гирша. Он обосновался в России тоже в конце XVIII века. Будучи херсонским купцом, Николай имел контору в Одессе и взял на откуп добывание соли из озер. А какого небывалого торгового оборота добился он в Крыму под патронажем князя! Уже после смерти Потемкина он крестился и стал видным чиновником министерства финансов. Штиглицы впоследствии получат титул баронов и станут банкирами российских императоров и крупнейшими меценатами.

Иудей Нота Хаимович Ноткин (1746–1804), могилевский купец, надворный советник, был лично знаком с Екатериной II. Он поставлял для воюющей армии Потемкина провиант и фураж, рискуя при этом жизнью. „Служил Отечеству со всевозможным усердием", — говорили о нем. Позднее Ноткин представит властям „Проект о переселении евреев колониями на плодородные степи для размножения там овец, земледелия и прочего...". Позднее, уже при Александре I, он войдет в Еврейский комитет и заслужит репутацию „защитника своего народа". Его называют одним из основателей еврейской общины в Петербурге.

Но, пожалуй, наибольшее влияние на Григория Александровича оказал крупный купец и ученый-гебраист Иехошуа Цейтлин (1742–1822). О нем мы еще расскажем. Важно то, в беседах друзей родилась сколь дерзновенная, столь и фантастическая по тем временам идея о размещении евреев в отвоеванном у турок Иерусалиме. Исследователи видят в этом „попытку связать „стратегические" еврейские интересы с имперским визионерством Потемкина". Вот что сообщает современник: „Он [Потемкин — Л.Б.] стал развивать ту мысль, что когда империя Османов будет наконец разрушена, Константинополь и проливы в русских руках, то и Иерусалим будет не во власти неверных. А тогда должно в Палестину выселить всех евреев... На родине же своей они возродятся". Таким образом, можно без преувеличения сказать, что светлейший стал первым (и единственным) в российской истории государственным мужем — ревностным сторонником сионистской идеи!

И ведь не ограничился бесплодными разглагольствованиями на сей счет — он пытался претворить сию идею в жизнь. В 1786 году Потемкин создает сформированный целиком из иудеев так называемый „Израилевский" конный полк, который, по его мысли, и надлежало в дальнейшем переправить в освобожденную от турок Палестину. Со времени римского императора Тита, разрушившего в 70 году н.э. Иерусалимский Храм, это была едва ли не первая в мировой истории попытка вооружить евреев!

Надо признать, что „Израилевский" полк Потемкина не походил на сегодняшнюю победоносную израильскую армию. В дошедших до нас характеристиках боевой выучки еврейских ратников сквозят комизм и издевка. Так, историк и романист Николай Энгельгардт с иронией живописует их лапсердаки, бороды и пейсы, говорит об их неумении держаться в седле и т.д. В этом же духе высказывается о „жидовском полке" и принц Шарль де Линь, хотя он всегда симпатизировал евреям: его даже называли одним из первых „сионистов" XVIII века.

Израильский историк Савелий Дудаков полагает, что подобные уничижительные характеристики грешат тенденциозностью и предвзятостью, и напоминает, что совсем скоро после описываемых событий в мятежной Польше вспыхнуло восстание Тадеуша Костюшко, в котором принял участие еврейский конный полк под командованием Берека Иоселевича. Пятьсот волонтеров этого полка доказали свое мужество и стойкость и пали смертью храбрых при штурме Варшавы в ноябре 1794 года.

Что же касается Потемкина, российские евреи героизировали его, понимая, что нашли в его лице надежного защитника и покровителя. Сохранились свидетельства об их радушных приемах светлейшего, о похвальных одах в его честь. И в самом деле, пока был жив князь Таврриды, их благополучию и покою, казалось, ничто не угрожало. Но 5 октября 1791 года, в дороге под Яссами, что на бессарабских холмах, светлейший князь испустил дух. И сразу же после кончины Потемкина грянули дискриминационные антиеврейские узаконения.

Впрочем, заметный откат от прогрессивных реформ наметился уже на излете жизни князя Тавриды, когда его влияние на судьбы империи уже сходило на нет. Так, в 1789 году указом Сената евреям было запрещено записываться в купечество города Смоленска. Еврейских купцов из Смоленска выслали, и сей прецедент положил начало традиционному законодательному принципу, действовавшему в отношении евреев вплоть до февральской революции 1917 года: „Каждому еврею разрешено только то, что законами ему буквально дозволено".

А 13 февраля 1790 городской голова Москвы Михаил Губин и пять московских купцов первой гильдии подали прошение губернатору Петру Еропкину о высылке из города всех „жидов", которые якобы, скрыв свое происхождение, размножились в столице, записались в оклад московского купечества и промышляют нечестной торговлей и „порчей" золотой и серебряной монеты. При этом москвитяне утверждали, что жалуются на жидов потому, что „по хитрым их во всем предприимчивостям, и известным всему свету сродным им лжам и обманам, не могли не понесть от них всеобщей здешней торговли расстроения и совершенного упадка".

Для защиты своей „невинности и обнажения истины" шесть белорусских депутатов-евреев составили прошение на высочайшее имя. Ссылаясь на указы Екатерины, они тщились морально-этическими и практическими аргументами оправдать свое пребывание в Первопрестольной столице. Особенно же возмущались тем, что московские купцы „в поругание" называли их „жидами". На обвинение в утайке происхождения парировали: „Бороды, одеяние и самые имена наши ощутительно доказывают каждому наш род и закон". Предлагали собственное толкование сенатских постановлений, утверждая, что содержащиеся в одном из них слова „без различия закона и народа", позволяют евреям селиться во всей империи. Приводили в пример процветающие Англию и Голландию, много выигравшие от еврейской предприимчивости. Посему ходатайство выходило за узкие рамки частного вопроса о торгующих в Москве евреях, но становилось призывом к веротерпимости и равноправию. С особой щепетильностью отнеслись ходатаи к оскорблению купцами их национального достоинства, ибо московиты тем самым оскорбили „равных себе граждан": „Непростительно господину Губину с товарищами так смело и решительно сказать, что евреи имеют нравы развращенные".

Дело было передано на рассмотрение президенту Коммерц-коллегии графу Александру Воронцову. Однако тот принял весьма неблагоприятное для иудеев решение. Согласившись с мнением еврейских истцов, что опыт Западной Европы свидетельствует о пользе, приносимой евреями государству, он, однако, отметил, что там живут преимущественно сефарды. „Но такие евреи, какие известны под названием польских, прусских и немецких жидов [ашкенази — Л.Б.], из числа которых состоят все живущие в Белоруссии и выезжающие из Польши и Кенигсберга, совсем другого роду и производят торги свои, так сказать, как цыганы — со лжею и обманом, который и есть единым их упражнением, чтоб простой народ проводить". Потому в своей докладной записке в Сенат Воронцов выказал уверенность в том, что это они повинны в крестьянской нищете, и именно эти жиды стоят за спиной всех фальшивомонетчиков и контрабандистов, потому пускать их в сердце России категорически нельзя.

В указе Екатерины от 23 декабря 1791 года была опущена отрицательная характеристика коммерческой деятельности евреев как основание для запрета их расселения во внутренних губерниях: просто давалась ссылка на сенатское решение 1789 года об отказе евреям торговать и селиться в Смоленске. Английский историк Джон Клиер считает, что мера эта была вызвана экономическими резонами (нежелательности конкуренции), причем экономические соображения, вызвавшие

запрет, облекались в привычные формы — обвинения евреев в недобросовестности, торговле контрабандными товарами и в изготовлении фальшивых денег. Так предрассудки переплелись с практическими интересами.

Этот знаменитый указ стал краеугольным камнем системы еврейской черты оседлости. Правда, пилюлю подсластили, включив в число территорий, где могли проживать и пользоваться всеми правами евреи, Екатеринославское наместничество и Таврическую область. Впоследствии же, после второго и третьего разделов Польши, в нее также вошли Волынь, Подолия, Виленская и Гродненская губерния, три малороссийские губернии — Киевская, Черниговская и Новгород-Северская. Нет сомнений, ограничение проживания вызвало серьезные искажения в экономической жизни и социальной структуре российского еврейства.

Налоговый устав 23 июня 1794 года знаменовал собой начало уже неприкрытого государственного антисемитизма. Еврейских купцов и мещан обязали платить подать вдвое большую, чем христиан тех же сословий. По существу, это было именно *наказание за веру*. И даже если этот закон был мотивирован экономическими соображениями, он был откровенно дискриминационным по отношению ко всему еврейскому населению (исключение составляли караимы, 8 июня 1795 года налог с них был снят). Таким образом, прогрессивное положение о „безразличии к расе и религии" перестало быть свойственно екатерининскому законодательству. Забавно, что двойной налог с иудеев приводил в замешательство даже царских чиновников. Власть предержащие раз за разом обещали отменить его в следующем десятилетии (при условии „примерного" поведения евреев!), но все тянули, и определенная дата никогда не назначалась. Рассказывали, что когда в 1812 году евреи обратились к правительству с петицией об отмене налога, кувшинные рыла из Министерства финансов лишь развели руками, дескать, не знали, что налог до сих пор взимается.

А 7 сентября 1794 был издан еще один указ „О взыскании с евреев, записавшихся в мещанское звание, по 500 рублей за рекрута".

Исследователи сходятся на том, что внезапная немилость монархини к евреям вызвана причиной косвенной — Великой Французской революцией с ее Национальным собранием, осенью 1791 года уравнявшим евреев с другими гражданами. Екатерина увидела в них носителей бунтарских идей и показательно, что в 1792 году распорядилась выслать из России всех иностранных евреев.

Историк Ричард Пайпс резюмировал: „Власти пытались править евреями как религиозным меньшинством, принадлежащим к

определенному сословию, как и христианами. Однако это окончилось неудачей из-за сопротивления основной части населения и русского купечества, а также чиновников местной администрации, склонявшихся на сторону этих сил. Центральная власть была слишком слаба, чтобы навязать им свою волю. После же Французской революции правительство стало опасаться, что подрывные элементы могут пошатнуть устои власти, и потому приостановило работу по интеграции евреев".

Думается, что историк не вполне прав, приписывая самодержавной Екатерине несвойственную ей слабость и благодушие к евреям. Но правда то, что Григорий Потемкин искренне радел иудеям, пекся об их гражданских правах, и это с его именем связана целая эпоха, которая может быть названа „золотые годы русского еврейства". Может статься, будь жив великолепный князь Тавриды, он, при всем своем влиянии на императрицу, остудил бы ее антиеврейский пыл. Но, как известно, история сослагательного наклонения не имеет...

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ИМПЕРАТОР

ПАВЕЛ I



Боровиковский В.Л. Портрет императора Павла I, 1799 г.

И панегиристы, и суровые критики царствования Павла I сходятся в одном: не было другого периода в истории России, когда жизнь страны в столь же высокой степени определялась самодержавной волей государя. Хулители называют его „восточным владыкой в мундире прусского покроя" и говорят о „царствии страха", „безотчетном варварстве и произволе", „необузданной власти ханской", и в подтверждение приводят обращенные к придворным слова царя: „Вы существуете только для того, чтобы слушаться моих приказаний". По мнению Николая Карамзина, Павел „не следовал никаким уставам, кроме своей прихоти" и стремился вникать во все государственные дела, все более и более укрепляя свою личную власть. Символично, что однажды, ударив себя кулаком в грудь, он вдруг надрывно вскричал: „Здесь ваш Закон!".

Но в то же время это был, по словам А.С. Пушкина, „романтический наш император", упорный правдоискатель, человек с обостренным чувством справедливости, добродетельный, жертвенный и глубоко религиозный. Его сокровенные думы очень выразительно передал Дмитрий Мережковский в пьесе „Смерть Павла" (1909): „Не имел и не имею цели иной, кроме Бога. И пусть меня Дон-Кишотом зовут — сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так, как я люблю человечество! Не подданные за государей, а государи за подданных должны кровь свою проливать. И я, первый, на поединке оном пример покажу". Павел считал, что Россию спасет не демократизация, а „ари-

стократизация" общества — „аристократия духа", как он ее называл. Он мечтал о рыцарской верности подданных и вводил систему духовного диктата, призванную, по его разумению, споспешествовать процветанию страны и народа. „Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением деятельности этого императора, борьба с сословными привилегиями — его главной задачей", — отмечает Василий Ключевский. Показательно, что русские монархисты называли его народным царем, „носителем власти, стоящим над классами и сословиями, то есть власти народной", и даже „первым Русским Государем Божьей милостью". Историк Петр Буцинский заключает: „Павел стремился осуществить в жизни идеал одинаково доброго монарха для всех подданных".

Как свидетельствует тонкий знаток еврейства Юлий Гессен, и по отношению к российским иудеям император выказал „много доброжелательства и справедливости". Не будь это царствование столь кратковременно, оно ознаменовалось бы в истории евреев России появлением первого систематически разработанного законодательства о них, но вследствие внезапной смерти Павла I, годы его недолгого правления явились эпохой лишь подготовительной работы, эпохой изучения еврейской жизни. Политика Павла, его узаконения по еврейскому вопросу тем более достойны внимания, что монарх этот, как подчеркивал Ю. Гессен, „совершенно не питал к иудеям недружелюбия, и, в частности, религиозной неприязни". Этого, кстати, не могут простить Павлу современные почвенники. Так, Анатолий Глазунов корит императора за то, что он „не оказался способным понять опасность, истекающую от жидовского народа".

Близко знавший императора митрополит Платон (С.Е. Левшин) говорил, что тот „всегда был к набожности расположен, и рассуждение ли или разговор относительно Бога и веры были всегда ему приятны. Сие, по примечанию, еще внедрено было со млеком покойною императрицею Елизаветою Петровною, которая его горячо любила и воспитывала приставленными от нее весьма набожными женскими особами". К счастью, рано покинувшая сей мир, Елизавета не успела привить цесаревичу свойственную ей воинствующую ортодоксальность и фобию к иудеям — „врагам Христовым". Вопрос о религиозном мировоззрении Павла, главы православной церкви и одновременно гроссмейстера Мальтийского ордена, настолько сложен и глубок, что заслуживает самостоятельного исследования. Но его завидная веротерпимость сомнений не вызывает. И в этом несомненное влияние заповедей воспитателя графа Никиты Панина, который говаривал: „Христос есть во всех — и в христианине, и в последователе иудейской религии, и в язычнике.

Поэтому христианами должны называться не только принявшие крещение, но все, имеющие в себе Христа". Павел встречался с протестантами, католиками, иудеями и магометанами, освободил из ссылки масонов, прекратил преследование старообрядцев (и те даже держали его изображение в святом углу, вместе с иконами). Он грезил о вселенском экуменизме, в котором бы слились особенности всех вер. Подлинный Храм, считал он, может быть только всемирным. Вместе с тем, Павел осознавал, как важно религиозное самоопределение для любой нации, пытаясь понять и духовный выбор иудеев, вникнуть в догматы их веры. Более того, ему суждено было сыграть важную роль в еврейской религиозной жизни России.

Провозгласив справедливость и порядок основой государственной жизни, Павел желал все знать о нуждах и чаяниях российского народа и стремился „открыть все пути и способы, чтобы глас слабого, угнетенного был услышан". По его приказу в начале 1797 года у одного из окон в Зимнем дворце был вывешен ящик, куда любой подданный мог бросать письма с жалобами и претензиями. Вечером Павел отпирал сей заповедный ящик, приносил ворох прошений в свой кабинет и засиживался за их разбором далеко за полночь. Резолюции и ответы на прошения всегда писались им лично, либо скреплены были его подписью и затем публиковались в газетах. Часто просителям предлагалось обратиться в какое-нибудь судебное место или иное ведомство, а затем известить Его Величество о результатах этого обращения. „Первый любимец, первый сановник, знаменитый вельможа и последний ничтожный раб, житель отдаленной страны и столицы, — говорит современник, — равно страшились ящика". Интересны цифры: в течение одного только года почта доставила Павлу 3229 писем с прошениями, на которые он ответствовал 854 указами и 1793 устными распоряжениями.

И среди писем мы находим немало жалоб и просьб российских иудеев, которые получили возможность обращаться непосредственно к государю. Вот могилевский купец Бениович жалуется на ограбивших его обывателей города Галаца; еврей Кельманович из местечка Будича пеняет на волокиту в Гайсинском поветовом суде Подольской губернии в его тяжбе с помещиком Сабанским; некто Мовше Фабишович обвиняет малороссийского помещика Ширяя „в причинении ему обид и захвачении имущества его"; завилейский купец Лейба Мовшович из Литовской губернии злобится на князя Черторижского, комиссионера Нарбута и управителя Шемета, нарушивших контракт о поставке ему подвод для перевозки поташа, отчего он, Мовшович, терпит „великие в торговле убытки". Впрочем, просители-евреи радели не только о собственной выгоде, но и о делах общественных. Так, „поверенный Общест-

ва" Иоська Бенкович просит Его Величество восстановить упраздненный город Климович и пожаловать тамошним жителям привилегии и денежную ссуду. И Павел глубоко вникает в суть каждого вопроса, не оставляя без ответа ни одну из просьб. Он указывает челобитчикам, в какие именно присутственные места, инстанции (компетентные органы, как бы мы сейчас сказали) надлежит обратиться, чтобы было принято скорое и самое справедливое решение. И сыны Израиля зачастили в Северную Пальмиру, оставаясь там беспрепятственно на законных основаниях вплоть до решения дела.

Император приветил и замечательного еврейского печальника Ноту Хаймовича Ноткина (1746–1804), чья неутомимая правозащитная деятельность развернулась уже в первые годы его царствования. В мае 1797 года из родного Шклова Ноткин едет в Петербург и через генерал-прокурора Алексея Куракина подносит Его Величеству свой „Проект о переселении евреев колониями на плодородные черноморские степи для размножения там овец, земледелия и прочего: там же заведения по близости черноморских портов фабрик суконной, прядильной, канатной и парусной, на коих мастеровые люди были бы обучены из сего народа". Любопытно при этом, что ходатаем Ноты Хаймовича перед всесильным царедворцем был притеснитель иудеев „Шкловский деспот" Семен Зорич (который, впрочем, не знал о подлинной цели обращения Ноткина к Куракину).



С.Г. Зорич

Нота увидел в Павле „монарха, дающего иудеям состояние, защиту и покой", и изложил собственное мнение о том, как евреям „приобыкнуть к рукоделию", „каким образом устроить их жизнь, чтобы они собственными своими трудами доставили себе нужное пропитание". При этом он проявил завидную образованность: использовал и творчески переработал законодательства некоторых стран Европы — и недавние (апрель 1797 года) прусские узаконения об иудеях, откуда почерпнул положение о привлечении их к земледелию и фабричной деятельности, и более ранние указы австрийского императора Иосифа II (1786 год) о евреях-ремесленниках.

Замечательно, что в этом проекте Ноткин первым в России высказал мысль об использовании евреев как промышленных рабочих. Говоря о необходимости постепенного отстранения евреев от винных промыслов, он ратовал за их приобщение к сельскому хозяйству, раз-

рушая миф об органической непригодности иудеев к труду на земле. При этом он апеллировал к ветхозаветным временам: „Употребленные к сему [сельскому труду — Л.Б.] евреи от рук своих возымеют себе пропитание..., подражая праотцам своим, государству со временем немалую пользу принесут, и со временем необходимость их научит земледелием сыскивать хлеб". Ноткин настаивал на расселении евреев в колониях Черноморского побережья, что сулило державе большие выгоды благодаря плодородию тамошней земли и близости портов для перевозки сельскохозяйственных товаров.

Хотя проект не был претворен в жизнь, автор его сделался известным. Император высоко оценил труд Ноткина — подарил ему богатое имение Островец на Могилевщине с 225 крепостными душами, пожаловал значительной денежной суммой и золотым перстнем с бриллиантами. И именно при Павле I в Петербурге обосновалась еврейская община, несколько десятков человек. Душой ее стал, как значилось в общинной книге, „уважаемый и почтенный Натан Ноте из Шклова". Эта небольшая сплоченная группа вела еврейский религиозный образ жизни и даже содержала своего резника. Иудеи приобрели здесь и собственный участок на лютеранском погосте (позднее Волково кладбище), основав, таким образом, первое еврейское кладбище в северной столице.

В числе приметных представителей этой общины можно назвать крупного банкира и откупщика Абрама Израилевича Перетца (1771–1833), который и спустя много лет был „памятен в столице по своим достоинствам и по своим огромным делам". В товариществе с купцом-иудеем Николаем Штиглицем (1772–1820) он заключил с правительством контракт на откуп крымской соли. Перетц был связан с элитой высшего общества столицы и особенно дружен с фаворитом Павла I, графом Иваном Кутайсовым. Он имел в Петербурге открытый дом и, по словам барона Модеста Корфа, принимал у себя „весь город". Государь пожаловал ему титул коммерции советника. Вместе с Перетцем в Петербург переехал один из пионеров Еврейского просвещения, выдающийся талмудист Мендель Сатановер (1741–1819). Жил в доме Абрама Перетца, которого хорошо знал еще по Шклову, и Иехуда Лейб бен Ноах (Лев Николаевич) Невахович (1776–1831), вошедший в историю как автор апологетического сочинения „Вопль дщери иудейской" (Спб., 1803). Невахович занимался переводами для Сената с еврейского языка на русский. Известно, что такой же работой занимался и некто Юда Файбишович. Если вспомнить тогдашние облавы и строжайшие паспортные проверки всех приезжающих и отъезжающих из города (об отъезде, например, надлежало предварительно трижды объявить в це-

чати), то станет очевидным: эти иудеи стали легальными петербуржцами исключительно благодаря личной воле государя. В этой связи приобретает особую ценность свидетельство очевидца Неваховича. А он подчеркивал доброжелательное отношение Павла к евреям и в качестве доказательства сообщал, что императору „благоугодно было лично удостоить находящихся тогда в Санкт-Петербурге купечество и депутатов сего народа покупкою от них трех тысяч аршин голубого бархата для придворной надобности".

Сохранилось предание, что и в Москве число иудеев в конце XVIII века было довольно значительным. Рассказывают о еврейских лавках в „Панском" ряду, где шла бойкая торговля. Историк Петр Марек считает это преувеличением и, хотя допускает пребывание иудеев в Первопрестольной столице, объясняет это „нестрогим применением к ним ограничительных мер" и головотяпством властей. Между тем, служебное рвение и суровость московских полицейских чинов в Павловское время не оставляют сомнений: никаких „невольных поблажек" пришельцам быть не могло, и если кто торговал здесь разными разностями, значит, на то было высочайшее дозволение. Показательно, что 25 января 1800 года некто Шолом Юдович, „по доверенности шкловских купцов евреев", подал императору прошение о разрешении еврейским купцам первых двух гильдий свободно торговать за пределами черты оседлости и уравнении их в правах с иностранными коммерсантами. А 3 августа 1800 года Правительствующий Сенат принял беспрецедентное решение — отменил существовавшее ранее „запрещение в производимой купцами из евреев 1 и 2 гильдий оптовой торговле" в столицах (увы! — впоследствии оно было отменено „либеральным" Александром I).

Государь ратовал за „свободное пребывание евреев" и в тех городах, где им веками официально жить запрещалось, тем самым решительно порывая с порочной традицией. Как точно сказал об этом историк, „сама мысль о выселении евреев из городов представлялась [Павлу I] бесцельной и дикой". Когда христиане Ковна, ссылаясь на старинные статуты, выступили в 1797 году с прошением всех евреев выгнать вон из города, а их имущество и товары присвоить себе, власти назвали их корыстные притязания „застарелой, легкомысленной и, так сказать, *несмысленной к евреям зависти*". Император повелел: „Дабы поселившиеся в Ковне евреи оставлены были в спокойном собственностью их владении, невозбранно отправляли ремесла и производили бы торговые дела беспрепятственно".

Подобные прения возникли и при присоединении к империи Каменец-Подольска, когда император пресек действие прежних польских запретительных привилегий. Указом от 8 сентября 1797

года он объявил: „Евреев из Каменца-Подольского не высылать, а оставить на том основании, как они и в других основаниях свободное пребывание имеют".

Вот представитель „общества живущих в Каменец-Подольском купцов и мещан евреев " Когда Янкель Хаймович пожаловался на то, что евреи, избранные в местный магистрат, самовластно „удалены от должностей", Павел тут же восстановил справедливость, равно как и „доставил обиженным законную защиту" от притеснений, чинимых помещиком Винцетием Потоцким и т.д. Замечательно, что в документах общины Каменец-Подольска за 1797 год находится адресованный императору панегирик на древнееврейском языке, где говорится, что тот „милостив к евреям, как отец к сыновьям, как орел, защищающий свое гнездо". И такое отношение иудеев к Павлу весьма симптоматично. В его краткое царствование число их в Каменец-Подольске выросло почти вдвое (в 1797 году там проживало 1367 евреев-мещан, а в 1799 году уже 2617 человек!).

Любопытно при этом отметить, что в бывших польских землях, перешедших к Пруссии, иудеи далеко не во всех городах получили право жительства. Так, известный своими прусскими симпатиями Павел в еврейском вопросе оказался прогрессивнее не только своего кумира Фридриха II Великого (что было нетрудно, поскольку узаконения сего прусского короля об иудеях называли не иначе, как „достойными каннибала"), но даже толерантного Фридриха-Вильгельма II.

Попытка изгнания евреев была предпринята и в Киеве. Ссылаясь на давний запрет 1619 года — „чтобы ни один жид в городе Киеве и в части сего города не жил", — и сообразуясь с монаршим указом 16 сентября 1797 года о возобновлении дарованных Киеву прежних грамот, местный магистрат настоятельно требовал удалить евреев из „матери городов русских" на „законном основании". Однако Павловская администрация не нашла „никакого резона, почему бы евреям жительство и пребывание [здесь] было возбранено". Причем губернатор Андрей Феньш приводил в пользу иудеев и аргументы прагматического характера: „Из мещан христианского закона нет никаких хороших искусных мастеров и художников, а находятся разные из таковых большею частью евреи; равным образом и купцы здешние не стараются о том, чтобы в торговых лавках были все нужные для городских обывателей товары и вещи". И в феврале 1801 года Павел распорядился „евреев, никуда не переселяя, оставить на жительстве в Киеве".

И в перешедшей под российский скипетр Курляндии император, по словам историка Менделя Бобе, „положил конец двухсотлетней борьбе евреев за право быть не только терпимыми, но и легитимными

гражданами страны". Он предоставил иудеям этой новообразованной губернии юридические и экономические свободы, которыми они пользовались в черте оседлости. Согласно монаршему указу 14 марта 1799 года, иудеи получили, наконец, возможность повсеместного здесь проживания и доступа в торгово-промышленные сословия. В этом немалая заслуга курляндского барона Карла-Генриха Гейкинга (1751–1809), составившего для государя законопроект, а также благожелательную записку о морали иудеев (где он, в частности, оценил нравственную высоту молитвы Кол-Нидре).

Вступив на престол, Павел, хотя и запретил все депутации ко Двору, тем не менее, принял в 1798 году представительную группу киевских, волынских и подольских евреев „с принесением всеподданической благодарности и с испрошением о даровании им некоторых выгод". Это также говорит о благожелательном отношении государя к евреям.

Известно, что Павел всячески стремился оградить Россию от проникновения „пагубных" идей революционной Европы. Тотальному контролю подвергались все ввозимые из-за границы книги, включая ноты. Полный состав цензоров был избран уже в первый же год его царствования, причем ими было конфисковано 639 книг. Поля страниц журнала заседаний Цензурного комитета пестрели решительными резолюциями монарха: „Книги сжечь, а хозяев, отыскав, поступить с ними по законам за выписку оных". Как отмечал исследователь Павел Рейфман, „всем этим занимается в значительной степени лично Павел, придавая цензурным проблемам большое значение, уделяя им много внимания и времени".

В поле зрения царя оказались и еврейские подданные империи, которых он также пытается оберечь от „язв моральных" — тлетворных влияний извне. Именным указом от 5 октября 1797 года он определяет в штат Рижского Цензурного комитета двух евреев „для рассмотрения в Россию ввозимых книг на еврейском языке". Лифляндский гражданский губернатор, не мешкая, подыскивает двух подходящих кандидатов, которые „к сему управлению имеют особливые сведения, и возлагаемую на них должность надлежащим образом исполнять будут". То были Мозес Гекиль и Иезекииль Бамбергер, которым определяется жалование 300 рублей в год — сумма по тем временам немалая. Последний был сыном „покровительствуемого еврея" Давида Леви Бамбергера, получившего официальное право жительства в Риге еще при Екатерине II.

Высказываний императора непосредственно об иудеях не находится. Разве что, оценивая штурм войсками фельдмаршала Александра

Суворова предместья Варшавы — Праги 4 ноября 1794 года, он заметил, что не почитает его „действием военным, а единственно закланием жидов". Район Праги, что на реке Висла, действительно защищали 500 волонтеров еврейского полка под водительством Берека Иоселевича и Иосифа Ароновича. Однако иудеи, вставшие тогда под знамена Тадеуша Костюшко, сражались здесь неустрашимо против превосходящих их числом и умением суворовских чудо-богатырей. По словам очевидца, „стоя под огнем картечи, теряя сотни раненых и убитых, они не утратили присутствия духа и даже отбили у врага несколько орудий". И в том кровопролитном бою евреи встретили смерть с оружием в руках, и потому ни о каком заклании здесь речи быть не может. Несомненно, Павел испытывал сочувствие к защитникам Праги, ибо порицал экспансионистскую политику матери, закабалившей Польшу, и когда вступил на престол, освободил и обласкал мятежного Костюшко. Полемичность этого высказывания царя станет еще очевиднее, если учесть, что он всячески старался умалить военные таланты опального тогда Суворова и только искал удобного случая, чтобы уронить авторитет великого русского полководца.

Примечательно, что по повелению Павла I было остановлено и предано забвению так называемое Сенненское дело по облыжному обвинению евреев в ритуальном убийстве. Подоплека его такова: накануне праздника Пейсах в 1799 году в местечке Сенно Могилевской губернии, неподалеку от еврейской корчмы был найден труп женщины. Следственная власть обвинила в убийстве четырех иудеев, находившихся в той корчме, „имея основанием лишь народный слух, что евреям нужна христианская кровь".

Надо сказать, подобные поклепы на евреев, заимствованные из польской „наветной" литературы, тиражировались в России с конца XVII века. В 1669 году в Киеве был напечатан увесистый антиеврейский трактат архимандрита Иоанникия Голятовского „Мессия правдивый", где рассказывалось о двенадцати ритуальных убийствах, и внушалась мысль, что кровь христианских младенцев якобы необходима для „жидовских чар", для соборования умирающего еврея и т.д. Распространение получила также анонимная польская книжонка „Бредни Талмудовы" (Краков, 1758) с ошеломляющими откровениями: будто бы, кровь потребна евреям „для удачи в торговых делах"; „для еврейских новобрачных, которым раввин во время свадьбы дает наполненные кровью яйца"; „для праздника Амана, во время которого раввин тайно посылает кушанья, заправленные этой кровью"; и, конечно же, „для их жидовской мацы". В 1772 году в Почаевской лавре был тиснут ее церковнославянский перевод под титулом „Басни Талмудовы от са-

мих Жидов узнанные...” (он был переиздан в 1792 году), а в 1787 году в Петербурге Петр Богданович выпустил русский перевод сего опуса под заглавием „Обряды жидовские производимые в каждом месяце у сяпвсиэциухов”. В сенненском деле эти юдофобские бредни (не имевшие ни малейшего отношения к Талмуду) были восприняты всерьез. Тамошний губернатор передал дело в уголовный департамент главного белорусского суда, который поручил секретарю Стукову „секретным образом изведать, нет ли в законах евреев положения, что евреям христианская кровь нужна”. Стуков взялся за дело истово и отыскал в Витебске услужливого выкреста Станислава Костинского. Тот, делая выписки из религиозного кодекса „Шулхан-Арух”, полностью исказил его суть; кроме того, на руку заказчикам перевел с польского языка брошюру „Открытие таинственных дел жидовских через раввинов, принявших христианский закон”, где говорилось об употреблении христианской крови в еврейских опресноках.



Г.Р. Державин

Стуков препроводил эти материалы в уголовный департамент и, хотя по следствию ничего не открылось, настаивал на обвинении подозреваемых. Все клонилось к тому, чтобы евреи были жестоко наказаны, но... в дело вмешался сам император. Как раз в это самое время вестовой доставил ему из Шауляя послание тамошнего доктора Авраама Бернгарда (1762–1832) „Свет во мраке Самогиции”. А оно заключало в себе „описание гонения на евреев в Средних веках, особенно сведения о двух следственных делах по поводу подозрения их в убийстве христианских детей для получения их крови, будто употребляемой ими в праздники Пасхи, и разные доказательства из Моисеева закона и Талмуда против подобного обвинения”. Царь внял аргументам Бернгарда, а потому распорядился немедленно освободить невиновных иудеев.

Однако стараниями великого русского поэта, сенатора Гаврилы Державина (1743–1816) обвинение „всех евреев в злобном пролитии по их талмудам христианской крови” скоро обрело новый импульс. В 1799

году Державин был командирован императором в Белоруссию, чтобы расследовать жалобы на „самовольные поступки" владельца Шклова, бывшего екатерининского фаворита генерал-лейтенанта Семена Зорича. В Шклове с незапамятных времен жили иудеи, составлявшие около половины его населения. Эта „метрополия русского еврейства" славилась как центр раввинской учености и средоточие распространения научных знаний и идей Гаскалы. Но когда в 1772 году городок был подарен императрицей Зоричу, тот зажил там местным царьком, с многочисленным двором, роскошными выездами и балами, театром, где ставились итальянские оперы и балеты. Деньги он проматывал огромные и был охоч до новой и новой мзды. Карточный шулер, безалаберный и невоспитанный, привыкший к исполнению всех своих прихотей, этот самодур любил, чтобы перед ним лебезили и не терпел препирательств. И евреев, и крестьян он обложил непомерными поборами. Причем над иудеями издевался особенно изощренно — лишал имущества и, по их словам, „оставил без платежа один только воздух". Может статься, евреи и дальше бы сносили оскорбления и побои этого отставного Казановы, но им на помощь пришел влиятельный соплеменник Абрам Перетц. Он был дружен с всесильным Иваном Кутайсовым, а тот „употреблял все уловки и интриги, чтобы приобрести Шклов у Зорича". Понятно, что Кутайсову было выгодно упечь Зорича за решетку, чтобы самому сделаться „Шкловским деспотом", потому он в 1798 году посодействовал тому, чтобы жалобам на Зорича был дан ход. Перетц же действовал здесь вполне бескорыстно, ибо желал любым путем облегчить участь своих единоверцев. Один из жалобщиков, поверенный местного еврейского общества Мордух Ицкович, свидетельствовал, что 3 февраля 1798 года Зорич „собрав из жительствующих в Шклове купцов евреев, бил их жестоко, а у некоторых из них без суда насильным образом имение себе забрал, выгоняя из местечка, с назначением срока не более 24-х часов к выезду".

Вопиющий произвол Зорича, его преступное отношение к евреям били в глаза любому непредвзятому наблюдателю. Но только не Державину. Этот будущий министр российской юстиции был убежден в коллективной вине народа Израиля перед всем крещеным миром. Тем более, что перед этим он встретился со Стуковым, который снабдил его помянутыми книжицами, якобы изобличающими иудеев в „открытой вражде" к иноверцам. А коли так, доносил Державин императору, „один народ против другого, по законам беспристрастным, свидетелем быть не может", и „доколь еврейский народ не *оправда-*

ется перед Вашим Императорским Величеством в ясно доказываемом [? —Л.Б.] на них *общем противу христиан злодействе*", как вообще возможно этих „злодеев" слушать? Великий поэт выступил в роли „законника", полностью оправдывавшего бесчинства православного Зорича и ставившего евреев в положение париев, изначально обреченных на бесправие в силу их окаянной и дьявольской природы. Но вот незадача: ставя на крапленую юдофобскую карту, Гаврила Романович не уловил зефиров, дувших с горних сфер. К удивлению Державина, Павел повелел совершенно оставить в стороне Сенненское дело и прочие беспочвенные подозрения, а „единственным предметом отправления поставить исследование жалоб, приносимых от евреев на притеснения Зорича". Говоря о мотивах сего царева решения, нельзя, конечно, сбрасывать со счетов неприязнь Павла к фавориту нелюбимой матери и к домогательствам близкого к нему Кутайсова. Но все-таки определяющим было здесь свойственное императору чувство справедливости и благожелательность по отношению к иудеям, что вышло наружу и в других делах о так называемых „помещичьих евреях".

А ведь еще со времен Речи Посполитой помещики привыкли драть три шкуры с проживающих на их земле иудеев, и тем привелось испытывать на себе религиозную ненависть, произвол, обиды, глумления, насилие, денежные поборы. Такое положение дел сохранилось и при переходе Польши и Литвы под российский скипетр. И необходимо воздать должное Павлу, положившему этому предел.

Монарх вынужден был окоротить некоторых зарвавшихся крепостников. Новоместский староста Михаил Роникер „делал евреям разные угнетения", „опечатал в собственных их домах шинки, запретил продажу питей и потом некоторых из них сек", завышал арендные подати. „По высочайшему повелению с Роникером... было поступлено по всей строгости законов, и приняты были все возможные меры к ограждению евреев от притеснения". С обидчика была взыскана в пользу евреев значительная сумма денег, и он был посажен на шесть недель „на вежу". А местному губернскому правлению было рекомендовано следить за тем, чтобы староста „впредь ни под каким видом не притеснял новоместских жителей, не чинил им никаких непозволенных налогов, обид, как личных, так и в имении и торговле, и не препятствовал им разбираться между собою в делах духовных и партикулярных в своей синагоге".

Был примерно наказан и другой притеснитель евреев, владелец местечка Соколовки Киевской губернии Станислав Потоцкий. С жалобой на него к императору обратился поверенный местного еврейского

общества Файвиш Хаймович. Он показал, что еще в бытность Речи Посполитой помещики, „льстясь на трудолюбие и способность евреев к промыслам, склоняли их к жительству в поместьях, обещая великие выгоды". Вот и Потоцкий пригласил иудеев поселиться в Соколовке, посулив „ограничение с них сборов". Но как только те „застроились", землевладелец свое слово вероломно нарушил и стал лютовать, „подати на евреев новые налагая, а старые повышая до чрезвычайности". Хаймович просил государя о защите его народа от тех, „кто простирает свою власть над евреями чрез пределы". И вот что замечательно: это, казалось бы, частное дело стало, говоря современным языком, резонансным для всей империи. Павел распорядился: „собрать от начальников губерний и казенных палат сведений и мнений относительно содержания евреев в казенных и партикулярных селениях на таком основании, чтобы *не были отягощаемы излишними поборами и налогами от владельцев*". В результате „великое число евреев" стало свободно от самовластья крепостников.

Павловское царствование отмечено деятельной разработкой всевозможных проектов реформ еврейской жизни в России. Они не были претворены в жизнь, и реакция на них правительства неизвестна. Но важно то, что импульс к изучению вопроса был дан самим государем, озаботившимся тем, чтобы российские евреи приносили державе ощутимую выгоду. После того, как Павел ободрил и наградил Ноту Ноткина, отбоя от разного рода прожектов, „как обустроить евреев России на пользу общую" не было. Их многочисленность говорит о том, что пыл новоявленных реформаторов награждался правительственными субсидиями. Отрадно то, что со своими предложениями улучшить участь своих единоверцев выступают и сами евреи. До нас дошли проекты неких Исаака Авраама и Вольвициса, причем в проекте последнего предлагался целый ряд смело задуманных мер фискально-экономического свойства.

Своими соображениями по еврейскому вопросу делятся с Павлом литовско-гродненский гражданский губернатор Дмитрий Кошелев, и протоколист Северин Вихорский, отставной премьер-майор Горновский, коллежский асессор Крамер, купец Шукрафт, и многие, многие другие. Эти самозваные реформаторы еврейства, движимые, по их словам, „искреннейшим усердием к благу Российского государства", „яко малую жертву таковых чувств, с благоговением дерзают подвергнуть к подножию престола скудные замечания свои". Останавливаться на этих нереализованных проектах нет надобности, но стоит заметить, что сочинители их по большей части и впрямь демонстрируют „скудность" мысли — полное незнание религиозной и бытовой

жизни, истории народа, который они возжелали судить и поучать. Неслучайно Юлий Гессен назвал подобные проекты „обывательскими" и не заслуживающими внимания.

Гораздо более серьезный и взвешенный подход к предмету продемонстрировал литовский губернатор Иван Фризель (1740–1802). Глубоко изучив быт евреев, он подошел к вопросу не только с точки зрения христиан, но принял во внимание и нужды самих иудеев. В представленном им плане (1799) нет и следа религиозной фобии, столь часто встречающейся в прочих проектах. „Исповедание еврейское, — пишет Фризель, — не будучи противно государственным узаконениям, терпимо в Российской империи, наравне с прочими, ибо все веры имеют одну цель". Чтобы „предохранить простых евреев от угнетения и привести народ сей в полезное для государства положение", он высказался за уничтожение еврейской автономии, отягощенной всесилием олигархического кагала. Иудеи, подчеркивал он, „народ вольный". Потому еврейским „купцам [следует] позволить, наравне с прочими, пользоваться всеми преимуществами, купечеству предоставленными. Равномерно и ремесленников соединить в правах с прочими, приписав их к цехам, в которые принимались без разбору всякой нации люди...". Он ратует за то, чтобы сыны Израиля „пользовались всеми предоставленными городским жителям правами", участвовали в выборах и сами занимали выборные должности. Говорит он и о создании класса евреев-хлебопашцев, побуждая власти выделить на это значительные государственные ассигнования, причем предлагает их уравнять в правах с „российскими однодворцами". Особое внимание уделяет он просвещению евреев, их приобщению к европейской и русской культуре.

Как это ни парадоксально, но из всех поданных государю проектов широкую известность получило лишь пространное „Мнение об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обуздания корыстных промыслов евреев, о их преобразовании и прочем" (1800) Гаврилы Державина, тиснутая впоследствии немалыми тиражами разными „патриотическими" изданиями. Изучено оно детально (полярные оценки сего проекта даны в книгах Александра Солженицына „Двести лет вместе" и Семена Резника „Вместе или врозь?"), и мы не будем останавливаться на нем подробно. Отметим только, что в основу „Мнения" положены религиозная неприязнь и фанатическое недоверие к евреям. Державин был сторонником принудительных, запретительных, репрессивных и „скулодробительных" мер по отношению к евреям. „В деле с христианами у них правды быть не может, — утверждал он, — сие запрещено талмудами". Осторожно (памятуя об отрицательном отношении Павла к сему вопросу) он вновь повторяет застарелые байки о ритуальных преступлениях евреев, утверждая, что таковые в „кагалах бывают защищаемы".

Если Фризель (а с его проектом, равно как и с планом Ноты Ноткина, Державин был ознакомлен) смотрел на евреев как на российских подданных, которые с проведением необходимых реформ станут равноправными гражданами, полезными для державы, то Державин исходил из изначальной преступности иудеев и не признавал их „собственно принадлежащими российскому государству". Он желал уничтожить кагал, но не допускал при этом сближения евреев с христианами (ибо опасался иудейского прозелитизма), настаивал на черте оседлости и особых кварталах (гетто) в городах, был ярым противником предоставления евреям гражданских прав (не говоря уже о праве участвовать в выборах и быть избранными). И хотя „Мнение" содержало некоторые разумные предложения (отмена двойной подати, приобщение евреев к производительному труду и общему образованию), оно, без сомнения, было глубоко реакционным. Вот что говорит историк: „Проект Фризеля должен был сотворить новую еврейскую жизнь, проект Державина — разрушить старую; в первом случае евреи бы возродились в атмосфере равенства, во втором — еще ниже пали бы в экономическом и нравственном отношении под тяжестью бесправия и общественного унижения".

Державин предложил ввести должность начальствующего над евреями христианина-протектора, обладающего самыми широкими полномочиями. Согласно „Мнению", таковому протектору (не без помощи им же назначенного синедриона) надлежало руководить бытовой, духовной и религиозной жизнью иудеев и лично докладывать об этом императору. И пост протектора Державин намеревался занять сам, что небезынтересно с психологической точки зрения. А именно: чем могла привлекать такая должность сенатора-юдофоба, да к тому же убежденного в том, что и евреи остро его ненавидят?! Ведь о том, как люто мог блюсти такой протектор еврейские интересы, можно судить хотя бы по тому, что ослушников, не желающих заниматься земледелием и ремеслами, он намеревался ссылать в Сибирь, „в вечную работу в горные заводы и без жены" и вообще предлагал самые крутые меры наказания. И при этом такую суровость к „врагам Иисуса" он не только оправдывал, но видел в этом высшую христианскую миссию.

Павел I смотрел на иудеев иначе, чем Державин. Он проникся уважением к их вероучению и принял судьбоносное для еврейской религиозной жизни решение. И сделал это 9 декабря (19 кислева) — в праздник, отмечаемый в общинах хасидов всего мира. В начале XX века литератор Моисей Альтман писал: „Этот день, когда „старый ребе"



Шнеур-Залман

Шнеур Залман (да будет мне прощено, что имя его вывожу на этих суетных страницах), один из первых основоположников хасидизма, был выпущен на свободу из тюрьмы, куда попал по происках своих религиозных врагов. Каждый год в этот день хасиды собираются вместе и во славу ребе поминают его учение, дела, жизнь, веселятся, пляшут, пьют и едят". Но мало кто знает, что подлинным виновником сего торжества был император Павел, освободивший этого хасида из темницы.

Дело в том, что еврейская среда раскололась тогда на две непримиримо враждующие группировки — на сторонников ортодоксального иудаизма — миснагдим и на новообразованную секту хасидов (каролинов). Учение последних, собравших под свои знамена огромное число адептов, было серьезным вызовом традиционалистам. Хасиды выступали против неоправданного аскетизма, пустого формализма и начетничества, настаивали на личном религиозном совершенствовании. И идеалом, духовным светочем для них служил цадик (ребе, мудрец, лидер хасидов), пользовавшийся в общине непререкаемым авторитетом. „Что старец Зосима для Алеши, что ребе для истинного хасида. — говорит еврейский писатель. — Кто такой ребе? Это живой идеал, это образ и подобие Бога в человеке. Это — Чудо, Авторитет, Тайна... Он еще — Откровение. Откровение того, что в нем — ты, а он — в тебе, что хасид и ребе, что верующий и объект веры — одно".

Традиционные раввины не могли не ощущать падение их авторитета, сокращение членов их общин и ослабление позиций в кагалах. Они неоднократно накладывали херем (проклятие) на хасидов, запрещая „правоверным" иудеям вступать с ними в деловые отношения, не говоря уже о браке. Обвинения, одно страшней другого, так и сыпались на головы религиозных противников: „Они нарушили законы, отвергли постановления своего Создателя и делают в божественном учении открытия, несогласные с истиною. Между ними есть люди, запятнавшие себя кровью невинных бедняков. Всякому дурному делу они содействуют, всякого злодея и грешника они поддерживают. Нужно всенародно наказывать скорпионами этих безумцев для их же исправления. Облекитесь рвением во имя Бога, пусть искры летят из под ваших ног, пусть пламя пышет из уст ваших, пусть сверкает

меч — меч-мститель за божественный закон, за священный завет!" Однако призывы расправиться с хасидами оставались пустыми декларациями, а их духовный вождь Шнеур Залман из города Ляды (1747–1812) своими страстными проповедями умножал число сторонников „нового учения".

Потерпев поражение в открытой борьбе за умы и сердца еврейской массы, миснагдим прибегли в 1798 году к доносу на Шнеура Залмана и его ближайших наперсников. Изветчик, подписавшийся вымышленным именем „Гирш Давидович из Вильно", понимая, что религиозные взгляды — не причина для обвинения, выставил хасидов политическими преступниками и уличил их „во многих вредных для государства поступках". Поводом послужило то, что Шнеур Залман посылал деньги своим соплеменникам в Палестину, находившуюся тогда под турецким владычеством. Этого оказалось достаточно, чтобы объявить сектантов изменниками и шпионами. В том, что доносу был дан ход, немало посодействовал истый миснагед Абрам Перетц, вращавшийся в высших петербургских сферах. И вот литовский гражданский губернатор получает высочайшее предписание: Шнеура Залмана и его „главнейших здешних сообщников прислать за крепким караулом" в Петербург. Всего было арестовано 22 хасида, семеро признаны „главными сообщниками начальника их", остальных допросили с пристрастием и оставили на месте под стражею. В Петербурге допросы продолжились уже в Тайной канцелярии, а Шнеуру Залману пришлось изложить на бумаге пространный ответ на все пункты предъявленного обвинения. Переводчиком с иврита был литератор Лев Невахович, который сочувствовал хасидам и представил дело государю в выгодном для них свете. Вывод императора был однозначен: „В поведении евреев, коих считают в секте той, нет ничего вредного для государства, ниже развратного в нравах и нарушающее общее спокойствие". По указу Павла 9 декабря 1798 года все заключенные были выпущены на свободу (Шнеур Залман успел просидеть в тюрьме 53 дня), „а секта каролины именуемая осталась при прежнем своем существовании".

Юлий Гессен отмечал, что правительство интересовала лишь политическая направленность деятельности хасидов, однако император дает ей, как видно, и моральную оценку („нет ничего... развратного в нравах"). Подобный взгляд веротерпимого Павла резко контрастировал с позицией придворных юдофобов, настаивавших на дурной нравственности иудеев и враждебности их религии христианскому вероучению.

Попытки ошельмовать хасидов предпринимались и позднее, свидетельством чему стал донос императору пинского раввина Авигдора

Хаймовича (1800), в коем он выставил своих противников людьми безнравственными, не признающими государственного порядка. Этот самый Хаймович в прошлом писал панегирические сочинения, и по его словам, что он „понравился Павлу", можно заключить, что этот доносчик добился у государя аудиенции. Шнеур Залман был вторично схвачен. Здесь сыграло роль и то, что Державин во время своей инспекционной поездки в Белоруссию не был впечатлен встречей с Шнеуром Залманом и со слов миснагдим аттестовал его как „лицемера", „ханжу" и сообщил, что „через него переводят [хасиды] серебряные и золотые деньги в Палестину". Ребе вновь должен был обстоятельно отвечать на предъявленные ему обвинения. И ответы хасида, по словам самого Хаймовича, „понравились Павлу". Шнеур Залман был освобожден. А император, поняв истинный характер противостояния сторон, повелел: „Дело между евреями Авигдором Хаймовичем и Залманом Боруховичем, касающегося до их религии и прочего, в Сенате рассмотреть и учинить положение, на каком основании быть секте хасидов и кагалам". Так хасиды были окончательно легализованы в России.

Интересно в этой связи отметить, что случаи крещения евреев в Павловское время единичны и куда более редки, чем у представителей других этносов и конфессий. Так, согласно газете „Московские ведомости" за 1798 год, в России приняли православие всего три еврея „мужеского пола", в то время как перекрестов из татар, мордвы, а также из католиков и лютеран — более 40 человек.

Гаврило Державин, перефразируя известные стихи Горация, писал, что „памятник воздвиг себе чудесный, вечный" не в последнюю очередь благодаря тому, что „истину царям с улыбкой говорил". Однако об опасностях, исходящих от евреев, об их „корыстных промыслах", о злокозненности этого „рода строптивого и изуверного" он докладывал Павлу без тени улыбки, но с убийственной серьезностью. „Таким образом, — заключал он свое „Мнение", — ...в своем печальном состоянии [иудеи] получат образ благоустройства. А Павлу Первому предоставится в род и род незабвенная слава, что он первый из монархов российских исполнил сию великую заповедь: „Любите *враги ваша,* добро творите *ненавидящим вас*".

Истина состоит том, что именно Павел первым из российских венценосцев всерьез озаботился благоустройством иудеев в империи. Этот монарх вовсе не считал их врагами и ненавистниками христиан. И славен он тем, что первый и, пожалуй, единственный из монархов российских был начисто лишен антисемитизма, в том числе и религиозного.

ДРЕСС-КОД И САМОВЛАСТЬЕ

В известном кинофильме „Тот самый Мюнхгаузен" (автор сценария Г.Горин, режиссер М.Захаров) перед нами предстает герцог (его играет актер Л.Броневой), довольно легкомысленный в делах государства, но озабоченный, прежде всего, одеждой подданных. „Как вы думаете, где мы будем делать талию? — вопрошает этот титулованный модельер. — Два ряда вытачек слева, половина справа. Я не разрешу опускать талию на бедра. В конце концов, мы — центр Европы... Рукав вшивной... Лацканы широкие". Справедливости ради, отметим, что гипертрофированное внимание к костюму — это не просто карикатурная черта незадачливого правителя, возжелавшего разодеть по своему хотению послушное ему население. В российской истории, по крайней мере, три монарха — Петр Великий, Павел I и Николай I, стремившиеся регламентировать все стороны жизни страны, строго предписали подданным, как надлежит им выглядеть и в какое платье облачаться. Эти венценосцы присвоили себе право вводить, разрешать или запрещать ту или иную моду, одежду, прическу. Дресс-коды первых двух монархов охватывали все просвещенное население империи, причем, по словам историка Александра Каменского, „в повышенном внимании к регламентации внешнего вида у Петра стояло стремление к европеизации, то есть к изменению, новации, в то время как у Павла — к унификации, единообразию". Реформы, осуществленные в этой сфере императором Николаем I, коснулись и иудеев, которые оказались под российским скипетром после трех разделов Речи Посполитой, и, по разумению сего самодержца, остро нуждались в „коренном преобразовании". Но обо всем по порядку.

27 августа 1698 года молодой царь Петр Алексеевич, вернувшись из чужих краев, немало шокировал Двор, преобразившись в цирюльника, безжалостно кромсавшего стародавние боярские бороды. А затем последовал и высочайший указ, согласно которому бриться надлежало всем, кроме крестьян и духовенства. В случае же, если кто расстаться с бородой не пожелает, можно было откупиться, но пошлина требовалась весьма немалая: для дворян она составляла 60 рублей, а для куп-

цов — 100 рублей, для прочих же посадских людей — 30 рублей в год. Облагалась побором при въезде в город и крестьянская борода — 2 деньги. У городских застав дежурили специально отряженные соглядатаи и бойко резали у прохожих бороды, а в случае сопротивления беспощадно вырывали их с корнем. Вскоре, по образному выражению великого Гоголя, „Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом; один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили".

Петр ведал, что творил, ибо понимал, что русский человек держится за бороду обеими руками, как будто она приросла у него к сердцу. В течение многих веков народ видел в бороде признак достоинства мужчины, мерило православия, а также символ собственного церковного превосходства над „латинами", „лютерами" и прочими басурманами. О том, что бороду носили Иисус Христос и святые апостолы, говорил в своих евангельских беседах преподобный Иоанн Златоуст. На ее необходимости настаивал византийский богослов Никита Скифит в сочинении „О пострижении брады". И в постановлениях Стоглавого Собора 1551 года ясно сказано: „Творящий брадобритие ненавидим от Бога, создавший нас по образу Своему. Аще кто бороду бреет и преставится тако — не достоит над ним пети, ни просфоры, ни свечи по нем в церковь приносити, с неверными да причтется". Председатель Стоглавого Собора митрополит Макарий называл бритье бород не только „делом латинской ереси", но и серьезным грехом.



«Цирюльник хочет раскольнику бороду стричь».
Лубок. 1770-е гг.

В древнерусской церкви брадобритие считалось хулой на Всевышнего, создавшего совершенного мужчину с бородой; бреющийся объявлялся кощунником, поскольку тем самым выражал недовольство внешним обликом, который дал ему Творец; он желал „поправить" Бога, что было, конечно же, и недопустимо и преступно. В „Соборном изложении" прадеда Петра I патриарха Филарета, в книге „Большой требник", находим проклятие брадобритию как „псовидному безобразию". Считалось также, что безбородость способствует содомскому греху. Весьма воинственно высказался по сему поводу последний (дорево-

люционный) русский патриарх Адриан (1627–1700). Вспоминая о тех „счастливых" временах (XVI–XVII вв.), когда за бритье бород не только отлучали от церкви, но и подвергали битью кнутом или ссылкой в отдаленные монастыри, Адриан в „Окружном послании ко всем православным о небритии бороды и усов" приравнивал брадобритников к котам и шелудивым псам.

Но Петр Великий революционно и деспотически порвал с многовековой традицией, стремясь сделать россиян „сходственными на другие европейские народы". Борода-то и стала знаменем в борьбе двух сторон — реформаторов во главе с царем и сторонников старорусской партии. Монарх стремился перевоспитать общество, внушить ему новую концепцию государственной власти. И брадобритие, как и другие культурные реалии эпохи, было существенным элементом государственной политики. Царь, как отметил культуролог Виктор Живов, „требовал от своих подданных преодолеть себя, демонстративно отступиться от обычаев отцов и дедов и принять европейские установления как обряды новой веры".

Ножницы великого реформатора безжалостно расправились и с традиционным долгополым и широкорукавным платьем. Появляться в обществе в таком виде теперь не только запрещалось, но также каралось штрафом, и ретивые целовальники резали стародавнюю одежду с тем же рвением, что и бороды. Вскоре все россияне (опять-таки кроме крестьян и духовенства) щеголяли по примеру царя-батюшки в коротких кафтанах европейского покроя. Между тем, в глазах благочестивых староверов замена русского платья приобретала зловещий смысл, поскольку именно в таком одеянии на иконах изображали бесов (говорили, что Петр „нарядил людей бесами"), а кроме того, оно олицетворяло собой и откровенное прелюбодеяние. Но император стоял на своем, ибо наряд сей, по словам историка XVIII века князя Михаила Щербатова, „отнимал разницу между россиянами и чужестранцами" и даже чисто внешне, превращал московита в полноценного „гражданина Европии". Таким образом, „чужое платье" (как называл его Петр) знаменовало собой выход на историческую авансцену России „политичного кавалера", то есть „окультуренного человека", не только внешне, но и внутренне обработанного по западноевропейским стандартам цивилизованного гражданина.

Понятно, что реформы в области одежды были неразрывно связаны с подготовкой более масштабных преобразований, с преодолением ксенофобии и пережитков старины. Очень точно уловил их смысл поэт Александр Сумароков. „В перемене одеяния... не было Петру Великому

не малейшия нужды, — заметил он, — ежели бы старинное платье не покрывало старинного упрямства... Сия есть первая ересь просвещающемуся веку от суеверов налагаемая". Суеверами Сумароков называет хранителей религиозных и национальных культурных традиций, противившихся петровским новациям. А таковых было немало, и с ними авторитарный царь особо не церемонился. Секретарь прусского посольства в России Йоханн Фоккеродт говорил о защитниках старины, что те „лучше положат голову под топор, чем лишатся своих бород". Известны случаи (об этом рассказывает инженер на русской службе Джон Перри), когда люди бережно хранили уже отрезанные бороды с тем, чтобы их положили им в гроб, а они предъявили бы их на том свете святому Николаю.

Своеобразной формой протеста против нововведений стал так называемый „самоизвет", к коему, как к последнему средству прибегали отчаявшиеся ревнители древлего благочестия. Так, в 1704 году нижегородец Андрей Иванов прокричал: „Слово и дело!", а на допросе показал: „Государево дело за мной такое: пришел я извещать государю, что он разрушает веру христианскую, велит бороду брить, платье носить немецкое и табак велит тянуть". Судьба Иванова трагична — он погиб под пытками. И случай этот далеко не единичный. В том же году в Москве на смотре служилых людей Петр приказал нещадно бить батогами дворянина Наумова за то, что тот не обрил бороды и усов. А жители Астрахани жаловались на строптивого воеводу Тимофея Ржевского: „Бороды резали у нас с мясом и русское платье по базарам, и по улицам, и по церквам обрезывали,... и по слободам учинился от того многой плач". Стихийные протесты астраханцев переросли в настоящее восстание, которое в 1705 году вынужден был огнем и мечом подавлять фельдмаршал Борис Шереметев. Характерно, что одного из бунтовщиков, Якову Носову, сначала обрили и только потом уже отрубили голову — чтобы другим неповадно было! Вот каким лютым способом насаждался петровский дресс-код.

Примечательно, что традиционное русское платье и накладные бороды допускались Петром I только в качестве маскарадных: так обряжали гостей на потешных свадьбах и оргиях Всешутейшего, Всепьянейшего и Сумасброднейшего собора. Уместно в этой связи вспомнить, что после поражения под Нарвой император *с горя* облачается в крестьянский костюм, казня тем самым себя, и при этом плачет навзрыд. Интересно, что позднее в царской России гимназистов и студентов наказывали, надевая на них крестьянскую, то есть русскую национальную одежду. Так, с легкой руки великого реформатора борода и русское платье были вытеснены из общего обихода.

Своеобразная попытка реабилитировать русскую народную одежду была предпринята Екатериной II (на ее известном портрете 1773 года, гравированном В. Дикинсоном, она изображена в народном кокошнике). И эта ее „русскость" знаменовала собой нечто большее, чем просто наряд. Она была одушевлена высоким патриотическим чувством. Очень точно сказал об этом мемуарист Федор Головкин: „Явная любовь Екатерины к народным костюмам и обычаям вовсе не была причудой с ее стороны; в ее уме жил план снова „обнародить народ" и поднять русских в их собственных глазах". Однако мода на народный костюм в ту эпоху не привилась даже в узком придворном кругу, не говоря уже о распространении более широком. Ведь Семирамида Севера, позволявшая иногда фамильярно титуловать ее „Твое величество", никакого специального дресс-кода одежды (разве только для придворных церемониалов) подданным не предписывала. С неугодными модами она боролась методами ненавязчивыми и оригинальными — орудием веселой пародии. Распорядилась, например, нарядить петербургских будочников в кричащие, абсолютно безвкусные узорчатые фраки парижских петиметров, предварительно всучив им в руки предерзкие лорнеты — чтобы русские щеголи увидели и устыдились!

Реанимировать русскую народную одежду в XIX веке тщились русские славянофилы: они не брили бороды, демонстративно носили стародавнее народное платье. Шаг этот был по тем временам достаточно смелым и решительным и воспринимался как вызов современным порядкам. Вот как злословила на счет одного из столпов этого литературно-философского течения язвительная графиня Евдокия Ростопчина: „Хомяков, ходящий 25-ть лет в одной и той же грязной мурмолке, нечесаный, немытый, как Мальбрук в старом русском переводе, гордый и таинственно резкий, как мавританский дервиш среди фанатиков-мусульман, играющий издавна в Москве роль какого-то пророка, мистика, блюстителя веры, православия, заступника небывалой старины, порицателя всего современного, одним словом, — любящего Россию лишь времен Рюрика и Игоря, как человек, который из вящей семейственности выкопал бы скелет своего прадеда, возился б с ним и нянчился, а для него пренебрегал бы и ненавидел бы отца, мать, братьев, жену, детей и проч." Известно, что историка Михаила Хмырова и фольклориста Павла Якушкина вызывали в Канцелярию обер-полицмейстера Петербурга за „неподобающее" ношение русского народного костюма. В конце XIX века русская знать переодевала в сарафаны кормилиц и нянюшек, однако широкого распространения такая стародавняя амуниция не получила...

По воцарении Павла I все в стране изменилось решительным образом менее чем за сутки: одежда, прически, походка, выражение лиц людей. Прежде всего, император категорически запретил детали костюма, даже в отдаленной степени напоминавшие моды Французской революции и Директории (красные колпаки, панталоны, жилеты, фраки причудливого фасона, куртки, едва доходящие до поясницы, круглые шляпы и высокие цилиндры, высокие сапоги с цветными отворотами, башмаки со шнуровкой вместо пряжек). В этом монарх видел тлетворный и крайне опасный для России дух якобинства. Подверглись гонениям офицерские шубы и муфты, толстые мужские галстуки, дамские сюртуки синего цвета с кроеным воротником и белой юбкой, разноцветные ленты через плечо, а также прически — тупей (взбитый хохол на голове), бакенбарды, широкие букли и т.д.

Наказание для ослушников Павловского дресс-кода было весьма суровым. „Достаточно было императору где-нибудь на улице заприметить жилет, — вспоминает Дарья Ливен, — тотчас его злосчастный обладатель попадал на гауптвахту". Нередки были случаи, когда новоявленных „якобинцев" лишали чинов и ссылали в Сибирь. Бдительные полицейские бесцеремонно срывали круглые шляпы, а всякий, кто противился, был бит по голове, а затем препровождался в кутузку. Виновному полагалось 100 палок за такое „преступление". Из-за этой злополучной шляпы в декабре 1796 года из России был выслан именитый дипломат, поверенный в делах Сардинии. Рвали в клочья такую „неуказную" одежду, как фраки, куртки, жилеты и т.д. И никакие объяснения в расчет не принимались.



Камзол времён Павла I

Зато предписывалось носить однобортные кафтаны со стоячим воротником, треугольные шляпы, камзолы, короткое нижнее платье, напудренные волосы, связанные в косу или сетку, бриджи или чулки, ботфорты, то есть формы прусского костюма. Именно из Пруссии Павел заимствует преувеличенный интерес к муштре, военному строю, регламентации, форме и даже таким ее элементам, как размер косицы и даже ее направление по шву.

Любые мелочи в одежде были для педантичного Павла делом государственной важности. Реформы коснулись цвета кокарды на шапке, окраски плюмажа, высоты сапог, пуговиц на гетрах и т.д. Государь не уставал изощряться в изобретении мельчайших деталей костюма под-

данных, и подчас для того, чтобы выслужиться, достаточно было явиться на вахтпарад с теми новшествами в форме, которые он ввел днем раньше. И это толковалось не иначе, как служебное рвение, усердие, достойное ордена и производства в следующий чин.

Были, однако, смельчаки, не побоявшиеся вынести дресс-коду Павла „модный приговор". Вот известный остроумец, дворянин Алексей Копьев заказал форму, вроде бы по уставу: и ботфорты, и перчатки с раструбами, и прусская офицерская коса, но все это неимоверных размеров — в преувеличенном, карикатурном виде. И в таком-то шутовском наряде посмел намозолить глаза императору. Тот, понятное дело, вскипел и сперва посадил нахала под арест на сутки, а потом повелел сослать его с глаз долой — в заштатный полк, в Финляндию.

А князь Александр Порюс-Визанпурский учудил кое-что похлеще. Он явился на смотр в большом напудренном парике, нахлобучил треугольную шляпу, припомадил свои длинные, черные усы и лихо закрутил их вверх на прусский манер. Выглядел князь уморительно: толстые телеса неестественно сжимал узкий мундир; резко выдавался живот, хотя и был подтянут широким поясом, на самом поясе болталась длиннющая шпага; форменные перчатки доходили до самого локтя; тощие же ноги тонули в широченных ботфортах. Камуфляж довершала увесистая тамбур-мажорская палка. И при этом сей аникавоин еще тужился быстро вышагивать, ну точно как замуштрованный солдат Фридриха-Вильгельма I.

— Хотели, чтоб я был пруссаком, — громко сказал он, — ну вот!

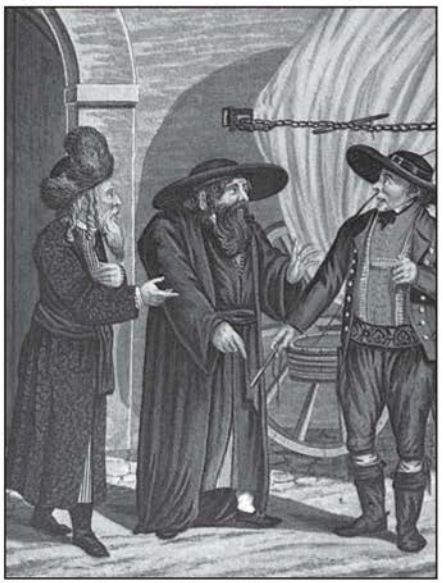
Дерзкая шутка не сильно понравилась Павлу. Он заточил насмешника в крепость, а затем предал военному суду. И только благодаря тому, что князь очень натурально косил под помешанного, он избежал ссылки и тюрьмы.

В истории одежды Павловские времена называют периодом безвременья. По существу этот монарх бросил вызов мужской и женской элегантности. От поклонения моде всех удерживали исключительно полицейскими мерами. Именно поэтому на следующий же день после убийства Павла, 11 марта 1801 года, можно было петь отходную и по его дресс-коду. В столицах, как по мановению волшебной палочки, появились прежде опальные круглые шляпы, фраки, жилеты и панталоны — запрещенные Павлом наряды снова властно внедрились в русский дворянский быт....

Если регламентации внешнего вида подданных, предписанные Петром I и Павлом I, касались преимущественно собственного народа, то Николай I ничтоже сумняшеся распространил их на иудеев, поправ тем самым их религиозные и национальные традиции. Этим „жестоко-

выйным инородцам" он предписал свой собственный дресс-код, иными словами, ворвался со своим уставом в чужой монастырь (впрочем, ему мнилось, что это евреи живут по своему уставу в чужом монастыре). На этом стоит остановиться подробнее.

Надо сказать, что первоначально заезжим иудеям (жить в империи им не разрешалось) предписывалось под страхом сурового наказания носить как раз их „обыкновенную" национальную одежду. Согласно кодексу „Права, по которым судится Малороссийский народ..." (Глухов, 1743), „ежели жид или другой какой иноверный приехал в здешний край, в необыкновенном себе платье ходить будет, такова, призвав в суд, о том допросить и буди явится, но просто или за неимением обыкновенного своего платье такое носит, то ему приказать такового необыкновенного платья впредь не носить под штрафом денежным или под наказанием ареста". Власти сильно подозревали, что еврей, облачившись в несвойственное ему платье, делает это „для какого злоумышления, а особливо для шпионства". Впрочем, вид их производил на россиян самое забавное впечатление. „Странное их черное и по борту испещренное одеяние, смешные их скуфейки, и весь образ их имели в себе столь много странного и необыкновенного, что мы не могли довольно на них насмотреться", — живописал мемуарист Андрей Болотов. При этом одежда сынов Израиля была социально маркирована: „Евреи богатого круга носили в будни дорогие шерстяные ткани, а по субботам и праздникам шелковые кафтаны до пят с широким шелковым кушаком и высокие остроконечные собольи шапки; люди с более скромными средствами довольствовались в будни одеждой из домикотона, а праздничное платье делалось из дешевой шерстяной материи (так наз. „риделя"); бедные евреи одевались летом летом в полосатые (серые с синими полосками) нанковые кафтаны, а зимой в серое толстое сукно".



Российские евреи.
Первая половина XIX века

Однако уже в царствование Александра I, когда под российским скипетром оказались свыше миллиона сынов Израиля, были предприняты робкие попытки ограничить ношение национальной одежды с оговоркой, что „нужно придерживаться правила совершенствовать евреев путями тихими, основанными на их личной пользе". В польское и немецкое платье обязали облачаться учеников гимназий и Академии художеств, а также членам магистратов. Но существенно, что даже вне черты оседлости иудеям позволялось носить ветхозаветные бороды, а, учитывая то, что бородачи в европейской одежде „были бы предметом смеха", ст. 9 и 28 „Положения о евреях" (1804) рекомендовали им носить русское платье. Понятно, что правила эти коснулись тогда лишь горстки российских евреев, ибо действовали они только во внутренних губерниях империи.

Николаевский же дресс-код был всеобщим и тотальным. В 1844 году грянуло Положение о коробочном сборе, разъясняющее, что *всем* и *каждому* „будет решительно запрещено употребление нынешней еврейской одежды". Таковая облагалась внушительными налогами, в зависимости от общественного положения ослушника (скажем, в Одессе купец первой гильдии платил 40 рублей в год, второй гильдии — 20 рублей, а третьей — 4 рубля; в Подольской губернии и того больше, соответственно — 250, 150, 100 рублей). За ношение ермолки взимался особый сбор в размере 5 рублей.

Год за годом правила все ужесточались, и в 1852 году явилась обязательная к исполнению инструкция: „1) всякое различие в еврейской одежде с коренным населением должно быть уничтожено; 2) ношение пейсиков строго воспрещается; 3) употребление талесов, тфиллинов и ермолок дозволить только при богомолении в синагогах и молитвенных домах; 4) предписать, чтобы раввины имели одинаковое платье с коренными жителями; 5) обязать раввинов подписками, чтобы они отнюдь не допускали бритья головы еврейками, а с евреек, нарушивших это запрещение, взыскивать штраф". Далее николаевские кувшинные рыла не поскупились составить скрупулезный перечень „воспрещенной для евреев одежды", где означили „шелковые, прюнелевые и тому подобные длинные капоты, пояса, шапки меховые или так называемые крымки, и другие без козырьков, исключительно еврейского покроя, короткие панталоны и башмаки..." и т.п. Строго-настрого воспретили „носить еврейкам на голове обыкновенно употребляемые ими накладки под цвет волос из лент атласа, гаруса и т.п.". А дабы удостовериться, не бреют ли часом дочери Израиля голову, распорядились чинить сему проверку в местном управлении, в присутствии мужа или ближайшего родственника-мужчины.

Скоро стало очевидно, что многие евреи ни в какую не желали носить костюмы христиан. Как горькую необходимость, жестокое надругательство над их наружностью восприняли иудеи „айзерас гамахус", сиречь царский указ, обрезать свои „святые пейсы", снять меховые шапки — штраймеле и нарядиться в кургузое немецкое платье. „Особенно стеснительными, — говорится в одном правительственном документе, — кажутся правила раввинам и другим духовным лицам, поскольку они, в глазах массы, являются хранителями духовных традиций и освященных временем обычаев евреев". Были даже случаи побега за границу — только бы избежать столь унизительного переодевания! Некоторые изощрялись и надевали на кафтан старозаконную деле — длинный плащ с маленьким стоячим воротником и рукавами, чуть не до самой земли. А вместо запрещенных пейсов контрабандным образом отпускали некое их подобие, так сказать, полупейсы. Выходя на улицу, такие полупейсы зачесывали виском на уши (чтобы блюстители порядка не цеплялись!), а дома или в синагоге выпускали из височного плена на надлежащее по иудейскому Закону место. И полицейские чины, даже если что и примечали, благодаря щедрым подачкам гвиров (евреев-богачей), смотрели на такие „невинные" нарушения снисходительно: раз пейсы за висками, они — вроде как уже и не пейсы — и начальство уважено, и Моисеева заповедь соблюдена.



Еврейские дети.
Первая половина XIX века

Русский писатель Николай Лесков признавал, что эти николаевские реформы вызвали большие затруднения для иудеев и дали полицейским чиновникам повод к новым поборам. Характеризуя значение этих реформ, он саркастически заметил, что „драчливая рука офицера или чиновника" научилась „только ловчее хвататься" за еврейские пейсы. А Владимир Короленко в рассказе „Братья Мендель" напоминает о „драконовских мерах прежнего начальства, резавшего пейсы и полы длинных кафтанов", о „полицейских облавах" и о том, что еврейское общество старым проверенным способом (путем взяток и подношений) иногда все же умасливало не-

дреманных стражей благочиния. Русский историк XIX века Михаил Песковский в книге „Роковое недоразумение: Еврейский вопрос, его мировая история и естественный путь развития" (Спб., 1891) заключил, что „изгнание этих внешних признаков еврейской отчужденности" следовало осуществлять „не такими суровыми мерами, ... озлоблявшими [иудеев], и заставляя их все более и более уходить в себя, замыкаться в своей среде. Несомненно, что эту печать обособленности и отверженности несравненно удобнее было бы снять более мягкими мерами".

То, что Песковский именует „обособленностью", на языке культуры можно выразить словами „национальное своеобразие". Сохранение специфически еврейского облика, отличного от других народов, заповедано Торой, причем ношение пейсов установлено самим Моисеем: „Не остригай висков на голове твоей кругом и не уничтожай боков бороды твоей" (Левит: Гл.19. Ст.27). Принцип хукос-а-гоим (не следовать обычаям иноверцев) провозглашается и в Галахе. „Дома ты ведаешь свое имя, а за пределами дома — свой костюм" — указывает Талмуд (Шабб. 145В.). Набожные иудеи придавали одежде магическое свойство и символическое значение. Например, короткие панталоны заправляли в чулки, чтобы те (упаси Бог!) не достигали земли, ибо это считалось соприкосновением со скверной. По этой же причине нельзя было дотрагиваться до туфель, потому их носили без шнурков и пряжек. Возбранялось носить платье из материи, тканной шерстяными и шелковыми нитками вместе. Как объясняли это толкователи Торы, „жертвоприношения Каина и Авеля состояли первого — из льняных стеблей, а последнего — из овцы, и от этого произошло первое смертоубийство в истории мира, то дабы не напоминать этого, надо стараться никогда не сближать эти два предмета, лен и шерсть, бывшими свидетелями смертного происшествия, тем более носить на себе платья из этой ткани". Подпоясывались шелковым шнурком, который по идее должен был отделять вышнее и духовное от суетного, что ниже пояса; и пейсы знаменовали собой духовную чистоту. При кажущемся единообразии внешнего облика иудеев разных стран, знающие люди по цвету чулок, материалу халата, формы штраймеле и т.д. могли безошибочно распознать происхождение, социальный статус, принадлежность еврея к определенной религиозной группе и даже его семейное положение.

Историк Юлия Кричевская говорит о черных кафтанах, чулках, больших шляпах и ермолках евреев как о „законсервированной норме", которую им удавалось сохранять „за счет крайней закрытости общин и

отсутствия интереса к каким-либо иным нормам, кроме строгого соблюдения своих". И, правда, еще во времена варваров известны случаи, когда иудеи готовы были даже лишиться жизни, только бы не надевать ненавистную хламиду язычника.

Однако, веками находясь в рассеянии, евреи не могли не соприкасаться с коренным населением галута, что не могло не отразиться и на их одежде. Когда знакомишься с письменными материалами еврейских религиозных общин Европы XV–XVIII веков, не оставляет ощущение, что правила ношения платья одушевлены, прежде всего, „скромностью и смирением перед лицом Всевышнего". Вместе с тем, они вызваны вполне объяснимым желанием не возбуждать у иноверцев ревнивые чувства. Вот Еврейская Комиссия, созванная в 1416 году в городе Форли (Италия), предписывает носить исключительно черную одежду; не дозволяет выставлять меха напоказ, а велит их прятать с внутренней стороны; а щеголять в плащах из шелка и вельвета строго возбраняет. Синод Кастильских евреев Вальядолида (Испания) 1432 года объявляет аморальным рядиться в броское платье разноцветных попугайных тонов (ну как не вспомнить здесь слова героя известного романа Лиона Фейхтвангера „Зачем еврею попугай?"). Мужчинам не разрешается носить на руке более одного кольца, а женщинам — надевать украшения из жемчуга, бриллиантов и некоторых других драгоценностей. В решениях, принятых Литовским Ваадом 1628 года, указывалось: „Постановлено, чтобы не дарить ни одному жениху, будь он бедный или богатый, ни обручальных рубашек, ни платка (фатшеле), ни полотняной шапки... Ни одна израильская душа, ни мужчина, ни женщина не должны носить бархатной одежды... Отныне и впредь запрещается из адамашка и атласа делать верхнее платье всякому... Нельзя в рубашках делать прошивки шире двух пальцев, а те, которые уже имеют таковые, отнюдь не должны их одевать... Тот, кто нарушит одну из вышеозначенных статей, подвергается большому штрафу". Община города Меца (Франция) в 1690 году запрещает одежду из парчи и тафты; порицает модные стрижки и высокие парики; туфли же приемлет только черного или белого цвета; и строго-настрого предупреждает, чтобы еврейскую одежду никогда не шили христиане, дабы не завидовали. А в постановлениях Еврейской общины Франкфурта-на-Майне 1715 года устанавливается строго определенная цена и на само платье, и на материал, из коего оно шьется, и превышать ее строго-настрого запрещалось.

Как это ни парадоксально, но сохранению неповторимого национального облика иудея в странах рассеяния немало благоприятствовали антисемитизм и дискриминационное анти-еврейское законодатель-

ство. С незапамятных времен европейские правители стремились отгородить евреев от остального населения, запереть в тесных гетто и превратить в париев, чья отверженность должна сразу бросаться в глаза. Согласно решению IV Латеранского Собора 1215 года, евреям предписали нашивать на платье особую метку в виде круга. А в 1266 году Вселенский Собор в Бреслау (Польша) обязал их носить специальные шляпы и красный нагрудный знак. Сохранились польские средневековые полотна, где иудеи изображены в характерных шляпах. На одной из миниатюр XIII века они предстают с бородами и одеты в характерные жакеты и плащи, и это в то время, когда платье местной шляхты состояло из кафтана и меховой шапки. Однако позже евреи Польши, да и всей Восточной Европы восприняли эту шляхетскую одежду.

Пиотрковский парламент 1538 года, дабы подчеркнуть отщепенство сынов Израиля, обязал их носить особые береты. А параграф 12 Литовского статута 1566 года гласил: „Да не смеют евреи ходить в дорогих платьях с золотыми цепями, а жены их в золоте и серебре. Да не осмелятся носить евреи серебра на саблях и палашах. Одежда их, однако, пусть будет заметна для всякого. Пусть носят они желтые шляпы и шапки, а жены их повойники из желтого полотна[1]*, чтоб каждый мог отличить христианина от еврея". Сегрегация иудеев, закрепленная в их платье, продолжалась вплоть до XIX века. Американский исследователь Роберт Бонфил заметил, что скромное одеяние евреев, отражавшее их низкий социальный статус в обществе, сами иудеи исстари вовсе не считали унизительным (как это мнилось их гонителям). Внешнюю скромность, умеренность они воспринимали как добродетель, как знак собственного превосходства над окружающими в моральном и религиозном отношении. А по словам известного историка костюма Джеймса Лэйвера, „иудеям пытались навязать особую одежду как метку презрения, однако для них она стала знаком чести и достоинства".

---

[1] Примечательно, что платье и нашивки желтого цвета, традиционно ассоциирующиеся в Европе с еврейством (достаточно вспомнить желтые звезды с надписью „Jude" на одежде узников гитлеровских концлагерей), в странах Азии обрели иной культурный смысл. В императорском Китае, к примеру, желтый цвет считался цветом высокого правителя. Только монарх и члены его семьи имели право носить желтую одежду и ездить в желтых паланкинах. Почти все предметы, которыми пользовался богдыхан, были желтого цвета. Последний маньчжурский император Пу И писал в своих мемуарах: „Каждый раз при воспоминаниях о детстве перед глазами всплывает сплошной желтый туман: глазурованная черепица на крыше — желтая, паланкин — желтый, подстилки на стульях — желтые, подкладки на одежде и шапки, кушак, посуда, ватные чехлы для кастрюль, обертки для них, занавески, стекла — все желтого цвета".

Как же воспринимали русские писатели внешний облик евреев, каким настиг его дресс-код Николая I? Литератора Степана Джунковского „жиды весьма удивляют своими нарядами, почти не переменившимися в продолжении 2000 лет. Старики ходят в огромных шляпах, а женщины — в чалмах". Но более всего озадачивали пейсы, коим тщились найти какое-либо разумное применение. В „Сказках о кладах" (1830) Ореста Сомова протагонист Ицка Хопылевич лукаво „напускает их на лицо (может быть, для того, чтобы на лице его не могли прочесть его мыслей". В „Последнем Новике" (1833) Ивана Лажечникова „сердобольный жид пейсиками своими утирал слезы". Точно так же поступает герой Василия Нарежного Товий, которому враг пейсы срезал, а тот „тщательно подобрал свои пейсы, валявшиеся в грязи, и ими утирал слезы". Вообще, малоросс Нарежный знал еврейский быт не понаслышке и впервые у нас поведал об обожествлении стародавних пейсов сынами Израиля. „Уверяю тебя честию и клянусь неприкосновенностию пейсов", — божится еврей из повести „Бурсак" (1824); „Клянусь бородою и пейсами покойного отца моего!" — вторит ему другой из повести „Два Ивана, или Страсть к тяжбам" (1825).

Если говорить об экипировке российских евреев, то она состояла из кафтана, шубы с откидным меховым воротом и меховой шапки для мужчин; юбки, китайки, кацавейки, шелковой шубки на меху, чепца, повойника для женщин. Такое платье восходило к польскому, причем времен еще XVI века, что дало основание некоторым недоброхотам утверждать, будто евреи присвоили себе чужой наряд и сделали его своей национальной одеждой. Однако еврейские историки костюма говорят о его самобытности. Они возводят такой наряд к облачению своих древних пращуров, занесенному сначала в Вавилон, а оттуда через Персию к арабам и туркам; польская же шляхта подражала моде турецкого Двора, которая-то и была изначально заимствована у евреев.

В XVIII веке в многочисленных либеральных проектах реформы быта евреев часто обсуждается вопрос и о ликвидации их внешнего „особнячества". Во многих странах Европы распахнулись ворота гетто, и иудеи, живущие теперь бок о бок с коренным населением, иногда добровольно рядились в платье христиан. Появились и первые узаконения, призванные унифицировать одежду подданных и сблизить тем самым все населявшие страну народы. Император Австро-Венгрии Иосиф II, ярый сторонник германизации, в своем патенте от 7 мая 1789 года настаивает на смене евреями традиционного костюма, после чего предоставляет им равные права. И король польский Станислав-Август

призывает иудеев брить бороды и одеваться „по-кавалерски", дабы они и по внешнему виду выглядели, как поляки, хоть и Моисеева закона. Он значительно расширил права иудеев, запретил повышать налагаемые на них городские повинности и даже разрешил держать в доме христианскую прислугу и т.д.

В пользу переодевания евреев высказываются и деятели Гаскалы (Еврейского просвещения) с характерным для них космополитизмом и небрежением к национальным традициям. „Как один из важных пунктов, — говорится в „Еврейской энциклопедии" (Т. IV, Стб.196), — маскилим [просветители — Л.Б.] указывали на введение европейского платья. Они... были убеждены, что внешнее благообразие евреев и замена старозаветного костюма европейским явится важным фактором для более успешного воздействия на евреев". Особенно настойчивым в требовании упразднить еврейское платье был известный германский маскил Давид Фридлендер.

Не отставали от него и русские ревнители еврейской аккультурации. Вдохновленные примерами тех государств, где ассимиляция евреев привела к расширению их гражданских свобод, они наивно думали, что и Российская империя вослед просвещенной Европе пойдет именно по такому пути. Писатель Мордехай Гинцбург (1795–1846) считал замену еврейской традиционной одежды на русскую панацеей от всех национальных бед. Ему вторил и Вениамин Мандельштам (+1886), также считавший, что „отличие в одежде от других народов" — одна из главных причин „печального состояния" российских иудеев в то время. А автор сочинения „Мысли израильтянина" (Вильно, 1846) Абрам Соломонов (1778–1844), также возжелавший преобразить своих „жестоковыйных" соплеменников, тщился доказать, что их платье вкупе с пейсами и ермолками — это якобы „древняя польская мода", которую они лишь по какому-то досадному недомыслию считают своей. При этом Соломонов апеллирует к Талмуду, где, по его словам, евреям не предписывается „никакой одежды, кроме бурнуса". „Поляки же, — развивает он далее свою мысль, — сами беспрерывно меняя покрой платьев, никогда не позволяли жидам подражать себе в модах и принуждали их для оскорбительного отличия отверженного племени оставаться при первом костюме и переименовали его в жидовский".

Характерно, что те же самые резоны в пользу замены еврейского платья на новое, европейское, приводили и николаевские чиновники (не исключено, что такую аргументацию им и подбросили маскилы). Власти настойчиво разъясняли, что таковая одежда была привнесена иудеям извне и начисто лишена национальной специфики. В записке,

представленной 11 января 1841 года в учрежденный правительством Комитет для определения мер коренного преобразования евреев России, говорилось: „Не имея ничего общего с религиозными учреждениями [евреев], одежда сия есть древняя польская, которую поляки, изменив во время разных политических переворотов, сохранили евреям для отличия их от господствовавшего народа. Сие вредное отличие в одежде полагает резкую черту между коренными жителями и евреями и, так сказать, отталкивает их, как народ презренный, от всякого сообщения с христианами". Из сего можно заключить, что российское правительство, выступая против „вредного отличия в одежде", стремится развеять заскорузлые представления об иудеях как о „народе презренном". А, покончив с этим „вредным отличием", иудеи обретут те же права, что и „господствующий народ", или по крайней мере социальный их статус повысится.

Здесь уместно вспомнить необычайно мягкое отношение к евреям Наполеона Бонапарта. Как-то в одном городе он приметил среди восторженно встречавшей его толпы людей в желтых головных уборах, в желтых нарукавниках и с шестиконечными звездами на груди. Ему объяснили, что это опознавательные знаки евреев, кои те обязаны носить вне стен гетто. Наполеон немедленно распорядился и нарукавники снять, и желтые шапки заменить обыкновенными, и ворота гетто открыть. Он объявил, что отныне иудеи вправе жить там, где им хочется, — словом, сделал их полноправными подданными Франции. „Я желаю, чтобы к евреям относились, как к братьям, как если бы все мы являлись частью иудаизма", — провозгласил он. Наполеоном был восстановлен Синедрион — верховный орган еврейского духовного законодательства, упраздненный римскими завоевателями Иудеи в 73 году новой эры.

В России не произошло ничего похожего. Царствование Николая I ознаменовано для евреев ограничениями в передвижении, изгнаниями из городов, тяжким податным бременем, непомерными рекрутскими наборами, печальной памяти Велижским делом и „Мстиславским буйством" по обвинению в ритуальном убийстве и т.д. В ту эпоху было издано около 600 (!) законодательных актов о евреях. Вот что говорит историк: „В первой половине XIX века правительство пожелало уничтожить положение, превратившее евреев в касту. По тогдашнему обыкновению, думали изменить это положение только распоряжениями. Приказали снять традиционные лапсердаки и ермолки. Евреи сняли. Приказали обрезать пейсы. Евреи обрезали. По существу ничего не изменилось". Более того, после переодевания сынов Израиля правовое их положение не только не было облегчено, но

даже ухудшилось. Достаточно сказать, что именно в тот момент, когда были осуществлены правительственные меры по приобщению евреев к общей культуре, последовало секретное высочайшее повеление о запрете их приема на государственную службу (хотя это разрешалось действовавшим законодательством).

А что сталось с одеждой иудеев дальше? Автор „Владычного суда", „Жидовской кувырколлегии" и „Ракушанского меламеда", знаток еврейского быта Николай Лесков в 1883 году свидетельствовал: „Широкополые шляпы с опушью и ермолки держались очень долго и по местам не совсем еще выветрились; длиннополые охабни нашли компромисс в длинных сюртуках по щиколотку, а лапсердаки и цицисы уступили не настояниям полиции, а „австрийской моде". Венский более изощренный вкус в это время очень кстати изобрел „аккуратненькую лапсарду", которую любой франт может носить, не опуская их наружу, при еврейском платье. Удобная мода эта перешла к нам через Броды сначала в Дубну, потом в Ровно и наконец разлилась повсеместно, благодаря большому сочувствию всех еврейских щеголей, давно наскучивших хохлатыми цицисами и лапсердаками. Но старшее поколение ветхозаветных так и доносили свои лохмотья до износа... Те же евреи, которые пытались промышлять... в великоросских губерниях, сами попрятали свои лапсердаки. Они также охотно стригли пейсы (стригались по адесску!) и носили такие сюртуки, какие по сей день носит русское степенное купечество. То есть, вращаясь среди русских, сами не хотели отличаться от них ни видом, ни одеждою, которую в черте оседлости с них приходилось снимать почти насильно". Однако, по словам Лескова, и в русском платье распознать иудея труда не составляло: „И теперь у еврея особенный нос, свой угол глаз, и по-своему на нем сидит его длиннополый сюртук".

Между тем, евреи-ассимиляторы всячески восхваляли дресс-код Николая I, объявляя его благом для единоверцев. Историк и публицист Моисей Берлин в „Очерке этнографии еврейского народонаселения в России" (1861) охарактеризовал дореформенную одежду как „довольно странную", лишенную „малейшего вкуса" и „крайне безобразившую" еврейских женщин. Теперь же молодые иудеи „приняли повеления начальства с восторгом... и стали даже стараться перещеголять местных жителей-[христиан]", правда, старшее поколение иногда нововведениям противится. „Государь, — говорил ему в тон одесский городовой раввин Симон Швабахер, — видел их исключительное положение в обществе и отнял у них отличавшие их принадлежности — прически и костюмы, для того, чтобы они меньше выдавались из массы. Близорукость тогдашнего поко-

ления видела в относившихся к этому указах — несчастие. Но ножницы, обрезавшие им пейсы совершенно, а кафтан наполовину, проникли в тело... И теперь, судя по всей совокупности последствий, едва ли можно не признать, что этим путем были пробуждены дремавшие силы евреев и подготовлены к лучшему будущему".

А русско-еврейский писатель Лев Леванда (1835–1888) в публицистическом сочинении „Переполох в Н-ской общине" (1875) аттестовал противников переодевания ханжами, одержимыми „тупоумием и мракобесием". Он втолковывал соплеменникам: „Поймите же, что этим указом Государь Император хочет поднять вас в ваших собственных глазах и в глазах прочего населения империи". „[Платье] не дело религии, — взывал он далее к „фанатизированной толпе", — Бог смотрит на сердце и совесть, а не на одежду". И полицейские репрессии писателя нисколько не смущали. Чуть ли не с сочувствием, хотя и с некоторой долей иронии, пишет он о том, как „на всех улицах, на известных дистанциях, расставлены были десятские, вооруженные ножницами, имевшие назначение стричь пейсы и подрезывать длинные балахоны. На помощь десятским прикомандированы были солдаты пожарной команды... Глядя на серьезные лица нижних полицейских чинов, можно было думать, что последние расставлены для какой-нибудь серьезной цели — отражения неприятеля или чего-то в этом роде". Завершает очерк вполне благостная картина: „Не прошло и двух месяцев, как евреи уже помирились с новым костюмом и стали находить его практичным и приличным. Что же касается женщин, то они просто без ума были от нового фасона своих платьев... Старый фасон возбуждал в них смех и отвращение. Они от него отплевывались".

А в художественном очерке „Пейсы моего меламеда" (1870) Леванда покусился на обожествляемые старозаконниками дореформенные „святые пейсы". Расставание с ними воспринимается местечковым меламедом как настоящая трагедия, ибо без них он — ничто, пшик, зеро. „Это было все равно, что вообразить себе человека без головы, пейсы меламедствовали, на пейсах держался весь хедерный порядок, только пейсам удалось победить гордое сердце вдовствующей Ривки". Пейсы, подобно Носу гоголевского майора Ковалева, становятся одушевленными и приобретают самодовлеющий характер. „Они были длиннее любой девичьей косы, темнее вороного крыла и курчавее бараньей шерсти... Казалось, что вся личность моего меламеда ушла в его пейсы; казалось, что природа, созидая его, истратила все свои творческие силы для образования одних пейсов; потом, спохватившись, что забыла о нем самом, она из обрезков взяла и на скорую руку сшила нечто похожее на манекен,

и таким образом выпустила на свет пейсы с подставкою из человеческой фигуры... Задавшись мыслью — создать не человека с пейсами, а пейсы с человеком, она выполнила сию задачу мастерски". Писатель рисует оригинальный „образ двух черных, как смола, змей, впившихся в виски нашего тирана". Лишившись пейсов, „развенчанный меламед" не только являет свое полное духовное банкротство, но и претерпевает всяческие злоключения — по требованию полиции, его, как бродягу, выдворяют из местечка. Покидая родные пенаты, „по привычке он ежеминутно поднимал руку, чтобы погладить свои пейсы, но не находя их, он опускал ее, часто вздыхая". Заметим, однако, что в действительности пейсы держались у евреев Российской империи достаточно долго. Известно, что во время посещения Польши в 1870 году император Александр II, завидев пейсатых хасидов, потребовал строжайшего и неукоснительного исполнения запретительных законов своего родителя...

А что русская борода? Писатель Виктор Никитин вспоминал об одном нашумевшем угловном деле, побудившем начальство отказаться от обязательного брадобрития в армии. Один солдат-раскольник за отказ бриться был многократно наказан дисциплинарным полевым судом, но все продолжал упорствовать и дерзко оскорбил начальство. В дело вмешалась высшая военная администрация во главе с великим князем Николаем Николаевичем. Ослушника приговорили к ссылке на каторжные работы, однако именно после сего, с 1874 года в регулярных войсках стало дозволенным носить бороду (гренадерам-гвардейцам с 1881 года), а затем таковое разрешение получили и служащие чиновники....

Прошли века. Нынче прежнюю одежду восточно-европейского типа носят лишь ортодоксальные ашкеназские евреи Иерусалима, Амстердама, Нью-Йорка и некоторых других городов. Пейсы и парики (для женщин) носят, как правило, религиозные иудеи. А вот такая характерная особенность еврейской одежды, как скромность, прошла через столетия и сохранилась до наших дней. Показательно, что главный раввин России Берл Лазар высказался недавно в пользу общественного соглашения о скромности в одежде, как для мужчин, так и для женщин (подчеркнув при этом, что речь может идти только о добровольном убеждении). Слова нынешнего духовного лидера русского еврейства освящены исторической традицией. Но и в наши дни основные требования Галахи относительно одежды иногда соблюдаются и в Израиле и в странах диаспоры. Немалое число еврейских женщин отказывается от ношения брюк, дабы не уподобляться мужчинам (аналогичный запрет в отношении женской одежды существу-

ет и для мужчин). Отвергают они и открытое платье, обнажающее колени и локти. Впрочем, как и встарь, каждая община по-своему регламентирует и длину юбок и рукавов, и плотность ткани, цвет одежды и толщину колготок и чулок (которые во многих общинах считаются обязательными в любую погоду, включая сорокоградусные израильские хамсины), и т.д.[1] Приходится, однако, признать, что одежда абсолютного большинства современных евреев ничем не отличается от одеяния окружающих.

Точно так же как русское платье, вытесненное Петром Великим из общего употребления, в наши дни воспринимается как фольклорное, но никак не обиходное и повседневное, хотя рубаху типа косоворотки с воротником-стойкой (как правило, черного цвета) можно иногда приметить на сходках почвенников и „патриотов". Классическая же косоворотка, под кушак, отыскивается разве что в лавке старообрядческой церкви. Культуролог Сергей Строев сетует, что правителям России „одеть что-то русское, национальное пока слабо" и поминает добром Никиту Хрущева с его рубашкой-вышиванкой (прозванной в народе „антисемиткой"). Он призывает привнести в современный костюм и сделать модными характерные элементы русской национальной одежды. И надо сказать, в советское время модельеры подчас эксплуатировали народные мотивы, правда, с уклоном в этнографичность. Достаточно назвать блистательную Надежду Ламанову или Вячеслава Зайцева, который в 60-е годы реабилитировал среди прочего ивановские ситцы. А в нулевые их коллега Денис Симачев представил давно забытую толстовку и павлопосадские платки. Следует, однако, заметить, что народный убор все же не получил в современной России полные права гражданства, разделив тем самым судьбу не принятого массами старого еврейского костюма.

Казалось бы, дресс-коды Петра Великого и Николая I восторжествовали (с поправкой на бороды, которые вопреки запретам вошли в обиход). Но означает ли это, что жесткий самовластный диктат в сфере моды и наружности человека оправдан? Следует ли брать за образец, скажем, маоистский Китай, где в ходе Культурной революции 1966–1976 годов и мужчины, и женщины под страхом жестокой расправы все как один переоделись в одинаковую бесполую синюю одежду

---

[1] Следует отметить, что в некоторых ультра-ортодоксальных анклавах Израиля борьба за скромность одежды доводится до абсурда и принимает подчас клинические формы. В Иерусалиме и Бейт-Шемеше существуют сектантки, которые носят паранджу и черные перчатки до локтей, чтобы прикрыть каждый миллиметр тела, а некоторые из них используют вместо перчаток носки, чтобы нельзя было увидеть даже отдельных пальцев.

со значком с ликом „великого кормчего" в петлице? Да и ныне, как сообщает AFP, в рамках компании лютой борьбы с религиозным экстремизмом и сепаратизмом житель из Синьцзян-Уйгурском автономном районе на востоке Китая был осужден и получил шесть лет тюрьмы за... ношение бороды, а его жена — два года за ношение паранджи. Впрочем, и в „просвещенной" Европе, а именно в Бельгии и Франции, гонения на мусульманский хиджаб и паранджу также не сильно впечатляют. Да и положение, при котором женщинам без головного платка возбраняется появляться на улице, а одетых „неподобающим образом" забивают камнями или обстреливают из пейнтбольных ружей, никак не вызывает одобрения.

Важно осознать, что никакая цель не оправдывается негодными средствами. Диктат, насилие, репрессии — плохие помощники делу, которое можно решить доброй волей и без принуждения. Тем более, что ныне, в эпоху глобализации, в сфере костюма и моды происходит вполне органичный процесс нивелирования и стирания национальных границ. Потому сегодня, когда высокий церковный иерарх призывает власть употребить, отменив богопротивные шорты и мини-юбки и введя общероссийский дресс-код, перед глазами вдруг возникает держиморда былых времен с остро заточенной бритвой наперевес.

II. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

МУДРЕЦ ИЗ ШКЛОВА

ИЕГОШУА ЦЕЙТЛИН

Иегошуа Цейтлин (1742–1821) — личность, еще не вполне оцененная историками. Между тем, он был первым в России приметным еврейским деятелем, соединившим в себе глубокую раввинскую ученость со страстным стремлением приобщить своих соплеменников к российской общественной жизни. Видный гебраист и тонкий толкователь Талмуда, он в то же время высоко ценил русскую культуру.

Иегошуа был уроженцем Шклова (Минского воеводства Речи Посполитой) и происходил из известного и знатного иудейского рода. После окончания хедера он направляется в иешиву Минска, где получает фундаментальное знание Еврейского Закона. Духовным учителем и наставником Цейтлина был известный талмудический корифей р. Арье Лейб бен-Ашер (1700–1785), который славился способностью „развивать в учениках находчивость и догадливость". И надо сказать, эти качества, дарованные нашему герою уже от природы, обрели под руководством сего ребе и блеск, и завидную зрелость, удивительную в юном школяре.

После окончания иешивы он продолжает неустанно изучать Тору и Талмуд. Однако Иегошуа (подобно древним танаим) считал, что знаниями торговать негоже, а зарабатывать на жизнь еврею надлежит ремеслом, самой земной профессией. И наш герой сосредотачивается на торговле и предпринимательстве, благо, что и талантом финансиста не был обделен. Цейтлин возвращается в родной ему бойкий торговый город Шклов.

С незапамятных времен там жили иудеи. Заезжий иноземец Иоганн Корб в конце XVII века писал, что евреи „составляют в сем городе богатейшее и влиятельнейшее сословие людей". А во второй половине XVIII века их насчитывалось уже около половины городских обитателей. Оборотистые шкловские кущцы исколесили всю Центральную и Восточную Европу и вместе с заморскими товарами привезли с собой в родные пенаты дух Просвещения, открытость к иным языкам

и культурам. Еще в большей степени влияние европейской культуры испытали на себе еврейские интеллектуалы. По словам американского историка Дэвида Фишмана, Шклов в конце XVIII века стал метрополией русского еврейства, средоточием как раввинской учености, так и научных знаний и идей Гаскалы в России. Здесь работала иешива, была учреждена еврейская типография, построена большая каменная синагога, где велись бурные диспуты о сущности веры между хасидами и миснагдим.



Синагога в Шклове

После Первого раздела Польши и перехода Шклова под российский скипетр в 1777 году императрица Екатерина II пожаловала город своему отставному фавориту графу Семену Гавриловичу Зоричу (1745–1799). Сей бывший монарший любезник жил здесь этаким местным царьком с многочисленным двором, царскими выездами и балами, театром, где ставились французские оперы и итальянские балеты. Деньги он проматывал огромные. Нечистый на руку карточный шулер, безалаберный и невоспитанный, привыкший к исполнению всех своих прихотей, этот, как его называли, „шкловский деспот" любил, чтобы перед ним лебезили, и не терпел препирательств. И Иегошуа (вместе со своим братом, который был командирован Зоричем в Ригу, чтобы скупать там по сходной цене антиквариат и „мягкую рухлядь") становится его фактором. Неизвестно, какие именно поручения графа выполнял Цейтлин, но есть свидетельства, что в 1770–1780-е годы он, по заданию сего самодура, часто наезжает в Берлин.

По счастью, от таких вояжей наш герой получал не только коммерческую выгоду, но и обильную пищу для ума. Он сближается с деятелями берлинской Гаскалы и становится частым гостем в доме основоположника Еврейского Просвещения, „еврейского Сократа" Мозеса Мендельсона (1729–1789). Товарищеские узы связали его с такими выдающимися маскилим, как главный раввин Берлина Гирш Лебель

(1721–1800); выдающийся лингвист и экзегет Нафтали-Герц Вессели (1725–1805); идеолог ассимиляции и провозвестник реформизма в иудаизме Давид Фридлендер (1750–1834) и др. По-видимому, в это время складывается своеобразная культурная и мировоззренческая позиция Цейтлина. Как и приверженцы Гаскалы, он был против культурной обособленности еврейства и видел в усвоении европейской образованности залог улучшения положения своих соплеменников. В то же время он находился под значительным влиянием раввинистической культуры, ярчайшим выразителем которой был знаменитый Виленский гаон, р. Элияху бен Шломо (1720–1797). Иегошуа старался подчинить светское знание дисциплине религии и никак не разделял рационалистические взгляды „берлинеров", их пренебрежительное отношение к Устному учению, Талмуду и иудейской обрядности. По существу, взгляды Цейтлина аккумулировали в себе идеалы европейского Просвещения и еврейской интеллектуальной традиции. По словам историка еврейской литературы Исраэля (Сергея) Цинберга, Иегошуа суждено было встать „во главе умственного центра" еврейства Шклова.



Иванов М.М. Конный выезд Г.А. Потёмкина

Судьбоносным для Цейтлина стало его знакомство с „великолепным князем Тавриды" Григорием Потемкиным, который владел поместьем Кричев-Дубровна и другими землями неподалеку от Шклова. Потемкин, обладавший даром „величайшего познания людей", сразу же оценил этого еврея и приблизил его к себе. По словам мемуариста Александра Давыдова, Иегошуа стал „министром финансов и снабжения" при Потемкине, он управлял имениями светлейшего князя, строил города, оформлял займы для снабжения армии и возглавил монетный двор в Крыму. О хитроумии и неистощимой изобретательности

Цейтлина свидетельствует испанский путешественник Франсиско де Миранда, посетивший этот монетный двор в Феодосии (Кафе): „Чеканятся монеты, состоящие из меди и лишь на одну треть из серебра,... но выглядят так, будто сделаны из чистого серебра".

Потемкина пленили не только деловые качества, но и поразительная богословская эрудиция Иегошуа. Ведь известно, что светлейший сызмальства проявлял к вопросам религии живой интерес. Современник рассказывает: „Он [Потемкин — Л.Б.] держал у себя ученых рабинов, раскольников и всякого звания ученых людей; любимое его было упражнение: когда все разъезжались, призывать их к себе и стравливать их, так сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях". И набожный Цейтлин, облаченный в традиционную еврейскую одежду, был непременным участником всех религиозных диспутов. Не кто иной как Цейтлин привил Потемкину интерес к иудаизму. Достаточно сказать, что в личной библиотеке князя хранился драгоценный свиток из пятидесяти кож с „Пятикнижием Моисеевым", написанный, предположительно, в IX веке (ныне хранится в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета).

По свидетельствам очевидцев, Иегошуа часто „расхаживал вместе с Потемкиным, как его брат и друг". Он часто сопутствовал князю и в его конных выездах, величаво выступая рядом с ним на великолепной темно-гнедой кобыле. Правнук Цейтлина, еврейский писатель Шая Гурвиц живописует: „Как знак особого достоинства, Иегошуа получил в подарок от императрицы роскошную форменную одежду, с золотыми полосами, сияющими пуговицами, а также мечом наперевес. Этот убор надлежало носить, когда еврей сопровождал товарища своего, светлейшего князя. Они осматривали дороги и здания, созданные не без участия Цейтлина.... Когда светлейший рассматривал петиции от обступивших его просителей, мудрец р. Иегошуа был осаждаем меламедами и раввинами и должен был отвечать на разные галахические вопросы. Тогда ребе сходил с лошади, становился на колени и писал обстоятельные респонсы, и только по окончании сего продолжал путешествие".

Именно Цейтлин подсказал Потемкину сколь дерзновенную, столь и фантастическую по тем временам идею о размещении евреев в отвоеванном у турок Иерусалиме. Исследователи видят в этом „попытку связать „стратегические" еврейские интересы с имперским визионерством Потемкина". Вот что сообщает историк: „Он [Потемкин — Л.Б.] стал развивать ту мысль, что когда империя Османов будет наконец разрушена, Константинополь и проливы в русских руках, то и Ие-

русалим будет не во власти неверных. А тогда должно в Палестину выселить всех евреев... На родине же своей они возродятся". И князь пытался претворить сию идею в жизнь. По-видимому, он замышлял паломничество большого числа евреев в Палестину. Дабы разведать обстановку на месте, отправлял туда лазутчиков. По его представлению, 1 июля 1784 года был выдан паспорт некоему Юзефу Шишману, следующему в Иерусалим вместе с группой единоверцев.

А в 1786 году Потемкин создает сформированный целиком из иудеев „Израилевский" конный полк, который, по его мысли, и надлежало в дальнейшем переправить в освобожденную от турок Палестину. Командовал им именитый князь Фердинанд Брауншвейгский. Как заметил историк Саймон Себаг-Монтефиоре, „на фоне традиционного русского, а тем более казацкого антисемитизма эта идея была особенно удивительна". Со времен римского императора Тита, разрушившего в 70 году н.э. Иерусалимский Храм, это была чуть ли не первая в мировой истории попытка вооружить евреев!

Однако еврейской коннице Потемкина не довелось доскакать до Святой земли. „Израилевский" полк просуществовал недолго и уже через пять месяцев был расформирован. Шарль де Линь говорил, что светлейший распустил сие воинство, „чтобы не ссориться с Библией". Как ни убеждал Иегошуа князя, что вовсе не в Библии тут дело, а в ложном, превратном ее толковании „христолюбивыми" церковниками, тот прочно утвердился в этом мнении: ведь при всей широте мышления и веротерпимости светлейший был все же в плену у своего времени с его религиозным антисемитизмом.

Впрочем, решение о роспуске еврейского эскадрона вовсе не отменяло покровительства, которое Потемкин продолжал оказывать Иегошуа, а через него и сынам Израиля. Весной 1787 года по ходатайству светлейшего Екатерина II, путешествовавшая тогда по югу империи, приняла в Шклове возглавляемую Цейтлиным еврейскую депутацию с просьбой отменить употребление в России оскорбительного слова „жид", о чем мы уже упоминали.

Неоценим вклад нашего героя в победу России в русско-турецкой войне 1787–1791 годов. Цейтлин, наряду с другим замечательным еврейским правозащитником Нотой Хаймовичем Ноткиным (1746–1804), был одним из главных поставщиков российской армии и флота. Важно и то, что сам Цейтлин осознавал собственную деятельность как труды, „понесенные на пользу государственную". Для него это была служба, „отягченная ко благу Отечества заботами и изнурениями".

Потемкин воздал еврею по заслугам. В 1787 году он выхлопотал для Иегошуа у польского короля Станислава Августа чин надворного

советника, что давало тому дворянское звание и право владеть землей. Добился светлейший и того, чтобы Цейтлин стал обладателем богатейших поместий: Устье в Могилевской губернии и Софийка под Херсоном. Так, по воле своего покровителя, некрещеный еврей вдруг стал владельцем сотен христианских душ — случай в России беспрецедентный! Но кто мог тогда перечить всесильному властелину Тавриды?!

Во многом благодаря Потемкину укрепились связи Цейтлина с государственной элитой империи, и он не преминул использовать их во благо своих соплеменников, став одним из деятельных штадланов своего времени. Ратуя за интеграцию иудеев в российское общество, он защищал единоверцев от преследований и дискриминации, не гнушаясь, как об этом говорит историк Ольга Минкина, „методами неформальной коммуникации с представителями российской власти". В тех условиях это было куда более действенно, чем официальные обращения и ходатайства. Современник свидетельствует: „Всякий удрученный и обиженный еврей стучался к нему в дверь, и он не отказывал никому". И благодарные иудеи стали уважительно называть сего народного заступника „Ха-сар Цейтлин" и „Мудрец из Шклова".

После кончины Потемкина Иегошуа, наживший миллионное состояние, удалился от дел и обосновался в своем имении Устье, где отстроил великолепный дворец, утопавший в зелени садов и живописных виноградных рощ. Как подлинный еврейский меценат, Цейтлин создал здесь свой бет-га-мидраш с украшенной золотом и дорогими каменьями священной утварью и свитками Торы, завезенными из Палестины и Оттоманской Порты. Ревнитель знаний, он приглашал сюда выдающихся ученых и талмудистов, дабы те, получая все необходимое для жизни, могли свободно предаваться своим научным занятиям. В их распоряжение была предоставлена собранная хозяином уникальная библиотека с древними свитками и манускриптами, увесистыми фолиантами по Галахе и Каббале, а также с литературой по многим отраслям знания. В отличие от шумных религиозных диспутов Потемкина, более походивших на склоку, здесь царила атмосфера духовности и подлинного благочестия. Цейтлин, на правах учителя бет-га мидраша, обыкновенно читал вслух выдержки из комментариев к Торе или Талмуду, а слушатели глубоко и всесторонне анализировали текст, толкуя его каждый по-своему, однако в конце всегда находили разумный компромисс.

Кто же были эти ученые школяры, получавшие поддержку „еврейского помещика"? Прежде всего, видные интеллектуалы и книжники, и среди них первые еврейские просветители в России. В Устье построил лабораторию и проводил химические опыты раввин Барух Шик (1740–

1812). Комментатор сочинений Маймонида и переводчик „Элементов" Эвклида на иврит, он с благословения Виленского гаона горячо пропагандировал светские знания, гневно бичуя противников просвещения. Он задался целью „отпарировать гордые насмешки других народов, которые упрекают [евреев] в невежестве и пренебрежении науками". Шик являл собой тип ученого-энциклопедиста, соединив в себе самые привлекательные черты недюжинного математика, астронома, естествоиспытателя, врача и популяризатора науки.

Еще один гость Цейтлина — известный педагог Менахем Мендл Лефин (1741–1819). Он приехал в Устье, отказавшись от преуспеянья в поместье князя Адама Чарторыйского в Миколаеве. А все потому, что его привлекла возможность „просвещать народную массу и поучать ее мудрым наставлениям". Но в своем понимании просветительства он решительно расходился с Гаскалой: пытался нести в народ знания на разговорном еврейском языке, который германские маскилим пренебрежительно называли „жаргоном" и „презренным наречием кухарок" (он перевел на идиш и напечатал „Притчи" Соломоновы). В бетга-мидраше Лефин написал главный свой труд „Хешбон ха'нефеш" (Самовоспитание, 1808). Традиционные взгляды на иудаизм сочетаются здесь с духом эпохи Просвещения (он, в частности, опирается и на моралистические постулаты Б. Франклина). Излагая основы еврейской религиозной этики, автор прибегает к ярким примерам из области естествознания. Согласно Лефину, моральное удовлетворение человека достигается от сознания творения им добра, от проникновения в тайны природы. Евреи, утверждал он, первыми в истории человечества поняли, что высшее признание Бога зиждется не на страхе и боязни, а на любви и доверчивой преданности. Правилами нравственности по Лефину руководствовались в своих статутах многие еврейские общины Галиции и Подолии, где образовались особые братства его последователей.

В Устье обосновался и знаток ивритской грамматики Нафтали Герц Шульман (1830). Он был полиглотом и настолько овладел русским языком, что писал на нем и стихотворные сочинения. Шик был озабочен составлением фундаментального словаря, который, помимо древнееврейских слов, должен был заключать в себе слова из Талмудов, Таргумов, Мидрашим и Зогар. По-видимому, именно в стенах бетга-мидраша у Шульмана зародилась мысль основать еженедельное периодическое издание на иврите (по примеру журнала берлинской Гаскалы „Меасеф"). Он мечтал о возможности „распространить в [еврейской] массе полезные сведения по языкам, математике, географии, естествознанию и другим областям знания". К сожалению, издание осуществлено не было.

В бет-га-мидраше нашли себе приют и сторонники вполне ортодоксальных взглядов. Иегошуа дал кров ревнителям патриархального благочестия раввинам Менахему Нахуму и Элиэзеру из Слонима, занимавшимся составлением комментариев к Талмуду. Работал здесь и видный талмудист Вениамин Ривелес (1813). Ученик Виленского гаона, он, подобно древним ессеям, вел аскетический образ жизни. В Устье он собрал уникальный гербарий и составил глоссы к Библии и Талмуду (Гевии Гевиа Ха-Кесеф, 1804). (Бытие 44:2)

Цейтлин всемерно поддерживал и образовательные проекты миснагдим. В 1803 году, когда было решено открыть в Воложине иешиву, он не только сам пожертвовал средства на ее строительство, но и побудил это сделать многих еврейских филантропов.

Однако мысль о постепенной интеграции евреев в Российскую империю (историк называет это „умеренной аккультурацией") долго не оставляет его. Характерно, что и своего внука, Гирша Перетца, он обучает не только Еврейскому Закону и ивриту, но арифметике, геометрии, алгебре и — особенно углубленно! — русскому языку, для чего приглашает в менторы некоего Сенявина.



А.И. Перетц

Удар по ассимиляторским надеждам Цейтлина нанесло утвержденное Александром I „Положение об устройстве евреев" 1804 года, когда за иудеями была официально закреплена черта оседлости, сохранялся запрет на аренду и покупку земли, им возбранялось жить в деревнях и селах, нести государственную службу и т.д. Иегошуа разуверился в самой возможности культурной и политической реформы еврейства. Тем более, что горькие плоды ассимиляции, как то — забвение национальных традиций и крещение, ему довелось вкусить и в своем собственном доме. Одна из его дочерей в 1798 году сбежала с полковым лекарем Капелло, прихватив и часть отцовского имущества, и приняла католичество[1]. Напрасно Цейтлин в попытке вернуть отступников задействовал старые связи в высших сферах — власти взяли сторону христиан-неофитов, и ему пришлось смириться со своей потерей.

[1] Крещение не помогло Капелло в его врачебной карьере: он дослужился лишь до должности младшего лекаря, которую занимал в 1859 году (Морской сборник, Т.XLVI, № 3, Март, 1860, С.72).

Под конец жизни разочаровал Цейтлина и любимый зять Абрам Израилевич Перетц (1771–1833), бывший его правой рукой в финансовых делах. Обосновавшись в Петербурге и преуспев в коммерции и предпринимательстве, Перетц все более отдалялся от своих еврейских корней, а после кончины жены Сары-Фейгеле крестился по лютеранскому обряду. Горечь была тем сильнее, что Иегошуа воспринимал Абрама как свое alter ego, ведь как и у самого Цейтлина, способности талмудиста сочетались в Перетце с деловой хваткой коммерсанта (впрочем, финансовый гений Перетца не знал себе равных: зять многажды превзошел тестя). Но более всего удручало Цейтлина то, что его дорогой внук Гирш, воспитанный в имении Устье, принял протестантизм и нарекся Григорием Абрамовичем.

Как пережить ренегатство близких людей, казавшихся родными по духу? Отринуть, подвергнуть остракизму или принять, проявив „милость к падшим"? Старик Цейтлин выбрал последнее: он не порывает связи со своим зятем и внуком после их крещения. И не только упоминает Абрама Перетца в своем завещании, но и признает за ним право на приобретение имения Устье. Сам же находит утешение в тайнах познания. Он углубляется в изучение еврейской книжности. Составляет подробные комментарии к французскому средневековому галахическому своду „Сефер мицвот катан" (Малая книга заповедей, 1820). А в коллекции барона Давида Гинцбурга (ныне в Отделе рукописей РГБ) хранится сочинение Цейтлина „Хидушим бепилпул" (Новые толкования).

Он напряженно работал, словно спешил, боялся не успеть доделать задуманное. Но сказано же еврейскими мудрецами: „Тот, кто погружается в учение, удлиняет жизнь" (Авот, гл. 2: 8). И Иегошуа Цейтлин, этот мудрец из Шклова, подобно ветхозаветному Аврааму, „умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою, и приложился к народу своему". Он встретил смерть со спокойным лицом в своем заповедном Устье. „Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого".

ДВА МИРА В ОДНОМ ШАПИРО

КОНСТАНТИН ШАПИРО

Многим памятна ставшая крылатой фраза „два мира, два Шапиро". И восходит она к реальному эпизоду конца 1940-х гг., когда в Москве в здании ТАСС встретились два корреспондента по фамилии Шапиро, один — американский, другой — советский, причем проявили друг к другу открытую враждебность. Оно и понятно, ведь первый олицетворял собой загнивающий капиталистический Запад, второй — страну, уверенно шагающую в светлое коммунистическое завтра. Эти миры, точнее, антимиры разделял тогда железный занавес, глухой и непроницаемый.



К.А. Шапиро. Автофотопортрет

По историческому совпадению, наш герой звался Шапиро. Но ему удалось гармонично соединить два мира, которые современникам тоже казались мирами параллельными, несоединимыми. Судите сами: с одной стороны, его называли лейб-фотографом русской литературы; он титуловался фотографом Академии художеств. Император Александр III наградил его большой серебряной медалью „За полезный труд". И в то же время это был яркий еврейский общественный деятель, ревностный сторонник сионистской идеи, даровитый ивритский поэт. Даже имени у нашего Шапиро (1840–1900) было два: в русском обществе его аттестовали Константином Александровичем, соплеменники же обыкновенно называли его Ошер...

Ошер Шапиро родился в Гродно, в 1840 году, а именно 19 августа — ровно в тот самый день, который теперь отмечается как всемирный день фотографии. В том, что так сошлись звезды, можно усмотреть нечто символическое и судьбоносное. Но его родители ведать не ведали об истинном предназначении появившегося на свет малыша и готови-

ли ему совсем иное поприще. Отец, Элиягу Шапиро, из рода гродненских раввинов, пробавлялся торговлей, в погоне за гешефтами исколесил всю Восточную Европу, но вольномыслия не терпел, а был, что называется, самым правоверным иудеем. И сына он вознамерился воспитать и образовать в строго ортодоксальном духе. Благо губернский город Гродно с преимущественно иудейским населением открывал для этого все возможности. То был важный центр духовной жизни еврейства и раввинской культуры; здесь работала еврейская типография, одна из первых в России. Как и любой пятилетний еврейский мальчуган, Ошер был определен в хедер, где шесть дней в неделю спозаранку и дотемна постигал премудрости Торы и Талмуда.

Особенно же он поднаторел в древнееврейском языке, на котором, к удивлению местечкового меламеда, стал сочинять складные, красивые вирши. В его стихах поражала особая изобразительность, пластичность, осязательная точность деталей. Рано, очень рано развил он в себе способность мыслить и творить образами. Следующий шаг — он берется за кисть и переносит на полотно то, о чем поет в стихах. Так художественные фантазии Ошера обретают зримое материальное воплощение. Так, уже в детские годы Шапиро нашел ключ к пониманию направления своей жизни и творчества.

Его отличали жажда новых знаний, открытость иным языкам и культурам. Не знаем, кто был тем гродненским ментором, что возбудил в нем острый интерес к идеям Хаскалы (их называли „берлинерами"), но видно, что и в юные лета он ратует за приобщение единоверцев к светским наукам и видит в этом основу их жизненного успеха. Он усиленно штудирует просветительскую литературу и, прежде всего, боевитый журнал „Ха-Меассеф" („Собиратель"), программный для нескольких поколений еврейских ассимиляторов.

Главное же внимание он уделяет совершенствованию своего иврита, который усилиями последователей „еврейского Сократа" Мозеса Мендельсона (1729–1786) превратился в образцовый высокохудожественный литературный язык, приближенный к живому наречию. Вместе с тем он усиленно познает и русский язык, и великую литературу Пушкина и Гоголя. Углубляется он и в изучение немецкого языка; сочинения просветителей писались тогда преимущественно на языке Гейне и Гете...

А дальше произошел многократно описанный в литературе конфликт просвещенного еврейского юноши с жестоковыйными единоверцами. Прознав о том, что сын читает светскую литературу и изучает „гойские" языки, Элиягу Шапиро вознамерился „повыбить из него всю эту дурь" и женить его, пятнадцатилетнего отрока (чем раньше остепе-

нится, тем лучше!), на нелюбимой им, но „правильной" девушке из „хорошей еврейской семьи". В результате Ошер оказался в совершенно чуждом, враждебном ему окружении, где чтение любой, кроме Талмуда, книги воспринималось как ересь и святотатство. Он лишился маломальского глотка свободы. Атмосфера взаимной нетерпимости с семьей жены все сгущалась. После очередного скандала он бежит в уездный город Белосток, что в 80 верстах от Гродно, зарабатывает там на жизнь уроками иврита, но затем по настоянию отца все же возвращается в постылый дом.

Травля „правоверными" родственниками и свойственниками ничуть не ослабевает, но Шапиро, по счастью, находит себе отдушину. Он всецело посвящает себя фотографии и именно в этом новомодном деле видит разрешение своих творческих исканий. Дитя прогресса XIX века, фотография (или светопись) стремительно развивалась в России, и даже в заштатном Гродно имелось несколько фотоателье. Дабы обучиться сей науке, Ошер стал работать подмастерьем у одного местного умельца, высокопарно называвшего себя „фотохудожником". Можно, конечно, усмотреть в такой аттестации самонадеянность и бахвальство, однако, обратившись к периодике того времени, мы обнаружим здесь отзвук жаркой общественной полемики о природе и выразительных возможностях светописи. Хотя некоторые критики видели в ней примитивный натурализм, не имевший эстетической ценности, большинством она воспринималась как начало нового самостоятельного вида изобразительного искусства. Что до Шапиро, то весьма сомнительно, что он задавался вопросом, ремесло это или искусство. Важно было овладеть профессиональными навыками, а художественный взгляд и инстинкт непременно довершат дело.

Человек увлекающийся и пылкий, он ушел в работу с головой, и это давало ему новые душевные силы. Долгое время он терпеливо сносил обиды и оскорбления домочадцев. Но всему есть предел! И он принимает решение — разрубить сей гордиев узел и бежать из Гродно уже навсегда.

Новым прибежищем Шапиро становится столица Австро-Венгрии, ослепительная Вена. Причем первое, что он здесь предпринял, — оформил развод с чуждой ему женой. Примечательна была и его встреча с писателем и публицистом Перецем Смоленскиным (1842–1885), которого в еврейской интеллектуальной элите называли „кумиром прозревших маскилим". Помимо страстной преданности ивриту, их объединяла и общность характеров и судеб (Смоленскин также порвал с ортодоксальным окружением и бежал сначала из Шклова, а затем из Витебска и зарабатывал на жизнь уроками иврита). Шапиро

принял участие в издаваемом в Вене с 1868 года просветительском журнале Смоленскина „Ха-Шахар". И программный посыл этого издания „оставим вредные предрассудки..., будем дорожить нашим языком и нашим национальным достоинством" был вполне ему близок.

Но главная притягательность Вены для Ошера заключалась в том, что она была колыбелью всяческих фотографических новшеств. Достаточно сказать, что венцем Йозефом Максом Петсвалем (1807–1891) был изобретен объектив, который оказался в 20 раз сильнее применявшихся ранее, так что техника портретной фотографии существенно упростилась. Интерес к светописи был здесь необычайный; индустрия развивалась столь интенсивно, что усовершенствованные камеры неуклонно дешевели. Издавалось несколько журналов, посвященных истории, теории и практике фотодела. Не исключено, что Ошер посещал заседания Фотографического общества в Вене, проходившие в стенах Императорской Академии наук. Здесь обсуждались достижения и самые последние новинки светописи. Вероятно и его знакомство с тогдашним президентом этого общества доктором Эмилем Хорнингом (1828–1890), профессором химии, стремившимся поставить фототехнику на научную основу, издателем специализированного профессионального журнала. Но, пожалуй, наиболее сильное впечатление произвела на него организованная весной 1868 года ежегодная международная фотовыставка. С удивлением и завистью смотрел Ошер на все эти хитрые камеры, оптические приборы, альбомы, жанровые и видовые снимки, портреты-дагерротипы. И не ведал он, что минет время, и передовая Вена увенчает его почетной медалью за особые достижения в фотоискусстве...

Но достижения были далеко впереди, а в конце 1868 года Шапиро направился в Петербург. Он лелеял мечту открыть здесь собственное фотографическое дело. Но вот незадача, как лицо иудейского вероисповедания, он не имел права даже на временное пребывание в российской столице. Он жил на нелегальном положении, бродяжничал, не гнушался самой черной работой — чистил снег, убирал улицы. Надломился, ослабел, заболел тифом и наверняка отправился бы к праотцам, если бы не она, эта самоотверженная русская женщина-швея, ходившая за ним, как за малым дитем. Незатейливая и простодушная, но такая чуткая и преданная, это она своей любовью сберегла его жизнь и его мечту. Оправившись, наконец, от тяжелого недуга, он, казалось, почувствовал к ней такую нежную благодарность, каковую не испытывал никогда ни к одной женщине. И Ошер вспоминал свой первый брак, навязанный авторитарным отцом. Тогда он был отчаянно молод, полон надежд и грез, но в глазах жены всегда был скучным чужаком. Та не

оценила и не приняла его в силе и бодрости, а эта русская была рядом с ним в неизбывном горе и поверила в его звезду. Нет, теперь он полюбил и женится непременно по велению сердца, и только на ней, своей спасительнице!

Однако, по законам Российской империи, брак с православной был возможен только в случае крещения иудея. И как ни уговаривал себя Шапиро, что это простая формальность, принесенная в жертву любви, он не мог не понимать, что такой его шаг будет воспринят отцом, да и всеми соплеменниками как предательство своего народа, веры и собственной семьи. Того, кто принял крещение, называли „мешумад", т.е. „уничтоженный". От такого человека отрекались все; существовал даже специальный обряд, когда ближайшие родственники справляли по нему траур (надрывали края одежды и сидели на полу без обуви). Выкреста предавал проклятию (херему) раввин, а на еврейском кладбище появлялась условная могилка, к которой безутешные родители приходили помянуть потерянного сына. Но все это как будто осталось там, в прошлой жизни, связь с которой давно оборвалась. А сейчас, после долгих душевных борений, Шапиро все же решился осенить себя крестным знамением. После церковного обряда он был наречен Константином Александровичем. И получил к тому же право беспрепятственно проживать в Петербурге и — во исполнение заветной мечты! — разрешение открыть здесь фотоателье.

Казалось, все устроилось удивительно счастливо, но наш христианин-неофит глубоко страдал из-за отступничества от веры отцов. Впрочем, ренегатство его было лишь внешним, показным. Люди из ближнего круга Шапиро свидетельствовали: в душе он продолжал оставаться иудеем, вел еврейский образ жизни и строго соблюдал все религиозные обряды. Пройдет время, и на новом витке жизненной спирали он еще вернется в еврейский мир и заявит об этом открыто и громогласно. А пока жена, хотя и помогала зажигать субботние свечи, стала звать его ласково по-русски Костенькой. Да и для окружающих он стал неизменно Константином Александровичем, и имя это как будто к нему приросло.

Прежде чем завести собственное дело, Шапиро начал работать в содружестве со старейшим фотографом Вильгельмом Шенфельдом (1810–1887). Их фотоателье называлось „Шенфельд и Шапиро". „Дагерротипист из Парижа", как себя называл Шенфельд, обосновался в России еще в 1840-е годы и имел за плечами богатый опыт портретной фотографии. Но и Шапиро к тому времени был уже вполне сложившимся мастером, а потому сомнительно, что он объединился с мэтром в целях профессиональной учебы. Их тандем скоро распался (ско-

рее, здесь сыграли роль материальные проблемы). Не прошло и полугода, и 16 ноября 1869 года Константин Александрович дает объявление в газете „Санкт-Петербургские ведомости": „Фотограф Шапиро, желая расстаться с своим компаньоном, предлагает гг. фотографам свои услуги". И хотя фирма „Шенфельд и Шапиро" еще фигурировала на петербургской Мануфактурной выставке 1870 года, однако ее почетным дипломом Константин Александрович был награжден лично, и это было первое признание его заслуг.



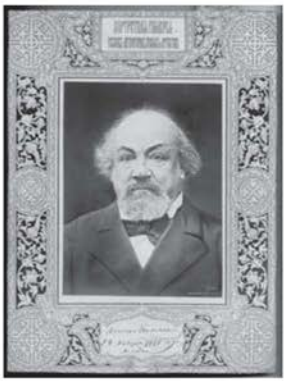
Ф.М. Достоевский. Фотопортрет К.А. Шапиро

Фотоателье Шапиро открылось в бойком месте северной столицы — по адресу, как значилось на фирменном бланке, „Невский проспект, № 30, у Казанского моста, где купеческое собрание" и получило название „Светопись и Живопись". От клиентов не было отбоя, но Шапиро пекся не столько о сорящих деньгами нуворишах. Он испытывал огромный пиетет перед деятелями культуры и науки и был горд тем, что в поле его зрения оказались русские писатели, живые классики. Он приглашает в свою студию Ивана Тургенева, Михаила Салтыкова-Щедрина, Якова Полонского, делает их большие портреты („копии с натуры"), используя при этом самую передовую фотографическую технику. А к Федору Достоевскому приезжает лично и, по свидетельству вдовы писателя Анны Григорьевны, „портрет его вышел довольно удачно,... и г. Шапиро счел нужным предложить... мужу, кроме маленьких портретов, две дюжины кабинетных его портретов", на что тут же получил согласие. Столь высокая оценка работы Шапиро дорогого стоит, ибо Достоевский говорил (словами своего героя) об обязательных для мастера светописи правилах — прочитать „главную мысль лица", запечатлеть „духовное сходство" с оригиналом, только тогда выйдет „настоящий портрет, а не механический оттиск". Примечательно, что в российском телесериале „Достоевский. Жизнь, полная страстей" (2010) имеется сцена, где писатель охотно позирует перед фотокамерой.

Не знаем, как пришла к Шапиро эта идея, названная современниками „прекрасной", но 22 мая 1879 года в газете „Голос" (№81) появляется объявление о его намерении создать „Портретную галерею" выдающихся деятелей современной России. Такой культурно-патриотический проект был, вероятно, подсказан ему петербургским литографом Александром Мюнстером (1824–1908), издавшим в 1860-е гг. 200 превосходных портретов русских деятелей, с биогра-

фическими очерками. „Мы русские, — писал тогда немец Мюнстер, — и ни один русский деятель не должен быть нами забыт". Так и издание еврея Шапиро вышло в свет на волне подъема русского национального самосознания и интереса ко всему русскому.

Первый выпуск „Портретной галереи Русских литераторов, ученых и артистов, изданных фотографом Шапиро" увидел свет в 1880 году. Каждый портрет был окружен художественно исполненной рамкой в старинном русском стиле. Оригиналом ей послужил орнамент с грамоты времен царя Алексея Михайловича. К портрету был приложен лист с краткой биографией писателя на русском и французском языках и его факсимиле. Сведения носили фактический характер, за одним лишь исключением: в биографию высоко почитаемого им Достоевского издатель, не в пример прочим, вставил восторженный отзыв о писателе Виссариона Белинского. Журнал „Российская библиография" (1880, № 53 (1) отмечал: „Это во всех отношениях превосходное издание..., бесспорно одно из лучших изданий последнего времени, и надо только желать, чтобы издатель не замедлял выход в продажу своих следующих выпусков". А „Отечественные записки" (1880, Т.249) говорили о „впечатляющем успехе предприятия г. Шапиро", о том, что это своего рода „светильник русской литературы", возбудивший любовь благодарных россиян.



А.Ф. Писемский. Фотопортрет К.А. Шапиро

Не прошло и двух месяцев, как 800 экземпляров альбома разошлись, и вышел второй его выпуск с портретами Дмитрия Григоровича, Александра Островского, Александра Писемского, Якова Полонского, Льва Толстого, и — снова оглушительный успех! Более того, Шапиро предпринял дешевое, так называемое „народное издание" под названием „Русский Пантеон" и подготовил для него около 140 портретов известных деятелей науки, литературы и искусства. Отбор имен был крайне взыскательным и строгим. Его прошли: Петр Боборыкин; Сергей Боткин; Александр Бутлеров; Петр Вейнберг; Григорий Данилевский; Константин Кавелин; Анатолий Кони; Николай Костомаров; Николай Лесков; Аполлон Майков; Дмитрий Менделеев; Николай Михайловский; Василий Немирович-Данченко; Николай Пирогов; Антон и Николай Рубинштейны; Сергей Соловьев; Константин Станюкович; Александр Серов; Иван Сеченов; Даниил Хвольсон и другие столь же заме-

чательные люди России. Попасть на страницы „Русского Пантеона" почиталось большой честью. Примечательно, что в московской газете „Голос" (1882, № 166) появилась шутливая заметка о некоем г. Канаеве, „авторе начинающем и не подающем никаких надежд": „Я уверен, по крайней мере, — иронизировал газетный критик, — что ваш петербургский фотограф г. Шапиро не запишет имени г. Канаева в список тех знаменитостей, портреты которых он рассчитывает поместить в своем „Пантеоне".

Не обошлось, конечно, и без зоилов. Объявились и такие, кто отрицал самую идею издания портретов знаменитостей. Газета „Дело" (1880, № 9), посетовав на дурные вкусы публики, „воспитанной в школе сонников и всякой иллюстрированной дребедени", разразилась гневной тирадой: „Мы никак не можем понять, почему нас должна интересовать физиономия писателя, ничего не объясняющая и ничего не дополняющая к его внутреннему мировоззрению". Отметив, что судить об „искусстве г. Шапиро" он не вправе, рецензент указывает, однако, на допущенную фотографом явную лакировку действительности. „Старческие, апатичные и несколько помятые жизнью физиономии наших литературных знаменитостей выступают перед публикой у г. Шапиро такими свеженькими, мягкими, примазанными, точно они никогда не знали каторжного труда рабочего кабинета русского литератора и явились из великосветской гостиной или из интимного женского будуара. Милки — да и только!". Впрочем, и некоторые товарищи по цеху говорили, что портреты безмерно приукрашены. Редактор журнала „Фотограф" Вячеслав Срезневский подверг критике произведения „Русского Пантеона", увидев в них зло ретуши: „Кожа лица со всеми нежными оттенками, морщинами, обезображена и обращена в грубую баранью кожу в роде шагреневой. Можно ли иметь так мало вкуса и так подчиниться неразумию конопатчика-ретушера?" Константин Александрович пытался было оправдываться, говорил о трудных условиях съемки, о том, что „некоторые из выставленных лиц обладают наружностью, чрезвычайно неблагодарною для фотографии, что невыгодно отражается на работе". С письмом в поддержку фотографа выступил тогда драматург Александр Островский, где подтвердил свое сходство с портретным изображением, помещенным в альбоме. Большую моральную поддержку оказал Шапиро и Иван Тургенев.



А.Г. Рубинштейн. Фотопортрет К.А. Шапиро

Так или иначе, Шапиро в 1880-е гг. становится культовым фотографом. Его „Светопись и Живопись" прочно вошла в моду, дело росло стремительно (за десять лет годовой товарооборот увеличился почти в 9 раз!) и обрело официальное признание. Великий князь Владимир Александрович удостоил Константина Александровича почетным титулом „фотограф Императорской Академии художеств". На Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года в Москве „за богатое собрание фотографических портретов русских общественных деятелей" он был увенчан бронзовой медалью. А в 1883 году император Александр III отметил его издание дешевого „Русского Пантеона" высочайшей наградой „За полезный труд": большой серебряной медалью.

Альбом Шапиро „Иллюстрации к „Запискам сумасшедшего" Н.В.Гоголя" (1883) высоко оценили даже самые искушенные профессионалы, отметив его как „важную художественную новость", „драгоценный почин г. Шапиро". „Для надлежащего воссоздания образов, созданных писателем, — отмечал Шапиро в предисловии, — от художника требуется, кроме высокого дарования, еще глубочайшее проникновение в дух писателя... Мне казалось, что если бы фотографически передать гениального актера в наиболее характерные моменты роли..., то получились бы приближающиеся к совершенству иллюстрации [художественного произведения]".

Откроем альбом. В нем 30 фотографий известного артиста московских театров Василия Андреева-Бурлака (1843–1888), исполнявшего роль Поприщина. Выразительно переданы поза и мимика этого талантливого лицедея. Последовательность моментальных кадров дает иллюзию запечатленного театрального действа. Это позволяло увековечить наиболее выразительные эпизоды спектакля. Такая серия из мгновенных снимков рождает эффект „движущейся фотографии" — предвестницы хроникальной киносъемки.

Критик Владимир Стасов восторженно писал: „Идея иллюстраций Шапиро нова и оригинальна... ... [Здесь] фотография вступает в союз с настоящим художником... Нечто такое, что найдет себе непременно подражателей не только в России, но и в самой Европе". И Николай Михайловский отметил, что „фотографии г. Шапиро превосходны". Об альбоме как о значимом культурном явлении писали и в Европе. На фотографической выставке в Вене в 1884 году Константин Александрович получил большую золотую медаль. Он предполагал создать подобные альбомы, посвященные „Горю от ума" и „Ревизору", однако замыслы эти, к сожалению, не осуществились.

Владимир Михневич, автор книги „Наши знакомые: Фельетонный словарь современников" (1884), посвятил ему специальную статью:

„Шапиро, известный петербургский фотограф, сколько искусный, столько и предприимчивый, — совершил нечто — более сверхъестественное, чем библейский Ной. Ной собрал с помощью Божьей в своем ковчеге всех чистых и нечистых тварей, то удивительно, но г. Шапиро, собрав воедино в своей портретной „галерее" всех российских писателей, столь разрозненных всяческою враждою, дал пример несравненно удивительнейший. Вообще, г. Шапиро по праву может титуловаться лейб-фотографом русской литературы и русского искусства. Увековечивает он не только деятелей этих профессий, но и их творения, как это показал его замечательный опыт изображения гоголевского Поприщина в исполнении Андреева-Бурлака".

Но мало кто из русского общества, в средоточии которого разворачивалась деятельность этого преуспевающего фотографа, подозревал о переполнявшем его глубоком национальном чувстве. Немногие знали, что он всегда был в душе иудеем, соблюдал все необходимые обряды, собирал и собрал, наконец, знатную библиотеку еврейских книг. Говорили же маскилим — последователи Мозеса Мендельсона, „будь евреем в шатре своем и человеком, выходя из него". Может статься, приверженность Шапиро религии Моисея так никогда и не вышла бы за пределы этого его шатра, но... ядовитый смерч антисемитизма вдруг налетел и порушил все разом, словно утлый карточный домик. Агрессивная юдофобия, набравшая силу на излете царствования Александра-Освободителя, стала той чертой, за которой оставаться безучастным созерцателем было уже никак невозможно.



Шапиро К.А. Автофотопортрет в одежде раввина

Здесь, в Петербурге, Шапиро сближается с выдающимися еврейскими интеллектуалами: поэтом и публицистом Иехудой Лейбом Гордоном (1830–1892), последователем Переца Смоленскина, прозванным „еврейским Некрасовым"; фельетонистом и тонким стилистом, издателем Авраамом Шаломом Фридбергом (1838–1902); редактором первой ежедневной газеты на иврите „Ха-Иом" Иехудой Лейбом Кантором (1849–1915) и др. Духовные поиски приводят его к потребности быть со своим народом, там, где, перефразируя Анну Ахматову, его „народ, к несчастью, был". Происходит перерождение ассимилированного петербургского интеллигента в национального еврейского деятеля.

Свой художественный дар он аккумулирует теперь в поэтическое слово и обращается к соплеменникам на великом языке Торы. Незрелые ученические вирши остались в детстве, а теперь затверженный с младых ногтей иврит обретает под его пером особую выразительность и блеск.

В первом опубликованном стихотворении „К певцам моего народа" („Эл мешоререй бат-амми", 1879) он еще верен прежним просветительским идеалам: скорбит о том, что евреи, „подобно льду", закоченели в своем невежестве. Задачу поэта он видит в том, чтобы „железным стихом" разбудить „спящий сном непробудным народ", а панацею от изоляции и преследований видит в приобщении единоверцев к мировой культуре.

Однако погромы, ознаменовавшие первые годы правления „фельдфебеля на троне" Александра III, похоже, начисто избавили его от ассимиляторских иллюзий. В еврейской печати он теперь страстно выступает за национальную и религиозную идентичность евреев. Кроме того, он не только словом, но и материально поддерживает многие еврейские культурные проекты, журналы и газеты на иврите; не отказывает и в помощи бедным иудеям-студентам. Но в счастливое будущее еврейства в России верит слабо и включается в злободневную тогда полемику о необходимости эмиграции иудеев из империи. И настаивает на предпочтительности эмиграции именно на землю предков. Более того, он присоединяется к движению Ховевей Цион и жертвует немалые суммы на организацию сельскохозяйственных колоний в Палестине.

И в стихах он поет о бедах гонимого народа. Лирику Шапиро отличает величественная образность и характерная напряженность стиля. Он призывает к мщению за национальную катастрофу, прося у Всевышнего „огня из ада, смолы и серы из Содома и Гоморры, чтобы испепелить весь мир"; скорбит о „величайшем божьем проклятии" еврейского народа — о его бессмертии. Подчас вдохновителем его Музы становится великий образ материнской любви — праматерь Рахиль, молчаливая и прекрасная. Гимн еврейской женщине звучит во многих стихах поэта, в том числе в текстах „Ивритский поэт" („Хамешорер ха-иври, 1898), „Сила души еврейской женщины" („Коах лев ишша иврия", 1899) и др.

Духом романтизма проникнута одна из лучших его поэм „Видения моего народа" („Хезионот бат-амми", 1884), где, пожалуй, впервые в поэзии на иврите (!) сюжеты Агады сочетаются с его лирическими воспоминаниями о детстве в родном Гродно. Происходит очевидная метаморфоза: то, от чего Шапиро в дни юности отвернулся с негодова-

нием и проклятием, становится дорогим, милым сердцу поэта. Воспоминания детства, простой патриархальный уклад жизни, народные верования и обряды обретают высокий эстетический накал. И в стихотворении „Благословение субботних свечей" („Биркат нерот", 1886) воспевается древний еврейский обряд.

Не обходит он вниманием и острые события современной эпохи. Глубоко оригинальна поэма „Содом" („Сдом", 1899), посвященная пресловутому антисемитскому „делу Дрейфуса". Это своего рода бурлеск, где высокие библейские образы используются для характеристики неприглядной современной жизни, что и порождает комический эффект. Примечательно, что после смерти Шапиро большая часть его произведений была собрана и издана отдельной книгой „Избранные стихи" („Ширим ниврухим", Варшава 1911)...

Казалось бы, две ипостаси Константина Шапиро, русская и еврейская, — это какие-то параллельные миры, существующие сами по себе и никак не пересекающиеся. Казалось бы, он должен был испытывать душевный разлад. Нет, ничуть! И обособленность эта мнимая! Шапиро понимал: подавляющее число российских евреев к концу XIX века говорили на русском языке и жадно читали русскую литературу. И он взял за правило знакомить соплеменников с последними литературными новинками, тем более, что был лично знаком со многими русскими писателями. Представляет интерес эссе „Тургенев и его рассказ „Жид" („Тургенев ве-сипуро „Ха-иегуди", 1883), где он защищает классика от обвинений в предвзятом отношении к евреям. Напомним, Тургенев снимался в ателье Шапиро, и его портрет был ретуширован. Не оставил ли он попытку приукрасить облик писателя и на сей раз?

Предприимчивый фотограф, Константин Александрович продолжал украшать витрину своего ателье портретами известных и знаменитых людей. У него неоднократно снимался Антон Чехов. Брат писателя Александр, увидев выставленный портрет Антона Павловича, раздраженно писал ему: „Шапиро выставил твой портрет. Публика любуется и находит гениальные черты и в глазах, и в носу, и в складках губ, и проч. Прислушался раз к восторгам барынь, взвизгивавших у витрины, возмутился, плюнул и ушел... Не всегда приятно быть и популярным человеком". Сам же Чехов оценивал „шапировские карточки" с присущим ему юмором. Об одной из них сказал, что он здесь „зализан и похож на святого"; о другой, — что „вышел каким-то иеромонахом, а между тем, [он] большой грешник и [ест] в пост скоромное". А в письме к А.М. Евреиновой от 8 февраля 1889 года сострил: „Нельзя ли посвататься по телеграфу? Меня невеста может видеть в фотографии Шапиро".

В 1891 году мастерскую фотографа удостоил своим посещением сам великий князь Константин Александрович: „с него были сняты 6 кабинетных и 3 больших парадных портрета, из коих два немного менее натуральной величины". Фотографировал Шапиро и других персон августейшей фамилии. Вскоре к его прочим титулам добавляется — „фотограф их императорских высочеств Константина Александровича и Марии Павловны". На весенней 1891 года фотографической выставке в Петербурге он поучил серебряную медаль „за искусное выполнение портретов и типов". Получил он признание и в Европе: Парижская Академия изобретателей избрала его своим членом-корреспондентом.

Однажды в фотоателье Шапиро случился пожар, погибло много его работ и огромное количество негативов. Это страшное событие отражено в письмах современников. Известный адвокат Анатолий Кони сообщил Антону Чехову из Петербурга 24 ноября 1900 года: „Как нарочно — у меня осталась лишь одна карточка, негатив которой погиб при пожаре в фотографии Шапиро". Эта трагедия глубоко потрясла нашего фотографа.

В том же 1900 году Константина Александровича не стало. Он, по счастью, успел заблаговременно распорядиться своим наследием. Фотографическое дело перешло к его сыну Владимиру. Фирма сохранила имя своего основателя и называлась „Шапиро, Конст.". С 1907–1918 гг. ее владельцем был племянник Константина Шапиро Павел Семенович Жуков (1870–1942).

По завещанию Шапиро, несколько десятков тысяч рублей отошли Одесскому комитету общества Ховевей Цион, а его богатая библиотека была передана филантропу Иосифу Хазановичу для последующей пересылки в Иерусалим (она и ныне хранится в Еврейской национальной и университетской библиотеке)...

Константин Шапиро, гармонично соединивший в себе два разнородных мира, положил жизнь на то, чтобы внести в каждый из них своеобычный вклад. И своего добился: фотографические портреты великих сынов Отечества обеспечили ему почетное место в русской культуре; и его еврейская Муза нашла широкий отзвук среди соплеменников. Так благодаря усилиям одного Шапиро два мира — русский и еврейский — сделались ярче, богаче, заиграли новыми красками.

ИЗ ИУДЕЕВ — В СЛАВЯНОФИЛЫ

ПАВЕЛ ШЕЙН



П.В. Шейн

Павел Васильевич Шейн (1826–1900) — фигура знаковая. Его сборники русских народных песен занимают в мировой фольклористике самое почетное место. Благодаря усилиям Шейна, достоянием культуры стали более 2 500 великорусских, 3 000 белорусских песен, около 300 сказок и легенд, множество пословиц, заговоров, других произведений фольклора. Основной его труд, „Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах...” (1898–1900), явивший собой грандиозную попытку поэтического выражения русского народа с невиданной доселе шириной охвата, стал главнейшим источником для изучения обрядовой поэзии. В отличие от своих предшественников, Шейн стремился представить в своих изданиях массовое творчество, показать, как народная поэзия живет в крестьянском быту. Наряду с „Песнями” Петра Киреевского, „Пословицами русского народа” Владимира Даля, „Народными русскими сказками” Александра Афанасьева, „Онежскими былинами” Александра Гильфердинга, сборники Павла Шейна относятся к выдающимся книжным памятникам.

Жизнь и судьба Павла Шейна весьма примечательны. Выходец из иудейской среды, только в 17 лет обучившийся русскому языку и крестившийся в 22 года, он вдруг становится страстным собирателем и популяризатором русского фольклора, отдав ему более 40 лет жизни. А если принять во внимание, что он был калекой, передвигался на костылях и трудился на сем поприще бескорыстно, тратя на это свое скромное учительское жалование, деятельность его можно назвать беспримерным подвигом во благо России. Характерно, что писатель Василий Розанов, говоря о выдающихся евреях, сравнил вклад Шейна в развитие русского духовного самосознания с творчеством живописца родной природы Исаака Левитана. „Время оценки Шейна еще настанет”, — пророчески указал Розанов.

Многое в творческой биографии Павла Васильевича еще остается невыясненным. Не вполне понятно, ощущал ли Шейн свою еврейскую идентичность, почему он отказался от заложенных с детства религиозных традиций, в результате какой работы мысли и душевных борений пришел он к идее посвятить свою жизнь русскому народному творчеству. Его духовные искания представляют тем больший интерес, что и в сегодняшней России многие деятели еврейского происхождения отказываются от своих национальных корней и иудейской веры, жертвуя ими во имя христианства и русской культуры. А потому путь Шейна, его подвижничество на ниве русского народоведения оказывается глубоко симптоматичным. Признавая неотъемлемое право каждого на выбор пути и свободу совести, мы попытаемся воссоздать творческий путь Шейна таким, каким он был, руководствуясь исключительно требованиями исторической правды и не опускаясь до пристрастных оценок и навязчивого морализаторства. Может статься, наш рассказ наведет читателя на вопросы, не имеющие однозначных ответов. Смеем, однако, думать, что сама постановка таких судьбоносных вопросов, решение коих, по словам поэта, „каждый выбирает по себе", является и важной, и своевременной.


БѢЛОРУССКІЯ НАРОДНЫЯ
ПѢСНИ,
СБОРНИКЪ П. В. ШЕЙНА.

Тит. л. кн.: Шейн П.В. «Белорусские народные песни...» (1874)

Биографы Шейна говорят, что он был „воспитан в упорных еврейских антипатиях" к христианству и иным культурам, и, оказавшись в обществе русских людей, якобы нравственно и интеллектуально превосходивших его соплеменников, он раз и навсегда порвал с прежней средой, заскорузлой и косной. Такая примитивная схема грешит тенденциозностью и не вполне соответствует действительности.

Ноах родился в Могилеве на Днепре и был старшим сыном в семье небогатого торговца Мофита Шейна. Как это водилось в иудейских семьях, пятилетним мальчуганом он был отдан в хедер, где, выучившись свободно читать и писать на древнееврейском языке, под водительством бдительного меламеда постигал Тору и премудрости Талму-

да. Однако дальнейшее обучение Ноаху пришлось продолжить на дому, по причине неожиданно открывшихся у него неизлечимых телесных недугов. Вот что скажет об этом он сам: „До пятнадцати лет переболел я многими тяжкими болезнями, часто приковывавшими меня надолго к родимой берлоге, к одру страданий, а на пятнадцатом сподобился испытать участь Ильи Муромца, в первый период его жизни, то есть сделался калекой неперехожим". Сравнение с легендарным богатырем пришло на ум Ноаху позднее, тогда же в силу болезни он, прикованный к дому, не знал не только русского, но и белорусского языка, на коем говорило большинство жителей Могилева.



Ф.Б. Миллер

Зато поднаторел в еврейской учености, богословии и грамматике — ведь недаром говорят: чем слабее тело, тем сильнее дух! В этом ему помог некий просвещенный раввин (имя его он не сообщает), уроки которого оплачивал Шейн-старший, озабоченный серьезным образованием сына. „Этот раввин, — отмечает этнограф В.Ф.Миллер, — принадлежал к тому типу еврейских либералов, которых русские евреи, называли „берлинерами". То были поборники Гаскалы — Еврейского Просвещения (основоположником сего движения был знаменитый германский мыслитель Мозес Мендельсон), и иудейская масса относилась к ним настороженно, если не сказать враждебно. Дело в том, что, скованный бесчисленными запретами и предписаниями, еврей-традиционалист не тяготился ими, но видел в этом источник бесконечных радостей; ум его находил удовлетворение в тонкой диалектике Талмуда, чувство же в мистицизме Каббалы. Знание грамматики почиталось такими староверами чуть ли не как преступление, кощунственными казались им и пропаганда светских знаний, разговоры об улучшении еврейского воспитания. Между тем, идея просветителей (берлинеров, маскилов) состояла в том, чтобы возрожденный древнееврейский язык стал средством приобщения иудеев к европейской культуре и цивилизации. И нет сомнения, что помянутый раввин знакомил Ноаха с трудами на иврите по светским наукам — естествознанию, медицине, математике, истории. Кроме того, он воспитывал в нем поэтическое чувство, обучил законам версификации. Ведь, как отмечает „Еврейская энциклопедия", „витиеватый слог, звучная рифма, красивое выражение, составленное из обломков

библейских стихов, почиталось [берлинерами] весьма ценными. Каждый считал долгом слагать оды в честь библейского языка, „прекрасного и единого".

То, что к образованию отрока привлекли такого раввина-либерала, не означает, конечно, что родители Шейна сами были людьми передовых взглядов. По всей видимости, выбор наставника был сделан случайно, и отец, озабоченный торговлей и гешефтами, не придавал значения досужим толкам о том, что этот „учителишка (болячка ему в бок!) воспитывал кинда из порядочной семьи как какого-нибудь гоя". Между тем, помимо языкового чутья и глубокого знания древнееврейской литературы, Ноах уже в отрочестве обрел важное, определившее всю его дальнейшую жизнь качество — открытость к новым знаниям, иным языкам и культурам.

И видно, что отец любил своего первенца, который (вот это голова!), несмотря на недуги, помогал ему вести всю торговую бухгалтерию. Но вот оно какое, еврейское счастье! — болезнь Ноаха все усугублялась, а врачевание местечковых эскулапов впрок не шло. Хвала Всевышнему, что купцы-единоверцы насказали Шейну-старшему о Ново-Екатерининской больнице в Москве — там, дескать, обретаются настоящие медики-чудодеи, которые только мертвых не поднимают на ноги. И Мофит заторопился в Первопрестольную и добрался до Глебовского подворья, где обычно останавливались на краткий срок заезжие иудеи (жить в Москве продолжительное время им строго возбранялось). И снова повезло — он сыскал подходящего грамотея, который написал ему прошение на имя столичного генерал-губернатора князя А.Г. Щербатова о дозволении показать больного докторам. Наконец, разрешение было получено, и заботливый родитель на руках принес неподвижного сына в больницу. По счастью, главного врача, доктора А.И. Поля болезнь заинтересовала, и Ноаха оставили на лечение. Какое-то время Мофит находился при сыне и доставлял ему кошерную пищу, однако вынужден был удалиться восвояси, в родной Могилев. Между прочим, его отношение к сыну биографы изображают превратно: якобы, Мофит повинен и в том, что Ноаха лечили в Могилеве невежественные лекари (будто он был дока в медицине и в выздоровлении сына заинтересован не был). И в Москву привез его из корысти (воспользовался болезнью юноши, чтобы самому остаться и торговать в этом закрытом для иудеев городе). Факты этого не подтверждают, и то обстоятельство, что отец, покуда его как иудея из столицы не выдворили, находился при Ноахе неотлучно и следил за его питанием, свидетельствует как раз об обратном.

Медиков привлекла возможность испробовать на пациенте новые методики врачевания — массажи, растяжки, а также только что изо-

бретенные „тиски Штромайеровой машины". Обер-полицмейстер Н.П.Брянчанинов регулярно докладывал генерал-губернатору, что и больному надобно покинуть Москву, но главный врач стоял на своем, поскольку „к излечению еврея Ноаха Шайна имеется надежда". Минуло два года, и в рапорте Н.П. Брянчанинову от 31 марта 1845 года сообщалось: „Еврей Ноах Шайн, несмотря на медленное по упорности болезни лечение, получил значительное облегчение. Так что есть большая надежда к восстановлению владения в ногах, и старший врач Поль нужным считает оставить его, Шайна, в больнице для дальнейшего лечения". И вскоре произошло чудо — Ноах встал на ноги, и хотя мог передвигаться только на костылях, но уже самостоятельно, — и это было счастьем. Перед ним предстала Белокаменная русская столица, причем не из окна лечебницы, а во всей своей осязаемой красе площадей, набережных, извилистых улочек и закоулков. Он без посторонней помощи мог совершать по ней непродолжительные пешие прогулки...

Юноша вызывал сочувствие и симпатию окружающих. Странноватое еврейское имя Ноах они переиначили на русский лад и стали называть его Павлом. Этот Павел по части языкознания оказался феноменом удивительным. Под руководством нескольких студентов и врачей больницы — выходцев из Германии он быстро овладевает немецким языком и открывает для себя поэтический мир И.В. Гете, Г. Гейне, Ф. Шиллера, Ф. Рюккерта, Г.Ф. Фрейлиграта. При этом не ограничивается пассивным чтением: красоту и богатство немецкого литературного языка стремится привнести в родной ему идиш, сочиняет на нем стихи в духе Гейне, доказывая тем самым, что этот „жаргон" (так нелестно аттестовали идиш даже во второй половине XIX века) вполне пригоден для выражения высоких поэтических чувств. Нельзя не видеть в этих его опытах продолжение традиций Менделя Левина, который стремился превратить идиш в полноценный литературный язык. Важно и то, что Шейн поначалу пишет стихи исключительно для своих единоверцев — он не мыслит себя вне еврейства, плотью от плоти коего себя ощущает.

Едва только один соплеменник-выкрест из бывших кантонистов обучил Павла начаткам русской грамоты, тот приохотился к чтению и требовал все новые и новые книги. Вообще, русские люди, окружившие его в Ново-Екатерининской больнице, своим участием и бескорыстной помощью внушили ему особое расположение и душевную привязанность к ним. Тора воспитала в нем чувство благодарности, которую, как учил его наставник-раввин, человек должен выражать всегда, словесно и на деле. Первое затверженное Шейном русское слово, было „спасибо", и он не уставал повторять его семь раз на дню, вызывая понимаю-

щую улыбку окружающих. И сам он пытался понять умом, почувствовать и принять всем сердцем этот приютивший его симпатичный, добрый народ. Он жадно читает русскую классику и всматривается в национальные типы, представленные в произведениях Н.В. Гоголя и В.И. Даля. Живо интересуется российской историей и проникается ее величием, штудируя сочинения бессмертного Н.М. Карамзина, М.М. Щербатова, В.Н. Татищева, И.Н. Болтина. Искушенный в древней поэзии, он восхищается мелодикой русского стиха, заучивает и читает наизусть стихотворения В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Е.А. Баратынского, Е.П. Ростопчиной. Он и сам пытается сочинять. Однако наряду со стихами на русские темы, думы о еврействе попрежнему занимают и волнуют его. Он внимательно читает книги о своих соплеменниках на немецком языке и делает стихотворный перевод на русский язык классической трагедии поэта-маскила Иосифа Тропловица „Саул" на древнееврейском языке. Есть сведения, что он в то время был одержим идеей просвещения своих единоверцев.

Что ж, сосредоточимся на его внутреннем убеждении служить своему народу (впрочем, сравнительно скоро покинувшем Шейна). Говорят, история не имеет сослагательного наклонения. Имеет, еще как имеет! История, как и жизнь, многовариантна. И все меняется порой из-за какой-то сущей случайности, в коей фаталисты видят исполнение неумолимого рока, а люди верующие — Божественный Промысел. Незадолго до Павла из черты оседлости в Москву отправился другой даровитый еврейский юноша, Леон Мандельштам (1819–1889). Он начал изучать русский язык почти одновременно с Шейном (в 16 лет), писал на нем незрелые, но искренние стихи об отчем доме, о дороге к знаниям, выпавшей на его долю. И он станет первым иудеем — выпускником российского университета, защитит диссертацию, получит степень кандидата прав, и все это сделает для того только, чтобы сеять просвещение и культуру среди евреев, чему и посвятит жизнь. В 1846 году Леон становится „ученым евреем" (была такая официальная должность!) при министре народного просвещения графе С.С. Уварове и ревностно станет проводить в жизнь николаевские реформы по „преобразованию" российских иудеев (работу более 150 вновь открывшихся еврейских училищ он будет инспектировать и курировать). Мандельштам станет первым автором-евреем, издавшим поэтический сборник на русском языке. Составитель еврейско-русских и русско-еврейских словарей, толкователь Библии и Талмуда, переводчик Моисеева Пятикнижия на русский язык, яркий публицист и журналист, первый переводчик произведений Пушкина на иврит, он стяжает не громкую, но почетную славу еврейского просветителя. Повернись жизнь иначе, может, и Шейну была бы уготована похожая участь. Однако...

В 1846 году лечение Павла в больнице подошло к концу, и надобно решать было, как жить дальше. Но — случайность ли это или рука Всевышнего! — в его еврейских пенатах происходят события чрезвычайные: мать, любящая мамеле Ноаха (а ей так и не довелось узнать его нового имени Павел!) отправилась к праотцам, а его дражайший родитель, недолго кручинясь, женился на молодухе, женщине вздорной и расчетливой. Она-то, окаянная, верховодит теперь и домом и отцом. Эта новоиспеченная мачеха смотрит на него, пасынка, как на постылого калеку, тягостную обузу для семьи. Понятно, попасть от нее в зависимость было для Павла смерти подобно. Потому-то о возвращении в Могилев он говорит не иначе, как с ужасом. И потому именно, а не из-за сродства с русской культурой (которое хотя и зрело в нем тогда, но еще не вполне укоренилось), он всеми правдами и неправдами стремится остаться в Москве. И вот (услышал Господь молитвы раба своего!) врачи больницы испросили ему разрешение обучаться в столице, и Павел приемлет сие как дар небес и вскоре становится ученикомпансионером сиротского отделения училища при лютеранской церкви св. Михаила. Этот шаг имел для Шейна важные последствия, ибо по мере учебы все более ослаблялась его связь не только с родными (символично, что отделение называлось „сиротским"!), но и вообще с еврейскими корнями и традициями. Все свое внимание он обращает к России, ее культуре.

Здесь, в училище, русский язык и литературу преподает известный поэт Федор Богданович Миллер (1818–1881), который сразу же выделил этого пытливого юношу с недюжинными гуманитарными способностями. По признанию же Шейна, Миллер стал для него более чем учителем: он был другом и „родным братом", принимал „деятельное" участие в его судьбе; их объединили „довольно сходные мнения и чувства", любовь к русской словесности и языку. Именно Федор Богданович приобщил Павла к устному народному творчеству. Искусный стилизатор и знаток русской старины, он сам творил яркие произведения по фольклорным мотивам („Поток-богатырь и девица Лебедь" (это былина из времен князя Владимира Красного Солнышка), „Песня про Илью Волговича", „Русалка", „Помолодевший старец" и др.). Между прочим, его шутливые стихи „Раз, два, три, четыре, пять, // Вышел зайчик погулять" стали поистине крылатыми. Именно Миллер пробудил в Шейне интерес к записям произведений фольклора. А все началось с того, что чуткий Павел стал прислушиваться к живому московскому говору, подмечая в нем яркие слова, образные выражения. Уже в 1846 году, то есть в самом начале своего школярства, он записал „длинный выкрик" молодого разносчика клюквы: „По клюкву, по клю-

кву!"; в другой раз — разговор с „незавидным" извозчиком, который на слова Шейна: „Экая, братец, у тебя лошаденка, настоящая мышка, того и гляди не довезет!", — метко отвечал: „Эх, барин, ведь не поется большой, а поется удалый!".

Федор Богданович пробудил в Павле то беспокойное чувство, ставшее затем стойким состоянием души, которое называли тогда „деятельное народолюбие". Этому немало способствовали литераторы, сгруппировавшиеся вокруг поэтов Федора Николаевича Глинки и его жены Авдотьи Павловны, в московском доме которых на Садовой улице Павел по рекомендации Миллера был принят и вскоре стал желанным гостем.



Ф.Н. Глинка

Федор Николаевич Глинка (1786–1880) привлек Шейна знанием Библии, любовью к отечественной старине, широтой и глубиной эрудиции в самых разных науках — истории, словесности, этнографии, мифологии; он был собирателем древних русских рукописей и книг. Писатель читал вслух гостям отрывки из сочиненного им (совместно с Авдотьей Глинкой) „народного предания" под названием „Таинственная капля" — о земной жизни Иисуса Христа, содержание коей, по его словам, было заимствовано „из древней легенды, сохранившейся в хрониках средних веков, в семейных рассказах и в памяти христианских народов". Говорилось здесь о разбойнике, вкусившем в младенчестве каплю молока Богородицы и раскаявшемся при распятии на кресте рядом со Спасителем. То был первое подробное повествование о Христе, услышанное нашим героем, и, понятно, было по отношению к нему деятельным прозелитизмом авторов. Неизвестно, оказало ли оно тогда влияние на его тогда еще не крещеную душу. Но вот образ ветхозаветного праведника, представленный в „Свободном подражании Священной книге Иова" Глинки, Павлу, воспитанному в иудейских традициях, был более близок. Тем более, сам сочинитель говорил здесь: „У евреев ученые раввины, составители Талмуда, потом раввин Елеазар и другие... с благоговением рассуждали об этой книге". И юноша мог подписаться под словами Федора Николаевича: „Повесть о страданиях Иова во все времена будет велика, прекрасна, для всех трогательна, ибо она основана на общей истине и составляет историю всего человеческого рода". Знал Шейн и о том, что Глинка написал „народную повесть", которую адресовал „сельским чтецам,

деревенским грамотеям", а такие произведения поэта, как „Не слышно шуму городского..." и „Вот мчится тройка удалая...", сами станут потом народными песнями.

Супруга Федора Николаевича, Авдотья Павловна Глинка (1795–1863), обладала замечательным качеством, которое в былое время на Руси называли странноприимством. Женщина „высокой и теплой души", она благодетельствовала нищим, привечала стариков, калек (то, что Шейн был калекой, вызывало у нее особое сострадание), любила разговаривать с крестьянами и, выведав их нужды, спешила творить добро. Пожалуй, одна из первых Глинка преподала Павлу урок заботливого внимания к русскому крестьянину: она выступила популяризатором Священного Писания в народной среде. Из книг такого рода особым успехом пользовалась ее „Жизнь Пресвятой девы Богородицы из книг Четьи-Минеи" (1840), которая выдержала более двух десятков изданий. (Примечательно, что Ф.М. Достоевский сформулирует впоследствии положение, реализованное ранее в творческой практике А.П.Глинки: „Мы должны преклоняться перед правдою народной и признать ее за правду, даже и в том... случае, если бы она вышла бы отчасти из Четьи-Минеи"). Авдотья Павловна задалась целью переложить „книжный славянский язык, возвышенный, великолепный, [но] ...не довольно слит[ый] с нашим бытом общественным" на „простой, почти разговорный русский язык". А в предисловии к своей книге она обратилась к россиянам с такими словами: „Как же нам, воспитанным в Церкви православной, не ублажать Пречистую Матерь Господа? Отечество наше исполнено знамением ее милостей... Да утешит каждого... всеобщая Утешительница христиан!". Строгим христианским благочестием отмечена и лирика Авдотьи Глинки, изобилующая обличительно-назидательными интонациями с характерными укорами искателям „наслаждений и ума". Подавляющее большинство ее стихов религиозно-моралистического свойства с настойчиво повторяющимися заглавиями: „Тебе", „Себе", „Он все", „Никто более", „Верующим" и т.д. Исследователь Н.В. Новиков, исследовавший архивы Шейна, говорит об их тесной дружбе с Авдотьей Глинкой, из чего можно заключить, что она оказала на него нравственное, а, может быть, и религиозное влияние.

Дружеские отношения связывали Павла и с Семеном Егоровичем Раичем (1792–1855), тоже человеком глубоко религиозным, сыном священника и выпускником Орловской семинарии (он, между прочим, был братом киевского митрополита Филарета Амфитеатрова). Преподаватель русской словесности Московского университета, Раич был и знатоком европейских литератур, переводчиком „Георгик"

Вергилия, „Неистового Роланда" Л. Ариосто, „Освобожденного Иерусалима" Т.Тассо. О том, какое обаятельное и симпатичное впечатление производил Семен Егорович, говорит хотя бы тот факт, что его воспитанник-поэт Ф.И. Тютчев благоговел при одном упоминании имени С.Е. Раича и ставил его выше признанного корифея, профессора А.Ф.Мерзлякова. И хотя некоторые произведения поэта служили объектом насмешек и пародий (например, получивший печальную известность стих: „Вскипел Бульон, течет во храм"), Шейн относился к поэзии своего старшего друга с благоговением, а впоследствии, уже спустя много лет после его кончины, цитировал стихи Раича в своих трудах.

Кружок Глинок посещала и графиня Евдокия Петровна Ростопчина (1811–1858), творчество которой производило на Павла самое сильное впечатление. Жизнь женской души, для которой любовь — смысл существования, составила ведущую тему ее стихотворений, в коих и взыскательный В.Г. Белинский находил „высокий талант". Очень точно и лаконично сказал о ее стихах Ф.И Тютчев: „То лирный звук, то женский вздох". Это „лирное", мелодическое начало поэзии Ростопчиной отозвалось в ее фольклорных стилизациях („Простонародная песня", „Русская песня", цикл „Простонародные мелодии и песни") и в романсах, положенных на музыку М.И. Глинкой, А.С. Даргомыжским, П.И. Чайковским, А.Г. Рубинштейном. Примечательно, что впоследствии В.Ф. Ходасевич и всю ее поэзию охарактеризует как „романс, таящий в себе особенное, ему одному свойственное очарование, которое столько же слагается из прекрасного, сколько из изысканно безвкусного". Шейн, однако, не находил в стихах графини решительно никаких изъянов. „С тех пор, как Господь „книжному меня искусству вразумил", — поведал он Ф.Б. Миллеру, — ни один поэт из всех, читанных мною, не возбуждал во мне столько душевного участия и сочувствия, как графиня Ростопчина, потому что никто из них не говорил моей душе таким родным ей языком, как она".

Завсегдатаем в доме был и поэт, критик, мемуарист Михаил Александрович Дмитриев (1796–1866), называвший себя „антикварием литературных наших дел". Переводчик произведений Горация, Г. Гейне, Ф. Шиллера, И.Г. Гердера, Л. Уланда, он в то же время неизменно критиковал западников, сетовал на оскудение христианской любви, забвение старинных русских обычаев и переимчивость иностранного. Характерно, что в стихотворении „Семисотлетняя Москва" (1845), которое мог слышать Шейн в доме Глинок, он сетует:

Раз лишь ослушалась наша Москва! Не хотелось старушке
Бороды брить сыновьям, дочерей наряжать по-немецки!
Старые люди упрямы! Старые кости не гибки!
Стыдно ей было плясать на старости лет в ассамблеях,
Горько ей было, что внуки в Немецкую слободу ездят!

Хотя М.А. Дмитриев писал и лирические, и эпически-описательные, и публицистические произведения, наибольшее внимание современников привлекала его сатирическая поэзия, о которой Н.В. Гоголь сказал, что в ней „желчь Ювенала соединилась с каким-то особым славянским добродушием". Кроме того, Михаил Александрович был прекрасным рассказчиком, раскрывшим Павлу художественные достоинства русской литературы XVIII века, воспринимавшейся большинством читателей 1840-х гг. как череда нелепых ошибок. „Наша литература последней половины прошлого века была не так слаба и бесплодна, как некоторые об ней думают. — оспаривал это предубеждение Дмитриев. — Она ограничивалась не одними цветочками, но приносила плоды, которыми в свое время пользовались и наслаждались". Племянник видного стихотворца И.И. Дмитриева, близкого друга писателя и историографа Н.М. Карамзина, он дает живые портреты литераторов в интерьере времени, доносит до слушателя дыхание Екатерининa века.

При этом особенность его повествования составляли безыскусственность и простота. Подкупали также особый доверительный тон и удивительная скромность автора. Свои бесценные мемуары он назовет потом „мелочи из запаса моей памяти" и будет говорить: „Я знаю многое кое-что об нашей литературе, или об наших литераторах, что теперь или не известно, или забыто... Я не признаю в этом никакого достоинства, потому что обязан этим только моим летам, только тому, что я живу дольше других, что я старее молодых словесников: преимущество не важное!". Хотя М.А. Дмитриеву в то время едва перевалило за пятьдесят, Павел воспринимал его как старика, но внимал ему с жадностью.

Кружок Глинок посещал и прозаик, поэт, историк Александр Фомич Вельтман (1880–1870), бывший в то время заместителем директора Оружейной палаты Московского Кремля. Действительный член Общества любителей российской словесности и Общества истории и древностей российских, он в своем творчестве деятельно разрабатывал тему древней Руси (письмо „О Господине Новгороде Великом", 1834). Его считают создателем оригинального фольклорно-исторического жанра, черты которого видны в романах „Кощей Бессмертный. Былина старого времени" (1833) и „Святослав, вражий питомец" (1835). Белин-

ский отмечал, что романы Вельтмана о древней Руси „народны в том смысле, что дружны с духом народных сказок, покрыты колоритом славянской древности". К славянству же и славянскому фольклору писатель проявлял стойкий интерес — опубликовал роман „Райна, королева болгарская" (1843), стихотворную драму „Ратибор Холмоградский" (1841), а также написанную на основе сербских баллад и преданий „Троян и Ангелица. Повесть, рассказанная светлой денницей ясному месяцу" (1846). Важно и то, что Александр Фомич был неутомимым собирателем фольклорных произведений, что объединяло его с нашим героем.

В числе непременных посетителей литературных вечеров был поэт, переводчик, историк Николай Васильевич Берг (1823–1884), тоже „народолюбец" и энтузиаст славянства. Он перевел стихотворения и эпическую поэму „Пан Тадеуш" Адама Мицкевича, произведения болгарских, сербских, словацких, украинских, словенских, чешских поэтов. Однако особое внимание уделял Николай Берг изучению народной песни славян, и в этом отношении общение с ним было благотворно и чрезвычайно полезно для Шейна (в 1854 году Н.В. Берг издаст сборник „Песни народов мира", куда войдут песни 26 народов — в оригинале и переводе на русский язык).

Бывал в доме на Садовой улице и поэт Василий Иванович Красов[1] (1810–1854). Выпускник Вологодской семинарии и словесного отделения Московского университета, он до 1839 года исправлял должность адъюнкта Киевского университета. Стихи писать он начал рано и печатался в таких популярных тогда изданиях, как „Московский Наблюдатель", „Отечественные Записки", „Молва", „Москвитянин", „Библиотека для Чтения". Знаток древних и новых языков, переводчик Овидия, И.В.Гете, Г. Гейне, Дж. Г. Байрона, он благоговел перед У. Шекспиром и Вальтером Скоттом и в то же время был сторонником русской самобытности и писал песни в народном духе (кстати, был дружен со своим знаменитым земляком А.В. Кольцовым, о коем говорил: „Я люблю его задушевно").

О глубоком понимании Красовым самых основ народного искусства говорит его работа над целым циклом российских песен, куда входили песни царевны, ямщика, новгородского удальца и где, по словам поэта, „должна кипеть вся широкая богатырская отвага

[1] С Глинками его, возможно, познакомила Елизавета Алексеевна Драшусова-Карлгоф (ок. 1816–1884), частая посетительница их литературных вечеров (воспоминания об этом она включила в свой неопубликованный роман „Не от мира сего"). В.И. Красов посвятил ей балладу „Клара Моврай" (Киевлянин, Кн. 1, 1840, С. 124–126), навеянную романом Вальтера Скотта „Сен-Ронанские воды".

древней Руси". Его песни обретали совершенные формы в их строгой простоте и доверительности, идущей от народной поэзии интонации („Уж я с вечера сидела", „Старинная песня", „Уж как в ту ли ночь" и др.). О творческих исканиях поэта в этом жанре дает представление его „Русская песня":

Ах, ты, мать моя, змея-мачеха!
Я пойду гулять — разгуляюся,
С молодым купцом повидаюся;
Я пойду гулять, наряжу себя,
Уберусь ли вся по-бывалому:
В косу длинную, в косу русую
Заплету — вот так — ленту алую...
У меня, младой, грудь высокая,
Глаза черные с поволокою,
На белой груди жар-кольцо горит...

Однако научная карьера у Красова не задалась (говорили, что помешала сему как раз его поэтическая натура — „восторженность", „необыкновенный жар", „особенность видеть в утрированном поэтическом свете самые обыкновенные вещи"). После отставки он перебрался в Белокаменную „в одной плохой шинельке и питаясь черным хлебом", учительствовал, пробавлялся частными уроками, а к моменту знакомства с Шейном преподавал русский язык в I Московском кадетском корпусе. Критик П.В. Анненков говорит, что Василию Ивановичу свойственны были „благородство чувств", „юношеская горячность в привязанностях, беспечность в жизни и неизменная доброта сердца". Натура экзальтированная и восторженная, Красов сразу же привязался к юноше-инвалиду, в коем более всего его подкупала неподдельная любовь к русскому народу.

Первое выступление Павла Шейна в печати состоялось в 1848 году в альманахе с характерным названием „Панорама народной русской жизни, особенно московской...", к сотрудничеству в коем их с Василием Красовым привлек его издатель, писатель и знаток отечественной старины Сергей Михайлович Любецкий (1810–1881). Здесь было опубликовано стихотворение нашего двадцатидвухлетнего героя „Утренняя прогулка по Кремлю"[1]. Издание открывалось этим программным про-

[1] В конце текста стоят инициалы „П.Ш". Такой криптоним использовал П.В. Шейн, публикуя свои материалы в журнале „Развлечение" (1859). Стихотворение было атрибутировано Шейну Н.П. Смирновым-Сокольским (Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX вв. М., 1965, С. 236).

изведением, написанном Павлом к памятному событию — 700-летию Москвы (это видно из цензурного разрешения, которое было получено издателем альманаха 30 июля 1847 года).

Однако прежде чем обратиться к этому произведению Шейна, есть резон вновь вспомнить его соплеменника Леона Мандельштама. По иронии судьбы именно в возрасте 22-х лет он тоже сочинил стихи, обращенные к Москве (они вошли в его книгу „Стихотворения Л.И. Мандельштама" (М., 1841):

Столица России! Мечта моей жизни!
Изгнанника мира, как сына отчизны,
С любовию матери примешь ли ты?..
Глядит он, глядит на твои красоты, —
И сердце в нем ноет, и рвется, и скачет, —
Он вспомнил о доме, — и плачет, и плачет.

Как пояснил сам Леон, эти стихи — „перевод с еврейского, перевод мысленный и словесный... Иудаизм вьется по ходу моего сочинения... Вы найдете здесь ту пылкую страсть, те болезненные стоны, свойственные „несчастным изгнанникам мира". Помимо темы вечных скитаний народа Израиля по свету, здесь звучит тоска по родному местечку, по своим соплеменникам, жажда еврейской духовной пищи. Москва для Мандельштама — мечта всей жизни, и он не ведает, обласкает ли она его своей материнской любовью, но знает наверняка: он признает себя сыном Отчизны только тогда, когда она, Отчизна эта, примет его таким, каков он есть, с его иудейской верой и еврейской идентичностью.

Вчитываясь после сего в текст Павла Шейна, попадаешь в совершенно иной мир, иной строй дум и чувств открывается взору. Трудно даже предположить, что их авторы — сверстники и вышли они из одной среды, принадлежат к одному этносу. Ничего еврейского здесь нет и в помине. Сочинитель вовсе не ощущает себя пришельцем в чужой культуре — он глубоко укоренен в российскую жизнь и не только объявляет русских людей своими предками, но подает это как некую аксиому, о доказательстве коей нимало не заботится:

Мне дорога о предках весть,
Об их трудах, их прежнем быте.
Не верьте, верьте, — как хотите.

Поэт апеллирует к авторитету почитаемого им историографа Н.М. Карамзина, объявляет себя „поклонником старины народной" и хранителем русских традиций:

Пускаясь в даль воспоминанья,
Пытливых глаз я не свожу
С недосягаемой твердыни,
С крестов Кремлевския Святыни,
С Кремлевских древле грозных стен.
С благоговением потомок
Кладет кирпичный их обломок,
Свидетеля былых времен,
На любознательный безмен.

Заслуживает внимания и использование Шейном слов, сравнений и метафор, восходящих к народной поэзии. И хотя созданные им образы грешат вычурностью и картинностью и не всегда художественно выразительны, поиск и экспериментирование в этом направлении очевидны и говорят о его повышенном интересе к русскому фольклору:

...Едва
Заря ширинкою янтарной
С пурпурной яркой бахромой
Успеет алою каймой
Раскинуть пояс лучезарный,
Светлее всех земных корон,
На отдаленный небосклон,
Для встречи радостного солнца
Едва в небесное оконцо
Свое огнистое чело
Под жемчугом и перламутром,
Мир поздравляя с добрым утром,
Оно спросонья навело
На темя стража великана
Святыни древнего Кремля —
Проснулась Русская земля,
Москва вставать привыкла рано.

Шейн слагает гимн Москве как твердыне православия, явлению русского национального духа:

Святого брашна сладкой пищей
За трапезой великих дум —
Здесь вечеряет Русский ум!
Идите в Кремль на богомолье;
Душе там Русской есть раздолье,
Воображению простор...

Свои размышления о „русской душе", характере („ментальности", как бы мы сейчас сказали) русского человека Шейн поведал бумаге.

Понятно, что круг его общения был достаточно узок, потому материалом для анализа служит ему отечественная словесность. По разумению нашего героя, русский человек соединил в себе две крайности: едкую иронию и тонкий юмор. Первая имела свой „едва заметный источник в народных пословицах Даниила Заточника, закипела животворящим ключом сатиры в творениях Кантемира и Грибоедова, явилась прозрачным, излучистым потоком в произведениях Фонвизина, Хемницера, Измайлова, Крылова и наконец хлынула светлым, брызжущим, никого и ничего не щадящим водопадом в гениальных сочинениях Гоголя". Вторым — „проникнуты все старинные песни русского народа. Он составляет особенный отпечаток всех русских истинных поэтов, которые почти сплошь да рядом были преимущественно лирики. В особенности же эта безотчетная тайная, рыдающая грусть, это задушевное уныние, эта безутешная кручина встречаются на каждой почти странице лирических произведений Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Кольцова". Несмотря на спорность суждений Павла, оригинальность и глубина их бесспорны.

Публикации Шейном стихотворения в альманахе С.М. Любецкого и рассуждениям о русском характере сопутствовали его отказ от иудейской веры и крещение в 1848 году по лютеранскому обряду. На фоне явной православной и славянофильской ориентации нашего героя его обращение в протестантизм может показаться странным: ведь те же славянофилы считали сию веру отравленной духом рационализма и органически чуждой русскому народу. Вот что писал по сему поводу один из основоположников славянофильства А.С. Хомяков: „Протестанство бежит на всех парусах от нагоняющего его неверия, бросая через борт свой догматический груз, в надежде спасти себе Библию, а критика, с язвительным смехом, вырывает из оцепеневших рук его страницу за страницей, книгу за книгой". Могут возразить, что подвижник русского слова В.И. Даль тоже был протестантом и при этом издавал и свои замечательные словари, и сочинения в русском народном духе. Однако датчанин Даль был лютеранином с детства по воле родителей, в зрелые же годы он принял православие. Что же касается российских евреев, то они в то время крестились, как правило, именно по протестантскому обряду (речь не идет здесь о кантонистах, чье обращение в православие было преимущественно вынужденным и принудительным).

Показательна в этом отношении судьба первого русскоязычного писателя-еврея, маскила Лейба Неваховича (1776–1831). Автор книги „Вопль дщери Иудейской" (1803), где он выступил в качестве штадлана (ходатая за свой народ) перед власть имущими, Невахович впоследствии сближается с предтечами славянофилов из окружения адмирала

А.С. Шишкова. Он пишет апологетические сочинения о русских с их „мужественным духом, языком глубоким и обширным"; в столичных театрах ставятся его патриотические пьесы о „храбрых братьях славянах". При этом Невахович, совершая в возрасте 30 лет обряд крещения, почему-то тоже становится лютеранином. Случайно ли это?

Безусловно, обращение соплеменника в христианство воспринималось иудеями как тягчайший грех. Существовал даже специальный обряд „шива", когда родные надрывали края одежды и в течение часа сидели на полу без обуви, справляя по нему траур, как по умершему. Однако протестантизм (как и ислам) был в глазах иудеев отступничеством все же не столь вопиющим, как православие с его почитанием икон. Последнее толковалось как особо осуждаемое Торой и Талмудом идолопоклонство, и выкрест-неофит, вышедший из еврейской среды, так или иначе должен был убеждения этой среды учитывать.

Терпимость иудеев к протестантизму была тем очевиднее, что некоторые раввины разрешали при отсутствии синагоги молиться в реформистской кирхе, поскольку никаких изображений там не было. А толерантность маскилов к этой вере была и вовсе безгранична, и известный еврейский просветитель Давид Фридлендер даже призывал единоверцев ходить в лютеранские храмы, считая их очагом европейской цивилизации. Существенно и то, что лютеранство свободно от строгой обрядности и не требовало обязательного посещения церковных служб (кстати, оно в значительной мере повлияло и на так называемый „реформированный иудаизм"). И не случайно, что впоследствии в России были разрешены браки между лютеранами и иудеями и муж-протестант мог вызволить супругу-еврейку из черты оседлости. И хотя нельзя сказать, что лютеране пользовались в империи особыми привилегиями (их переход в православие всемерно поощрялся, а вот обращение православных в протестантизм считалось уголовным преступлением), дискриминации они не подвергались, и вознамерившийся принять сию веру Павел Шейн мог получить право беспрепятственно жить в столице.

Характерный тип еврея-выкреста блистательно раскрыл А.П. Чехов в рассказе „Перекати-поле" (1887). Он показал здесь некоего индивидуума, кстати, тоже выходца из Могилевщины, нареченного Александром Ивановичем, который на вопрос о перемене веры „твердил только одно, что „Новый завет" есть продолжение Ветхого", — фразу, очевидно, чужую и заученную и которая совсем не разъясняла вопроса". Русский писатель указал здесь на весьма распространенный и общепринятый аргумент, ибо мысль эта повторяется на все лады в сочинениях православных знакомцев Шейна, и, возможно, на прямой вопрос и наш герой ответил бы точно также.

И все же случай Павла Шейна особого рода. Шейн, хотя прожил в Могилеве до 17 лет (а по еврейским меркам, это был возраст вполне зрелого мужчины; достаточно сказать, что Исаак Бер Левинсон в 9 лет написал ученую книгу о Каббале, а Виленский Гаон Илия в 13 лет стал знаменитым талмудистом), понимал, что был в сущности „плохим иудеем". Запертый болезнью в стенах дома, он не посещал синагогальных служб, был оторван от еврейской народной жизни, и его эрудиция была исключительно книжной. То было знание, не согретое верой, живым общением с соплеменниками. В его памяти остались лишь сценки из далекого детства: вот они — школяры в хедере громко зазубривают урок; вот въедливый меламед отвешивает ему незаслуженно обидный подзатыльник; а над крышей родного дома все играет и играет светлое нежаркое, но такое приветное солнце. Разве это солнце тоже было еврейским? Голос крови? Павел не мог понять, что сие означает. Хотя русские друзья говорили: когда он вспоминал о могилевском прошлом, в его речи чувствовался заметный еврейский акцент. Он явственно помнил смех матери, своей аидише мамы. Она то и дело тайком от отца балует его, своего старшенького, подходит к изголовью, подсовывает то пряник, то миндальную баранку, то какую другую вкусность, ее нежные руки касаются его лба. Сейчас мамеле уже нет, в комнате ее обосновалась совсем чужая женщина и всем заправляет в доме, да и сам он стал в этом доме совсем чужим. Да, остался отец, но он — человек сугубо практического склада, помешан на своей коммерции, и обсуждать с ним то, что действительно его волнует, никакого резона нет — да и говорят они теперь на разных языках. И не только потому, что он уже не Ноах, а Павел, и стал думать по-русски. И хотя идиш вроде тоже не забыл, не знает он, как сказать на нем: „Благовестительный орган Ивана Великого", „Святая брашна сладкой пищи". Не может он втолковать отцу, что такое великая русская литература, почему она великая, какие дали отверзли ему Пушкин, Лермонтов, Гоголь. И не в состоянии выразить в словах, как и почему он прилепился душой к русскому народу, отчего, переступая порог православного храма, теплеет он сердцем, и душа будто вздымает ввысь. Удивительно точно все-таки сказал русский поэт: „Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя?". Горько, конечно, что этим „другим" был его родной отец, это от него Павел принужден был таить сокровенные „мечты и помыслы свои".

Впрочем, и его русские литературные друзья высказывали подчас такое, внимать чему было неприятно и больно. Вот, к примеру, его кумир Евдокия Ростопчина писала: „С уловкой сатаны, как род еврейский, / Вы вкривь и вкось толкуете слова". А Федор Глинка заявил както, что „ежели жиды выйдут на свободу, то свет кончится". Да и Васи-

лий Красов, тот самый Вася Красов, который вроде бы души в нем не чаял, в стихотворении „Еврей" (1833)[1], разглагольствуя о вине всего народа Израиля за распятие Спасителя, патетически вопрошал:

Скажи, Еврей, чего здесь ожидать?
Чья грудь тебя заботливо согреет?
Ты век гоним, ты низок сердцем стал,
И над тобой проклятье тяготеет!
Увы, Еврей, ты Бога распинал!

И ведь он к каждому еврею персонально обращался, следовательно, и к нему, Павлу. Но ни за собой, ни за своим народом Шейн вины не чувствовал. И в той крестной казни многовековой давности он видел ухищрения и злодейства горстки первосвященников и фарисеев (а крики „распни его!" — так то ревела чернь, которая у всех народов одинаково неразумна и слепа). И он вспоминал слова апостола Павла о евреях: „Это народ закона и пророков, мучеников и апостолов, «иже верою победиша царствия, содеяше правду, получиша обетования»". Неизвестно, обсуждал ли Шейн эти тогда не совсем безразличные для него вопросы со своими русскими друзьями, с Красовым (возможно, стихотворение „Еврей" Павел имел в виду, когда написал впоследствии, что „некоторые его [Красова-Л.Б.] пиесы... довольно слабы"), или держал обиду в себе. Видно только, что подобные уничижительные отзывы о народе, из коего вышел наш герой, не стали препятствием на пути к его обращению в христианство, хотя этот его шаг повлек за собой полный и окончательный разрыв с отцом и братьями, еврейской средой.

Но нельзя сказать, что Павел Шейн, подобно чеховскому Александру Ивановичу, „был доволен и собой, и новой верой, и своею совестью". Уж чего-чего, а тупого самодовольства в нем не наблюдалось. Он глубоко переживал конфликт с родными и порой даже сомневался в правильности своего духовного выбора, да вообще и всей жизни. Вот что он пишет Ф.Б. Миллеру: „Когда я подчас оглядываюсь назад, на свое прошлое, то ясно вижу, что вся моя судьба состоит из одних ошибок: не скажу *ошибкою родился* [подчеркнуто Шейном — Л.Б.], но по крайней мере меня ошибочно воспитывали, ошибочно подвергали многим болезням, ошибочно очутился я христианином, ошибочно, к несчастью, меня понимали и учили преподаватели школы святого Михаила...". Как видно, единственно, в чем уверен здесь наш герой, это в том, что он не ошибкою родился, а Ноах-Павел был рожден в еврействе.

---

[1] Это стихотворение было признано советской цензурой антисемитским и в СССР не перепечатывалось.

А другому письму Шейн предпослал эпиграф из Лермонтова: „И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды". И продолжает: „Вот... эпиграф души моей со дня разлуки с бедными моими родителями, родными, родиной, которые с холодным презрением отвергнули, оттолкнули меня от себя, кажется, навек, как отчаянного грешника". Примечательно то, что тоска по еврейскому очагу вызывает у него чисто русские литературные реминисценции.

Павел, однако, не казнил себя и не каялся в своем отступничестве, а считал себя „невинно страдающим, отвергнутым родителями". Он не разумел того, что понял чеховский Александр Иванович: „Каждый народ инстинктивно бережет свою народность и свою веру". И Шейн, как будто, „старался собрать все силы своего убеждения и заглушить ими беспокойство души, доказать себе, что, переменив религию отцов, он не сделал ничего страшного и особенного, а поступил, как человек мыслящий и свободный от предрассудков"...

В 1851 году он вышел из стен училища св. Михаила, как он напишет, „с весьма скудным запасом сведений и с одной горячей любовью ко всему русскому" и „без руля и ветрила пустился в море житейское на произвол судьбы". Он здесь явно скромничает: знаний, полученных им, было вполне достаточно, чтобы самому стать ментором не из последних. В поисках хлеба насущного он и занялся учительством, чем зарабатывал на жизнь, воспитывая барских детей в богатых помещичьих семьях. С лета 1851 до весны 1855 гг. он пребывает в доме Н.А. Загряжского; с лета 1855 по весну 1856 гг. у П.А. Оленина; лето и осень 1856 г. — в семействе Н.С. Краткова; с весны 1857 – осень 1859 г. у графини М.Ф. Соллогуб, сестры видного славянофила Ю.Ф. Самарина; с мая 1859 г. до конца 1860 г. — в имении тверского генерал-губернатора графа П.Т. Баранова.

В 1851 г. он вместе с семейством Загряжских направляется в их деревню Селихово Тверской губернии, где впервые близко знакомится с народным бытом, причем пытается понять нутряную суть крестьянина, сам затевает с ним беседу и... сразу же располагает к поселян к себе. „Тут постоишь немного, — удовлетворенно пишет он, — с одним мужиком поговоришь, другого о чем-нибудь спросишь, третий и сам без спроса тебе наскажет с три короба". В то время деревенская жизнь виделась ему в самых радужных тонах и очень напоминала славянофильскую идиллию: „Солнце село за лес, и отовсюду раздается блеянье стад, крик пастухов, ржание и топот разгоняемых лошадей, веселый говор и песни довольных, неприхотливых поселян".

Характеристика, которую Павел дает Загряжскому, знаменательна и, прежде всего, свидетельствует о приоритетах и жизненных

ценностях самого Шейна. Вот что он пишет о своем барине-работодателе: „[Загряжский] — большой патриот, сознательно и без предубеждений любит Россию, русский язык, русскую поэзию, и в большом почете у всех окружающих...". Но подчас Павел чувствовал себя в помещичьем доме постояльцем и чужаком. Однажды, в такую минуту он, досадуя на свое положение интеллигентного раба, выразит свою горечь словами из песни А.В. Кольцова. В письме к Ф.Б.Миллеру он процитирует:

У чужих людей
Горек белый хлеб,
Брага хмельная —
Не размывчива!
Речи вольные
Все как связаны;
Чувства жаркие
Мрут без отзыва...

Но Шейн начинает серьезно интересоваться и всамделишними народными песнями и преданиями. Он ищет бахарей, сказителей и певунов: „Я обратился к подрядчику плотников, на которого вся барская прислуга указывала как на отличного певца, — пишет Павел, — и попросил мне спеть какую-нибудь песню про богатыря. Он после некоторых колебаний пропел мне былину про Илью Муромца, которую я тут же записал, вознаградив певца по достоинству. Это ему развязало язык и склонило на мои просьбы приходить ко мне по вечерам для записывания других былин, хранившихся в его счастливой памяти. Таким образом, в течение недели я от своего почтенного барда Егора плотника и записал до шести довольно объемистых былин... Моей радости не было конца. Я стал отыскивать в нашей деревне других певцов. Нашлись и они. В течение осени я еще записал от 20 до 30 былин и исторических песен". В то же время он делает выписки из древнерусских летописей, статей языковедов Я.К. Грота, И.И. Срезневского, Ф. Миклошича и др. О Павле как о собирателе народных крылатых словечек говорит в 1852 году и Анастасия Глинка: „Мы часто Вас вспоминаем, — пишет она Шейну, — особенно при каком-нибудь особенном выражении, но недостает терпения, как у Вас, записывать такие приобретения".

Однако интерес к еврейской просветительской литературе Шейн тоже не потерял. В 1853 году Павел настойчиво рекомендует для прочтения сочинение духовного вождя Хаскалы Мозеса Мендельсона „Федон, или о бессмертии души" (1841). Он говорит о кни-

ге как о „душеспасительной" и „благодетельной", способной „принести человеку образованному более духовной пользы и назидательности, более истинной теплой любви к милосердному и всеблагому Творцу нашему, чем целые сотни проповедей самых красноречивых и набожных пасторов".

В 1856 году, оказавшись в Москве, он знакомится с известным писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым (1791–1859), которого задолго до этого „издали и по сочинениям привык уважать и любить от души". Но, пожалуй, наибольшую роль в судьбе Шейна сыграла его встреча с профессором, академиком, „поэтом мысли" Степаном Петровичем Шевыревым (1806–1864). Ревностный сторонник идеи русской народности и патриархальных православных ценностей, он первым с университетской кафедры высказал пожелание о составлении „Полного свода всех русских песен, сказок и пословиц". Шевырев настаивал на скорейшем освоении фольклорного материала: „Как до сих пор мы не спешим уловить русские песни, столь родные нашему сердцу, которые, может быть, скоро унесет с собой навеки старое поколение?". Согласно профессору, собиратель песен должен обладать „большим запасом эстетического вкуса и чутья народности" — качествами, которые всемерно старался развить и воспитать в себе наш герой. И неудивительно, что между — ним и маститым ученым вскоре возникли симпатия и привязанность. „Душевно уважаемый", „многочтимый Степан Петрович", — пишет ему Шейн и признается: „Задушевная моя мысль — трудиться на пользу русской литературы всем, чем только богат". И Шевырев уже называет Павла „милым другом" и „любезным доброхотом", делится с ним впечатлениями о литературной жизни Москвы.



К.С. Аксаков

Видимо, с подачи Шевырева Шейн попадает в московский дом „неисправимого славянофила" Юрия Федоровича Самарина (1819–1876), чьи взгляды повлияли на него самым решительным образом. Прежде всего, это относится к основополагающей идеи народности. „Говоря о русской народности, — настаивал Самарин, — мы понимаем ее в неразрывной связи с православной верою, из которой истекает вся система нравственных убеждений, правящих семейною и общественною жизнью русского человека". По мысли Самарина, выявлению начал, которыми русский народ поверяет себя в песнях, и должна

быть одушевлена деятельность русского фольклориста. И, как отмечает биограф, Шейн „попадает в атмосферу славянофильства и народности и охватывается ею".

Огромное и, можно сказать, определяющее влияние на него имело знакомство с русскими славянофилами Алексеем Степановичем Хомяковым (1804–1860), Иваном Сергеевичем (1823–1886) и Константином Сергеевичем (1817–1860) Аксаковыми, Михаилом Петровичем Погодиным (1800–1875), Осипом Максимовичем Бодянским (1808–1877), Михаилом Александровичем Максимовичем (1804–1873), Николаем Филипповичем Павловым (1803–1864) и др. При этом Хомяков и Аксаковы впечатлили Шейна даже своим внешним обличьем: они не брили бороду и демонстративно носили стародавнее русское платье, что было по тем временам шагом смелым и решительным.

Вера славянофилов в высокую силу и мощь народа, в творческий характер русской народной культуры определила их глубокий интерес к фольклору. И заслуги их на сем поприще столь масштабны, что для серьезного собирателя народной поэзии, каким старался стать Шейн, сближение с ними было и неизбежным, и необходимым. Петру Васильевичу Киреевскому (1808–1856), которого называли „великим печальником земли русской", принадлежит заслуга собрания тысяч лирических и исторических песен, народных былин, большинство из коих увидели свет уже после его жизни. Вдохновленный А.С. Пушкиным, С.А. Соболевским и С.П. Шевыревым идеей собирательства, Киреевский в письме к Н.М. Языкову дал очень точное определение своему труду: „Собрание Русских Песен будет не только лучшая книга нашей Литературы, не только из замечательнейших явлений Литературы вообще, но что оно, если оно дойдет до сведения иностранцев в должной степени и будет ими понято, то должно ошеломить их так, как они ошеломлены быть не желают! Это будет явление беспримерное!". Хотя первый выпуск „Песен" П.В. Киреевского увидел свет в 1860 году, методы работы этого замечательного фольклориста и содержание его сборника были ведомы Павлу значительно раньше.

Вопросы теории фольклора и народной песни разрабатывал К.С. Аксаков, которого Шейн близко знал и состоял с ним в переписке. В статьях: „О древнем быте славян вообще и русских, в особенности, на основании обычаев, преданий, поверий и песен", „Богатыри времен великого князя Владимира, по русским песням" он представил целостную концепцию жанровой природы народной поэзии. К.С. Аксаков утверждал: „Песня равно принадлежит всякому в народе, поэтому народную песню поет весь народ, имея весь на нее равное право, поэтому на песне нет имени сочинителя, и она является вдруг, как бы пропетая

всем народом". Он подчеркивал: „Везде, где есть народ, есть национальная поэзия и народные песни"; они выражают вечную и истинную сущность народа, раскрывают его смысл и характер и вместе с тем остаются „верною опорою" и „порукой за будущее народа", „к каким бы сомнениям и противоречиям не привело нас его дальнейшее развитие". К.С. Аксаков резюмирует: „Все здесь принадлежит каждому в народе, ибо здесь индивидуум — нация, здесь он живет под этим национальным определением... Разнообразные и истинные, всегда ровные, верные сами себе, всегда полные одною определенною жизнью, стройно и невозмутимо поднимаются песни над народом, живущим в периоде исключительной национальности". О том, какое значение придавал К.С. Аксаков русской фольклорной традиции, говорят его страстные стихи:

Пора домой! И песни повторяя
Старинные, мы весело идем.
Пора домой! Нас ждет земля родная,
Великая в страдании немом.

В былинном же образе Ильи Муромца ему видится „непреоборимая могучесть" русского народа, проявляется „спокойная, никогда не выходящая из себя и потому никогда не слабеющая сила". Он рассуждает о „глубоко правдивом и религиозно-нравственном миросозерцании", выраженном в песнях о богатырях.

Христианизация народного творчества характерна и для Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856). Даже отсутствие у русского народа застольных песен он связывал с религиозно-нравственными свойствами крестьянина, для которого якобы на первом месте — молитва.

А А.С. Хомяков, с коим тоже непосредственно общался Шейн, говорил об исключительной жизненности русского фольклора и противопоставлял его „бесполезной для бытового человека" европейской народной поэзии. „Наши старые сказки отыскиваются не на палимпсестах, — писал он, — не в храме старых и полусгнивших рукописей, а в устах русского человека, поющего песни старины людям, не отставшим от старого быта. Наши старые грамоты являются памятниками не отжившего мира, не жизни, когда-то прозвучавшей и замолкнувшей навсегда, а историческим проявлением стихий, которые еще живут и движутся на нашей великой Родине. Для А.С. Хомякова, с характерной для него концепцией «ретроспективной утопии»", русский быт с его устоями и народная поэзия неотделимы. И такое мнение разделяли большинство славянофилов. Примечательно, что близкий к ним литератор Н.Ф. Павлов в стихотворении 1853 года, обращенном

к А.С. Хомякову, охарактеризовал его как личность харизматическую „с ясной мыслью, с звуком чистым", которого благословили на служение народу „Златоуст и Аполлон".

По мысли профессора славяноведения Московского университета О.М. Бодянского (он будет активно сотрудничать с Шейном на ниве журналистики), песня — „дневник народов", их история, „хранилище всякого ведения и всякого верования", „их феогония, космогония, память, тризна по своих отцах и дорогих сердцу, надгробный памятник священной старины, живая говорящая летопись времен давно прошедших", „многосложная картина минувшего века, его духа", „верный очерк быта и всех его неуловимых простым глазом мельчайших подробностей". Совсем в духе А.С. Хомякова он заявляет, что славянский фольклор в гораздо большей степени отражает национальный характер и народный дух, чем другие народы, ибо славяне — „самый песенный, самый поэтический народ в Европе".

С исключительной настойчивостью задачи собирания памятников фольклора и народного быта проводил в жизнь М.П. Погодин (Павел ходил на его лекции в Московском университете). Погодин не только сам записывал песни, совершая поездки по северу России, но и усиленно вербовал собирателей, поддерживал их начинания, популяризировал произведения фольклора на страницах „Москвитянина" и других журналов.

Воззрения славянофилов на народ и его песенное творчество, их горячее желание глубоко изучить и сделать общим достоянием отечественный фольклор оказались созвучными чаяниям Шейна, решившего посвятить жизнь русскому народоведению. Однако, как заметил В.С. Соловьев, „господствующий тон всех славянофильских взглядов был в безусловном противоположении русского нерусскому, своего — чужому". И в их декларациях и историко-культурных построениях иудеям, к коим по рождению принадлежал Павел, отводилась весьма жалкая роль, и изображалось еврейство в самых черных красках. Иудеям-деятелям культуры А.С. Хомяков отказывает не только в оригинальности, но и в нравственности: „Имена многих великих музыкантов принадлежат к роду Еврейскому; — пишет он, — к нему же принадлежат многие литераторы, замеченные по остроумию, грации или силе ума и выражения (хотя все они представляют что-то ложное в чувстве и мысли)". Утверждая самобытные начала русской культуры, он не только не признает за современными ему евреями какого-либо значения, своеобычности, но и отрицает их право эту собственную культуру иметь: „Иудей после Христа, есть живая бессмыслица, не имеющая разумного существования и потому никакого значения в историческом мире".

Ему вторит И.С. Аксаков, в устах которого нетерпимость к иудеям обретает откровенно антисемитские обертоны: „Верующий Еврей продолжает в своем сознании распинать Христа и бороться в мыслях, отчаянно и яростно, за отжитое право духовного первенства, — бороться с Тем, Который пришел упразднить „Закон" — исполнением его".

А что Павел Шейн? Как отнесся он к подобным инвективам славянофилов? Похоже, он стремился стать своим среди этих людей, не только чужих, но и откровенно враждебных еврейству и иудейской вере. И, приходится признать, что наш герой последовал совету расположенного к нему Ивана Аксакова: „Логический выход из такого положения возможен только один: *отречься от жидовства* и принять те начала, которые составляют закон всего современного просвещенного мира. Это *честный, прямой и вполне плодотворный выход...*". Так „просвещенный" славянофилами Павел Шейн истребил в себе последние останки еврейского национального чувства. Может статься, он сделал это „*честно, прямо*", по глубокому внутреннему убеждению.

Плодотворной оказалась, однако, его активность совсем иного рода — на поприще литературы, журналистики и собирания памятников русского фольклора. Шейн становится непременным участником заседаний Общества истории и древностей российских — первого у нас научного общества для изучения и публикации документов по русской истории; он также вовлечен и в работу Общества любителей российской словесности, целью коего было „способствовать успехам отечественной литературы, как главному средству к распространению просвещения".

В 1859 году Павел по предложению своего давнего литературного наставника Ф.Б. Миллера начинает сотрудничать в издаваемом им журнале „Развлечение", где под псевдонимами „П.Ш.", „Наум Словолюб" и „NN" в разделе „Библиографические известия" публикует свои мелкие рецензии и аннотации на вновь вышедшие книги. При этом Шейн представляется читателю (1859, № 16) как „простой любитель русской словесности, подчас марающий для своего удовольствия", и видит главную задачу своего участия в журнале борьбу за сохранение чистоты русского языка от нелепых потуг „гнуть его как попало на тот иностранный лад, который временно у нас преобладает". С этой, вполне славянофильской, точки зрения его положительной оценки удостаиваются „Разные сочинения" С.Т. Аксакова, автора коих он называет „Нестором нашей литературы"; перевод С.П. Шевыревым драмы Ф. Шиллера „Валленштейнов лагерь"; а также книга „Украинские народные сказания" Марко Вовчок (М.А. Вилинской), переложенная „полным мастером и хозяином русского слова" И.С. Тургеневым. Он и

выбирает для рассмотрения книги о народе и написанные в народном духе — „Очерки Печерского Края" (1859), „А.В. Кольцов, его жизнь и сочинения" Н.А. Добролюбова (1859). Вместе с тем он выступает ревностным пропагандистом христианской морали и нравственности. В рецензиях на педагогические сочинения он поднимает на щит книгу Ф.Г.Х. Шварца „Руководство к воспитанию и обучению" (1859), объявляющую христианство основой всякого образования. Рецензент настаивает на том, что религиозное чувство надо прививать с младых ногтей, приобщая детей к вдумчивому чтению Евангелия (показательно, что труд Ф.Г.Х. Шварца станет потом настольной книгой самого Шейна-педагога).

Интересным литературным начинанием Шейна, поддержанным Ф.Б. Миллером, стало предпринятое им издание книги стихов покойного друга, поэта-самородка Василия Красова, скончавшегося в безвестности от чахотки в 1854 году. В этом сборнике, по мысли издателя, заключалось именно то, чем „умственно жило и интересовалось образованное русское общество в далеком, как и близком прошедшем...[Произведения Красова] в тридцатых и сороковых годах печатались в лучших журналах того времени наряду со стихотворениями Лермонтова, Огарева, Кольцова; многие из них с увлечением читались, перепечатывались, заучивались наизусть просвещеннейшими современниками покойного поэта, у которых они до сих пор сохранились в памяти". Важно то, что Шейн решает печатать стихи Красова в хронологическом порядке, поскольку, как он считает, это позволяет „проследить постепенное развитие поэта" (именно такой „диалектический" принцип расположения материала он примет и в своих фольклорных сборниках и назовет его „календарно-биографическим"). Однако усилия Шейна сделать стихи Красова достоянием широкого читателя пропали втуне: почти весь тираж напечатанной книги сгорел во время пожара на складе. Уцелело лишь самое незначительное число экземпляров, ставших библиографической редкостью.

Важную вдохновляющую роль в профессиональной судьбе Шейна сыграл известный немецкий филолог, основоположник мифологической школы в фольклористике Якоб Гримм (1785–1863). Шейн свиделся с ним во время поездки за границу (в качестве домашнего учителя в одной семье), когда ему довелось посетить Берлин. Автор (вместе с братом Вильгельмом) знаменитого собрания немецких сказок, Гримм одобрил фольклорные начинания Павла, с восторгом говорил о только начавших выходить „Народных русских сказках" А.Н. Афанасьева и все сокрушался, что Шейн, живя в Москве, незнаком с ним. „Непременно познакомьтесь с Афанасьевым, — настаивал Гримм. — И передайте от меня приветствие и благодарность за его сказки!".

В 1859 году в „Чтениях Общества истории и древностей российских" (кн.III), редактируемых О.М. Бодянским, был опубликован сборник былин и песен, записанных Шейном еще в 1856 году (он был издан и в виде отдельного пятидесятистраничного оттиска под заглавием „Русские народные былины и песни, собранные П.В. Шейном"). И показательно, что именно А.Н. Афанасьев специально выделил книгу Шейна и охарактеризовал собранные им материалы как „прекрасные дополнения к сборникам Кирши Данилова и Академии наук".

Получив одобрение ученого знатока, Павел решает „отныне посвятить все свои силы и способности дальнейшему собиранию памятников народного творчества — и, по возможности, заинтересовать в пользу этого дела и других грамотных людей везде, где придется жить и служить". Он верит, что его труды послужат „маленьким подспорьем, хоть одним камушком для созидающегося фундамента народоведения у нас на Руси".

И Шейн хочет быть полезным русскому народу. Одно время он становится преподавателем одной из московских воскресных школ, в 1861 году по приглашению Л.Н. Толстого учительствует в Яснополянской школе, затем делается учителем и штатным смотрителем училищ в Туле и Епифани. И всюду он, елико возможно, собирает произведения фольклора, привлекая к сему и своих учеников, и коллег-учителей, и просто случайных знакомых. При этом у него выработалось важное, необходимое фольклористу-профессионалу качество, о чем говорит В.Ф. Миллер: „в разговоре с простым народом Павел Васильевич умел скоро устранять всякие стеснения и заинтересовывать собеседника, напоминал сам ту или другую песню из богатого запаса своей памяти". Необходимо также отметить его деятельное участие в работе Русского географического общества, с коим он сотрудничал до конца жизни

За время своего учительства, сопровождавшегося переездами из губернии в губернию, он собрал огромное число народных произведений. Еле-еле передвигаясь на костылях, со сведенными от ревматизма пальцами, мешающими записыванию песен, Шейн обнаруживает самую завидную энергию. Следует помнить и то, что труд сей совершался калекой, которому передвижение и писание давались ценой физических страданий (он не мог даже одеться без посторонней помощи, а влезать и слезать с экипажа стоило ему настоящих мучений).

В 1868–1870 гг. в „Чтениях Общества истории и древностей российских" выходят русские песни, собранные Шейном, в следующем порядке: песни детские, хороводные, плясовые, скоморошные, беседные, голосовые или протяжные, шутливые, забавные и сатирические, обрядные, свадебные и похоронные причитания и др. Они издаются и

в виде отдельной 600-страничной книги: „Русские народные песни" (Ч.1. М, 1870), с посвящением „неутомимому деятелю на поприще русского слова" В.И. Далю. Сборник включал в себя около тысячи великорусских песен, расположенных в принятом собирателем календарно-биографическом порядке. „Везде я старался сближаться с народом, — признается Шейн в предисловии, — прислушиваться к его живой своеобразной речи, пользовался всяким удобным случаем для пополнения своего собрания". Он глубоко убежден, что песня до сих пор „остается верной спутницей многотрудной жизни русского человека от колыбели до могилы", и своим расположением материала стремится раскрыть всю биографию и быт крестьянина в последовательном порядке. Свою задачу он видит в том, чтобы познакомить читателей „очень близко со многими сторонами быта русского человека, с его верованиями..., с неисчерпаемым богатством его языка, которым он так творчески умеет пользоваться". И, как отмечали исследователи, „искусным подбором песен Шейну удалось воспроизвести типические черты русского национального характера". Интересно, что одна песня из этого сборника „Спится мне, младешенькой" была включена Н.А. Некрасовым в поэму „Кому на Руси жить хорошо".

Рецензируя книгу, академик Я.К. Грот говорил о Шейне как об одном из „самых ревностных" русских собирателей, подарившем науке сборник песен, „собранных на обширном пространстве великой России'; отмечались его необыкновенная преданность делу и удивительная опытность и сноровка в записывании песен. „По богатству содержания этот том, посвященный В.И. Далю, конечно, порадует всех, интересующихся разработкой русской народной поэзии", — резюмировал Я.К. Грот. А Н.И. Костомаров в статье „Великорусская народная поэзия. По вновь изданным материалам" (1872), так писал о Шейне: „Такое лицо, свято и бескорыстно посвятившее себя прекрасному делу, полезному для отечественной науки, достойно того, чтобы помочь ему, а помочь ему можно только одним — даровать ему средства и содействие к продолжению своего дела. Этот человек весь предан ему, любит его более всего в мире, и, несмотря на свои немолодые лета и очень хилое здоровье, готов еще и, конечно, может сделать более десяти молодых и здоровых, с его необыкновенною любовью и неутомимою деятельностью. Дай Бог, чтоб на Руси не переводились такие почтенные труженики, которые, не возносясь высоко, не принимая на плечи свои тягости, которой они нести не могут, работают скромно, но делают столько, сколько сделать в состоянии по своим способностям и обстоятельствам жизни".

Между тем, обстоятельства жизни заставляют его сосредоточиться на учительской профессии: он изучает специальную литературу, ведет

наблюдения над языком учащихся, их поведением. Осенью 1865 года Шейн переселился в Витебск и занял место преподавателя немецкого языка в городской гимназии; работает он также в местных мужской и женской гимназиях.

В Витебске Павел Васильевич вознамерился собирать белорусский фольклор. Он разработал специальную памятку для записи песен, которую назвал „Просьба", Она была тиснута тиражом в 600 экз. в Витебской типографии и разослана по Северо-Западному краю (а впоследствии неоднократно перепечатывалась). По существу это первая фольклористическая инструкция в России! Шейн настаивает здесь на необходимости точного сохранения говора, точного обозначения, к какому роду относится песня, как и от кого, когда и где записана — словом, излагает те требования, которые станут впоследствии общеобязательными для каждого собирателя. Особенно важно впервые установленное им правило повторять записанные песни с пения и говора „во всех его мельчайших оттенках".

„В то же время, — признавался Шейн, — и я сам не дремал, не сидел, сложа руки, загребая ими время от времени то, что доставят другие". Переезжая из города в город, передвигаясь на костылях по непролазным сельским дорогам, останавливаясь в селах и деревнях, он по утвержденной методике, точно записывал тексты песен и легенд, фиксировал особенности местного говора. Павел Васильевич обладал замечательным даром общения, и крестьяне проникались симпатией и сочувствием к барину-инвалиду. Более 400 песен он записал от Марии Васильевны Котковичовны из местечка Чашники, которую называет „знахаркой своего дела", женщины весьма колоритной, в коей знание народной жизни сочеталось с самодовольством и шляхетской спесью.

Сборник „Белорусские народные песни, с относящимися к ним обрядами, обычаями, суевериями, с приложением словаря и грамматических примечаний" увидел свет в 1874 году в „Записках Географического общества". Помещенные здесь 1006 произведений фольклора размещены, как обычно у Шейна, по „биографически-календарному" принципу. Такая система имела назначение раскрыть „общую картину" бытовой жизни белорусского крестьянина, „круготочение" которой составитель попытался проследить на песнях лирико-обрядовых — от колыбельных до похоронных. Наш герой впервые дал в руки исследователю обильное число белорусских песен — крестинных, колыбельных, детских и особенно трудовых (толочанских и жнивных). Он снабдил сборник и толковым научным аппаратом, что усиливало его достоинства. По свидетельству академика Е.Ф. Карского, „Белорусские народные песни" превзошли своими качествами все, что было создано до этого

в белорусской этнографии на русском и польском языках. „Наиболее обширным сборником белорусской народной поэзии, исполненным без вычур" назвал труд Шейна историк литературы А.Н. Пыпин. А академик Л.Н. Майков характеризует сборник как „благообразный и занимательный". Русское географическое общество наградило Павла Васильевича малой золотой медалью. А по рекомендации академика О.Ф. Миллера, отметившего необычайную добросовестность, скрупулезность и скромность собирателя, Академия наук присудила ему Уваровскую премию...

Однако приходится признать, „учителем милостью Божьей" он не был и не оставил о себе как о преподавателе светлой памяти. Так, В.К. Стукалич, учившийся у него до 1873 года, говорит о нем как об „очень неважном педагоге", любившем нудно и подолгу „распекать" класс и изливать перед ним свои „далеко не всегда верные и справедливые нарекания".

Следует, однако, признать, что характер у Павла Васильевича, каким он предстает в сохранившихся письмах и документах, был взрывной, неуживчивый и конфликтный. В учебных заведениях, где ему довелось работать, вспыхивали постоянные ссоры, и долго на одном месте Шейн не задерживался. Уволенный по жалобам гимназистов из Витебска, он преподает немецкий язык в прогимназии г. Шуя (1873–1874 гг.), затем работает учителем русского языка и словесности в реальных училищах г. Зарайска (1874 – май 1875 г.) и г. Калуги (1876–1881 гг.). Неприязнь к Шейну педагогического коллектива, как видно, была вызвана его угодничеством перед начальством, покровительственным к нему отношением со стороны инспектора Московского учебного округа А.Г. Семеновича, а также его крайне правыми политическими взглядами и установками.

На них стоит остановиться подробнее. Уже в письме к орловскому губернатору (и видному библиографу и историку литературы) М.Н. Лонгинову 26 января 1872 года Шейн заявляет о своей „политической благонадежности". А в многочисленных письмах А.Г. Семеновичу он строчит на своих коллег-учителей настоящий политический донос, называя их „крамольниками, нигилистами, разрушителями начал школьной дисциплины, доброй гражданской нравственности". „До Бога высоко, до царя (и начальства) далеко, — докладывает высокому чиновнику Павел Васильевич, — и всякого, кто по долгу совести и присяги рискует раскрыть, где следует зловредность их принципов и действий, могущих гибельно повлиять на целые поколения, того они не обинуясь называют шпионом, клеймят его в обществе самыми нелестными кличками". При этом Шейн объявляет себя идейным сторонником Ми-

хаила Никифоровича Каткова (1817–1887), чья консервативно-оппозиционная ориентация по отношению к реформам Александра II общеизвестна. В издаваемых им „Московских ведомостях" Катков иронизировал над либералами и „всякого рода добродетельными демагогами и Каями Гракхами" и ликовал, что „пугнул эту сволочь высокий патриотический дух, которым мы обязаны польскому восстанию".

Кстати, в типографии Каткова печатались „Русские народные песни" Шейна. Любопытно отметить, что в Музее книги РГБ сохранился экземпляр этого издания с автографом Павла Васильевича: „Ольге Алексеевне Киреевой в знак душевного уважения от собирателя. Москва. Январь 3. 1860". Адресат дарителя — О.А. Новикова (урожденная Киреева) (1840–1925), выступавшая под псевдонимом Русская, публицист, представитель так называемого „патриотического консерватизма" и ревностная сторонница взглядов Каткова. „Ваш авторитет направляет мою деятельность и дает силу моим доводам", — писала она ему. „Патриотизм" О.А. Киреевой закономерно приведет ее впоследствии в Союз русского народа, деятельной активисткой которого она станет.

Нет сведений, поддерживал ли наш герой националистические устремления Каткова и его нападки в печати на инородцев, но Павел Васильевич неизменно говорит о нем с придыханием как об „истинном патриоте", который „указывает бесстрашно на корень всякой неурядицы у нас".

Ссылаясь на авторитет Каткова, Шейн просит А.Г. Семеновича наказать калужских педагогов, принять жесткие меры для наведения „порядка" в училище и ни в коем случае не оставлять „злоумышленников" на службе, если они „радикально не изменят свой образ мыслей и не отрекутся от своего катехизиса". И вот что примечательно — начальство рекомендациям Павла Васильевича неукоснительно следует: учителя Ф.Г. Смирнова срочно переводят в Тулу, а престарелого директора В.А. Дейлидовича принуждают немедленно уйти в отставку.

1860 – 70-е гг. ознаменованы в России борьбой иудеев за свои гражданские права и оживлением еврейской культурной жизни. Однако в творчестве Шейна мы не находим и следа интереса к подобным вопросам. В 1873 он году публикует свои „Дополнения и заметки к Толковому словарю Даля", где указывает, что в словарной статье на слово „*Кстати*" пропущена поговорка: „Кстати жид крестился и монах женился". Вдумался ли он в смысл высказывания? Понял ли заключенные в нем насмешку и сарказм? Ведь крещение еврея объявляется здесь явлением одного порядка, а, следовательно, столь же невероятным, как и женитьба человека, давшего обет безбрачия. А, значит, совсем *некстати* было в глазах народа это крещение, что и нашло вы-

ражение в его поговорке. Но, похоже, Шейн вовсе не хочет размышлять на эту тему. Что за блажь все примерять к себе! И он лишь механически воспроизводит то, что слышит — и с него довольно!

Зато внимание Павла Васильевича к белорусской культуре только усиливается, и Отделение русского языка и словесности Академии наук, уже достаточно оценившее его энергию и трудоспособность, в 1877 году командирует Шейна в Северо-Западный край, ассигновав на это 600 рублей. Собиратель находился там более пяти месяцев и объехал пять уездов, причем сделал более 3000 записей с подробными описаниями обрядов, обычаев, внешнего быта и самих произведений народного творчества.

По счастью, доверительная, с оттенком лукавинки, манера общения Шейна с крестьянами нам доподлинно известна, поскольку живое свидетельство такого общения оставил он сам: „Как начнут отнекиваться, — рассказывает Павел Васильевич, — я тотчас за свой сборник — открою в нем какой-либо отдел, прочту какую-либо песенку и давай экзаменовать: „Ци пяюць у вас, Гапуля, или там, Ганнуля, гэту песню?" — „Ня ведаю, панночек, ня чула". Тут я, не говоря более ни слова, затяну, как сумею, на голос названную песню и тотчас на лицах кругом обстоящих меня певиц (реже певцов) непременно появится непритворное выражение удивления и нетерпеливости, и едва успею пропеть несколько стихов, как уже замечаю, что мои внимательные слушательницы потихоньку полушепотом начинают мне вторить, подтягивать, постепенно возвышая свой голос, а более смелая из них еще вздернет плечами, отвернется в сторону от негодования, плюнет, пожалуй, и скажет в сердцах: „Брэшець хто табе так пеяу. Ци так пеюць гэту песню?". А мне это и на руку. Тотчас, разумеется, замолчу, а затем скажу и своей, сконфузившей меня при всей честной компании критикантке: „А як жа у вас пяюць? Я ня тутейший, сам ня ведаю як. Людзи кажуць у вас лепше поюць и ваше песни лепше. Спей гэту песню, альбо другую якую!". Ободренная этими словами, моя слушательница, после некоторых новых оттоворок, сказанных просто ради чванства, непременно споет мне сперва желанную песню, затем другую, третью и т.д. Этим способом мне всегда удавалось до такой степени развязать язык и голос моих певиц, что успевай только записывать, а на другой день по первому моему призыву охотно являлись в назначенный час для нового сеанса". Как видно, Шейн всем своим обликом, голосом, жестом, умением вести разговор вызывал предельную открытость и непринужденность собеседника. Можно назвать его беседу с крестьянами эстетической провокацией собирателя, поскольку беседа эта побуждала их к творчеству — активизировала память, заставляла говорить, скандировать, петь, — словом, воспроизводить произведение народного искусства.

Шейн интересовался и мелодиями белорусских песен. Напевы не записывал, поскольку нот он не знал, но с его голоса их записывали музыканты-профессионалы. По словам исследователя В.Н. Добровольского, Павел Васильевич сам был знатным певцом и особенно хорошо исполнял белорусскую песню „Научить тебя, Ванюша, ко мне не ходить". В.Ф. Миллер, говоря о командировке Шейна в Белоруссию, заметил: „Едва ли можно себе представить, что где-либо научные экспедиции совершались так дешево и приносили такие капитальные результаты".

А результаты были и впрямь впечатляющими. В 1887–1902 гг. Академия наук издает капитальный четырехтомный труд Шейна „Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края". Бросается в глаза универсальность сборника: вся жизнь белоруса, все виды народной поэзии раскрыты в нем глубоко и разносторонне. Обильно представлены обряды (родины, крестины, рождественские праздники, святки, обряды колядные, великодные на Юрьев день, троицкие, русальские, петровские, купальские, жнивные) и песни (колыбельные и детские, беседные, бытовые, шуточные, разгульные, любовные, семейные, рекрутские, солдатские, свадебные, погребальные, причитания). Далее следуют произведения эпической поэзии — духовные стихи, молитвы, сказки, анекдоты, предания, воспоминания, пословицы, поговорки, приветствия, пожелания, божба, проклятия, ругань, заговоры, заклинания, вирши. Завершают картину описания быта и материальной культуры белорусов: их жилище, одежда, пища, занятия, препровождение времени, игры, верования, обычное право; а также чародейство, колдовство, знахарство, поверья и суеверья, приметы и т.д.

Нелишне отметить, что при анализе произведений Шейн задействует и свои знания еврейской традиции и культуры. Так, комментируя белорусскую байку „Пошел козел за орехами" и говоря о бытовании ее сюжета в славянском и германском фольклоре, он возводит его к преданиям Агады — области талмудической литературы, возникновение которой относят ко II веку до н.э. Вместе с тем он демонстрирует эрудицию не только в древнееврейской книжности, но и в иудаике на немецком языке. Показательно, однако, что все цитируемые им сочинения германских гебраистов относятся к началу XIX века. И это верное свидетельство тому, что проблема еврейства занимала Шейна когда-то давно, на самом раннем этапе его жизнедеятельности, и за текущей литературой в этой области он не следил. И в этом своем труде он выступает как бесстрастный выразитель, так сказать, „гласа народа". Вот какую озорную припевку предлагает читателю Павел Васильевич:

Пришли жиды под лужок,
Узяли с хаты семь мешок,
Пришли жиды у пятницу,
Узяло с хаты лопацицу,
Пришли жиды у субботу,
Узяли с хаты усю работу,
Пришли жиды у недзелю,
Узяли мою усю надзею.

„Материалы...” не только получили высокую оценку ведущих ученых (академиков Е.Ф. Карского, А.И. Соболевского, А.Н. Веселовского, профессоров Н.Ф. Сумцова, П.В. Владимирова), но и были удостоены премии имени Батюшкова Академии наук.

С 1881 года Шейн решает полностью сосредоточиться на ученой и собирательской деятельности, выходит в отставку, переезжает в Петербург и живет на 61-рублевую учительскую пенсию. Такой микроскопической суммы было недостаточно даже для такого аскетически-скромного труженика, тем более, что этнографическая работа требовала немалых расходов. Коллеги и друзья Павла Васильевича говорили, что такой высокий пример служения науке нуждается в государственной поддержке, и хлопотали об увеличении ему денежного довольствия. Однако бесконечные бюрократические препоны и проволочки все затягивали дело, и только в 1891 году, то есть, только в возрасте 65 лет, Шейн стал получать удвоенную, в сравнении с прежней пенсию — 122 руб. 50 коп.

Называя себя „чернорабочим в науке”, Павел Васильевич с 1876–1900 гг. публиковал свои ученые изыскания на страницах редактируемого В.Ф. Миллером „Этнографического обозрения”, в других периодических изданиях. Среди его статей: „О собирании памятников народного творчества для издаваемого Академией наук Белорусского сборника, с предисловием Я. Грота” (1886), „К вопросу об условных языках” (1899), „К диалектологии великорусских наречий” (1899). Шейн участвовал также в составлении академического словаря русского литературного языка, который пополнял народной фразеологией.

Под старость в одинокую жизнь Павла Васильевича был внесен проблеск радости и семейного уюта. Улыбкою прощальной ему блеснула любовь, а ею стала простая русская женщина, петербургская белошвейка Прасковья Антиповна Виноградова, младше его почти на целые 30 лет. Натура сострадательная, отзывчивая, она всем сердцем прикипела к мужу-инвалиду, полюбив его просто за то, что он есть. Воодушевление и бодрость духа, испытываемые Шейном в ее присутствии, современник живописует в самых притягательных чертах: „Боль-

шая подвижность, несмотря на калечество, выразительная игра лица, совершенно молодые блестящие глаза, крупная и характерная голова с густыми белыми кудрями, живость и остроумие разговора и горячий живой интерес ко всему... Он так легко побеждал силой духа все свои немощи и убожество, и вы невольно забывали о них". Прасковья Антиповна, которую он называл полушутливо: „моя сестра милосердия", словно оправдывая это прозвание, не уставала дарить ему свою милость сердца, щедрость русской души — стала рачительной, домовитой хозяйкой, помогающей ему во всем. Не беда, что читала с трудом, ибо с грамотой не дружила, но корректуры в типографию носить могла — и носила, и все желания его угадывала, не успеет сказать, — а все готово уже, и вдобавок еще, как в том еврейском анекдоте, немного шила (ведь белошвейкой была), пополняя семейную казну.

И вот на седьмом десятке у Шейна рождается дочь. Девочку сразу же крестят по православному обряду. Ее баюкают под напевы русской колыбельной. Она внимает сказкам об Иване-царевиче и Илье Муромце. И едва ли скоро узнает, что она дочь еврея. Да и на фотографическом портрете самого Павла Васильевича тех лет едва ли угадываются семитские черты: похоже, за долгие годы общения с крестьянами он настолько сроднился с ними, что обрел какой-то простонародный облик. Он очень напоминает мужика-великоросса средней полосы, и его окладистая борода тоже воспринимается как вполне русская, словно на эту русскость работает.

Последним и главным трудом Шейна стал „Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т.п." (1898–1900). Это было такое дело, для которого, по словам собирателя, „действительно нужно было иметь „силушку звериную", „потяги держать да лошадиные", как поет народ про свою жизнь и работу". И воспринимал он сей труд как итоговый, после свершения которого можно было сказать словами его старшего друга, покойного поэта С.Е. Раича:

Благодарю тебя, Всевышний!
И я на земле был не лишний!

И он жадно и вдохновенно работал. Казалось, долгожданное семейное счастье достигнуто, стало надежным, стойким и давало творческий стимул его напряженным трудам.

Но недаром говорят, пришла беда — отворяй ворота! Все оборвалось в одночасье! Наверное, немилосердный Иегова мстит ему за отступничество! Кто еще мог наслать напасти на его „сестру милосердия", Прасковью Антиповну, Пашеньку?! „Моя бедная, трудолюбивейшая и добрейшая жена, — пишет Шейн В.Ф. Миллеру 8 февраля 1896 го-

да, — заболела такой болезнью, которой помочь без операции невозможно... Я решительно в отчаянии, как мне с дочуркой прожить на свете... Ведь ни я, ни дочурка не можем ни шагу сделать без мамули нашей: она нас и одевает, и раздевает, и кормит, и лечит; одним словом, она все в нашей ежедневной жизни". Через некоторое время он пишет другое, полное отчаяния письмо: „Моя милая многострадальная жена с прошлой субботы находится в Евангелической больнице, и сегодня утром ей там сделали операцию весьма серьезную. Что будет с нею, и что ожидает меня с дочуркой — страшно подумать. У меня голова трещит, все нервы в страшном напряжении, — плачу поминутно, как старая деревенская баба... Какие вести принесет мне завтрашний день? Уповаю на милосердие Бога, что сподобит ему передать ему дух мой на руках моей милой, дорогой жены и не попустит смерти подкосить мою жизнь в одиночестве, нежели окончу свой небесполезный для моих соотечественников труд".

Однако операция не помогла. Организм Прасковьи Антиповны оказался поражен раковыми метастазами. Ее перевезли из больницы домой, и Павел Васильевич долгие месяцы сидел у одра страдалицы-жены. Обласканный всего несколько лет уютом семьи, он остро переживал свалившееся на него горе, скорбно ждал одиночества, но ни на минуту не оставлял мысли о труде всей своей жизни: „Уже не говоря о том, что предстоящее мне испытание, когда Богу угодно будет призвать меня к себе, убьет последнюю жизненную силу мою, которая каким-то чудом сохранилась во мне, в моем слабом организме с такою живучестью, но страдания мои душевные... высасывают всю мою кровь, сжимают мою слабую грудь до спазм, до бессонницы: не сплю до 4-х, 5-ти часов утра. А между тем меня академическая типография осаждает корректурами моего „Великорусса". Не знаю, хватит ли у меня сил для перенесения предстоящего несчастия, но мне не хотелось бы умереть раньше окончания моего сборника, на который я потратил столько лет жизни, энергии и всевозможных жертв. Для этой цели я готов, как нищий на улице, просить, клянчить у всех проходящих мимо меня и близ меня людей и приятелей, довлачить мне мою разбитую нежданно-негаданно жизнь, хоть кое-как, до окончания моего многолетнего, многострадального труда".

В феврале 1897 года Прасковья Антиповна отмучилась и покинула сей мир. „Какой тяжелый, сокрушительный удар нанесла мне судьба этой утратой, в особенности в мои годы! — воскликнул Павел Васильевич. — Страшно мне будет довлачить остаток жизни...".

А через год увидел свет первый том его „Великорусса", в коем Шейн хотел собрать и объединить все свои многочисленные материа-

лы, как опубликованные, так и хранившиеся в рукописях. Труд сей может быть назван энциклопедией поэтического богатства русского крестьянина. Хотя издание не завершено, и в него вошел только песенный материал, но и в незаконченном виде он принадлежит к самым замечательным памятникам мировой фольклористики. В нем свыше 2500 песенных текстов из 22 российских губерний с подробным описанием народных обрядов и обычаев. Содержание „Великорусса" богато и разнообразно. Художественное чутье и опытность помогли собирателю отобрать лучшие образцы русской народной песенной лирики. Новацией было и то, что к сборнику прилагались ноты к 17 песням и объяснительное письмо к ним, способствовавшие полноценному восприятию народного творчества.

По словам литературоведа М.К. Азадовского, „для изучения обрядовой поэзии — это основоположный труд и один из важнейших классических сборников русского фольклора". А академик Е.Ф. Карский назвал его „выдающимся явлением великорусской этнографии". Однако, как верно заметил этнограф А.В. Марков, „Великорусс" стал „лебединой песнью неутомимого собирателя".

Шейн продолжает свои труды, хотя им часто овладевает глубокое уныние. „И это нравственное состояние тем тяжелее для меня, — откровенничает он, — что я по два — по три дня не выхожу из дому, редко дышу свежим воздухом... Сажусь за работу, над которой сижу до поздней ночи. Эта почти механическая работа убила наповал мою личную жизнь... Опасаюсь, чтобы отчаяние... не лишило меня возможности продолжать работать над собранным, не легко обозримым и, как смею думать, ценным для науки материалом".

В другом месте он, описывая свой распорядок дня, признается: „Как только встаю, сейчас за „Новое время", затем чай...". Из сего видно, что чтение антисемитской газеты, издаваемой А.С. Сувориным, настолько вошло у него в привычку, что стало своего рода ритуалом, обязательным перед чаепитием. Что искал в ней этнический еврей Шейн? Чем могли быть ему любы погромные настроения лютых „патриотов" и шовинистов? Нет ответа. Но, приняв во внимание крайне правые воззрения Павла Васильевича, можно утверждать, что его жгучий интерес к „Новому времени" далеко не случаен.

Хилый и физически разбитый, Шейн направился лечиться на берег Балтийского моря, где 14 августа 1900 года окончил свой жизненный путь. Он нашел успокоение вдали от России, на немецком кладбище в Риге. Но памятник Павлу Васильевичу был сооружен российским Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии, отдавшим дань его бескорыстному служению науке и русскому

народу. И сегодня именем Павла Васильевича Шейна называют в России улицы, почетные студенческие стипендии, сведения о нем вошли во многие биографические словари и энциклопедии, причем не только литературные.

Знаменательно, однако, что хотя Шейн долгое время ничего общего со своими соплеменниками не имел, все биографы собирателя неизменно подчеркивали его еврейство. „Павел Васильевич Шейн, родом *еврей*, — писал Н.И. Костомаров, — в молодости принял христианство, не из расчета, как поступают нередко его соплеменники, а из убеждения, и с тех пор предался всею душою русскому народу, посвятив себя изучению его народности... Он исполнял свое дело с редкою страстною любовью и удивительным постоянством". „Своим свыше чем сорокалетним трудом, — вторил ему профессор Б.М. Соколов, — *еврей* Шейн явил достойный пример служения русскому народу и его самобытной культуре". В этом же духе высказывались А.Е. Грузинский, Ф.В. Миллер, А.Н. Пыпин. И становится очевидным, что Шейн, искренне принявший христианство и не только вошедший в отечественную культуру, но и обогативший ее, был для части русской интеллигенции типом образцового, эталонного российского еврея. Ассимиляция, русификация, отказ от иудейских традиций, хотя не всегда декларировались прямо, но неизменно в такой эталонный образ вписывались. Об этом, кстати, рассуждает и Василий Розанов в статье „Пестрые темы".

Стоит ли доказывать, что духовный выбор Шейна — не единственный возможный путь для еврея в России. В ней имеют право быть и такие деятели, как Исаак Левитан, иудей, так щедро обогативший русскую культуру, и Леон Мандельштам, служивший Отечеству, но сохраняя при этом свою веру и еврейскую идентичность. Их жизнь, как и жизнь Павла Васильевича Шейна, так же мало нуждается в оправдании, как и всякая другая.

БРАТЬЯ-АНТИПОДЫ

Петр Исаевич Вейнберг (1831–1908) своей многогранной деятельностью заслужил в отечественной культуре самое почетное место. Поэт, ученый, академик, педагог, издатель, редактор, переводчик-профессионал, много сделавший для знакомства русских читателей с западной литературой, заступник писательской братии, — он прочно вошел в историю российской словесности. Младший же его брат, Павел Исаевич Вейнберг (1846–1904), снискал себе иную славу, сколь шумную, столь и скандальную, — славу рассказчика еврейских анекдотов и был вскоре заслуженно забыт...



И.С. Вейнберг



Р.А. Вейнберг

Родители братьев были этническими евреями, однако приняли православие задолго до их рождения. И что характерно, старшие Вейнберги стали христианами не корысти ради, но по зову души. Отец, Исай Семенович, строго следил за исполнением семьею всех церковных обрядов, сам подавал этому пример, и дети с самых ранних лет привыкли относиться к религии с благоговением. Учиться Закону Божию начали дома, у матери, Розы Абрамовны, которая выучила их главным молитвам и рассказывала им эпизоды священной истории. А по праздникам в дом Вейнбергов неизменно приезжали священники и истинно по-пастырски говорили с детьми.

Но в этой, казалось бы, вполне обрусевшей православной семье неистребимым остался завещанный еврейскими пращурами культ разума и знания. Исай Семенович, нотариус и сын нотариуса, хотя и не получил университетского диплома, был весьма эрудированным человеком, в высокой степени уважавшим науку, и главную свою за-

боту видел в том, чтобы дать многочисленным чадам (шести сыновьям и четырем дочерям) достойное образование. При этом не стеснялся иной раз прибегать к самым жестким мерам педагогического воздействия, сиречь к розгам, так что штрафникам, повинным в лености в учебе, приходилось хлебнуть лиха. Человек завидного остроумия (которое, кстати, в большой степени передалось и нашим братьям), он подводил под порку ослушника строгую документальную базу. Однажды, когда сын словчил, подскоблил и исправил оценку в школьном дневнике, отец, прежде чем задать трепака, привел ему ссылки на „Уложение о наказаниях уголовных и исправительных" и соответствующие статьи прочих российских узаконений, древних и новых.

Хотя в семье Вейнбергов не почитались иудейские традиции, можно говорить, тем не менее, об их отголосках. Примечательно, что на пятом году жизни старшего из чад (а известно, что как раз в этом нежном возрасте еврейского отпрыска отдавали учиться в хедер) Исай Семенович решает определить его в знаменитый в Одессе пансион. „Ты должен, — категорически заявил он при этом сыну, — в тринадцать лет писать уже латинские стихи". Дата эта никак не произвольна, а знаменовала собой бар-мицву — пору духовной зрелости для еврея.

И еще одно наследие родных пенатов получили братья — страстную любовь к театру, всемерно поощряемую отцом. В их поместительном одесском доме давались самодеятельные спектакли, в коих принимали живое участие все Вейнберги, от мала до велика. На таких домашних представлениях не гнушались выступать всероссийски знаменитые Михаил Щепкин и Павел Мочалов, известный американский чернокожий актер-гастролер Айра Олдридж, неподражаемый в ролях Шейлока и Отелло. Исай Семенович и сам был не чужд лицедейства. Он близко знал директора Одесского театра, водил дружбу с многими артистами и частенько брал за кулисы сыновей, демонстрируя знаменитостям их дарования. И был безмерно горд, когда великий Щепкин взял на руки малыша-сына и сказал: „Отдайте мне его, я сделаю из него хорошего актера!" Будучи безотчетно увлеченным театром, Вейнберг-старший пекся о том, чтобы воспитать артистическое чувство и у своих детей. Забегая вперед, скажем, что ему это удалось. Впрочем, степенный, охочий до знаний Петр и проказливый, нерадивый Павел, казалось, только по страннейшему недоразумению были детьми одних родителей. И хотя братья получили одинаковое воспитание, из отчего дома они вышли в большую жизнь совершенно разными людьми.

РЫЦАРЬ ДУХА
ПЁТР ВЕЙНБЕРГ



П.И. Вейнберг

Литераторы, современники Петра Вейнберга, аттестовали его „рыцарем духа", „сеятелем разумно-доброго", служившим русской словесности самозабвенно, „с исключительной искренностью и самоотверженной чистотой". Подчеркивалось при этом его русское образование и культурное воспитание.

А магия литературы заворожила его с детства. Он, пятилетний мальчуган, сочинил „трагедию", в эпилоге которой изображалась степь, а „по углам" ее стояли разбойники, и оркестр громко играл „Боже! Царя храни!". После сего отец, уверовав в литературную Фортуну Петра, определил его в лучшее в Одессе учебное заведение — Василия Андреевича Золотова (1804–1882). Пансион, как называл его Петр, „золотого Золотова", в котором он проучился шесть лет, оказал на него огромное нравственное влияние и сформировал его эстетический вкус. „Живой, как ртуть", человек, педагог-новатор, Василий Андреевич, в прошлом преподаватель Ришельевского лицея, обучал детей по методе, основанной на системе француза Жана Жакото, т.е. разумного согласования впечатлений глаза со слухом. Ненавидел „долбню", а пылко ораторствовал, увлекаясь сам и увлекая за собой слушателей. Подготовил учебные пособия для учащихся, легкие, доступные для понимания. Завоевав общее доверие и уважение, он взял за правило вникать в жизнь каждого воспитанника, поощрял доброе, корил и совестил оступившегося, давая пример беспристрастной моральной оценки. Важно и то, что на словесность здесь научили смотреть как на высокое, святое дело, и о тех, кем гордится русская литература, говорили как о лучших государственных мужах, так что все знали наизусть стихотворения Державина, Жуковского, Пушкина. Отличный ритор и декламатор, Золотов сопровождал чтение разъяснениями внутреннего смысла произведения, поддерживая в учащихся тот „священный огонь", который во многих продолжал гореть все последующее время их жизни. Как сказал Петр, этот учитель заложил в его ум и сердце ту „литературную закваску", благодаря которой и окрепла в нем беззаветная любовь к русской словесности.

Особенно памятен Вейнбергу был день, когда в Одессу пришло известие о кончине Пушкина. По настоянию Золотова, учение было тогда прекращено на три дня; три дня кряду в пансионе служились панихи-

ды, и каждый день после богослужения Василий Андреевич в течение нескольких часов читал каждому „возрасту" отдельно лучшие произведения погибшего поэта и уяснял ту великую потерю, которую понесла в его лице вся Россия. А после публикации письма Жуковского о последних минутах Пушкина учитель прочел его всем воспитанникам — „и сам не удержался от слез, и все плакали чуть ли не навзрыд".

Отметим, что Петр Исаевич всю жизнь будет стремится подражать своему первому учителю. Он использует его педагогические идеи: когда в 1868–1874 гг. возглавляет кафедру русской литературы в Варшавском университете, и на Высших женских курсах, где в продолжение пятнадцати лет читает курс всеобщей и русской истории, и будучи доцентом С.-Петербургского университета, где также преподает историю литературы. Но особенно востребованным для Вейнберга оказался такой психологический подход к ученику в Коломенской детской гимназии, а также в реальном училище Я.Г. Гуревича, где он не только преподает, но и директорствует. И так же, как и Золотов, Петр Исаевич пишет ряд учебных пособий: „Европейский театр" (1875), „Русские писатели в классе" (10 вып., 1881–1886), „Русская история в русской поэзии" (1888) и др.

Но то случится в далеком будущем, пока же одиннадцатилетний Петр поступает в гимназию при Ришельевском лицее, „неся туда ту живую душу, которая была [в него] положена незабываемым Василием Андреевичем и которую [он] надеялся найти в последующих руководителях". Но в гимназии „царил рутинный формализм при полном отсутствии живого элемента". Не лучше обстояло дело и на юридическом факультете лицея, куда Вейнберг поступил по окончании гимназии. „Не столько юридические науки, — признавался он, — сколько поистине ужасный способ их преподавания бездарными и ленивыми профессорами, отравил мне годы, которые я поневоле проводил на скамьях лицейских аудиторий". К тому же, одержимый любовью к словесности, наш лицеист не мог смириться с тем, что профессор Константин Зеленецкий (1812–1857), даром что сочинил труды по риторике, читал лекции „жалко и комично", притом только о русской литературе (кафедры литературы всеобщей там не было). Потому, когда отец разрешил Петру, за полгода до окончания курса, покинуть Лицей и отправиться в Харьков, в университет, чтобы стать студентом историко-филологического отделения, казалось, мечты его сбылись.

Однако открывшаяся перед ним картина оказалась, по его словам, „мрачной и печальной". Преподавание в университете стояло на самой низкой ступени и, что еще печальнее, среди профессоров было немало лакомых до мзды: существовала даже негласная такса за сдачу экзаме-

на студентами, перевод их из курса на курс (даже если те вообще не посещали лекций). Один из таких витий-мздоимцев читал лекции по богословию по замшелым, пожелтевшим от времени конспектам. А профессор-ретроград Николай Лавровский (1827–1899) заявлял, что „все, что появилось в русской литературе после Карамзина, не заслуживает серьезного изучения", а о творчестве Пушкина отзывался как „о легкой поэзии для препровождения времени".

И все же в этом „сборище бездарностей" находились молодые преподаватели, отличавшиеся „содержательностью, широтой взглядов, новизной обобщения, отзывчивостью на общественные вопросы, ораторским талантом... Их слушали с жадностью, и слова их глубоко запечатлевались в умах и сердцах студентов". Петр с благоговением вспоминает филолога Николая Костыря (1818–1853), вдохновенно и так романтично читавшего лекции по эстетике и русскому языку. В нем „студенты нашли не только руководителя в области наук, но и старшего товарища, советника и помощника в материальных нуждах". Это по его инициативе в университете стали проводиться литературные собрания, на которых студентам вменялось в обязанность читать опусы собственного сочинения с последующим их обсуждением и критическим разбором. Благодаря словеснику Костырю уже наличествовавшая в нашем герое литературная закваска вызвала творческое брожение. Насколько оно было бурным, свидетельствует тот факт, что отсчет писательской деятельности Вейнберга ведется именно с его студенческих лет, когда в 1851 году в журнале „Пантеон" (№ 11) был напечатан перевод драмы Жорж Санд „Клоди" (анонимно, без указания имени переводчика). Мало того, он переложил стихотворение Виктора Гюго „Молитва обо всех" (Харьковские губернские ведомости, 1852, февр.). А в письме к редактору „Пантеона" Ф.А. Кони от 24 сентября 1852 года Вейнберг предлагает свои услуги как переводчик рассказов, пьес, водевилей. Тогда-то и началась деятельность этого „переводчика из переводчиков", как будут потом называть нашего героя.

В 1854 году в Одессе выходит поэтический сборник Петра Вейнберга с переводами из Горация, Шенье, Виктора Гюго, Байрона и несколькими оригинальными стихотворениями. Но вот незадача: окончив курс университета в 1854 году, наш поэт не получил при этом звания кандидата. А виной тому был неисправимый буквоед Лавровский: влепил ему двойку на кандидатском экзамене по русской литературе, придравшись к одной фактической ошибке из истории словесности XVIII века (мстил за прогул своих унылых лекций). Так что экзамен пришлось пересдавать через год.

А тем временем наш герой направляется в Тамбов, в качестве чиновника особых поручений при губернаторе Карле Данзасе

(1806–1885). О трех годах, проведенных в Тамбове, Петр Исаевич будет говорить как о „времени глупого, праздного и бесцельного существования". Впрочем, он здесь излишне самокритичен, поскольку помимо службы усиленно занимается литературной работой: редактирует неофициальную часть „Губернских новостей", сам пишет много и вдохновенно. Забавно, что даже свое отвращение к чиновничьей службе он выражает посредством стихотворной пародии (на стихотворение „Выхожу один я на дорогу" М. Лермонтова):

Выхожу один я в коридоры,
Подо мной паркетный пол блестит,
Сторож спит, потупит в землю взоры,
И курьер впросонках говорит...
Я б хотел заснуть, чтоб видеть сон,
Будто я уже начальник в силе,
Будто я начальством награжден...

Вообще, тамбовский период, о коем наш герой, по его словам, не может вспоминать „без содрогания", сыграл в становлении Вейнберга-поэта весьма значительную роль. И прежде всего потому, что он открыл для себя творчество Генриха Гейне — мастера, к которому до конца жизни питал неизменный пиетет. Петр Исаевич в свободное от служебных обязанностей время переводит его сочинения, сам пишет стихи в подражание немецкому поэту. При этом произошел казус, впрочем, вполне объяснимый. Редактор петербургского „Русского вестника" Михаил Катков принял его стихи за переводные и в 1856 году поместил их в журнале под заглавием „Из Гейне". Это забавное событие побудило Вейнберга взять псевдоним „Гейне из Тамбова". А впоследствии он будет аттестовать себя „тезкой великого Гейне".

Вейнберг — редактор первого и последующих собраний сочинений Гейне на русском языке, переводчик более 250 стихотворений, пропагандист и издатель его произведений, их критик и комментатор, биограф и истолкователь жизни и творчества немецкого поэта. В любовной лирике Петра Исаевича влияние Гейне весьма ощутимо, причем с самых первых его шагов на поэтическом поприще. По образцу „песен" немецкого поэта построены многие стихотворения из цикла Вейнберга „Песни о любви", в которых эмоциональное напряжение так же снимается иронической концовкой. Обращает на себя внимание стихотворение „Доктрина" с зачином одноименного стихотворения Гейне и с продолжением, в котором сквозит самоирония над тяготением к мещанской успокоенности. Творческие принципы и худо-

жественная манера Гейне угадываются в пьесах „Взгляд на природу", „Дождь и слякоть... По аллее", „Элегия (Один из современных вопросов с поэтической точки зрения)", „Мы с ней молчаливо сидели", „В фотографии недавно", „К укротителю в зверинец", „Перед стройною испанкой" и т.д.

Как отмечал критик Юрий Веселовский на рубеже веков, „его юмористичекие вещи, печатавшиеся под псевдонимом Гейне из Тамбова, имели весьма оригинальную судьбу: некоторые из них, особенно бойкие и остроумные, пользовались — и поныне пользуются — широкой популярностью у читателей во всех концах России..., но подчас они и не подозревали, какой литератор скрывается за шутливым псевдонимом". Но правда и то, что „милый и тихо улыбчивый юморист Вейнберг был слишком добродушным и покладистым для сатирических настроений, и потому сатирические его попытки никогда не возвышаются над ремеслом на случай, упражнением на сатирическую тему не сатирика, а просто человека, одаренного известною долею остроумия и способностью к версификации. Отсюда ясно, что Гейне из Тамбова — не целиком Гейне, даже на тамбовский лад, а Гейне довольно ограниченный и смирный".

Как иронизировал журнал „Стрекоза" (1882, №46), Гейне оставил после себя в России „целые полчища вполне достойных смерти подражателей, переделывателей и обкрадывателей". В этой череде Гейне из Тамбова был, несомненно, первым и лучшим, а за ним последовали Гейне из Архангельска — В.С. Курочкин, из Вельска — А.Н. Коропчевский, из Глуховки — Н.П. Матвеев, из Иприта — Ф.Ф. Филимонов, из Кунавина — С.Ф. Рыскин, из Любани — А.В. Круглов, из Мирославки — И.Ф. Гордеев, из Темрюка — Л.Л. Мищенко, из Уржумки — М.С. Попов, из Харькова — А.Я. Немировский, и имя им легион. Приходится признать, что сатира таковых, равно как и Вейнберга, осторожна, притуплена и неизбежно сползает к юмору, она „кругло безобидна". Литературовед Яков Гордон говорит о „гейневском стереотипе" — использовании лирико-иронической манеры немецкого поэта с неизбежным уплощением содержания гейневского стиха или поэтического произведения, которое местный автор пытался подогнать под манеру Гейне.

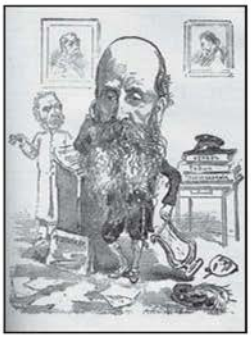
К периоду пребывания в Тамбове относится и самое, пожалуй, знаменитое стихотворение Вейнберга „Он был титулярный советник" (1859), впоследствии вошедшее в сборник „Юмористические стихотворения Гейне из Тамбова" (Спб., 1863) и положенное на музыку Александром Даргомыжским. Надо сказать, что этот „шедевр декламации" обессмертит уже в XX веке Федор Шаляпин. Сюжетом его стало неудачное сватовство чиновника невысокого ранга к дочери генерала, от-

разившее факт личной биографии автора: как свидетельствует Петр Исаевич, он был тогда безнадежно влюблен в дочь губернатора; а вот по мнению правнучки поэта Галины Островской, речь идет в нем о его будущей законной жене, дочери генерала Зинаиде Ивановне Михайловой (1840), но предложение руки и сердца было принято не сразу. Последняя версия едва ли основательна, поскольку свадьба четы Вейнбергов состоится только в 1861 году. Интересно, что и другое ставшее программным стихотворение Вейнберга, из цикла „Морские мелодии", также было навеяно ему Генрихом Гейне, которого называли „придворным поэтом Соленой стихии" („Море было моим единственным собеседником, и лучшего у меня никогда не было", — признавался немецкий поэт). Оно так же получило широкую известность, и на надгробном памятнике Петра Исаевича на Литераторских мостках в Петербурге, высечены слова:

А седые волны моря
Пробужденью духа вторя
Откликом природы,
Все быстрей вперед летели,
Все грознее песню пели
Мощи и свободы!

В 1858 году Вейнберг переезжает в Петербург и по рекомендации поэта Владимира Бенедиктова посещает журфиксы Александра Дружинина, где знакомится со всем цветом писательского мира: Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем, Писемским, Некрасовым, Боткиным и т.д.; ведет раздел „Литературные летописи" в „Библиотеке для чтения", сотрудничает в „Современнике", „Сыне Отечества", „Русском слове", „Отечественных записках", „С-Петербургских Ведомостях", публикует цикл фельетонов „Мелодии серого цвета" в журнале „Весельчак", проявляя необыкновенную энергию и трудолюбие. Не было ни одного сколько-нибудь выдающегося издания, в котором бы он так или иначе не участвовал. Писатель Юрий Морозов приводит на сей счет анекдот об одном провинциальном литераторе, искавшем работы в столице. „Приходит он в одну редакцию, предлагает „Внутреннее обозрение". — Извините, — отвечают ему, — у нас этим отделом заведует П.И. Вейнберг. — Идет молодой человек в другую редакцию с предложением писать статьи об иностранной политике. — Этот отдел уже поручен нами П.И. Вейнбергу. — В третьей редакции на предложение театральных рецензий, получается тот же ответ... Куда ни толкнется молодой человек, — всюду слышит имя Вейнберга. С отчаянья он решается, наконец, предложить свои услуги „Модному вестнику"... Входит в редакцию —

и видит: за столом сидит Вейнберг и вырезывает выкройки. Молодому человеку ничего не остается, как, выскочив из подъезда, прямо броситься в Фонтанку. Но чья-то сильная рука выхватывает его из воды. Он хочет узнать имя своего нежданного спасителя — и слышит в ответ: „П.И. Вейнберг". Везде поспел!"



П.И. Вейнберг. Карикатура

В 1859 году в Петербурге начал издаваться сатирический журнал революционно-демократического направления „Искра", основателями коего были поэт Василий Курочкин и Николай Степанов. И, начиная с первого же его номера, Вейнберг принимает в журнале самое деятельное участие, будучи его постоянным автором, а некоторое время и членом редакции. „Искра" занимала непримиримую позицию к проявлению всякого рода произвола: издевательства над крепостными, казнокрадству, взяточничеству, прочим безобразиям и отвечала на них острыми фельетонами, сатирическими стихами и карикатурными портретами, задевая подчас и сильных мира сего. Именно „Искра" была той творческой лабораторией, в которой окрепло дарование Вейнберга и оформилось его поэтическое лицо. Заметим, что стихотворение „Он был титулярный советник..." увидело свет именно в „Искре" (1859, №2). Петр Исаевич впоследствии вспоминал о том, „как жадно набрасывалась публика на каждый номер „Искры", какой авторитет завоевала она себе на самых первых порах, как боялись ее все, имевшие основания предполагать, что они могут попасть на карандаш ее карикатуристов или под перо ее поэтов и прозаиков, с какой юношеской горячностью, наконец, относились к своему делу мы сами".

Весьма симптоматично, что издание не боялось возвышать свой голос в защиту евреев от нападок реакционной печати. Вот что писал редактор „Искры" Василий Курочкин, обращаясь к журналистам-юдофобам:

Мы смехом грудь друзей колышим,
Вы желчью льетесь на врагов.
Мы с вами под диктовку пишем
Несходных нравами богов;
Мы — под диктовку доброй феи;
Вы — гнома злобы и вражды;
Для нас евреи суть евреи,
Для вас евреи суть жиды.

А в стихотворении Вейнберга „Дамам-патриоткам" заключен скрытый протест против квасного патриотизма и племенной исключительности. Как бы желая вторить призывам и пламенным стремлениям „дам-патриоток", автор предлагает подвергнуть отныне остракизму иностранные романы, облечься в зипуны, кафтаны, мурмолки, „с дегтем сапоги", не танцевать заморских танцев — и „идти вперед быстрее раков"; услышав радостную весть о таком решении „патриотического союза", „Иван Сергеевич Аксаков подпрыгнет весело в Москве".

Отметим, что Вейнберг бичевал в „Искре" нечистоплотных дельцов всех племен и мастей, в том числе греков (от имени некоего Христофора Панаіото-Каракатопулы), не щадя при этом и своих соплеменников. Под псевдонимом П. Хазер-Трефный он опубликовал очерк, направленный против откупщика-еврея, некоего Шельмовича-Гольдорфа (Утина), ставшего к тому же объектом фельетонов и многочисленных карикатур журнала, где тот аттестовался Ицкой Гусиным. По словам критика, „нет ничего удивительного в том, что Вейнберг, будучи евреем, не жертвует национальному чувству истиною и обличает возмутительные деяния другого еврея". Впрочем, резкость тона филиппики объясняют, в частности, и влиянием Николая Степанова, оттачивающего на злополучном Утине свое редакторское остроумие. Между тем, Петр Боборыкин вспоминает, что Вейнберг покровительствовал еврейским литераторам и направил к нему „курьезного еврея", некоего Оренштейна, для которого сочинил псевдоним „Семен Роговиков" — перевод с немецкого его фамилии.

Собственно поэтическое творчество Вейнберга мало оригинально, стихи рассчитаны на декламацию. Обычно они звучны, логически ясно и четко построены, выразительны и эмоциональны. Их отличает умелая версификация: они бывают сильны и гармоничны, но не лишены и шаблонных эпитетов, сентиментально-слащавых выражений и штампов. Но писал он не только оригинальные стихи (число коих в итоговом сборнике не превысило и 130!), но и историко-литературные этюды, критические статьи, обзоры-рецензии, публицистические фельетоны. Знаток и любитель театра, он инсценировал „Дворянское гнездо" Тургенева, сочинил несколько прологов для сцены, среди них: „У Фонвизина" (1892), к „Недорослю" и „Миллион терзаний" (1894) — к „Горю от ума" Грибоедова. Писал он и водевили, и либретто опер. Опубликовал ряд книг, посвященных истории русской литературы, в частности, „Русские народные песни об Иване Васильевиче Грозном" (1872), „Народная хрестоматия: А.В. Кольцов и его произведения" (1884), „Критическая хрестоматия по истории русской литературы" (1887). Был он и деятельным культуртрегером — составителем всякого рода сборни-

ков, хрестоматий: „Знание. Сборник для чтения" (1867) — книга для чтения по различным областям знания, „Ученье — свет. Книга для чтения в классе и дома" (1883), „Практика сценического искусства. Хрестоматия" (1888) и др., иными словами, профессиональным литератором самого широкого творческого диапазона.

Важным событием культурной жизни Петербурга было создание в 1859 году Литературного фонда, организованного в целях оказания помощи нуждающимся литераторам и ученым. Одним из его инициаторов, деятельных участников, а потом и председателем был Петр Вейнберг. Борис Глинский свидетельствовал: „Он буквально в своей личности сосредоточил все обилие горя, нужды и печали, которые так часто сопутствуют жизни писательского сословия". При этом не боялся вступаться за литераторов-революционеров, подвергшихся репрессиям (ходатайствовал об освобождении Горького, арестованного после событий 9 января 1905 года, о разрешении вернуться в Петербург из Вильны сосланного Германа Лопатина). Он был „вечным ходатаем перед обществом за писательское сословие, устраивая в его пользу концерты, спектакли, чтения, привлекая сюда выдающиеся поэтические силы, хлопоча о величине сборов, дабы иметь возможность как можно шире прийти на помощь человеческой беде". Возглавлял Петр Исаевич и Союз взаимопомощи русских писателей, председателем которого был избран в 1897 году. А в 1905 году по рекомендации А.П. Чехова он стал еще и почетным академиком.

Серьезный любитель и знаток сценического дела, Петр Исаевич играл Хлестакова в благотворительном спектакле „Ревизор" в пользу Фонда, где выступали все жившие в то время в Петербурге классики русской литературы — Тургенев, Некрасов, Гончаров и др. А Достоевский выступал там в роли почтмейстера Шпекина. Образ, представленный на сцене Вейнбергом, Достоевского впечатлил:

— Вот это Хлестаков в его трагикомическом величии, — нервно заговорил он и, заметив нечто вроде недоумения на лицах стоявших тут же нескольких человек, продолжал: — Да, да, трагикомическом! Это слово подходит сюда как нельзя больше!... Именно таким самообольщающимся героем — да, героем — должен быть в такую минуту Хлестаков! Иначе он не Хлестаков!

По словам современника, „ни одно литературное начинание в его широкой общественной обстановке не обходилось без ближайшего участия Петра Исаевича, причем часто именно он стоял в их главе в роли организатора и устроителя". Это он был инициатором обедов в редакциях „Биржевых ведомостей" и „Молвы", где разработал так называемый „обеденный устав", согласно которому на стихотворное при-

глашение так же надлежало отвечать исключительно в стихах. Квартира его на Фонтанке у Аничкова моста, которую знала чуть не вся научно-литературная Россия, стала своего рода центром, куда люди шли за советом, с просьбою, за помощью и поддержкой. Петр Вейнберг был учителем, профессором, общественным деятелем, почетным академиком. Но всем этим он был только потому, что он был литератором. Литература пронизывала собой все эти его занятия и должности, и занимал он их только для того, чтобы полнее и целесообразнее служить все ей же, и только ей одной. А вот отзыв восторженного слушателя его стихов: „Читал он их как-то особенно убедительно, вдохновенно-горячо, напрягая почти через силу свой слабый старческий голос. В эти минуты скромный и тихий Петр Исаевич походил на могучего библейского пророка".

Да и сам лик Вейнберга с длинной, как у Авраама, окладистой бородой называли „иконописным" и сравнивали с легендарным летописцем Нестором. Ибо Петр Исаевич был „Нестором петербургского писательского мира": человек этот, как верно заметила Зинаида Гиппиус, формировал и олицетворял собой „настоящую исконную *литературную среду*", был „верным рыцарем русской литературы".

И все же главная и неоценимая заслуга Вейнберга в том, что он ввел в российский культурный обиход шедевры мировой литературы. Переводчик-профессионал, он мог работать над любыми произведениями — художественными и научными, классическими и современными, стихотворными и прозаическими. Работал он умело и быстро, брался, например, за месяц перевести пьесу Шекспира. Поэт Алексей Плещеев утверждал, что он „может переводить, что угодно, — и хоть по акту в день может строчить стихами".

Масштабы переводческой деятельности Вейнберга огромны: свыше шестидесяти европейских и американских авторов от Данте до его современников. Он участвует в подготавливаемых Н.В. Гербелем изданиях Ф. Шиллера, Дж. Байрона, У. Шекспира (перевел 9 пьес), осуществляет издания Г. Гейне (1864–74; 3-е изд. — 1904), И.В. Гете (1865–71, 1875–76), Л. Берне (1869; 2-е изд. — 1896), В. Гюго (1887, 1895), Ф. Коппе (1889), а также переводит произведения Х.Ф.Д. Шубарта, Л. Уланда, А. фон Шамиссо, Н. Ленау, А.Г. Гофмана фон Фаллерслебен, Ф. Фрейлиграта, Ф. Шпильгагена, Г. Зудермана, Р.Б. Шеридана, Р. Бернса, П.Б. Шелли, Э. Б. Браунинга, А Мюссе, О. Барбье, Брет Гарта, Г.Х. Андерсена, Г. Ибсена, А. Мицкевича и др. Важно то, что неутомимый популяризатор западной литературы Вейнберг формулирует принципы художественного перевода, которыми неукоснительно руководствуется. Он ориентируется на читателя, не владеющего иностранным языком, а по-

тому озабочен тем, чтобы перевод был полным, сохранял национальный дух и исторический колорит оригинала и изложен безукоризненным русским языком. Впрочем, более всего ему удавались прозаические и драматические переводы, что до переводов стихотворных, особенно лирики, то в них заметно пренебрежение формой оригинала, поэтические штампы, многословие. Однако, по словам литературоведа Юрия Левина, „в истории русской переводной литературы XIX века ни один переводчик ни до, ни после Вейнберга не пользовался таким авторитетом, не получил такого общественного признания и почета, каким был окружен он в конце своего творческого пути. Среди своих современников Вейнберг стяжал славу лучшего переводчика, а его переводы долгое время считались образцовыми".

Совокупность его переводов образует, в своем роде, грандиозное целое и красноречиво свидетельствует о безусловном общественном значении его работы. Отмечалось, что „переводными трудами своими Вейнберг стал одним из усерднейших и значительнейших образователей русской интеллигенции, и имя его для этой области в истории русской литературы навсегда останется среди полезнейших и почтеннейших".

А каким было отношение Петра Исаевича к иудейской религии, еврейству вообще? Существует ошибочное мнение, впервые высказанное в „Еврейской энциклопедии" (T.V, Стб. 382), что Петр Вейнберг будто бы крестился в юности. Его опроверг сам писатель в „Автобиографии", указав на свое метрическое свидетельство за подписью протопресвитера армии и флота Василия Бажанова (впоследствии духовника трех российских императоров). Но вопрос этот, надо думать, был для него принципиальным, ибо его отношение к выкрестам благожелательным назвать трудно. Об этом можно судить по резко-осуждающему тону, с коим он говорит о таком „фальшивом шаге" своего литературного кумира Генриха Гейне. Слабыми, не выдерживающими строгой критики называет Вейнберг ссылки великого поэта на то, что „крещение представляет собою билет для входа в европейскую культуру". Негоже было Гейне страшиться и вздорных насмешек над его „жидовством", которые исходили бы только от невежественного, обскурантного меньшинства. И отрадно, что Гейне скоро пожалел о содеянном. „Не глупо ли? — приводит его слова Вейнберг. — Едва я выкрестился — меня ругают как еврея... Я не-



Г. Гейне

навидим теперь одинаково евреями и христианами. Очень раскаиваюсь, что выкрестился: мне от этого не только не стало лучше жить, но напротив того — с тех пор нет у меня ничего, кроме неприятности и несчастия". А вот еще одна характерная реплика, переданная Вейнбергом: „Когда еврей, сын религии, не только удовлетворящей его идеальным потребностям, но и обуславливающей всю его жизнь, меняет ее на другую, то для него эта перемена означает разрыв не только с его прошедшим, но и со всем его внутренним существом. Ни одна религия не проникает в плоть и кровь человека, как еврейская. От этого ни один выкрестившийся еврей, при всем своем желании, не становится вполне христианином: новая религия, как вода, которою окрестили его, остается только на его поверхности. И по той же самой причине выкреститься так тяжело для всякой благородной натуры; еврей, делающий этот шаг охотно и весело, часто не что иное, как плут, настолько проникнутый страстью к торгашеству, что на свою веру он смотрит как на товар".

Что до самого Петра Исаевича, то, будучи христианином, он, по собственным словам, стремился постичь „область религии с ее внутренней стороны", развить и укрепить в себе нравственно-религиозное чувство. Примечательно, что при этом он высоко почитал и духовное наследие народа Книги. Достаточно обратиться к его „Притче" (Еврейская библиотека, 1875, Т. 5). Ветхий и Новый Заветы материализуются здесь в образах скалы и растущего на ней дерева и никак не могут согласиться между собой, кто же из них главнее. Далее следует примиряющий вывод:

Так дерево спорит с скалою,
Но связь не слабей оттого:
Оно зеленеет, как прежде,
Она — вся фундамент его.

Нашелся, однако, маститый писатель, который Петра Исаевича объявил жидом и отказал ему в праве быть русским литератором и сыном Отечества. Речь идет об Иване Гончарове, который в известном письме к великому князю Константину Романову (К.Р.) от 12–15 сентября 1886 года назвал Вейнберга одним из „целой фаланги стихотворцев, борзых, юрких, самоуверенных, иногда прекрасно владеющих выработанным, красивым стихом и пишущих об всем, чем угодно, что потребуется, что им закажут... Они космополиты-жиды, может быть, и крещеные, но все-таки по плоти и крови ос-

тавшиеся жидами... У их отцов и дедов не было Отечества, и они не могли завещать детям и внукам любви к нему... Отцы и деды не могли воспитать детей и внуков в преданиях Христовой веры, которая унаследуется сначала в семейном быту, от родителей, а потом развивается и укрепляется учением, проповедью наставников и, наконец, всем строем жизни христианского общества". Как ни парадоксально, но с мнением Гончарова невольно солидаризуются исследователи Лазарь Медовар и Хамутал Бар-Иосеф, которые называют Вейнберга „еврейским писателем". Зинаида Гиппиус с этим категорически не соглашается: „Вероятно, в нем была еврейская кровь; не знаю, ибо этот вопрос никого, даже самого Вейнберга, не интересовал". Правнучка Петра Исаевича Галина Островская уточняет: „Конечно, бытовой антисемитизм в России был широко распространен, и с его проявлениями Петру Исаевичу безусловно и многократно приходилось сталкиваться. И, конечно, он это остро и болезненно переживал. И страшно даже подумать, что творилось в его душе, когда в 1905 году в его любимой Одессе, где жили его многочисленные родственники и друзья, прокатилась волна ужасных еврейских погромов. Тем не менее *литератором он был безусловно русским"*...

Факты свидетельствуют о том, что свои еврейские корни Петр Исаевич безусловно ощущал и уважал. Существенно, что еврейская тема занимала в его творчестве весьма значительное место. И, по-видимому, именно влияние и обаяние Гейне с его повышенным интересом к еврейству дали Вейнбергу импульс к разработке темы уже на более широком литературном материале.

Гейне горячо любил свой народ и, хотя нередко подшучивал над своими соплеменниками, в глубине души никогда не переставал быть евреем. Вот что писал он в „Признаниях" (в переводе Вейнберга): „Теперь я вижу, что греки были только прекрасными юношами, тогда как евреи всегда являются мужами, сильными, непреклонными мужами, и не только в области прошлого, но и по нынешний день, несмотря на восемнадцать веков преследований и бедствий. Теперь я научился вернее их понимать и ценить, и — считай я всякую родовую гордость глупым противоречием — я гордился бы тем, что мои предки происходят из благородного дома Израиля, что я потомок тех мучеников, которые дали миру Бога и нравственность, которые во всякой идейной борьбе выступали борцами и страдальцами".


Генрихъ Гейне.

ЕВРЕЙСКІЕ МОТИВЫ.

Переводъ Петра Вейнберга.

Съ приложеніемъ портрета автора и статьи А. Штродмана: "ГЕЙНЕ и ЕВРЕЙСТВО".

Цѣна 50 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Ш. Бутовскаго.
1902.

Тит. л. кн.: Гейне Г. «Еврейские мотивы» (1902)

Книга Генриха Гейне „Еврейские мотивы" (Спб., 1902) открывается переводом статьи немецкого биографа и издателя Адольфа Штродмана „Гейне и еврейство" (из книги „H. Heines Leben und Werke"). В сопроводительном примечании Вейнберг сообщает: „Статья интересна тем, что рисует отношение поэта к знаменитому „Обществу еврейского просвещения и науки" и главным его деятелям: Леопольду Цунцу, Моисею Мозеру, Людвигу Маркусу и др. В русской литературе эта часть биографии великого поэта еще недостаточно разработана". Рецензенты единодушны: Вейнберг показал себя здесь как мастер художественного перевода, тончайший стилист, передавший мелодику и ритм не только поэзии, но и прозы Гейне. Что до вступительной статьи, то речь идет в ней о деятельности Общества (1819–1823 гг.) по „коренной перемене еврейского воспитания и жизни", улучшению общественного положения евреев. Гейне дает характеристики товарищам, которых называет „образцовыми гуманистами", „роскошными изданиями настоящего человека". Взгляды поэта на еврейство воссоздаются во всей их сложности и противоречиях. Гейне убежден, что задачи евреев связаны с задачами человечества вообще, а полная их эмансипация связана с эмансипацией христиан. В то же время он считает иудеев „гвардией Господней", гонения на них называет „мозолями на ногах немецкого государства" (не случайно филолог Александр Дейч заметил, что „проблема зоологического национализма была для Гейне проблемой трагической") и призывает власть имущих строить синагоги, „чтобы остальной народ видел, что есть люди, которые во что-то еще верят". Словом, Гейне томим „сильной тоской по еврейству", „Отнимись, моя правая рука, если я забуду тебя Иерусалим, — приводит он стих величального псалма и продолжает, — и я все еще считаю эти слова своими". Яркий пример сему — песня в зачине сборника:

Разразись ты громким воплем,
Песня мрачная моя,
Песня муки, что так долго
В скорбном сердце прятал я...

И текут все эти слезы
К югу из далеких стран
И согласными струями
Льются в тихий Иордан.

Далее следует баллада о великом талмудисте и поэте „золотого века еврейства" в Испании Иегуде Бен-Галеви. Достигнув глубокой старости, он отправился в Иерусалим и, согласно легенде, был убит там всадником-крестоносцем в тот самый миг, когда преклонил колени и в восторге целовал Святую землю. То

...был поэт великий
И звезда своей эпохи,
Был он яркое светило
Для народа своего...
Повелитель мира духов,
Божьей милостью поэт.

Перед нами вдохновенный художник, „самодержец в царстве грез", оплакивавший гибель Иерусалима:

Нанизались перлы-слезы
На златую нитку рифмы
И из кузницы искусства
Драгоценной песнью вышли.

Голос лирического героя призывает читателя заняться ивритом и изучать произведения великих еврейских классиков — таких, как Ибн-Эзра и „вещий Габироль",

...этот полный
Чистой веры соловей,
Чьею розой был Всевышний.

Яркая образная характеристика дается Талмуду и его составу — сей основе основ иудаизма:

...Как небо льет на землю
Два различных рода света:
Яркий свет дневного солнца
И мерцание луны —
Так Талмуд блистает также,
Светом двойственным делясь
На Галаху и Агаду.

Я сравнил Галаху с Школой
Фехтовальной, а Агаду
Назову удачно садом,
Бесконечно фантастичным.

Романтизация иудаизма и старинных обрядов, приправленная, правда, толикой неизменной гейневской иронии, представлена в стихотворении „Принцесса Шабаш". Прославляя „царственную принцессу, цвет красы вселенной", поэт сосредотачивается на перле еврейской кухни, субботнем блюде — шалет:

„Шалет — божеская искра,
Сын Элизия!" — запел бы
Шиллер в песне вдохновенной,
Если б шалета вкусил.

Речь идет о божественном происхождении шалета, который стоит выше амброзии, пищи древнегреческих богов, а сами олимпийцы язычников объявляются дьяволами:

Шалет — истинного Бога
Чистая амброзия,
И в сравненье с этой снедью
Представляется вонючей
Та амброзия, которой
Услаждалися лжебоги
Древних греков, — те, что были
Маскированные черти.

В сборник вошел и неоконченный роман Гейне „Бахарахский раввин", в основу коего положены сказания о средневековых кровавых наветах и гонениях на евреев в прирейнских землях XII–XV вв. В центре внимания — евреи городка Бахарах, поселившиеся там еще в незапамятные времена Древнего Рима, но в XIV веке подвергшиеся облыжным обвинениям во всех смертных грехах — в распространении чумы, осквернении колодцев, ритуальных убийствах. Духовный лидер раввин Авраам, благочестивый и набожный, знает, что его единоверцы обречены, а уж когда злоумышленники подбрасывают к синагоге окровавленный труп христианского младенца, взывает к соплеменникам: „Видите ли вы Ангела смерти? Вот он носится там внизу, над Бахарахом". И только после того, как последовавшие за ним иудеи покидают город, говорит с облегчением: „Мы избежали Его меча! Слава Господу!" Казалось бы, община нашла себе приют во Франкфурте-на-Майне, где вы-

рос целый Еврейский квартал, отгороженный от крещеного мира глубоким рвом и стенами. Но то были стены вековой враждебности, а потому как ни крепки были засовы ворот гетто, в 1240 году сюда ворвались „христолюбивые" громилы и истребили добрую половину евреев, подтвердив тем самым горькую истину: „Ангелы смерти все похожи друг на друга!" В 1349 году они пустили красного петуха, в чем, конечно, тут же обвинили самих обитателей квартала.

Интересен представленный здесь образ еврейского шута Екеля с его неистребимым юмором, он прыгает и звенит бубенчиками в самых отчаянных жизненных ситуациях. Не прототип ли это самого поэта? Ведь по словам критика Эмиля Бреннинга, иные произведения Гейне „сопровождаются резким хихиканьем и оглушительным хохотом", а сам поэт „наряжается внезапно в шутовской костюм, вооружается палкой Арлекина и принимается выкидывать замысловатейшие шутки".

Обратимся к трактовке еврейской темы в творчестве Вейнберга. Отметим, что современники называли его „лучшим переводчиком Шекспира". Поистине крылатыми стали слова из его перевода шекспировского „Отелло": „Она меня за муки полюбила, // А я ее за состраданье к ним". И разговор следует начать с его переложения „Венецианского купца" (1866), где дан вечный тип иудея Шейлока, сколь преследуемого и презираемого, столь необходимого христианам в их корыстных видах (достаточно вспомнить бессмертные слова А.С. Пушкина: „Проклятый жид, почтенный Соломон!"). Примечательно, что упомянутый ранее американский чернокожий актер Айра Фредерик Олдридж (1807–1867) играл Шейлока на сцене Одесского театра и, надо думать, произвел на тогда еще юного Петра самое сильное впечатление. А в одесском журнале „Сион" (1861, № 21) появился отклик на исполнение им этой роли, где рецензент Александр Георгиевский дал глубокий анализ образа Шейлока, подчеркивая его неизбывный трагизм. Он сослался на тонкую характеристику хрестоматийного еврея, данную Генрихом Гейне и Людвигом Карлом Берне, и сосредоточился на обуреваемых им страстях и мотивах действий. „Надо понять все значение имущества для евреев, — отметил он, — чтобы не быть беспощадно строгим к господствующей страсти Шейлока... Богатство для него есть средство... к сохранению безопасности, своей жизни, своей чести от незаслуженных насилий, от преследований и оскорблений. Только под условием богатства в нем признается еще человеческое достоинство".

Георгиевский акцентировал внимание на таких качествах Шейлока, как чувство собственного достоинства, его глубокая привязанность и любовь к дочери, покойной жене — получился живой многомерный

образ: страсть к наживе и холодный расчет сочетаются у него с великой идеей правды, воспринятой им от религии Моисея. Высказывалось сожаление по поводу „систематического устранения [евреев] от всего, что может возвышать человека в его собственных глазах", что было характерно не только для Венеции XVI в., но и для России XIX в. В переводе Вейнберга Шейлок произносит выразительный, исполненный внутреннего достоинства монолог:

Терпенье же — наследственный удел всей нации еврейской.
Вы меня ругали псом, отступником, злодеем, —
Плевали мне на мой кафтан жидовский,
И это все за то лишь, что своим
Я пользуюсь. Теперь, как видно, помощь
Моя нужна — ну, что ж! вперед! и вы
Приходите ко мне и говорите:
„Шейлок, нужны нам деньги". Это вы
Так просите, вы, часто так плевавший
Мне в бороду, дававший мне пинки,
Как будто псу чужому, что забрался
На ваш порог. Вам нужны деньги. Что ж
Мне следует ответить? Не сказать ли:
„Да разве же имеет деньги пес?
Разве же возможно, чтоб собака
Три тысячи дукатов вам дала?"

Вейнберг переводит и драму Карла Гуцкова (1811–1878) „Уриэль Акоста" (Отечественные записки, 1872, № 2, 11, 12), а затем она переиздается в 1880, 1895, 1898 и 1905 гг. По словам „Еврейской энциклопедии", это „одно из величайших произведений всех времен", „проповедь религиозной терпимости и свободомыслия". Достойно внимания то, что писатель Александр Амфитеатров объяснил обращение Вейнберга к этой драме его *„расовым* темпераментом". В центре внимания пьесы — дерзкий вольнодумец, „амстердамский саддукей с мощным обаяньем", преследуемый религиозными обскурантами. Пьеса изобилует страстными репликами героя:

Нет, довольно!
Мы требуем свободы от ярма!
Пусть символом всей веры будет разум —
И только он! А там, где мы, идя
За правдою, терзаемся сомненьем —
Там лучше нам искать иных богов,
Чем с старыми богами не молиться,
А проклинать!

Он бросает в лицо своим гонителям:
Ведь это мне слепой ваш фанатизм
Грозит теперь уничтоженьем.

Уриэль любит и любим, но свою возлюбленную Юдифь никак не желает подвергать опасности:

Ты знаешь ли, что мне грозит теперь?
Суровый суд, изгнание, проклятье!
Проклятого любить ты не должна!
Да, не должна! Проклятье это честью
Считаю я, но никого на свете
Не допущу делить его со мной.

Вопреки исторической правде (реальный Акоста, затравленный жестоковыйными соплеменниками, кончает с собой) в драме торжествуют силы добра. Юдифь порывает с фанатиками и остается с Уриэлем, вдохновляя его на новые труды:

...О будем
Надеяться и верить! Ты за мною
Последуешь, мой милый! Тот, в ком есть
Энергия и воля, побеждает
Преграды все и покоряет мир.

Здесь с особенной силой явлено искусство риторической декламации, проникнутой патетикой гуманистических чувств.

„Уриэль Акоста" был настолько популярен в России, что стал сюжетом опер Александра Серова и Александра Фаминцына. А один из эпизодов драмы послужил сюжетом для картины С. Гиршберга „Уриэль Акоста и Спиноза". Счастлива была и театральная судьба драмы в России. Первая постановка „Уриэля Акосты" состоялась в сезон 1875/76 гг. в Вильно. В 1879 году „Уриэль Акоста" был поставлен в Москве в Малом театре в бенефис Марии Ермоловой, выступившей в роли Юдифи, а Уриеля Акосту играл Александр Ленский. В 1883 году на роль Акосты в спектакле Малого театра был введен Александр Южин-Сумбатов. Впечатление, которое трагедия произвела на тогдашнюю российскую молодежь, описал журналист Влас Дорошевич, в те годы московский гимназист: «...Из нас никто не спал в ту ночь, когда мы впервые увидели «Уриэля Акосту». Вот это трагедия! Акоста! Это показалось нам выше Гамлета. „Это выше Шекспира!" — „Конечно же, выше!" — „Бесконечно! Неизмеримо!" — „Вот борьба! Борьба за идею!"...

Достать „Акосту" было нашим первым делом. Выучить наизусть — вторым. Мы все клялись быть Акостами". А в 1880 году „Уриэль Акоста" был поставлен в Санкт-Петербурге в бенефис Николая Сазонова на сцене Александринского театра. С 1883 года драма шла в театре Корша в Москве, с Митрофаном Ивановым-Козельским в роли Акосты, а в 1895 году была показана на сцене Охотничьего клуба на Воздвиженке Московским обществом литературы и искусства — в постановке Константина Станиславского; он же исполнитель заглавной роли; в роли Юдифи — Мария Андреева. В 1904 году в Петербурге постановкой „Уриэля Акосты" был открыт театр Веры Комиссаржевской, Акоста — Павел Самойлов. В 1910 году спектакль „Уриэль Акоста" был поставлен в Петербурге в Михайловском театре с Юрием Юрьевым в главной роли; затем эта постановка была перенесена на сцену Александринского театра. Примечательно, что текст Вейнберга был переведен на идиш Эммануилом Казакевичем для спектакля, поставленного в 1938 году на сцене Биробиджанского театра.

Борьбе народа за защиту веры и закона Божьего посвящена переведенная в стихах Вейнбергом пьеса Генри Уодсуорта Лонгфелло (1807–1882) „Иуда Маккавей" (Еврейская библиотека, 1875, Т. 5). Эта пятиактная драма американского поэта написана в 1872 году и считается одним из лучших произведений об Иуде Маккавее, возглавившем восстание евреев за независимость. В сюжете использована Вторая книга Маккавеев, где наиболее сильно изображен конфликт между иудаизмом и варварской эллинизацией, которую осуществлял Антиох IV Эпифан. Тиран Антиох, жестокий и алчный, намерен огнем и мечом искоренить „испорченное еврейство":

Всю кровь из них по капле выжму, если
Не сделаю их греками! Я в пепел превращу
Столицу их; я сделаю пустыней
Безлюдною их нивы и луга;
Засыплю я все их жилища солью,
Как некогда в Содоме!

В пыточных застенках дворцовой темницы принимают мученическую смерть семь сыновей иудейки Магалы (использована апокрифическая легенда о Ханне и ее семи сыновьях), так и не отрекшиеся от своей веры, и та считает их героями:

Я смотрю
На вас без слез: такой прекрасной смертью
Вы умерли, что ваша мать должна
Не сетовать, а радостно гордиться.

Братья Маккавеи отстаивают право иудеев молиться своему Богу и жить по Его закону. Иуда Маккавей (он появляется лишь в третьем акте — на поле сражения) восклицает:

Остановилось солнце, и владыки
Могучие лежали под ногами
Израильских солдат, как будешь ты,
О, Антиох, чудовище злодейства,
Валяться под пятою у меня.

Иуда собирает под свое знамя еврейское воинство, которое жаждет отмщения за осквернение Храма, превращенного святотатцами-язычникам и во вместилище разврата и вакханалий. Когда же посланник Антиоха Никанор стращает Маккавеев огромным войском, вопрошая:

— Против них
Что можешь ты поставить? — тот отвечает:
— Силу Бога,
Которого дыханье разметет
Шатры врага, как ветер хлопья снега
По воздуху разносит.
С нами Бог!

И в заключении поверженный Антиох, стоя на коленях, возносит молитву уже еврейскому Богу:

— Иегова, Бог Израиля! Теперь,
Когда все остальные боги
Оставили, — спаси меня! Спаси —
И я восстановлю священный город,
Богатыми дарами наделю
Священный храм, и твоему народу,
Который я презрительно топтал,
Дам все права антиохийских граждан.
Я сделаюсь евреем...

Вейнберг переводит драму „Натан Мудрый“ Готхольда Эфраима Лессинга (1729–1781) — яркое произведение в защиту веротерпимости, гуманности, равноправия евреев. Неслучайно ее назвали „монументальным итогом всего века Просвещения”. Как отмечал сам переводчик, прототипом главного действующего лица этой драмы был маскил Мозес Мендельсон, в котором „к огромной учености и уму присоединялись большие нравственные достоинства”. Таков представитель иудейства Натан, „столь же умный, сколь и мудрый”:

Как дух его от предрассудков всех свободен!
Как открыто сердце добродетели!
Как восприимчиво оно ко всякой красоте!
Какой еврей! И хочет с виду евреем только быть!

Крестоносцы, истреблявшие иудеев, зарубили его любимую жену и семь цветущих сыновей, но Натан, как ветхозаветный Иов, исполнен смирения: „И это было Богом решено! Да будет так!". Оруженосец приносит ему христианскую девочку, и Натан не только полюбил, но воспитал ее в духе величайшей совестливости, чистого богопочитания, добродетели и нравственности. „Драма Лессинга, — резюмировала „Еврейская библиотека" (1875, кн. 5), — имеет для каждого еврея еще большее значение, чем для остальных читателей. Никогда, ни в какие времена, даже между самими евреями, не восставало более могучего, более энергического, более талантливого защитника их прав, чем Лессинг".

Привлекла внимание Вейнберга и драма французских писателей Эмиля Эркмана (1822–1899) и Александра Шатриана (1826–1890) „Польский еврей" (Спб., 1874). Впрочем, несмотря на название еврей-протогонист играет в драме лишь номинальную роль. Действие происходит в маленьком городке у подножия горы, в Эльзасе, где расположилась таверна и мельница Матиаса. Горожане любили его за добрый нрав, позволяющий им выпить кружку-другую вина или получить в долг муки на мельнице. Жену свою Матиас любил, а тут и красавица дочка подросла, в которую влюбился бравый молодой офицер, недавно присланный возглавлять жандармерию города. Словом, живи да радуйся, если бы не главная мечта Матиаса — стать бургомистром. Ради нее пришлось заложить таверну и мельницу соседу Францу за шесть тысяч франков. Срок возврата денег близился, Франц грозил выкинуть на улицу всю семью. Было о чем задуматься Матиасу в рождественскую ночь во время сильнейшей бури... но тут зазвонил колокольчик, и в таверну постучался странник, польский еврей Барух Ковеский, желающий немного согреться и передохнуть. А в поясе у него Матиас увидел много яркого, сияющего золота. После этого Барух в пьесе не появляется и сообщается, что он ограблен и убит. Интересно, что в 1896 году в Московском обществе искусства и литературы Константин Станиславский поставил эту драму (в переводе Вейнберга), где сам сыграл роль Матиаса, чем обеспечил ей бурный зрительский успех. О своем „оригинальном подходе к пьесе", об „узорах режиссерской фантазии" мэтр рассказал в книге „Моя жизнь в искусстве". Характерно то, что в качестве лейтмотива спектакля он, как и в оригинале, использовал звон колокольчика, звучащий то радостно и победно, то зловеще,

то мучительно, то назойливо и угрожающе (отметим, что автор английской переделки этой драмы Леопольд Льюис дал ей название „Колокола"). Существенно, что в постановке Станиславского акценты все же не расставлены. Вот заключительный акт: Матиас, уже состоявшийся бургомистр, оглушен этим пронзительным звоном. Он в горячечном бреду видит себя убийцей богатого польского еврея. Ему чудится кузнечный горн, и он спешит протиснуть в его жерло тело убиенного и сжечь следы преступления. Но вместе с ними он сжигает и свою душу. Наутро гости находят Матиаса мертвым. Так в пьесе бред перемешан с явью, что допускает ее неоднозначную трактовку.

Перевод Вейнберга драматической поэмы писателя-романтика Виктора Гюго (1802–1885) „Торквемада" (Восход, 1882, Кн.9–10) критики называли „превосходнейшим". Драма возвращает нас к мрачным временам инквизиции. Маркиз Фюантель, важный государственный сановник, пытается втолковать королю Фердинанду и королеве Изабелле, сколь невыгодно и вредно изгнание евреев из Испании. А затем из „толпы евреев в рубище и покрытых пеплом" выдвигается великий раввин Моисей бен-Хабиб, встает на колени перед их величествами и молит о пощаде, предлагая взамен деньги. Его пламенная речь о страданиях народа Израиля исполнена горячего патриотизма:

За что... Израиль должен все
На родине покинуть и пуститься
В бездомное скитальчество? За что
Он перестать обязан быть народом
И сделаться прохожим?..
Зверю
Дают в лесу свободно жить с семьей,
В родном гнезде спит безмятежно птица,
Кормить детей свободно может лань, —
Позвольте ж жить и нам в подвалах наших,
Под кровлями убогими, почти
На каторге почти рабами, лишь бы
Невдалеке от дедовских могил.

Однако король, прожженный циник, хотя и презирает иудеев и аттестует их „презренными жидами", но... падок на деньги, потому вроде бы становится милосердным:

Эдикт изгнания жидов не исполнять;
Костер для них готовый не зажигать;
В тюрьме сидящих всех освободить!

Финал драмы — „В эту минуту дверь открывается с шумом настежь, и на пороге показывается Торквемада с распятием в руке". И становится очевидными грядущее выдворение, а также страдания и аутодафе евреев, в коих великий инквизитор видел гарантию против мук загробных и адского огня. Отметим, что сама эта пьеса была написана под влиянием погромов в России, с осуждением которых Гюго, президент комитета помощи русским евреям, неоднократно выступал в печати. Тема изгнания из страны также обретала свою актуальность в связи с небывалой волной эмиграции иудеев из империи и поощрительными призывами властей: „Западная граница открыта для вас!". Драму Гюго и восприняли в России как отклик на погромные события.

Вейнберг был и популяризатором и переводчиком собственно еврейской литературы. Знаменательно, что он перевел капитальную монографию Густава Карпелеса (1848–1909) „История еврейской литературы" (Спб., 1890) — первый систематический опыт подобного рода, имевший огромное культурное значение. „Среди евреев нет в настоящее время писателя, который столько бы сделал для просвещения своего народа, как он", — говорили о Карпелесе современные ему критики. Этот ученый определял еврейскую литературу как „умственные произведения евреев, в которых отпечатлеваются еврейское миросозерцание, еврейская культура, еврейский образ мысли, еврейское чувство". Надо отметить, что и в наши дни господствует мнение о том, что еврейской литературы на современных европейских языках не существует, говорят лишь о „еврейском вкладе" в национальные литературы. А исследователь Шимон Маркиш хотя и утверждает, что содержательный, а не языковой фактор есть главный критерий еврейской литературы (как „выражения духовного стремления и движения тех, кто принадлежит к еврейству, стали носителями еврейской мысли"), но приписывает авторство сей дефиниции венгерскому ориенталисту Вильмошу Бахеру (1911) и Семену Дубнову, на самом деле лишь повторившими определение Карпелеса.

Книга одушевлена идеей единства еврейской культуры во времени и пространстве. Автор стоит на позициях литературоцентризма, подчеркивая, что „история еврейского народа есть в то же время его литература". Согласно Карпелесу, она насчитывает уже более трех тысячелетий и ведет начало от библейской письменности. Предлагается оригинальная хронология — шесть исторических периодов еврейской литературы, и каждому автор дает самую глубокую и развернутую характеристику. Обозначим их лишь пунктирно.

Первый, библейский период, до II в. до н.э., стал основой основ всего совокупного развития литературы. Карпелес рассматривает Биб-

лию как национально-религиозную поэзию. В псалмах Давидавых видит мощную лирику, в притчах Соломона — „драматическую идиллию" с высокими нравственными идеалами, а в „Песни Песней" — „самое зрелое, самое чистое и самое прекрасное из всего созданного... эротическою поэзией всего мира". Книга Иова — яркое дидактическое произведение о борьбе сильной, добродетельной души, перед лицом отчаянных страданий, за веру в божественную справедливость. Вообще, пророческая литература „есть самое верное выражение еврейского монотеизма, его полнейший расцвет, высшая ступень его религиозного и нравственного совершенства". Пророки — возвышенные ясновидцы, чьи речи — „облеченный в живое слово народный дух". И хотя мечта Моисея о том, чтобы весь народ еврейский обратился в пророков, не сбылась вполне, перед нами предстают Исайя с его пламенной фантазией, нежно-задушевный Иезекииль, светлый и пылкий Иеремия.

Второй период, еврейско-эллинский, до I в. до н.э., когда „еврейский дух сталкивается с греческой образованностью и ассимилируется с нею". Еврейские произведения нередко пишутся на греческом языке, да и сам новоеврейский язык дополняется греческими и латинскими словами. В то же время ведется напряженная работа по комментированию Писания. Появляются апокрифические „Книга Товита" и „Книга Юдифи". Рассказывается и о легендарном мудреце Гилеле с его бессмертными максимами: „Если я не за себя, то кто же за меня, но если я только за себя, то зачем я? И если не сейчас, то когда же?", „Не суди ближнего, пока не стал на его место".

Третий, талмудический период, I–X вв. н.э. (место действия — Вавилон и Палестина), ознаменован напряженными духовными поисками, превращением иудеев в „нацию надежды". Усилиями ученых и книжников создается Вавилонский Талмуд (500 г. н.э.), причем Галаха содействовала созданию партикулярного еврейства и его литературы, а Агада — еврейскому универсализму. Пришло осознание того, что сформулировал равви Акиба бен Иосиф, „Нам не осталось ничего более, как это учение!". Этика Талмуда, подчеркивает автор, остро современна и сегодня: „Будь из тех, которые гонимы, а не из тех, которые гонят"; „Раскаянье и добрые дела суть всякой мудрости на земле".

Четвертый период, еврейско-арабо-испанский, XI–XIII вв. характеризуется как „золотой век" еврейской литературы. Стараниями выдающихся философов, медиков, астрономов, математиков, поэтов новоеврейский язык получил особую гибкость и богатство. Автор сосредотачивается на „поэте мировой скорби" Соломоне ибн Габироле, „поэте покаяния", Моисее бен Иакове Ибн Эзра и, особенно подробно, на беззаветном певце еврейства Иегуде бен Самуил Галеви. Это „поэтиче-

ски просветленный образ души народа в ее поэтических ощущениях, в ее исторической борьбе, в ее патриотических чувствах и всемирно-историческом мученичестве". А систематизатор научных воззрений, составитель комментариев к Вавилонскому и Иерусалимскому Талмудам, а также „Мишне Тора" Моисей бен Маймон (Рамбам) аттестуется как герой чистого мышления, благородных желаний, возвышенных нравственных идей, в ком „гармонично соединились все яркие лучи заходящего солнца испанской блистательной эпохи".

Пятый, раввинский период, обнимает отмеченное глубоким драматизмом время XIV–XVIII вв. Он вместил в себя и бесчинства инквизиции с ее преследованиями марранов и изгнанием иудеев из Испании (здесь предстает фигура великого Исаака бен Иуды Абраванеля, министра двух королей, бежавшего в Италию, автора комментариев к Второзаконию и объяснения к историческим книгам Библии). То было время инкунабул, печатавшихся в новооткрытых еврейских типографиях Италии, Турции, Португалии, Франции; жарких богословских диспутов, таких, какой вел защитник еврейской науки Иоганн Рейхлин и обскурант Иоганн Пферферкорн; расцвета еврейской поэзии на разных европейских языках с ее богатством метрических форм, гимнами, песнями, аллегорическими поэмами (даже Талмуд и обрядовые кодексы излагались в стихах). Рассказывается и о еврейской общине „голландского Иерусалима" — Амстердама с ее „романтикой мученичества и горячим стремлением к свободе" в лице Уриеля Акосты и Баруха Спиноза и противоборством им воинствующего фанатизма; о рождении еврейского народного языка („жаргона"), лексикографии и популярной литературы на нем, а также о национальной библиографии; о деятельности еврейских маскилим под предводительством Мозеса Мендельсона, переложившего Пятикнижие на немецкий язык. „Терновый куст Моисея был постоянно объят пламенем, но оставался несгораемым", — резюмирует Карпелес.

Наконец, шестой период, назван литературой нового времени. Он берет начало с основания в Берлине „Общества культуры и науки для евреев" (1819 г.) Леопольдом Цунцем, Эдуардом Гансом, Генрихом Гейне и др. и „Журнала для науки иудейства" (1822), который „внес свет и ясность в темные шахты Агады" и всесторонне изучил богословские проповеди евреев, синагогальную поэзию средних веков. Говорится и о духовных поисках современного еврейства, например, о том, что Самсон Рафаил Гирш стоял у истоков ортодоксального иудаизма, а Авраам Гейгер был адептом его реформистского направления. Людвиг Филиппсон, издатель „Всеобщей газеты иудейства" (с 1837 г.), „наиболее даровитый журналист в еврейских кругах новейшего времени", ха-

рактеризуется как „один из самых выдающихся борцов за реформу и эмансипацию". В зоне внимания — еврейские мотивы в европейской поэзии. Отмечается, в частности, что „Еврейские мелодии" Байрона были написаны для его друга юности еврея Исаака Натана:

Есть гнезда у горлиц, нора у лукавой лисицы,
Тебе же, Израиль, остались одни лишь гробницы.

Яркие страницы посвящены „певцу мировой скорби" Генриху Гейне и его „Еврейским мелодиям", а также Бертольду Ауэрбаху, Людвигу-Карлу Берне, Фрицу Маутнеру, Морицу Готлибу Сафиру, Натану Самуэли, Морицу Раппопорту, Соломону Кону и др. Особое внимание уделяется Карлу Эмилю Францозу, Арону Бернштейну, Леопольду Комперту и др., литературная направленность которых — „разрушающийся мир еврейского гетто", а наиболее адекватные жанры, отвечающие „мелким страданиям и радостям, мелочным судьбам и внутренним движениям его обитателей" — очерк и повесть.

Если пользоваться терминологией Карпелеса, то Петр Вейнберг был популяризатором еврейской литературы как раз „нового времени" и перевел многих из указанных авторов. Событием большой общественной значимости стал выход двухтомника „великого политического сатирика" Карла Людвига Берне (1786–1837) под редакцией и в переводе Вейнберга (Спб.,1869), с приложением его биографической статьи об авторе. И необходимо воздать должное переводчику, который выбрал для издания „все наиболее характеристическое" из творчества писателя и передал неповторимый стиль и выразительный строй оригинала. „Если когда-нибудь нужен был честный и твердый голос публициста среди наших журнальных фокусников, то это именно теперь, — отозвался известный критик Николай Шелгунов. — Берне будил совесть своих современников и не утратил этого драгоценного свойства до сих пор. Он всю свою жизнь посвятил борьбе за право независимого убеждения и свободного слова". Особенно публицистически яркими были статьи и памфлеты Берне, направленные против реакционеров, лжепатриотов и антисемитов в Германии: „Вечный Жид", „Парижские письма", „Надгробное слово Жан Полю Рихтеру" и, конечно же, знаменитый „Менцель-французоед", написанный, как выразился автор, „не словами и чернилами, а кровью сердца и соком нервов". Последняя статья бичевала литературного доносчика Вольфганга Менцеля, добившегося своими инсинуациями запрета бундестагом изданий „Молодой Германии" — творческого содружества прогрессивных литераторов, к коему принадлежали Гейне, Гуцков, Генрих Лаубе, сам

Берне и др. В России произведения Берне обретали злободневное звучание; не случайно, что они подверглись самой жесткой цензуре. Рецензент „С.-Петербургских ведомостей" (1869, № 309) настойчиво рекомендовал: „Прочтите, например, в блистательнейшем из памфлетов Берне „Менцель-французоед" все то, что он говорит против безнравственности того формального узкого патриотизма, который нам проповедовался и проповедуется до сих пор нашими доморощенными Менцелями „Московских ведомостей" и „Голоса", и вы в словах великого германского публициста найдете полное и беспощадное разъяснение пошлой казуистики, поддерживающей подобный патриотизм". В 1896 году двухтомник был переиздан и так же вызвал положительные отклики в печати. Интересно, что Алексей Плещеев в письме к Вейнбергу расценивал его перевод сочинений Берне как подозрительный, „неблагонадежный", с точки зрения властей предержащих.

Несомненный интерес представляет перевод произведения „еврейского романиста большой руки", педагога, пылкого оратора Бертольда Ауэрбаха (1812–1882) „Поэт и купец" (Восход, 1885, Кн.6–11) о еврейском поэте конца XVIII века Эфраиме Мозесе Ку (1731–1790), родственнике основоположника Гаскалы Мозеса Мендельсона. Подобно самому писателю, его главный герой — вольнодумец, разбивающий цепи традиций и рвущийся из тесноты и мрака еврейского мира в свободный мир европейской культуры. На примере семьи поэта Ауэрбах показал распространение идей еврейского Просвещения и расслоение немецкого еврейства конца XVIII века. При этом отец героя Мозес Даниель Ку олицетворял в романе патриархальное еврейство, а Эфраим Мозес и его братья — поколение новое, просвещенное. Однако, изображая идейные течения в немецком еврействе, он с горечью констатировал, что в среде „просвещенных" немало и ренегатов (Натан и Хаим Ку). Сам же Ауэрбах призывал к преобразованию еврейства, а вовсе не к отходу от него. С большой симпатией и теплотой рисует он картины немецко-еврейского гетто Франкфурта-на-Майне. В годину „массовых крещений" евреев в России роман „Поэт и купец" был весьма поучителен. Отметим также, что Ауэрбах говорил об охватившем Европу антисемитизме как о „всеобщей нравственной порче" и „варварстве", и был глубоко потрясен погромами в России 1881 года.

Гонения на евреев „святой" испанской инквизиции запечатлены в историческом романе „Яков Тирадо" (Восход, 1886, Кн. 9–10) Людвига Филиппсона (1811–1889), известного общественного деятеля, раввина, переводчика Библии на немецкий язык, просветителя (на-

гражденного Николаем I золотой медалью). Он посвящен мужественной борьбе марранов, один из которых, францисканский монах с еврейской душой, бросает вызов угнетателям, „чтобы искупить вину предков и отомстить за постигнутую их судьбу... чтобы снова соединить разбросанных по свету соплеменников и получить возможность открыто и беспрепятственно исповедовать мою веру". Страстная обличительная речь, эмфатическая напряженность слога переданы в звучных периодах русского перевода: „Я один из марранов, потомок тех евреев, которые были вынуждены силой принять католичество и с тех пор подвергаются таким неумолимым и жестоким преследованиям того же католицизма. Мы долго терпели, но это не принесло нам никакой пользы. Теперь мы проснулись, и неужели кто-нибудь обвинит нас за желание бороться с нашими угнетателями? Да, я испанец. Но когда я вижу мое отечество угнетаемым и опустошаемым, его права и привилегии попранными, его высокодаровитый народ повергнутым в отупение и рабство, то разве возможно мне не восставать против этой своры палачей, превращающих пышный рай в кладбища, пустыни и темницы?" Яков со своим отрядом сражается теперь за независимость новой родины — Голландии и спасает от смерти самого Вильгельма Оранского. И это о свободе толкует он с амстердамским раввином Ури. Тирадо настоятельно просит признать таких, как он, марранов правоверными иудеями: „Пусть здесь мы будем приняты в их союз, пусть здесь сбросим, наконец, ту лицемерную оболочку, в которой приходилось нам так долго скрывать себя, и станем свободно пользоваться тем светом, который уже так давно светит нам из глубины нашей души".

Вейнберг перевел некоторые „Галицийские рассказы" писателя из Львова Натана Самуэли (1846–1921), отличающиеся острой наблюдательностью и мягким юмором. Они направлены против ренегатства молодого поколения. Интересен рассказ „Только не по-еврейски" (Восход, 1886, Кн. 1), в котором представлены гореассимилянты: мадам Жаннет (урожденная Эльферт Инге) и ее муж Гершко, — разбогатевшие „темными и грязными делами". А правит бал в семье их возлюбленное чадо, красавица Ольга, которая, будучи еврейкой, в пансионе выучилась „страшно ненавидеть евреев, немножко бренчать на фортепьяно и чуточку болтать по-французски". По ее-то хотению и велению все в доме стало заведено „на совершенно христианской ноге": с дверей сняли „замшелые" мезузы; богомольной матери (хотя „еврейство бушевало в ней и не давало покоя") запретили молиться, зато поручили пестовать милягу-болонку; стали давать званые вечера, куда вход иудеям был заказан

из-за их „некуртуазных манер". Да и женихов-евреев Ольга, богатая девица на выданье с приданым в 40 тысяч гульденов, немилосердно браковала, потому как была прогрессисткой и к тому же питала слабость к блондинам арийского типа. Наконец, на германском курорте Ольга узрела свой идеал — белокурого голубоглазого юношу с изысканными манерами, сына богатого фабриканта, Альфонса Эпштейна, „золотого человека". „На еврея ничуть не похож", — восхищается Ольга, и в ее устах это, конечно, наивысший комплимент. Ну, как тут не расстараться для такого долгожданного суженого! И вот она дает новогодний вечер для самого „изысканного, блестящего общества", чтобы ее любимый увидел, какая она современная, культурная, что не позвала сюда ни одного жида. В центре залы зажигается елка, вспыхивают огни иллюминации. „Все это совсем по-христиански!" — радостно говорит она Альфонсу Эпштейну. Реакция жениха оказалась непрогнозируемой:

— Действительно, все это совсем по-христиански... Я должен зажечь ханукальные свечи, — отвечал он с изящным, отнюдь не еврейским поклоном всей компании и исчез — чтобы больше никогда не появляться. Критик Семен Дубнов в статье „Еврейско-галицийские рассказы Н. Самуэли" (Восход, 1885, Кн. 11) высоко оценил повествовательное мастерство этого писателя, его умение выбрать типическое лицо и характерный момент.

Отметим и перевод „Избранных мыслей" (Спб., 1893) еврейско-австрийского писателя-сатирика Морица Готлиба Сафира (1795–1852), весьма популярного и в России благодаря своему сверкающему остроумию (его юмор ценили Федор Достоевский и Лев Толстой). Непревзойденный мастер афоризма, „остроумный балаганщик и сплетник", он поражал читателя своим парадоксальным мышлением, неожиданными сопоставлениями, каламбурами. Вот избранные нами „мысли" сатирика: „В любви теряют рассудок, в браке же замечают эту потерю"; „История — это роман, в который верят, роман же — история, в которую не верят"; „Небо негодует на нас за наши грехи, а мир — за наши добродетели"; „Нужда — это шестое наше чувство, заглушающее нередко все остальные"; „Дети — вот причина, почему небо не разрушило мира"; „Надпись на надгробном памятнике: „Прости, что при жизни мы не дали тебе хлеба, зато после смерти мы дали тебе камень". И хотя Генрих Гейне не находил в пассажах Сафира „серьезной основы" и называл их „умственным чиханием", они востребованы и в наши дни и вошли в многочисленные сборники „Мыслей и афоризмов деятелей и мыслителей народов мира".

Заслуживает внимания и перевод произведения другого австрийского писателя еврейского происхождения, Фрица Маутнера (1849–1923), известного более как театральный критик, фельетонист, автор колких литературных пародий и трагикомических историй, выдающийся философ-лингвист. Речь идет о его романе „Новый Агасфер" (1882), публиковавшемся по горячим следам в ежемесячнике „Восход" (1882, №12, 1883, № 1–3). Отметим, что в Европе сей его опус был встречен весьма прохладно и стал мишенью критики за „длинноты" и „безжизненный слог" — то, чего всемерно пытался избежать наш русский переводчик. Он снабдил публикацию предисловием, в коем оговорил, что излагает роман в сокращенном виде, акцентируя внимание читателей именно на его „еврейской стороне". Вечный Жид является здесь в обличии современного XIX века, когда его уже „не жгут больше, не отсекают голову, но старая злоба подымается и восстанавливается против отвратительных гадин для того, чтобы он погиб от отвратительных укушений и уколов их". А вот что говорит герою романа Генриху Вольфу, ассимилированному еврею с университетским дипломом, его многомудрый дед: „После того, как ты проживешь с кем-нибудь пятьдесят лет, деля с ним хлеб и соль, после того, как ты спасешь десять раз жизнь ему самому или один раз его ребенку, ему может не понравиться нитка, которою пришита пуговица к твоему сюртуку, и он схватит тебя за горло и крикнет: „Жид!". Едко высмеивая шовинистов, таких, как юдофобствующие д-р Штропп и Бумке, автор горько иронизирует: „То дворянство, родословное древо которого восходит до Авраама, не приносит благословения своим потомкам".

Боевитая статья „Еврейский вопрос в иностранной сатирической литературе" (Восход, 1881, Кн.1) язвит известных в то время германских горлодеров Бернхарда Ферстера, Адольфа Штеккера и Эрнста Генрици и доводит до абсурда их и без того иррациональные ксенофобские пассажи. Достаточно сказать, что в своем параноидальном страхе те объявляли евреями Гете, Шиллера, Бюргера, Лессинга, Ленау, Клейста и других корифеев немецкой литературы. Мир у такого озверелого юдофоба черно-бел, причем „еврейская краска всегда была черной, печальной, уродливой и злой, в противоположность германской белокурости. Не случайно письмо о смерти запечатано, [по их разумению], черной печатью, а не белокурой. А все потому, что чернокнижники суть евреи". Даются образчики пещерной логики подобных деятелей. „Если твой компаньон по квартире будет отличаться прилежанием, порядочностью, энергией и постоянной деятельностью, придерись к тому, что ему недостает нескольких зубов, чтобы выбросить его из квартиры на улицу... Если у тебя заболел мизинец, вели отрезать

у себя обе ноги... Если в то время, как ты варишь кофе, пойдет жар и дым, кричи во все горло: пожар!.. Если тебе понадобится разменять талер на мелкие деньги, вторгнись со взломом в кассу государственного банка". Завершает статью незатейливая песенка, сочиненная от имени студиозуса-юдофоба, где тот обещает евреев „ругать до последнего поту", похваляясь:

...тщетно ищут защиты
От меня все студенты-семиты.

Надо сказать, что и в жизни Петр Исаевич был нетерпим к любым проявлениям юдофобии. Знаменательный факт: когда в 1897 году в журнале „Нива" появилась статья, восхваляющая антисемита В.П. Буренина, Вейнберг отписал издателю журнала А.Ф. Марксу: „В сегодняшнем номере „Нивы" я прочел статью в честь господина Буренина! После такой оценки *его* заслуг я (и смею думать, что найдутся люди, которые поступят точно так же), конечно, должен лишить себя возможности печататься долее в Вашем журнале".

Теме антисемитизма посвящена и переведенная Вейнбергом с немецкого языка газель „Еврей о христианине" (Еврейская библиотека, 1871, Т. 1):

Редко, редко забывает он, что ты еврей,
Редко даже если дружен он с тобой.
Хоть и будет в нем сознанье, что из всей среды
Твоего народа резко выделился ты, —
Но побаиваться станет: все-таки еврей!
Для него так трудно, трудно не считать тебя
Алчным скрягой... Будь, как хочешь, набожен, добр —
Все его тревожить будет мысль, что ты еврей...

Представляет интерес и материал „Из переписки английской дамы о еврействе и семитизме" (Восход, 1884, Кн.1–3), посвященный положению иудеев в современной Европе. Автор отмечает общее падение нравственности, крах христианской цивилизации и в то же время — агностицизм и прагматизм среди некоторых евреев, желавших выкрестить своих детей, дабы избавить их от „всяких столкновений". Речь идет об особом типе людей без рода и племени, „для которых еврейство и христианство представляются равно ничтожными нулями; они с одинаковым равнодушием перешли бы в ислам или буддизм, лишь бы освободиться от общест-

венного гнета и беспрепятственно наслаждаться житейскими благами". Как только еврейство служит им помехой в карьере, эти люди „ползут к кресту".

Между тем, в религии иудейской заключено нечто, дающее „необыкновенную силу сопротивления". Это, прежде всего, высокие этические начала, отпечатавшиеся в Торе, что делает евреев „народом апостольским", призванным дать пример другим нациям, как сохранить жизненную энергию. Уделено внимание и юдофобам, они подобны „червям, оплодотворяющим своей слизью земляную почву". „Порода юдофобов не вымирает, так же как и еврейское племя, и возобновляется с этим последним из поколения в поколение", — считает автор. Но стоит ли их страшиться? Следуют слова Писания: „Всякое орудие, выкованное против тебя, отскочит от твоего тела, и всякий язык, произносящий твое обвинение, ты заставишь умолкнуть". И еще (здесь приводятся слова Эрнеста Ренана): „Одна из кар гонителей заключается в привилегированном положении, которое они создают для гонимых". Талмуд изощрил ум евреев, сделал их дальновидными, дал стимул к духовному движению вперед; невежество стало считаться среди иудеев величайшим позором. Письма изобилуют историческими экскурсами и параллелями. Завершается же текст сведениями о положении иудеев в России. Автор потрясен „уменьшением числа учащихся из евреев" (пресловутой „процентной нормой"), „варварскими погромами" и „печальными фигурами еврейских беглецов, нашедшими убежище в Америке".

Интересен и перевод главы „Римское гетто" из книги „Воспоминания об Италии" испанского писателя Эмилио Кастеляра (1832–1899) (Еврейская библиотека, 1878, Т. 6). Вот что поразительно: в „погрязших в нищете и невежестве обитателях гетто" автор узрел силу их веры, сплоченность, „жизненность", проявляющиеся и в самых ужасающих условиях. Он говорит об исторической преемственности и слагает гимн народу книги: „Евреи до сих пор говорят так, как говорил Авраам, они поют те же псалмы, что пел Давид, хранят в себе идею Бога, как собранную в пустыне манну душ, повинуются данным в Синае законам, не падают под гнетом вавилонского пленения, сопротивляются несравненной лести Александра, неодолимому могуществу Рима, жестоким преследованиям Тита, проклятиям пап, гонениям королей, гневу народов, огню инквизиции, нетерпимости сект — стоя вместе с другими в бесконечном водовороте, непрерывном потоке человеческих идей, они, однако, живут как бы вне своего времени и воссоздают в своих мыслях разрушенный храм, в котором незыблемо хранится ими старая вера с ее благодатными надеждами".



В. Гольдбаум

Обстоятельная статья „Бытописатели гетто" (Восход, 1884, Кн. 4–5) — сокращенный перевод главы из книги „Literarische Phisiognomien" (Wien, 1881) Вильгельма Гольдбаума (1843–1912). Однако Вейнберг привносит в текст свое отношение, комментирует, а иногда и спорит с автором. „Слово „гетто" звучит так средневековo, так диковарварски в наше новое „просвещенное" время, — отмечает переводчик, — однако в беллетристических произведениях, где оно служит главной темой, рисуется как явление чисто современное..., которому и смерти не предвидится в недалеком будущем". В поле зрения здесь находятся пять весьма своеобычных писателей, раскрывающих внутреннюю жизнь гетто в разных его ипостасях.

Вот Леопольд Комперт (1822–1886), уроженец богемской улицы, в своих „Уличных рассказах" дает поэтическую картину богемского гетто. Нравственный склад еврея этих мест видится ему в соединении национальной традиции и эмансипации. Он верит в освободительное призвание еврейской религии, говорит о бессмертии еврейства. И в то же время уверен, что „от духовного переливания еврейства в христианскую кровь произойдет нечто третье, отличное от того и другого, но более родственное с первым, чем со второю" („Богемские евреи").

Если Комперт может быть назван поэтом гетто, то Аарон Давид Бернштейн (1812–1884) скорее его художник. Он происходит из городка Фордон, что на северо-востоке прусской Познани с преимущественно еврейским населением. Если Комперт хотел превращать гонителей еврейства в его друзей, то Бернштейн в повестях „Фейгеле Магид" и „Мендель Гиббор" их беспощадно и гневно бичует, используя при этом всю палитру художественных средств. Он иронизирует, язвит, упражняется в логической эквилибристике, разит врага издевательски хитрой диалектикой. Говоря о силе еврейского духа, он по существу ратует за национальный изоляционизм: его персонажи имеют с иноверцами исключительно деловые отношения. И уж, конечно, для писателя совершенно неприемлемо ренегатство иудеев. „Еврей сделался, так сказать, важным винтом в литературной машине, — иронизирует Бернштейн, — вещью, выводившуюся напоказ в эстетическом обществе, из угождения к которому он, конечно, более наружно, чем внутренно, охватывался духом времени и нередко принимал крещение".

А вот произведения Соломона Германа фон Мозенталя (1821–1877), по мнению автора, пресны и лишены специфически еврейского духа, ибо сей литератор не переживал жизнь гетто собственным серд-

цем, а описал ее с чужих слов. И не мудрено, ведь гражданин германского мира Мозенталь жил в Касселе и о гетто слышал от своих отцов и дедов. Потому его знаменитая „Дебора" — эффектная драма с эмоциональным мотивом — производила впечатление на людей всех исповеданий. Он стремился показать „разлад между религиозной закоснелостью гетто и обольщениями окружающего мира". Однако еврей является здесь „только по имени, самое дело ему чуждо".

О Карле-Эмиле Францозе (1848–1904) говорится как о „большом повествовательном даровании" и „изобретателе гетто галицийского". Он живописует яркими красками жизнь несуществующего городка Барнова (по-видимому, речь идет о заштатном Черткове в восточной Галиции), с его колоритными обитателями, среди коих есть собственные Гилели, Спинозы и прекрасные Эсфири.

Однако, как ни парадоксально, в художественном отношении выше всех бытописателей Вильгельм Голдбаум ставит не уроженца гетто, а христианина-немца Леопольда фон Захер-Мазоха (1835–1895). Более того, он утверждает также, что только этот писатель и „может быть вполне беспристрастным в своих взглядах и изображениях", отмечает его „тонкое знание характера евреев, реалий еврейской жизни на всем пространстве между Лембергом и Черновицами". Захер-Мазох, по словам автора статьи, — „художник, рисующий с натуры, где предмет наблюдения приходится ему по вкусу"; главная же его заслуга — „исторически прочный и устойчивый" образ, точнее, тип женщины гетто. Но Вейнберг никак не согласен с такой оценкой, а потому считает нужным вступить в разговор. „Ни в каком случае нельзя признать справедливым уверения критика, — полемизирует он, — что рассказывать Захер-Мазох умеет так же прекрасно, как все остальные поэты гетто, а пейзажные рамки его рассказов превосходят всех... Мы полагаем, что по художественности... он далеко уступает, например, Карлу Францозу... Кроме того, Захер-Мазох делает страшно грубые ошибки при изображении религиозных форм, обрядов и т.п. Он жестоко путает, и к нему в этом отношении как нельзя вернее можно применить поговорку: „Слышал звон, да не знает, откуда он".

Надо сказать, что слово Вейнберга дорогого стоит, ибо основано на вдумчивом изучении многих произведений „бытописателей гетто", которые он к тому же переводил. Пример тому — повесть Леопольда Комперта „Дети рандара" (Восход, 1884, Кн. 6,8,10–12). Этот писатель вообще считается первооткрывателем темы гетто в литературе. С присущим ему тактом и тонким психологизмом он воссоздает неповторимый мир, где любят и ненавидят, смеются и плачут, пируют и ведут войны, ревнуют, заводят интриги. Критики были единодушны: „Никто

не умел с такой чуткостью улавливать биение пульса гетто, как Комперт; никто больше не вносил столько сердечности и теплоты в описание жизни этого своеобразного мира". Действующими лицами являются здесь обыкновенный рандар (шинкарь), раввин и его домочадцы, а также богатая духом еврейская голытьба (шнорреры). И все они, независимо от степени встроенности в жизнь и культуру Чехии, остаются, прежде всего, иудеями. Вот сын рандара школяр Мориц (Мошеле) свободно говорит по-чешски и соглашается общаться только на этом языке (а не на имперском немецком), к вящему удовольствию патриота Чехии Гонзы. Но восстание гусситов почему-то напоминает сыну еврейского шинкаря историю Маккавеев. А нарушив законы кашрута (на деревенской свадьбе, куда затащил его Гонза), Мошеле „сам себе и судья и подсудимый": „грех бушевал во всех уголках его души и насильственно выталкивал прежний луч невинности". Нищий Мендель увещевает Мошеле: „Оставаться евреем необходимо всякому, какой бы учености ни набрался человек. Почему? Потому что ведь может такое случиться, когда Иерусалим снова выстроится? Когда Бог пожелает вдруг снова призвать к себе весь народ израильский. Коли не окажется в наличности хахохим (мудрецов), что тогда прикажете делать?" И престарелый Мендель, у которого „волосы поседели, тело слабо, но сердце молодо", совершает паломничество в Иерусалим и с благоговением передает родителям Мошеле горсть Святой земли. Он одержим мыслью восстановить Храм: „Я отправляюсь в Вену поговорить с Ротшильдами и другими тамошними богачами. Надо уговорить их, чтобы они и силой своей и деньгами помогли выстроить Иерусалим".

А рассказы и повести австрийского писателя Леопольда Риттера фон Захер-Мазоха, проникнутые симпатией к еврейству Галичины, воспринимались с интересом и в России. Они живописали вечные национальные типы — спорщиков-талмудистов, местечковых мечтателей, других колоритных обитателей и обитательниц гетто. Петр Вейнберг перевел четыре его произведения: „Еврейские музыканты" (1888), „Палестинянка" (1888), очерк „Просвещенный" (1885), а также повесть „Гошана Рабба" (1883). Отметим, что он выступает не только как переводчик, но и как комментатор текста, давая в сносках необходимые фактические и исторические справки. В названной повести предстает циничный и наглый авантюрист Барух Корефле (по кличке Индюк). Этот „мошка" (так в Галиции называли евреев) стал подельником самого пана Калиновского, драчуна и забияки, для которого „колотить жидов доставляло величайшее удовольствие". Заклятые друзья горазды на всякие проказы. Вот Барух восхотел заиметь интрижку с христиан-

кой, для чего обрядился в турецкого пашу, а Калиновский вымазался черным — ну сущий мавр! — и только спустя месяц, когда паша вдруг заговорил по-еврейски, обольщенная поняла, что ее провели. А потом Корефле и вовсе исчез, так что его жена, добродетельная Хайка, должна была как-то выжить с тремя голодными детьми, которых учила „быть чистыми в сердце и твердыми в разуме". И она все рассказывала им притчу о еврейском Нарциссе, который должен быть не красивым, а добрым, что едва ли возможно, когда ты нищая и твое имущество описано кредиторами. Никто не ободрил их, не протянул руку помощи, и дабы дети не умерли с голода, ей пришлось пойти на подлог с подделкой векселя. Когда обман открылся, женщину ждал позор, проклятия единоверцев. Но мудрый раввин рассудил иначе: „Эта женщина согрешила, — обратился он к прихожанам, — но ее грех падет на вас, что вы оставили ее в нужде, вы насмехались над ее бедностью, горем, вы осмеивали скорбь ее материнского сердца! На вас падет ее грех — падет в десять раз, в стократ увеличенный!" Хайка избежала наказания и счастлива вдвойне, поскольку является вдруг домой и ее блудный муж: оказывается пан Калиновский давно умер, а он, Барух, по собственному почину совершил паломничество на Святую землю, был в Иерусалиме, на могиле рабби Иегуды бар-Илана, и вернулся в родные пенаты мудрым, набожным, просветленным. Завершается текст назиданием Соломона: „Чтобы достигнуть почета, надо прежде вынести сострадание". В очерке „Просвещенный" торговец хлебом Абурель слыл образованным и среди иудеев, и среди христиан. Однако слово „просвещенный" обрело здесь самый широкий смысл и означало, прежде всего, благородство души (семья Абуреля воспитывала христианскую девочку). Здесь, как и в других произведениях, филосемит Захер-Мазох идеализирует своих героев. Как отметил критик, этот писатель, „вошедший в гетто и из внешнего мира, вносит в его спертую атмосферу освежающее слово утешения".



К.-Э. Францоз

А вот Карла-Эмиля Францоза называли „лучшим бытописателем гетто", сильным и обаятельным художником. Он был чрезвычайно популярен в Европе и сразу же переведен на английский и французский языки. В 1886 году под редакцией и частично в переводах Петра Вейнберга вышел в свет сборник его „Повестей и рассказов" на русском языке, публиковавшихся ранее в русско-еврейской периодике. Критики отмечали: „Очерки Францоза не только ближе подходят к жизни наших русских евреев, но даже по большей части составляют целиком выхвачен-

ную картину этой жизни... Выводимые им лица — это все люди нам знакомые, люди, которых мы могли бы назвать по имени, до того они типичны, до того они верно подходят к нашей действительности. Всех этих купцов и раввинов, всех этих докторов-автодидактов и философов-самоучек, всех этих мужчин и женщин, все эти свадьбы и похороны, все эти праздники и трауры, все эти собрания и рассуждения — вы словно вчера видели еще в Киевской или Ковенской губернии". В то же время подчеркивалось, что проза Француза, „очень хорошо и талантливо написанная, дает нам возможность заглянуть и в область явлений... совершенно нам неизвестных; она выводит перед нами ряд лиц, в высшей степени замечательных в психологическом отношении... вы можете понимать [эти произведения] лишь постольку, поскольку вы их прочувствовали".

Рассказ „Барон Шмуль" (Еврейская библиотека, 1870, Т. 8) показывает отчаянный протест евреев против унижения и бесправия. Жестоко избитый нагайкой могущественным польским бароном Полянским мальчик-разносчик Шмуль стал инвалидом и лишился глаза, но не мог найти правду в суде. И он положил жизнь на то, чтобы отмстить за позор и унижение, и неуклонно шел к этой цели. Проявив неистощимую энергию, отказывая себе во всем, он добился того, что в конце концов стал торговцем-миллионером, крестился, сам стал бароном. И успокоился лишь тогда, когда разорил, завладел землей и замком обидчика, сделав из него бродягу и пьяницу, заискивающего перед ним, теперь всесильным бароном Шмулем. И хотя образы даны схематично и весьма тенденциозно, как верно отметил критик Семен Дубнов, „нагайка пана Полянского определила всю жизненную карьеру Шмуля, весь характер его и все непривлекательные стороны этого характера... Не составляет ли [эта] нагайка... эмблему отношения нееврейского мира к евреям вообще?".

В рассказе „Без надписи" (Еврейская библиотека, 1878, Т. 6) описывается убогая жизнь барновских евреев, угнетаемых то двумя польскими старостами (те соперничали между собой в защите евреев, потому и перебили их немало), то графом Чарторийским, что охотился на них („потому что мало было в лесах другой дичи"). Где же найти покой еврейской душе? Таковым пристанищем оказывается еврейское кладбище — „единственная недвижимость, которою предоставляли владеть этим людям". Француз с удивительной любовью говорит об этом „добром месте", где иудеи уже не ведают чувства голода и ударов кнута. Он обращает внимание на надписи на могилах. Сама их форма строго определена талмудистами: сперва

идет фамильный знак, затем имя усопшего и его родителей и, наконец, обозначение сословия и профессии покойного. Но попадаются и надгробья без надписи — тех, о которых нельзя сказать ни одного доброго слова. Понятно, что судьей здесь является местная община, карающая за малейшее отступничество от предписанных правил. Вот анонимная могилка Леи, дочери Рувима, „преступление" которой состояло в том, что она после замужества вопреки традиции не отрезала свои роскошные волосы, чем навлекла гнев и херем (проклятие) на всю семью. И еще одна — сапожника Хаима Липпинера: тот возомнил себя философом, читал христианские книги и все повторял: „Кто знает истину?"

Местечковое еврейство предстает здесь в его крепких бытовых формах, семейном строе, спокойствии, единомыслии ощущении счастья. Однако писатель-реалист говорит и о веяньях прогресса, о бунте нового поколения, видящих в традиции суеверие, фанатизм, ханжество и другие проявления вековой отсталости. Интересен в этом отношении рассказ „Шейлок из Барнова" (Еврейская библиотека, 1879, Т. 7), где на примере одной семьи как раз показан разрыв поколений. Героиня его, просвещенная Эстер, бросает дерзкий вызов окружающим, совершает *поступок*, о котором долго судачат барновцы — она бежит из дома, бежит навсегда, громогласно заявив тем самым свой протест против „темного царства еврейского". И ее правоверный иудей-отец, прозванный за накопленное богатство „Шейлоком из Барнова", в отличие от чадолюбивого героя У. Шекспира, проклинает беглянку-дочь, а все свое состояние завещает цадику Садогорскому, „жесточайшему врагу просвещения".

В рассказе „Дитя искупления" (Еврейская библиотека, 1878, Т.6) вдова могильщика Мириам борется за жизнь тяжело больной дочери, и опять вдали маячит фигура цадика Садогорского, „ревностного поборника старой мрачной веры". Местный раввин внушает безутешной матери, что поскольку смерть ее мужа от эпидемии холеры была угодна Всевышнему, то и дочь не может получить благословения, ибо она — дитя искупления. Не находит Мириам поддержки и у соседей, смотревших на девочку „с сострадательным ужасом и эгоизмом". Единственный выход — ехать за сотни верст в Садогоры, чтобы чудодей смилостивился и сказал: „Я дозволяю твоему ребенку жить!" И она отправляется в путь. Однако, встретив сострадательную польскую пару, снабдившую ее лекарствами, возвращается домой и выхаживает дочь. „Здесь все сделала только любовь, — итожит автор, — материнская любовь, вступившая в борьбу с ненавистью и обнаружившая свою целительную силу".

Однако, раскрывая непривлекательные стороны отсталого еврейства, писатель делает это не как сторонний наблюдатель, а как любящий друг, стремящийся разорвать те оковы, которые держат в своих тисках отсталую массу соплеменников. Он певец высоких и сильных чувств поверх сословных, да и национальных барьеров. „Эстерка Регина" (Восход, 1881, Кн. 8) — рассказ, который, по словам автора, „сочиняет не мозг писателя, а сама жизнь — этот величайший и бесчеловечнейший поэт". В центре внимания — дочь местечкового мясника Рахиль Пинкус, прозванная Эстерка (как библейская Эсфирь) за свою „царственно прекрасную красоту". Но красота стала для нее не благословением, а скорее проклятием, ибо умирает она именно „от страданий сердца". И виной тому друг ее детства Аарон Лейбингер, вздумавший после долгих лет отсутствия навестить родной Барнов. Но то был уже не тот „горемычный мальчик", „волевой" Аарончик, любивший маленькую Рахиль, а просвещенный Адольф, получивший в Вене диплом доктора и в придачу прозвище „мешумед" (отверженный) — за свое новое имя и немецкое платье. Сильное всепоглощающее чувство к нему („первая и великая страсть моей жизни") заставляет девушку расстаться с любимым: „Меня слишком долго продержали в темноте и невежестве. Я не умела бы понимать Вас". Как точно отметил критик А. Воловский, полюбив свободным чувством Адольфа, Эстерка уже частично освободилась от традиций гетто. Но и „железный прагматик" Адольф, при всей своей жесткости и суровости („любовь — чувство мягкое, а я человек твердый"), узнав о кончине любимой, упал навзничь и „с надрывающим сердце рыданием прошептал: „Отчего все так кончилось, отчего?"

В истории „Мельпомена" (Восход, 1886, Кн. 11–12) показана судьба еще одной несчастной. Лея Герцемейгер из Праги — девушка замечательной красоты, но начисто лишенная жизнерадостности, способности жить настоящей минутой, а потому прозванная Мельпоменой — по имени Музы трагедии. Она взращена в „самой горькой бедности, полной стыда и унижения", и то была „озлобляющая бедность", приправленная завистью, без всякой надежды на лучшие дни. Однако родители Леи, одержимые „нищенствующей гордостью", видя притягательность дочери, вознамерились отдать ее только за богатого жениха и поправить тем самым семейные дела. И все, наверное, так бы и сталось, но... однажды в городской толчее на празднике св. Непомука студент-христианин Рихард Визнер спас Лею от пьяного громилы и получил ранение. Человек этот в высшей степени достойный, его преданность, самопожертвование, нежность растопили сердце девушки. Причем Францоз, истинный сердцевед, показывает, *как* у этой девушки из гет-

то, скованной вековыми предрассудками, зарождается и вызревает глубокое чувство любви. Финал трагичен: по настоянию родителей девушка должна выйти замуж за постылого, плотоядного богатея-вдовца и расстаться с Рихардом, но она кончает с собой, приняв яд. Как и Катерина в „Грозе" Александра Островского, Лея умирает за собственное право на любовь и счастье...

Подводя итоги пятидесятилетней литературной деятельности Петра Исаевича, поэтесса Ольга Чумина адресовала ему памятные слова:

Рыцарь духа. Это слово
Вдохновенного певца
Жаждой *подвига* святого
Жгло избранников сердца.

Главная же заслуга Петра Вейнберга перед русско-еврейской литературой в присвоении ей ярких произведений еврейской литературы зарубежья и тем самым возвышении ее на качественно новый художественный уровень. Он расширил горизонты и обогатил духовную жизнь русского еврейства. А потому его позволительно назвать *подвижником* русско-еврейского культурного процесса. В некрологе об этом замечательном по широте и многогранности деятеле перефразируются слова из шекспировского „Гамлета": „Писатель он был". Что же, к почетным регалиям *безусловно русского писателя* Петра Вейнберга можно добавить и толику *еврейской* славы.

ПРИСЯЖНЫЙ СМЕХОТВОРЕЦ

ПАВЕЛ ВЕЙНБЕРГ

Младший брат, Павел Исаевич, как это подобало отпрыску семейства Вейнбергов, был одержим неукротимой страстью к театру, однако с явным уклоном в сторону комедии. Тому немало способствовал рано обнаружившийся в нем дар имитатора-пародиста. Он был настолько переимчив, что самым точным образом изображал чужие манеры, жесты, речь, улавливая характерные особенности интонации, мелодику и тембр голоса. Сызмальства он настолько виртуозно передразнивал товарищей детских игр и домочадцев, что вызывал взрывы искреннего смеха. А как уморительно пародировал он говор одесских обывателей — евреев, греков, армян; корчил такие забавные рожи, что национальные типажи выходили потешно и весьма натурально.

Вместе с отцом он неизменно посещал все театральные премьеры и дивертисменты, хаживал за кулисы и знал лично многих знаменитых лицедеев. Но из всех спектаклей особенно сильное впечатление произ-

вели на Павла „сцены из народного быта" блистательного рассказчика-импровизатора Ивана Горбунова (1831–1896), гастролировавшего тогда в Одессе. Сей мастер перевоплощения, в каком бы обличии ни являлся публике — купца ли, мастерового, фабричного рабочего, приказчика, городового или околоточного и т.д. — говорил таким своеобычным и сочным языком, что возникали удивительно яркие, живые образы. Это Горбунов сделал общепопулярным жанр устного рассказа, это его юмор „рассыпался по всей России и вошел в поговорки, в пословицы".



Павел И. Вейнберг

Павел и сам готов был „шутить и век шутить", а вот об учении не радел вовсе, за что взыскательный Исай Семенович частенько драл его розгами, обставляя такую экзекуцию всякий раз новыми остроумными аргументами. Но наш герой готов был терпеть и даже ждал порки, лишь бы только слышать шутейные эскапады изобретательного отца. Он и сам без устали каламбурил, впрочем, часто обидно, с издевкой — про таких говорят: „ради красного словца не пожалеет родного отца". Очень любил анекдоты, которые записывал в специальную тетрадь (потом он будет даже платить за них, а за наиболее удачные презентовать дорогостоящие галстуки).

О набожности Павла судить трудно, нет данных и о его отношении к астрологии. Любопытно, что гороскоп Вейнберга тем не менее существует (и составлен он в наши дни), и содержит его весьма точный психологический портрет (http://astrovips.com/astro/ru/person/13094/ 1.html). Отмечаются такие его качества, как инициатива и смелость, желание выделиться из общей массы, но при этом отчаянная самоуверенность, и, главное, — крайняя неразборчивость в средствах для достижения цели: он не гнушается тем, чтобы хорошо толкаться локтями, а подчас и бить ниже пояса. И еще: такие, как Вейнберг, не видят своих поражений, и поэтому беда всегда приходит для них неожиданно, мир рушится, и часто это бывает связано с тяжелыми заболеваниями.

О том, насколько верны пророчества астролога, речь впереди. Что же до вожделенной цели, то таковая обозначилась рано. Павел вознамерился стать актером, он „хотел на пьедестал, хотел аплодисментов и букетов". И непременно быть кумиром десятков, да, что там, — сотен тысяч благодарных зрителей! И тогда он, Павел Вейнберг, равновеликий самому Горбунову, превзойдет и посрамит старшего брата Петра, даром, что тот так налегал на науки. Похоже, подспудное желание вы-

звать на соревнование и победить известного брата-литератора и было той силой, что одушевляла действия нашего славолюбивого героя. За ценой он не стоял, освобождая мысли от всего лишнего, наносного и не заморачиваясь по пустякам. Потому, наверное, во 2-й одесской гимназии, куда определил его отец, он учился из рук вон плохо и дошел только до младших классов, после чего был отчислен. Глубоко антипатична ему была и служба мелким клерком на Одесской железной дороге, и если бы не отдушина (любительские спектакли в свободное от работы время, где он играл преимущественно комические роли), жизнь его была бы совсем несносной. И может статься, заветная цель так и осталась бы миражом, пустым мечтанием (сколько их, безвестных актеришек!), если бы в нужный момент он не схватил удачу за хвост.

Киевский мемуарист и театрал Сергей Ярон утверждает, что „Вейнберг избрал своей специальностью рассказы из еврейского быта совершенно случайно". И приводит судьбоносный для Павла эпизод, когда в 1866 году он впервые выступил со своими опусами на любительском спектакле, причем читал "визгливым, резавшим слух голосом", так „подходившим к еврейскому акценту при передаче рассказов". На самом же деле, ровно в тот самый день, когда этот стройный, подвижный юноша семитической наружности выступил со своими анекдотами про евреев, отчаянно коверкая русские слова, он вдруг понял: это голос его, Павла Вейнберга, Фортуны. Утрируя еврейское произношение, он все нагнетал и нагнетал иронические модуляции, возбуждая к своим героям брезгливый и презрительный смех:

— Ви завсем как дворники: ви вшегда во двор ходите!

— Оштавьте, бабишка, от ваш кроме ашкарбительства никакого лашки нельзя получить...

— Ти корова!

— От такого же самого предмету я этого слово слышу.

Надо сказать, такое коверканье речи было своего рода ноу-хау Павла Исаевича. И это несмотря на то, что у него, конечно, были и учителя. Лингвист Роман Якобсон усмотрел в пассажах Вейнберга ряд „трафаретных способов изображения еврейского акцента русской речи", используемых еще литераторами начала XIX века. Однако неистощимый Павел Исаевич в своей имитации местечкового говора заткнул за пояс всех предшественников и был в своем роде вполне оригинален. Он извлекал комический эффект не только из нарушения норм русской орфоэпии („вже" (уже), „брыльянт", „каравул", „"мене", „з вэкселями" и т.д), но из акцента, интонации, из неправильного словоупотребления, из неверного построения фразы. Александр Бенуа будет говорить об особом „уморительном жидовском жаргоне" Вейнберга.

А литературовед Семен Венгеров утверждал, что весь юмор его только и держится на передразнивании речи евреев. Примечательно, что газета „Киевское слово" (1889, № 674) будет писать о „карикатурах, разговаривающих *языком рассказов Вейнберга*".

Таким образом, Вейнберг создает нечто вроде антисемитского новояза. И весьма сомнительно, чтобы он был мучим какими-либо душевными борениями, позволительно ли унижать достоинство своего народа. Неистовый ревнитель славы, он радовался, что безошибочно угадал свое подлинное амплуа. Перефразируя песню Владимира Высоцкого „Антисемиты", на его, Вейнберга, стороне были и „закон," дискриминирующий иудеев в империи, и „поддержка и энтузиазм миллиона" юдофобов. Ведь это даже хорошо, что он сам из евреев, да еще и с такой характерной фамилией, — тем натуральнее и комичнее зазвучат его пассажи. А изображаемые им незадачливые, коверкающие язык соплеменники, надо думать, не позволят русскому зрителю усомниться: он-то, Павел Исаевич — прогрессист, национальным предрассудкам чужд.

Так Вейнберг, играя на самых низменных инстинктах плебса, „случайно" ввел в обиход, как он его называл, „еврейский жанр". В известном смысле его можно назвать лансером (от глагола „lancer" — запускать, вводить, кидать) новой, весьма востребованной обществом моды: он превратил карикатуру на своих соплеменников в коммерчески выгодный, ходкий товар. Некоторые исследователи говорят о приоритете Вейнберга, превратившего „ пишет израильский литературовед Арье-Лейб. — По этой причине Аркановы и Жванецкие тоже „родом из Вейнберга". Однако позднейшие сатирики начисто лишили этот жанр его юдофобской подкладки, главенствующей в пассажах Вейнберга. К тому же, как отмечает автор монографии „Русский театр и евреи" (Т. 1, Иерусалим, 1988 г.) Виктория Левитина, Вейнберг очевидным образом исходил из популярного тогда устного рассказа с его метким языком и полнокровными образами, представленного такими яркими его исполнителями, как Иван Горбунов, Пров и Михаил Садовские. Но Павел трансформировал этот жанр до неузнаваемости. Его целью было не ознакомление слушателей с жизнью непонятного для них народа, но издевательство над ним, злобная карикатура. И успех не заставил сцены из еврейского быта" в эстрадный жанр. „По стопам Вейнберга пошли молодые да ранние — Владимир Хенкин, Леонид Утесов... —себя ждать, поскольку такие репризы были тогда новинкой.

Анекдоты про абрамчиков давали сбор, а их рассказчик сразу же стал артистом кассовым. Неудивительно, что одесский театральный деятель Фолетти приглашает его выступать на разных сценических подмостках. Когда же был образован Одесский русский театр, где вы-

ступала труппа известного актера и антрепренера Николая Михайловского (1811–1882), Вейнберг был туда принят и, помимо своих „еврейских" репризы, с которыми продолжал выступать на разных сценах, играл в спектаклях, причем не последние роли. Он, подобно старшему брату Петру, играл Хлестакова в гоголевском „Ревизоре", а также Англичанина Джона в водевиле Сергея Бойкова „Купленный выстрел". Но более всего он имел успех, исполняя роли евреев и евреек. Так, в „героической комедии" Нестора Кукольника из Петровских времен, „Маркитантка", он был неподражаем в образе корчмаря Ицки. Сей персонаж выдержан в водевильных тонах: от предательства он удерживается с трудом, трусость борется в нем с благодарностью к русским, спасшим его от шведов. Своим ничтожеством, отсутствием чувства собственного достоинства, собачьей преданностью русским, этот еврей вызывает скорее брезгливое снисхождение. К тому же, Вейнберг „обогатил" речь Ицки характерным для своих рассказов местечковым акцентом (в оригинале тот лишь однажды восклицал: „ай-вай-вай-мир").


Сцены
изъ
ЕВРЕЙСКАГО БЫТА
Павла Вейнберга.

Тит. л. кн.: Вейнберг П.И. Сцены из еврейского быта. (1874)

В 1870 году Вейнберг дебютирует в печати, издав в Петербурге книжку „Сцены из еврейского быта", получившую вскоре шумную известность. Это были короткие сценки, точнее анекдоты. Два — три персонажа, два-три штриха. Никаких описаний, только диалог. Никаких аксессуаров, ни костюма, ни грима. Зато преувеличенно яркая речь. Актерская задача — мгновенное перевоплощение — достигалась только языковой характеристикой. Поэтому маковались неправильные выражения, придумывались немыслимые пассажи.

Обратимся же к самому оригиналу. Перед нами „Письмо" из Петербурга бердичевского еврея Абрама Брумгера своему знакомцу Шмулю Зейловичу. Наивно-доверительный тон послания, адресованного „понимающему" соплеменнику, помогает автору-очернителю показать узость мысли и нравственное убожество иудеев, оказавшихся в столице, благодаря разрешительным либеральным узаконениям Александра-Освободителя. Беззастенчивые откровения Брумгера поражают отчаянной наглостью и очень походят на своего рода самоизвет. Вот что он пишет относительно получивших право на жительство в Петербурге единоверцах: „Ти знаешь, што вшакого еврей ждесь должен с какого-нибудь *ремесло* занятье иметь, патаму нам ина-

че ждесь жить невозможна [законом 28 июня 1865 года внутренние губернии империи были открыты для евреев-ремесленников и мастеров — Л.Б.]. Ну, а Янкель, звестно, ведь умного еврей; он сибе скоро шделал ремесло! Деньги немного имел и шделал контора, чтобы деньги под залог вещи давать; шлава Богу это хорошо; патаму в Петербург много без деньги сидют, и нас все очинь благодарят, что ми добрые евреи бедным людям помогаем".

Сарказм бьет в глаза: под маркой разрешенными властями занятием производительным трудом, ремеслами, евреи, дескать, паразитируют, занимаясь презренным ростовщичеством[1]. Отвратительно и бахвальство Брумгера, что одна из железных дорог „в наши еврейские руки попалась", а также то, что все оказавшиеся в столице евреи якобы находятся между собой в тесной спайке („как будто храбрые шалдаты на войну идут"). Об уровне культуры сего местечкового выходца говорит следующее: очень ему не нравится, что в Петербурге нельзя кричать во все горло — „в Бердичеве в сто раз лучше: на улице целый гвалт паднимать можна, и даже вшем это очень приятно".

Сценка „Экзамен в Еврейском училище" изображает „маленького еврея" совершеннейшим неучем. Он несет такую несусветную околесицу, что, казалось бы, сразу же должен получить от ворот поворот. Но учитель, дабы насладиться самому и потешить читателя его непроходимой тупостью, а также уморительным коверканьем русской речи (Вейнберг включает свой излюбленный прием), упорно продолжает экзаменовать его по всем предметам:

Учитель (давая ему книгу).
Прочитайте что-нибудь.
Ученик (читая).
Балшой корабль пливал на бурнующим волнам...

А вот как ученик по заданию учителя склоняет слово „пароход":

Ученик (склоняет)
Я перэход, ти перэход, он перэход, ми перэходы, вы перэходы, они перэходы. Я бил перэход.

---

[1] В том же юдофобском духе писала о еврейском засильи реакционная московская газета „Голос" (1873, № 321): „На бирже, в банках, на железных дорогах, в учебных заведениях, в судах, в конторах надзирателей, за прилавками, в ночлежных домах — то сановитые, то грязные жиды. Москва провоняла чесноком. Поезд привозит все новые и новые толпы жалких, оборванных, грязных и вонючих еврейских женщин и детей и их не менее оборванных отцов и братьев. Неужели все они... *ремесленники*, что находятся в Москве?"

Русскую словесность ученик знает разве только понаслышке. Вот как звучит в его исполнении отрывок из классического текста Лермонтова, упорно называемого им „штихотворение „Мачта":

Билеет мачта одинокой,
Вдоль по дорожка сталбавой,
Что ищет он в штране далекой?
Шпи, ангел мой, Бог с тобой!

А басню Крылова „Пастинник и Видмедь" („Пустынник и Медведь") он пересказал своими словами и завершил ее так: „Блоха вскакила к нему к нему на лобу; ведмедь вискачил из тирпенья, взял балшущий камень и бросил на лицо; таз лицо пастинника зделался клейпс! Надравученье басни: когда хочете спать вместе с видмедь, так закройте лицо с платок, чтоб вас не кусали блохи!".

Ученик смешивает „логарифмы" и „лабиринты", утверждает, что существуют только два климата — „шентиментальный и мокрый" и две части света — Европа и заграница, разглагольствует о некой „балшущей стране Македон, поражающей взгляд прекрасностью тех местов, которые лежат вблизи, как то: Киев, Ница, Нева, Петербург и Бердичев" и столь же нелепую чепуховину.

А в рассказике „Прием учителя" изображается еврейский оболтус одиннадцати лет, с говорящей фамилией Бородавкин. Он затвердил несколько дежурных фраз на немецком и французском, но его отец, еще больший невежда, возомнил его, чуть ли не полиглотом („он типири так на эти языки разговаривает, что я сиби за волосы даже взял, как услышал"). Студент, взявшийся экзаменовать отрока, сразу же понял, что он не знает ни уха, ни рыла и годится только в первый класс гимназии. Все кончается тем, что Бородавкин-старший устраивает недостойный торг со студентом, и тот отказывается от репетиторства и уходит.

Насколько далекими от реальности, утрированными были евреи-невежды под пером Вейнберга, видно хотя бы потому, что вместе с ним во 2-й Одесской гимназии, в которой, кстати сказать, автор прошел только низшие классы, обучалось 53 (!) еврея. Число образованных евреев (врачей, адвокатов, нотариусов) даже в его родном городе было весьма значительным.

Некоторые пассажи изображают евреев-глупцов, впрочем, глупцов азартных, получающих удовольствие от самого процесса торга. Вот, скажем, пьеска „Разносчик", в коей остановившегося в уездной гостинице постояльца одолевает явившийся нежданно-негаданно иудей со словами „Пожалуста, покипайте что-нибудь". Происходит характерный диалог:

Господин.

Убирайся!

Еврей.

Что, убирайся! Ви пасматрите тавар: часы с бадильник, что крепко над вухо стучит... персидский парашок ат блахов...

Господин.

Покажи порошок. *(Еврей вынимает баночку с черной мазью.)* Это что?

Еврей.

Для иштребленья блахов.

Господин.

Что же с этим нужно делать?

Еврей.

Иштреблять.

Господин.

Да как же истреблять?

Еврей.

Я вас буду научить: ви вазмите кусочек сирнички, заклапайте с баначка немножка памада, спаймайте потихонечко блаха и пичкайте ей эта памада в рот; та ана будет чахнуть, чахнуть, чахнуть и сдохнет...

Господин.

Так я же лучше пальцами задушу ее.

Еврей.

И это можно, и это хорошо.

Господин.

Так для чего же ты эту мазь держишь?

Еврей.

Для продажа...

Надо сказать, что этот комический образ получил популярность и упомянут А.П. Чеховым: в письме к А.Н. Плещееву от 3 февраля 1888 года при посылке ему рассказа „Степь" он, в частности, пишет: „Насчет аванса у нас уже был разговор. Скажу еще, что чем раньше я получу его, тем лучше, ибо я зачах, как блоха в вейнбергском анекдоте".

Множество сюжетов посвящены скаредности иудеев. Вот один толстосум норовит заплатить за билет двадцатилетнего сына полцены, как за малого дитятю: „Он за целый балет даже сидеть не может!" И только когда узнает, что дело пахнет нешуточным штрафом, если обман вскроется, спохватывается и платит сполна („На Одесской железной дороге"). Или же два еврея, опоздавшие на спектакль, как на рынке, торгуются с кассиром театра, чтобы тот продал им билеты по заниженной цене: „Зделайте милость, уступите на дивяносто копеек!". А третий еврей извинительным тоном объясняет ситуацию: „Ви им звыните, г. кассир, патаму что ани з Бирдичев: ани все эти парядки ни знают, как здесь у вас делаются. Ани ежели прихо-

дят в тиатр в Бердичев и адин тиатр кончился, ани менши плотят, ежели два тиатера кончились — ище менши, ежели три тиатера — ище менши; они все эти парядки, которые здесь, завсем ни знают, как я харашо их знаю и панимаю...”



А.И. Лебедев
Ил. к кн.: Вейнберг П.И. “Сцены из еврейского и армянского быта” (СПб., 1878).

Потешается Вейнберг и над евреями — зрителями театральных представлений. Незатейливый пересказ сюжета спектаклей с характерными жаргонными словечками выдает с головой их пошлость и примитивность. В пьесе „Елена Прекрасная (Рассказ еврея)” такой смотритель сообщает, что „видал, как люди представляли... вшэ от греческой фимологии (т.е. мифологии)”, причем отчаянно перевирает античный миф. Елена, по его словам, учиняет экзамен пастуху Париске, „королю” Минелайке и „вшем” прочим, вопрошая „за что в море бывает саленая вода?”. „Никто не сгадал. Адин шказал, что ана саленая за того, что это море; другой шказал, — что там нима сладкая вода; вдруг выходит Париска и говорит: что „в море бивает саленая вода зато, что там плавают очень много селедки”. И далее следует бахвальская реплика: „Это умная голова, это мальчик! Никто не мог сгадать, а он сгадал; наверно из евреев”. Далее следует сцена свидание Елены с Парискою, будто бы забывшим в ее спальне свой „шмаркательный платок”.

В этом же ключе дан и рассказ об опере „Руслан и Людмила” (автор, по-видимому, посчитал этот текст одним из самых удачных, ибо посвятил его жене, Е.П. Красовской). Но Вейнберг не был бы Вейнбергом, если бы не стал педалировать тему коммерции, денег, по его разумению, составляющую основу основ сребролюбивого еврея. „Когда вше покушали, — рассказывает этот еврей, — та король вштавал и шказал: „Милый шин Рушлан, вот тибе моя дочка и двадцать тисяч в приданое, только шделай милость, будь хороший муж и ни шпорти мине моя Людмила!” Та Рушлан шказал: „Бог з вами, милый папынька, что я разве дите, только пожалуйте деньги вперед”. Да и после исчезновения Людмилы, когда „подимался на триятере [театре — Л.Б.] такой гвалт, который редко и в Бердичеве бывает”, поясняется: „вше побежали шукать” Людмилу только лишь по-

тому, что „король шказал, что [он] дает за нее 3 т. карбованцев". Симптоматичен и вывод от всего увиденного: „Этот триятер 5 т. карбованцев стоил. Хорошее дело!"

Обращает на себя внимание пьеска „Почетное гражданство", где рассказывается о, казалось бы, весьма похвальном, благородном поступке еврея — в годину военных действий он предоставил русской армии 16 лошадей из собственной конюшни. Причем, как видно, сделал он это совершенно бескорыстно: на вопрос генерала о награде отвечал: „Ваше високоблагородное благородье, я свой Отечество защищал, а ви мне говорите — сколько мине следовает? Мине ничего не следовает". За это еврей был пожалован золотой и серебряной медалями („магдалями", как он их называет) и званием почетного гражданина. Но — Вейнберг опять верен себе — куда деть корыстолюбие и провинциальное бахвальство — пружина всех действий местечковых потомков Иудиных? Первым делом награжденный побежал к ювелиру, „пасматреть, чи настоящие, чи фальшивые, какой проба, сколько стоят эти магдали". А затем, они с сыном, обуреваемые законной гордостью, „такие радые, взяли эта магдали и, чтобы все видали, что мы их получили, привесили их на ворота" [дома]. Концовка подчеркнуто комична: „Что ви думайте, какой у нас пархатый город? К вечеру оба магдали з вороты вкрали! Что мине то гражданство, когда на дивяносто вошем карбаванцев золота вкрали! Хорошее дело!"

В рассказе „В вагоне" предстают нелепыми и смеха достойными догматы иудейской веры. Поезд трогается. Еврей-пассажир ставит на пол таз, наливает в него воду, снимает сапоги и ставит в таз ноги. В вагоне начинается шум: „Что за свинство, мыть ноги в вагоне!.. где кондуктор? Позовите кондуктора!". Кондуктор настойчиво просит еврея вынуть ноги из воды, надеть сапоги и вылить воду, но тот категорически отказывается и говорит, что это никак невозможно.

Кондуктор.

Отчего невозможно?

Еврей.

Патаму... что сигодня шабота, шабат, так ми ни можим по закон ехать; ми только можим ехать на вода; так когда я ноги в вода держу, так завсем похоже, что я на вода еду. Жделайте милость, пожвольте мине так шидеть!

Рассказик „Мыши" — о патологической трусости евреев. Мальчик еврей рассказывает товарищам-гимназистам о том, что на них с отцом напало двенадцать волков: „такие, что з норки скакают, на задние лапка садятся и делают: псс! псс!".

Гимназист.

Так ведь это не волки, это мыши.

Еврей (обидчиво)

Миши?! Ну, а что, а дванадцать миши на два жида не штрашно!?

Или анекдот о незадачливых контрабандистах, переодевшихся в одежды священников, но из-за плохого знания русского языка, назвавшихся халамандритом, гумином, памынарем (вместо архимандрита, игумена и пономаря) и потому пойманных пограничниками.

Чего стоят говорящие фамилии „героев" его эскапад — кровососы Хапзон, Цикерхапер, Вездецелов, Голдблад, Шельменштейн, Гешефтер и др. И все это сплошь людишки с крайне узким умственным кругозором, корыстолюбцы, мздоимцы, пошляки. Вот как живописует он домочадцев ростовщика Хапзона („Наем дачи"): „Особенно подгаживала дело его теща. Это была грязная, толстая еврейка в больших бронзовых серьгах. Скупа была до жадности, грязна до отвращения. Внучки ее, Миленька, Циленька и Манечка, корчащие из себя светских барышень, возмущались каждым поступком бабушки и говорили, что она „вшакава раз в до канфужливость доводит; всякого человек может догадываться, что ми из еврейского народу... Дети жрали сразу четыре пирожных и три бутерброда".

Другой ростовщик, или, как он себя величает, „директор и содержатель кассы ссуд" Цикерхапер выдает дочь, „золотое дите", замуж (сценка „Жених приедет"). „Выговор ужасный и кривляния отчаянные," — комментирует автор. Все завершается низкой сварой, которую учинил один из гостей, поссорившись с Цикерхапером. Доносится ругань:

— Ты врешь, шарлатан!

— Я шарлатан?! Ти сам шарлатан, процентщик, закладчик!

— Я закладчик? Ах, ти разбойник!..

— ...Что мене эти шарлатанские гости наделали, чтоб вжэ лучше их черт побрал!

— Что!!! Ах, ти жид! Гошпода, едем. Благодарим вам!

Елизавета Уварова, автор монографии „Как развлекались в российских столицах" (Спб., 2004), похваляя мастерство Вейнберга-рассказчика, говорит об особой колоритности его „говора", характерности реплик, подвижности мимики, выразительности жестов, настаивая на том, что он трогательно доброжелателен к высмеиваемым им персонажам, что юмор его совершенно беззлобен. И другой критик утверждает, что рассказы его якобы „никогда не рисовали евреев с дурной стороны, а касались только находчивости и остроумия евреев".

Надо сказать, в копилке еврейских анекдотов и сцен Вейнберга, в самом деле, наличествовали и вещи нейтральные. Так, пьеса „Наследство" рассказывает о споре трех евреев о том, „кто может выдумать такое, чтобы быть богаче всех и сколько каждый желал бы иметь". Первый еврей захотел, чтобы ему и только ему принадлежали все российские рубли; второй возжелал заполучить золотой запас всего мира. В разговор вступает третий еврей: „А я ничего би больше не хател, как только, чтобы ви оба ув один и тот же день падохли сибе, и чтоби я оставался единственного вашего наследником! Я би этого только и хотел!" Или анекдот „Порок". Еврей продает барину лошадь, утверждая, что никаких пороков в ней нет. Когда же выясняется, что скотина слепа на левый глаз, и рассерженный покупатель призывает еврея к ответу, тот парирует: „Разве шлепота — это порок? Это только большое несчастье; это только жалеть надо!". В сценке „Фокус" еврей смотрит, как некий иллюзионист показывает исчезновение положенного на ладонь рубля. „Ничего особенного. — парирует он. — Вот в нашем банке фокус — двести тысяч рублей — „алле пасе марш" — и пропал". В пьеске „Приручили" — еврея спрашивают, каков новый начальник полиции. „Был очень сердитый. — А теперь? — Теперь? Теперь вже из рук кушает". Интересна и сценка „Овес". Нищий еврей везет повозку с поклажей в мешках, в которую впряжена тощая, истомленная лошаденка. „Что везешь? — Овес, — отвечает он шепотом. — Что так тихо говоришь? — Чтобы часом моя коняга этого не услышала. Потому она давно уже этого не кушала, чтобы она теперь не захотела попробовать". Или еще такая лаконичная реприза: „Еврей посылает из Херсона в Одессу телеграмму: „Телеграфирую. Шлава Богу вчера обручался с моего замечательного невеста. Очень рад. Поздравьте нас. *Ответ уплачен*". Несколько подобных анекдотов вошли в книгу „Еврейские штучки" (2000), составленную Ефимом Захаровым и Эдвардом Мишнаевским.

Но отнюдь не эти безобидные шутки определяют литературную деятельность Вейнберга. Большинство его опусов пышут неприкрытой злобой и отвращением по отношению к соплеменникам, причем автор сознательно выключает себя из их числа. В его пьесе „Старые порядки" описывается губернский городок черты оседлости. „Одного там было достаточно, даже в очень большом количестве, — сообщает автор, — это — жидов, этих, счастливых сынов Израиля, грязных, неумытых, нечесаных и видевших в каждом приезжем свою жертву; они наполняли и улицы, и дома, и гостиницы, которые.. были ужасны". Остановившись в местной гостинице, он всю ночь был мучим клопами, на что пожаловался ее содержателю-еврею:

— Клопи? — отвечает тот. — Это, господин, ничего; они только покудова будут знакомиться, а потом уже они вам никакого вниманию не будут делать... Ждесь все вжэ привыкали; без клопи даже ждесь невозможно.

— Отчего невозможно?

— Потому ждесь, звыните, еврейского город; клопи без еврея не могут жить.



А.И. Лебедев
Ил. к кн.: Вейнберг П.И.
"Сцены из еврейского и армянского быта" (СПб., 1878).

— Да, я-то чем виноват?

— Ну, они, звыните, в первого ночь не могли же знать, что ви *русского*; они вжэ теперь сами не будут вам трогать....

И далее вывод: „Жиды надоели до смерти. Они, как мухи: сгонишь одного, явятся другие; просто хоть из пистолета стреляй"...

В его „жидовских" рассказах не достает „чутья правды", как заметил литературовед и библиограф Семен Венгеров. А актер-чтец Владимир Давыдов, характеризуя вейнбергские анекдоты, саркастически заметил: „Еврейского в них было столько же, сколько во мне китайского".

Как же встретила книгу „Сцены из еврейской жизни" современная журнальная критика? Вот что писали „Отечественные записки (1870, №7): „Мы не понимаем, что остроумного или даже просто веселого в этом неловком кривлянии... По нашему мнению, в русской литературе давно не было ничего более плоского и бесцветного... Но что всего замечательнее, книжонка..., содержащая в себе 125 страниц разгонистой печати, стоит рубль. Для первого дебюта это недурно". „Дело" (1870, № 7) вторило: „Главное назначение этой литературы — потешить, рассмешить читателя тем шутовским смехом, в котором нет никакой мысли, никакой цели, ни даже признака какого-нибудь содержания... Представьте себе, читатель, книжку, не дающую ничего другого, кроме пошлого передразнивания евреев, говорящих ломаным русским языком. По нашему мнению, это так же занимательно, как пение петуха и хрюканье". „Давно уже не приходилось читать ничего более тупого и шарлатанского книжки Павла Вейнбер-

га", — резюмирует рецензент и говорит о его своекорыстии, „жалком остроумии", о „выведенных им дураках-евреях, которых он заставляет коверкать русский язык на 125 страницах". Говоря о „литературном кривлянии" Вейнберга, журналисты обвиняют его в своекорыстии: „Автор обнаружил желание снискать себе литературную славу вместе с презренным металлом". Они уверены, что образчики такого „жалкого остроумия" не понравятся умным евреям, и потому они не дадут ни одного рубля сер. Г. Вейнбергу... Что же касается до русских читателей, то как они ни тароваты на покупку глупых книжонок, а тут, вероятно, поостерегутся и найдут лучшее применение лишнему рублю".

Вейнберга часто сравнивали с шутом, задача которого — потешать (действительно, однажды купец пригласил его на свадьбу: „промеж танцев побалагурьте"). Тем не менее, вопреки прогнозам маловеров, таковое шутовство оказалось чрезвычайно востребованным не только читателями, но и зрителями. Его „Сцены из еврейского быта" (Спб., 1870) были раскуплены в несколько месяцев и до 1874 года переизданы четыре (!) раза, и каждый раз весьма внушительным для того времени тиражом — 3 000 экз., в 1878 году выходят в свет „Сцены из еврейского и армянского быта", затем „Новые сцены и анекдоты из еврейского, армянского, греческого и русского быта" (Спб., 1880) и „Полный сборник юмористических сцен из еврейского и армянского быта" (М., 1883), наконец, „Новые рассказы и сцены" (Спб., 1886).

Общий тираж изданий „сценок" Вейнберга составил астрономическую по тем временам цифру — 25 тысяч экземпляров. Литератор Владимир Михневич утверждал, что „Павел Исаевич известен всей городской России, которую он задался миссией рассмешить своими потешными рассказами о „еврейской нации". А вот свидетельство другого современника: „Вряд ли в России есть такой театр, на подмотках которого не выступал бы Вейнберг. Одно время он был до того популярен, что вечера его давали громадные сборы, впоследствии программа вечеров дополнялась, для большего успеха, участием и других лиц. Был даже такой период, когда Вейнберг разъезжал по России с венгерской шансонетной певицей Илькой Огай, устраивая литературно-вокальные вечера: представителем литературы был Вейнберг, а вокальной части — Огай". Последнюю аттестовали так: „Илька Огай, поющая шансонетка в мужском платье, она страшно вульгарна и цинична, и поет всегда под винными парами", впрочем, „генералы даже ездят, чтобы ее послушать. Такой теперь форс задает... Аристократы к ней „Мамзель Илька, мамзель Илька", а она их „брысь", да и делу конец". (Н.А. Лейкин). Можно

представить, какой апофеоз пошлости и бескультурья являли собой эти представления. Зато они давали знатный сбор: годовой доход Вейнберга, по некоторым данным, составлял 15 тысяч рублей — такую сумму едва ли получали даже тайные советники. А в 1880 году Павел Исаевич был даже принят в труппу Александринского театра. Петр Гнедич вспоминал, как его „запрягли на бессловесную роль" в гоголевском „Ревизоре" за умение ловко щелкать языком. Вейнберг часто исполнял роли евреев и евреек и, будучи „небольшим актером сего театра, он в ансамбле держался весьма прилично и даже еврейские роли исполнял мягко, без нажима". Но при этом он не только не перестал рассказывать анекдоты, но выступал с ними и на сцене самой Александринки, что весьма поощрялось театральной дирекцией, поскольку такие выступления собирали переполненные залы.

А вот передовой российской интеллигенции „сногсшибательный успех" Павла Исаевича претил настолько, что иногда таковой отрицался, вопреки самой очевидности. „Как Вейнберг ни пришепетывает по-еврейски, — писали „Отечественные записки" (1881, Т.256, № 5), — с литературой его анекдоты не имеют ничего общего... Избрав себе звукоподражательную специальность, передразнивая говора разных инородцев, населяющих наше отечество, и потому вынужденных говорить по-русски, г. Вейнберг отнюдь не помышляет о создании каких-нибудь юмористических типов, об уловлении какой-нибудь типической национальной черты... Для г. Вейнберга все едино, все на потребу, лишь бы „смешно" выходило. Вот в виду этого сосредоточения всех сил и способностей на смехотворности, нам и кажется, что почтеннейшая публика смеется сравнительно мало даже над г. Павлом Вейнбергом". А писатель Александр Амфитеатров говорил о том, что „такие присяжные смехотворцы, как Вейнберг, не поднимаются выше подворотни литературы".

Примечательно, что актер Евгений Кузнецов в книге „Из прошлого русской эстрады" (М., 1958) назвал анекдотические сценки Вейнберга „отвратительнейшими по своей тенденции" и связал их с „несомненным влиянием наступления реакции". Он пишет о „шумной известности" Павла Исаевича. Понятно, что характеристика „шумная" применительно к популярности Вейнберга, сродни с определением „скандальная".

Неудивительно, что выступления Вейнберга сопровождались скандалами со стороны еврейского населения. Сохранилось воспоминание Максима Горького о его посещении концерта актера в Казани в 1884 году, во время летних гастролей актера, где тот выступал на от-

крытой эстраде: „Мне нравилось слушать его рассказы, — рассказчик он был искусный... Однажды я пошел туда с маленьким студентом Грейманом, очень милым человеком. Меня очень смешили шуточки Вейнберга, но вдруг рядом со мною я услышал хрипение, то самое, которое издает человек, когда его душат, схватив за горло. Я оглянулся — лицо Греймана, освещенное луною и красными фонарями эстрады, было неестественно: серо-зеленое, странно вытянутое, оно все дрожало, казалось, что и зубы дрожали, — рот юноши был открыт, а глаза влажны и, казалось, налиты кровью. Грейман хрипел:

— Сволоч-чь... о, с-сволочь...

И, вытянув руку, поднимал свой маленький кулачок так медленно, как будто это была двухпудовая тяжесть. Я перестал смеяться, а Грейман круто повернулся, нагнул голову и ушел, точно бодая толпу зрителей. Я тоже тотчас ушел, но не за ним, а в сторону от него и долго ходил по улицам, видя перед собой искаженное лицо человека, котого пытают, и хорошо поняв, что я принимал веселое участие в этой пытке. Разумеется, я не забыл, что люди делают множество разнообразных гадостей друг другу, но антисемитизм все-таки я считаю гнуснейшей из всех".

Важно то, что русский писатель глубоко проникся болью чужого, гонимого народа. Плоские „шуточки" Вейнберга, поначалу вызывавшие у него бездумный смех, при взгляде на искаженное от страдания и гнева лицо Греймана, обретают совершенно иные смысл и звучание. Пытаясь понять, что значат такие „шуточки" для евреев, он находит удивительно точный оксиморон — „веселая пытка".

Интересно, что в повести А.П. Чехова „Степь. История одной поездки" (1888) выведен тип иудея Соломона. Этот ярмарочный гаер, как и Павел Вейнберг, пробавляется рассказами еврейских сценок и пользуется большой популярностью. Вот какое впечатление произвел он писателя: „Можно было разглядеть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно — явное презрение. Он как-будто думал о чем-то смешном и глупом, кого-то терпеть не мог и презирал, чему-то радовался и ждал подходящей минуты, чтобы уязвить насмешкой и покатиться со смеху". И еще — „в его позе было что-то вызывающее, надменное и презрительное и в то же время в высшей степени жалкое и комическое". Не списан ли сей малосимпатичный портрет с самой натуры?

Впрочем, в книге Давида Флисфидера „Евреи и их учение об иноверцах" (Спб. 1874) „сарказм, ходячие анекдоты, взятые напрокат у Павла Вейнберга" ставятся в один ряд с антисемитскими сочинения-

ми Якова Брафмана с их „отвратительными инсинуациями" и уподобляются „огромной куче мусора". О концертах Вейнберга писала еврейская газета „Недельная хроника Восхода" (1883, № 18): „Можно представить себе, какое благотворное воспитательное значение могут иметь такие представления в Одессе — городе, где так много рабочего населения и где впервые появились еврейские погромы". Да и „Русская мысль" (1898, Т. 19, № 11–12) отмечала, что „из Сцен еврейского быта Павла Вейнберга юдофобы почерпают самые ядовитые обвинения и насмешки по адресу евреев", и поставила их в один ряд с антисемитской стряпней о кровавом навете. „Еврейская энциклопедия" Брокгауза и Ефрона" прямо обвиняла Вейнберга в „упрочении юдофобства в России". А один из зрителей вопрошал: „был ли хоть один уголок, где появление Вейнберга не сопровождалось бы скандалом со стороны еврейского населения?".

Гнался ли Вейнберг за дешевым успехом, угождая обывателю? Хотел ли вызвать антисемитские настроения? Ведал ли, что творил? Понимал ли, что анекдоты его обидны и оскорбительны для евреев? Не только понимал, но знал наверняка, и более того, отчаянно этим бравировал, рассказывая о каждом таком случае со сцены. Вот случай, приключившийся с ним во время гастролей в Перми, где он выступал в городском дворянском собрании. На этом своем концерте Вейнберг живо изобразил старика-еврея, у которого накануне брился. Еврей заподозрил в нем приезжего и стал расспрашивать о его профессии, причем сразу же догадался, перед ним артист, поскольку тот „разговор имеет ласковый". Когда же парикмахер стал допытываться, как фамилия артиста, Вейнберг ответил вполне самокритично:

— Нет, не скажу! Узнаешь, так, пожалуй, нос отрежешь!

— Честное слово, не отрежу.

— Ну, изволь, моя фамилия Вейнберг.

— Ах, тот, который...

— Да, тот, который...

— Я уж даже теперь смеюсь! — парировал цирюльник.

Когда Вейнберг поведал об этом с эстрады, клиентов у парикмахера заметно прибавилось, и тот в благодарность вернул ему 30 копеек за стрижку.

Но гораздо чаще Павел Исаевич выставлял недовольных иудеев в самом жалком, глупом и смешном виде, и тем самым, как ему и мнилось, множил свою популярность среди определенного сорта публики.

Почти на каждом концерте он с видимым удовольствием сообщал зрителям о том, как однажды толпа евреев в Одессе ожидала его из театра с целью мордобития. Евреев было человек двадцать. Как только Вейнберг появился, послышались голоса из толпы: „ну, начинай", „зачего я, начинай ты". Вейнберг прошел квартала два; в толпе все шли переговоры, но, видимо, никто не решался выступить первым. Вдруг кто-то крикнул: „Господин Вейнберг!" — „Что вам угодно?" — остановился тот. — „Спокойной ночи!" — „И вам того же". — „Благодарим Вам. Будьте здоровы!". И евреи разошлись. Как же реагировали на такие его рассказы русские зрители? Михаил Шевляков в своей книге „Современники" (1900) пересказывает со слов Вейнберга этот сюжет и итожит: „Трусливая толпа разбежалась".

В другой сценке „В вагоне" Вейнберг выставил еврея сколь убогого, столь не в меру обидчивого и чванливого. „В вагоне второго класса много публики. Идет веселый разговор, кто-то рассказывает еврейские анекдоты. Все смеются. В конце вагона сидит какой-то еврей и злится, что затрогивают *их (!)* нацию. Наконец, терпение его истощается. Он подходит к рассказчику.

— Ижвините, пожалуйста, что я вмешиваюся в вашу компанию, то я больше вжэ сидеть шпокойно не могу.

— Что же вам угодно?

— Мне, шобственно, ничего не угодно. А что вам от евреев угодно?..

— Ничего не угодно. Мы просто анекдоты рассказываем.

— Анекдоты? Это вам, верно, господин Вамберг учил так предштавлять? Он вжэ нам довольно пашкудство делает! Пожвольте вам шказать, что я сам имею большую честь принадлежать к большого еврейского народа!.. Тольки я вам могу шказать, что ви завшем неверно про евреи говорите. З еврейского биту много есть очень хорошего даже ражказывать. А вот з русского биту я тоже жнаю смешного ишторья, более смешного, чем з еврейского биту!". И еврей рассказывает анекдот о русских, а потом, „заложивши руки в карман, с гордостью идет на место", чем вызвает смех не столько над анекдотом, сколько над собой.

Справедливости ради отметим: насмешки над евреями находили радостный отклик не только у неразвитой публики. К анекдотам Вейнберга вполне благосклонно относился Федор Достоевский. В письме из Эмса от 2 (14) августа 1876 года (он как раз работал тогда над „Дневником писателя", печально известным своими антисемитскими пассажа-

ми), Федор Михайлович корил жену: „Очень сержусь на тебя, зачем не ходила ни к Славянскому, ни к Вейнбергу, ни в театр. Несравненно бы сделала мне больше удовольствия, если бы пошла, да мало того: взяла бы ложу, а в ложу детишек. Им пора повидать комедию". Достоевский, как видно, рассчитывал, что и его малышам высмеивание и передразнивание евреев доставят радость и удовольствие.

А вот у Петра Исаевича Вейнберга еврейские анекдотцы брата вызывали чувство негодования и жгучего стыда. Когда репортер „Петербургской газеты" спросил его, „что бы вы прежде всего сделали, если бы получили большой капитал?", тот, не задумываясь ответил:

— Я бы положил пожизненную пенсию моему брату Павлу... Чтобы он навсегда расстался со своей профессией рассказчика еврейских сцен.

Современники и аттестовали Павла Исаевича не иначе как „скорбь своего родного брата, достоуважаемого Петра Вейнберга". Ведь всей своей творческой деятельностью Вейнберг-старший демонстрировал прямо противоположное. Он проявлял жадный глубокий и непрерывный интерес к еврейству, его истории и культуре. И воссоздал яркую панораму еврейской жизни, возвышенные и прекрасные характеры, с их неподдельными чувствами, жаждой любви и поиском правды. А у Вейнберга-младшего — скукожившийся удушливый мирок подонков общества, узколобых мещан, гешефт-махеров, снобов-неучей и прочей человеческой требухи. Может показаться, что старший брат, вольно или невольно, искупал перед соплеменниками вину младшего, которого Максим Горький отнес к числу „выродков и негодяев народа своего". Израильский литературовед Леонид Коган столь же категоричен, аттестуя Павла Вейнберга „отщепенцем-ренегатом", а его сценки „злобными выпадами против своих соплеменников, разжигавшими у зрителей антисемитские чувства".

Финал жизни Павла Исаевича трагичен. Предначертана ли ему такая планида неумолимым роком, или то была карающая десница разгневанного на него Иеговы (в существование которого тот, впрочем, не верил), но на гребне успеха и славы сорокапятилетнего Вейнберга разбил паралич. Этот присяжный смехотворец, знавший шумный успех и бури оваций, был теперь прикован к постели и влачил самые печальные дни. „Почти все забыли о нем, и только товарищи, старые и молодые, устраивали ежегодно спектакль в его пользу, давали „дотянуть" свой век артисту", — сообщал „Историче-

ский вестник" (1904, Т. 97–98). Эти же товарищи переиздали его „Новые рассказы и сцены" (Спб., 1895), но материальное положение семьи продолжало оставаться трудным. Павел Вейнберг был обречен на медленное и тягостное умирание — мучился пятнадцать лет. И когда ушел, „никто почти не знал о смерти былого любимца, и на унылую панихиду пришло лишь несколько человек". Не было на ней и Петра Вейнберга; сказавшись больным, он не проводил младшего брата в последний путь.

* * *

После публикации сокращённого варианта статьи ("Крещатик", № 2, 2015), я получил неожиданное письмо, подводящее своего рода итог истории братьев-антиподов. Его автор, Давид Иоффе из Хайфы, вспоминает: "В конце сороковых годов прошлого века моим соучеником в 8-10 классах был Юрий Ш., правнук Павла Вейнберга... Юрий очень гордился своим двоюродным дедом Петром Вейнбергом, на школьных вечерах выступал с чтением его стихов (помню, как он читал "К морю"), перед чтением объявляя: "Стихотворение моего прадеда Петра Вейнберга". Но о прямом своём прадеде Павле не упоминал. Как-то, возвращаясь вместе с ним из школы (мы жили по соседству) я что-то спросил о Павле Исаевиче. Юрий смутился, ничего не ответил, а когда мы прощались, попросил никогда не спрашивать о прадеде. Как я понял, в семье стеснялись этого родства. Так что не только финал жизни, но и посмертная судьба Павла — трагична".

ИЗ КАНТОНИСТОВ — В ПИСАТЕЛИ

ВИКТОР НИКИТИН



В.Н. Никитин

Имя Виктора Никитича Никитина (1839–1908) ныне известно лишь специалистам[1], а когда-то об этом даровитом писателе-самоучке, редком по своему трудолюбию и энергии литературном и общественном деятеле, знала вся читающая Россия. Современники характеризовали его как „защитника страждущих и борца с неправдой", „известного тюрьмоведа и писателя, взявшего на себя благородную задачу поведать тепло и правдиво о „невидимых миру слезах", страданиях, нравах и быте разного рода „несчастненьких", которых так много на Святой Руси".

Этнический еврей, он в девять лет был взят в кантонисты в Нижний Новгород, где его окрестили и дали русское имя (первоначальное еврейское имя и фамилия его неизвестны). Став военным писарем, он усердно занялся самообразованием, сделав весьма успешную карьеру. После окончания в 1869 году военной службы он стал одним из директоров Петербургского тюремного комитета, чиновником 5-го класса особых поручений при министре земледелия и государственных имуществ и управляющим инспекторским делопроизводством канцелярии министра.

Никитин — талант скорее неяркий, но умный и добрый. Он был одушевлен эпохой великих реформ и обратил на себя внимание в то самое время, когда был введен гласный суд, публикуя „судебные сцены" (кстати, явился родоначальником самого этого жанра) в газетах „С-Петербургские ведомости" и „Гласный суд", журнале „Сын Отечест-

[1] См.: Маркиш Ш. Русско-еврейская литература: предмет, подходы, оценки // НЛО, 1995, № 15, С.229–230; Петровский-Штерн Й. Евреи в русской армии. 1827–1914. М., 2003, С.377–384; Litvak O. Conscription and the Search for Modern Russian Jewry. Bloomington, 2006, P.43–55 и др.

ва", имевших шумный успех. Они были потом собраны в книгах „Мировой суд в Петербурге" (1867) и „Обломки разбитого корабля. Сцены у мировых судей шестидесятых годов" (1891), а также очерки „Петербургский суд присяжных" (1871).



Муштра рекрутов во времена Николая II.
Зарисовка А. Васильева

Рассказам о тяготах службы николаевских кантонистов посвящены его беллетризованные автобиографические произведения: „Многострадальные" (Отечественные записки, 1871, № 8–10; отд. изд. — 1872), а также „Жизнь пережить — не поле перейти (Из рассказов отставного солдата)" (Еврейская библиотека, 1873, Т.IV; отд. изд. — 1876).

Никитин — автор фундаментальных монографий, ставших плодом предпринятого им скрупулезного обследования российских тюрем, арестантских рот и крепостей империи. Его монографии „Жизнь заключенных" (1871), „Обзор петербургских тюрем..." (1871), „Быт военных арестантов в крепостях" (1873), „Тюрьма и ссылка" (1880) и др. заложили основы истории и социологии тюрем в России. А книга „Несчастные (по поводу большого тюремного конгресса)" (1890), содержала конкретные рекомендации по улучшению отечественной пенитенциарной системы

Многолетняя тюремно-попечительская практика Никитина послужила материалом для его остро-полемичной книги „Благотворительные подвиги" (1886), благодаря которой автор, как отмечали критики, „составил себе реноме „беспокойного" блюстителя филантропического грошика, подстерегаемого обыкновенно столькими хапугами". Теме детской и ювенальной благотворительности он посвятил работу „Покровительство малолетним детям заключенных" (1894).


Nikitin, V.N.

ЕВРЕИ

ЗЕМЛЕДѢЛЬЦЫ

Историческое, законодательное, административное и бытовое положение колоний по времени их возникновения до нашихъ дней.

1807–1887.

В. Н. Никитинъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Тит. л. кн.: Никитин В.Н. Евреи-земледельцы (1887)

Огромна заслуга Никитина в том, что он, воспользовавшись своим служебным положением, извлек из государственных архивов богатый исторический материал по истории возникновения и постепенного роста еврейских сельскохозяйственных колоний в России. Его капитальное исследование „Евреи-земледельцы: административное и бытовое положение колоний в Херсонской и Екатеринославской губерниях в 1807–1887" (Восход, 1881–1886; отд. изд. — 1887) получило высокую оценку в русской, польской, немецкой и французской печати и было награждено золотой медалью Вольного Экономического общества. Продолжением этой работы явилась монография „Еврейские поселения северо- и юго-западных губерний в 1835–1890" (1894). Представляют интерес и его повести и рассказы, вошедшие в сборники „Жажда богатства" (1875), „Разнообразие" (1895), а также повесть „Пройдоха. Воспоминания купца старого времени" (1900), отмеченные глубоким сочувствием писателя к „страждущим" героям.


Н62

ЕВРЕЙСКІЯ ПОСЕЛЕНІЯ

СЕВЕРО И ЮГО-ЗАПАДНЫХЪ ГУБЕРНІЙ

(1835—1890 г.).

В. Н. НИКИТИНА.

320

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Тип.-Литограф. А. К. Гинцель. Вознесенскій Пр., 9.

1894.

Тит. л. кн.: Никитин В.Н. Еврейские поселения северных и юго-западных губерний (1894)

Главное и ценное достоинство сочинений Никитина — непосредственность наблюдений, близкое знакомство со своим предметом, бытописательская точность деталей, простота и ясность изложения. Недостаток художественности, отсутствие метафор и своеобычных образных сравнений компенсируются органичным введением в текст колоритных идиом, а также реплик и диалогов, что придает повествованию известную живость. Такой способ подачи словесного материала особенно выигрывает в произведениях „большой" формы, в результате чего достигается вожделенная легкость восприятия текста читателем. Что до собственно эстетической задачи, то Никитин, как писатель тенденциозный, по-видимому, таковой перед собой и не ставил.

Однако важный мировоззренческий аспект творчества Никитина остается не вполне выясненным. Израильский литературовед Шимон Маркиш называет его „аутсайдером" еврейской литературы, говорит о нем как об „авторе считанных еврейских рассказов и очерков, совершенно теряющихся в его чисто русской беллетристической „продукции". И задается вопросом: принадлежит ли этот писатель исключительно к русской или все же и к русско-еврейской литературе?

Чтобы подойти к решению проблемы, предоставим для начала слово самому писателю. На излете жизни Виктор Никитин, уже отставной чиновник в генеральских чинах, опубликовал в журнале „Русская старина" (1906, № 7–11, 1907, № 1–2) обширные мемуары, оборвавшиеся на 1870-х гг. Интересны они тем, что являют собой авторскую версию его литературной биографии. Примечательно, однако, что рассказ свой он начинает вести только с 1848 года — времени, когда „девяти лет от роду попал в кантонисты неранжированного батальона 4-го учебного карабинерного полка в Нижнем Новгороде, называвшегося в просторечии „живодерней". По-видимому, сознательно ориентируясь на русскую читательскую аудиторию журнала, Никитин не упомянул ни о своем иудейском происхождении, ни о детских годах в захолустном местечке, ни об обстоятельствах крещения в православную веру. Он говорит исключительно о русских духовных истоках и литературной традиции, сознательно подчеркивая свою принадлежность к народным низам.

О том, как муштрой, розгами, жестокими пытками принуждали креститься новобранцев-евреев, он с пронзительной силой расскажет потом в своих литературно-публицистических произведениях. Существенно, однако, отметить, что его крестный, губернский секретарь, делопроизводитель хозяйственного комитета полка набожный Никита Ермолаевич Валов, по имени которого наш герой получил отчество и фамилию, фактически заменил ему отца и имел на него огромное духовное влияние. Валов сам происходил из кантонистов и заслужил репутацию отличного учителя; в 1820-е годы он преподавал в училище для гражданских чиновников, давал и частные уроки в барских домах. Он стоял горой за Никитина и из уважения к Валову никто не смел обижать крестника; он добился для своего протеже всяческих послаблений и привилегий — право носить одежду из тонкого сукна и обуви, разрешения по праздникам отлучаться из полка в гражданском платье. И это при том, что в казарме кантонистов били кулаками, а то и драли розгами даже за отстегнутую пуговицу. И, конечно, это по его, Валова, протекции Никитина произвели сначала в десяточные, а затем в капральные ефрейторы, знаменщики и, наконец, ординарцы. В 1852 году наш герой, снова с подачи крестного, стал писарем полковой канцелярии, а в 1854 году получил звание рядового.

Валов наставлял своего воспитанника в православном и верноподданическом духе. „Должно молиться Богу, почитать начальство, служить прилежно и вести себя безупречно, — поучал он Никитина перед отправкой его полка в поход во время Крымской войны в 1854–1856 гг. в Петербург и Выборг. При этом благословил его образком и посоветовал почаще обращать глаза к небу. И хотя Виктор, как это водилось у писарей канцелярской команды, был перегружен бесконечными отчетами и строевыми рапортами, он тем не менее находил время, чтобы аккуратно ходить „по субботам — ко всенощной, а по воскресеньям — к обедне". Никитин пишет, как перед выступлением полка „отслужили молебен, всех окропили святою водою", а перед отправкой солдат на диковинном в то время паровозе с платформы Николаевской железной дороги всем „приказали перекреститься". Вообще, Никитин предстает в „Воспоминаниях" человеком глубоко православным: он не пропускает церковные службы и даже потом будет ходатайствовать перед Св. Синодом о прощении заблудших.

Впоследствии он будет говорить о „мизерной жизни", „отчаянном невежестве" военных писарей, которых назовет не иначе, как „переписывающими машинами". И в самом деле, хотя он пишет о Валове с большим пиететом, видно, что тот, научив его читать, писать и четырем действиям арифметики, не приохотил его даже к элементарному чтению. Да и вкус к литературе он, как видно, привить крестнику никак не мог. Судите сами: однажды Никита Ермолаевич привел Никитина в дом, где среди гостей был знаменитый Тарас Шевченко, освобожденный из солдат Оренбургского гарнизона и возвращавшийся в Петербург. Он сразу же приковал всеобщее внимание и попросил принести горсть зерен. Затем взял из кучки одно, показал его и сказал: „Вот вам старший над всеми", потом бросил его в кучку и добавил: „Вот уже и нет его: так и люди могут". Все удивлялись его мудрости. Но только не Валов. Вот как он объяснил Виктору слова малоросса: „Власти от Бога поставлены, а потому все обязаны подчиняться старшим и своевольничать грешно, а Шевченко, как неверующий, пострадал уже за свои прегрешения, но так как не унимается, то Бог его еще накажет за вольнодумство". Так крестный все свел к излюбленной им благонамеренно-охранительной тенденции: понять масштаб таланта и личности Кобзаря было ему не по силам. Валов никогда не упоминал даже имен Пушкина и Гоголя.

И уже только после расставания с Валовым, в Петербурге, в Департаменте военных поселений, куда он был переведен из Нижнего Новгорода писарем, Виктор впервые познакомился с книгой. Как-то во время перерыва один из сосуживцев стал читать вслух роман Ивана

Лажечникова „Ледяной дом". Голос чтеца дрожал при рассказе о мрачной године Бироновщины, о мучительствах и издевательствах над человеческом достоинством.

На него, бывшего кантониста, это произвело самое сильное впечатление (Никитин еще не знал тогда, что будет потом словом и делом защищать униженных и оскорбленных). „Воображение распалялось при описании замораживания людей" и живо вспомнился холодный карцер полковой казармы, где гнобили проштрафившихся новобранцев. Но тут — на самом волнительном месте! — явился грозный фельдфебель и приказал немедленно прекратить „безобразничать": „Вольнодумством, смотрите, не заразитесь от разных вздорных книжек! Коли донесу экзекутору, чем вы тут пробавляетесь, сидеть вам всем в карцере".

Рвение к службе, которой Никитин „предался с пылом юности", обратило на себя внимание руководства, и он раньше срока получил должность писаря 3-го класса (1857 г.) — по его словам, он „встал на собственные ноги". Занимался он и частной перепиской у либерального графа А.П. Орлова-Давыдова, готовившего материалы для крестьянской реформы, причем обязался хранить о сем глубочайшую тайну. Но сам жадно вникал во все, что происходило вокруг и, между прочим, *слышал* разговоры и о литературе. Особенно же часто поминали герценовский „Колокол", но что это такое, он тогда не понимал.

Только в 1858 году, когда Никитин получил назначение в Законодательное отделение Военного министерства, на его пути встретился „бескорыстный покровитель и наставник", сыгравший в жизни будущего писателя едва ли не определяющую роль. То был статский советник Иван Герасимович Устрялов (1818–1861), брат известного историка. Видя скромность, старание и любознательность молодого писаря, он поручил ему составить опись министерской библиотеки, а затем и заведовать ею. Сюда стекались все военные, морские и гражданские законы, а также только что вышедшие повременные издания и газеты „Русский Инвалид", „Северная Пчела", „С-Петербургские Ведомости" и т.д. По заданию Устрялова, Виктор вырезал нужные статьи, переписывал отчеты, все более и более приобщаясь к современной словесности. Мало того, начальник давал ему книги из своей домашней библиотеки — Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Достоевского — и не только определял круг чтения Никитина, но и „призывал [его] к себе в квартиру, а там распрашивал, что он понял из прочитанного, советовал заниматься самообразованием и поощрял чем мог". Три года, проведенные под началом взыскательного Устрялова, стали для Никитина временем его культурного роста.

„Ты отличен за свое благонравие, смышленость и старание, чем и должен дорожить", — обратился к Виктору директор Канцелярии Во-

енного министерства Константин Петрович Кауфман (1818–1882), подписывая приказ о его назначении своим личным секретарем. При этом нисколько не препятствовал чтению, и наш герой взял за правило просматривать в приемной свежие газеты. Так и продолжалось изо дня в день, пока на глаза Никитина не попалась статейка „Московская летопись" из „С-Петербургских Ведомостей" (1861, № 266), возмутившая его до глубины души. Автор, скрывшийся под маской анонима[1], шельмовал лакеев, извозчиков и особенно писарей. Говорил о грубости их поведения, сравнивал их с беспородными дворняжками и советовал читателям вышвыривать „этих выскочек и нахалов" вон.

Товарищи по службе, разделяя его возмущение, присоветовали написать возражение на сей пасквиль. „Я разинул рот от изумления, — признавался Виктор, — я не имел ни малейшего понятия, как это делалось". В сильном душевном волнении он готовил отповедь злоумышленнику, страстно выступил в защиту „несправедливо униженных писарей, произведенных из них чиновников и представителей других сословий, опозоренных московским летописцем". Когда рукопись была готова, ее просмотрели и отредактировали грамотеи Канцелярии. Более всего к ней руку приложил начальник отделения Дмитрий Александрович Саранчев (1833–?). Выпускник юридического факультета Московского университета, он сам занимался литературой и печатался в „Отечественных записках". И это благодаря Саранчеву опус Никитина был опубликован в „Прибавлении к „Русскому Инвалиду", 1862, №6 под псевдонимом „Один из военных писарей". Впоследствии Никитин напишет, что „вступил на литературное поприще случайно, без всякой подготовки".

Впрочем, о литературном дебюте Виктора скоро прознали все сослуживцы, и его, „как автора, водили напоказ к некоторым членам военного совета, а писаря из всех учреждений министерства недели две сряду приходили [его] благодарить от несправедливых нападок... [Он] был упоен „славою соблазнительною".

Саранчев настоятельно советовал продолжать писать, и исключительно о том, что пережито и выстрадано. Это он предложил Никитину сочинить рассказ о кантонисте, о его жизненных злоключениях и мытарствах, но со счастливым концом: герой возвращается домой к отцу и матери после спасительного манифеста Александра-Освободителя, родные встретили юношу с распростертыми объятиями, и все зажили в согласии и довольстве. Саранчев кое-что подправил, назвал рассказ „Стерпится — слюбится" и отослал в редакцию какого-то журнала.

---

[1] Им оказался русский историк и этнограф Иван Гаврилович Прыжов (1827–1885), впоследствии автор книг „Нищие на Святой Руси" (1862) и „История кабаков в России в связи с историей Русского народа" (1868).

И вот новоявленного сочинителя вызвал на ковер сам военный цензор, генерал-майор Людвиг Людвигович Штюрмер (1809–1886). Никитин передает в лицах их диалог. Штюрмер ткнул пальцем в тетрадку и грозно вопросил:

— Ты смастерил эту мерзость?

— Точно так-с, — сдавленным голосом ответил Виктор, — я, простите, Ваше превосходительство, написал, кажется, правду-с.

— За твою дерзкую правду тебя следует по меньшей мере отодрать! — все более распалялся Штюрмер, — Ты, солдат, осуждаешь закон, существовавший бывший о кантонистах. Да как ты это смел, кто тебя на это надоумил, отвеч-чай?

Генерал стал стращать розгами и арестантскими ротами, а затем швырнул ему в лицо тетрадку, топнул ногою и вскричал:

— Пошел вон, рак-калия эдакая!

Никитин опрометью выскочил вон, на улицу. Его объял такой невообразимый страх, что он тут же бросился за защитой к своему патрону, генералу Кауфману. Тот обещал поговорить со Штюрмером и, действительно, на следующий день вызвал его к себе. Никитин не слышал из приемной, о чем говорили за закрытыми дверями их превосходительства, только после сего военный цензор подозвал его к себе и, погрозив кулаком, вполголоса произнес:

— Смей только сочинять, так я тебя, мерз-завца! — и добавил: — Что бы ты ни написал, я все зачеркну.

Но Никитин не смалодушничал: его желание стать автором только усилилось. И рядом был взыскательный ментор — Дмитрий Саранчев. Он поощрял творческие начинания Виктора, учил не столько пересказывать мысль, сколько изображать живые картины, заставлял его работать над словом, правил и шлифовал стиль. Конечно, возможности литературных друзей были скромны: ведь вездесущий военный цензор продолжал лютовать и запрещал буквально все, что выходило из-под пера Никитина. Удавалось печатать лишь отрывки произведений, куцые, да притом совершенно беззубые. Редактор „Военного сборника", генерал-лейтенант Петр Меньков, только разводил руками: „Автор обладает способностью и наблюдательностью, но публиковать целиком нельзя-с". А генерал-майор Александр Гейрот из журнала „Чтение для солдат", поместив один никитинский жалкий фрагмент, посоветовал автору брать сюжеты из гражданской жизни, дабы миновать военную цензуру. Но разве возможно писать о том, чего не ведаешь? Другое дело — жизнь кантонистов, о злоключениях которых — из первых рук! — еще не поведал русской публике ни один писатель. Он, Виктор Никитин, будет первым, и сделает это „в удобочитаемой беллетристической

форме". Повесть получила пронзительное и, как казалось, очень точное название „Многострадальные", а эпиграфом к ней послужили бессмертные слова А.С. Грибоедова „Свежо предание, а верится с трудом".

Текст Никитина — это строго обоснованный и документально выверенный обвинительный акт, предъявленный всему институту кантонистов, через горнило которого прошло за 31 год 7.905.000 мучеников. Шаг за шагом раскрывает автор жизнь кантонистов с того момента, как ребенок становился „казенным" и попадал в науку к пьяным дядькам и ротным кровопийцам. Окрест только и слышалось: — „С шеи до пят всю шкуру спущу!", — „До смерти запорю, шмара проклятая!", — „Всем по полсотне!". Заплечные мастера выработали целый ряд пыток: что там привычные зуботычины, „волосянки" и оплеухи! — детей лупили кулаками по голове, иногда заставляли одного „харкнуть хорошенько" другому „в рожу" или дать тому „два раза по шее". Суровому наказанию подвергались за такие „преступления", как кашель в строю, улыбку некстати, лишний кусок хлеба за обедом и т.д. „Виноват, не виноват, а морду все равно расквашу на память", — похваляется бригадный командир Драконов. А капитан со столь же говорящей фамилией Живодеров зорко следит за тем, чтобы „во всех комнатах были розги", и изгаляется в сочинении новых, самых изощренных казней:

— Как бы так драть, чтобы и ловчей, и больней было? Не вздумал ли ты какого-нибудь нового метода? — отнесся он к фельдфебелю. И по его приказу штрафников истязают их же товарищи-кантонисты, воспитываемые „в остервенении против ближних".

Провинившихся ставили на горох, на битый кирпич, стоявшему на коленях давали сундук в руки и секли без конца — и просто, и „в пересыпку", и „на весу", а за побег иные получали четыреста розог. Во время инспекторских смотров детей изувеченных, со всякого рода изъянами прятали на чердаках, в конюшне, причем число таких укрываемых доходило порой до двухсот человек.

Дает Никитин и портреты, правда, весьма схематичные, военных и учителей, приставленных к кантонистам. Тот же Живодеров — неистовый тиран, бредящий „повальной экзекуцией". Он и дома провоцирует ссоры, лупцует жену и взрослую дочь. Другой персонаж, капитан Тараканов, одержим „доведенной до сумасшествия" страстью к шагистике и парадомании. Дома он, надев форменный сюртук, выдвинет на середину комнаты стулья, установливает их в три ряда и громко командует:

— Третий с левого фланга, пол-шага назад! Пятый, глаза направо! Смотреть веселей! Ешь начальника глазами! Седьмой ряд, не шевелись, всю морду переколочу! А-а? Вам хохеньки, хахеньки, вот же тебе, мерзавец эдакий, вот тебе, скотина эдакая!

И, подбежав к одному из стульев, колотит по нему кулаком. После таких его экзерсисов остается груда разбитой мебели, так что приходится звать столяра. В этом же ключе выдержаны такие казарменные герои, как „отчаянный фронтовик" штабс-капитан Свиньев, полковник Курятников, учитель пения с замашками заправского садиста Федоренко и др. Изредка среди воспитателей попадались и гуманные люди, как, например, учитель Андреев, но их выживали или сживали со света.

Были среди кантонистов и бунтовщики, но их забивали или доводили до петли. Особенно тяжко жилось в этой живодерне новобранцам-евреям. На одном смотре недовольный Мамаев жалуется инспектору: — „Мы все обижаемся, зачем приневоливают еврейчиков креститься". И рисует картину их физических и нравственных истязаний: — „Узнает, например, начальник, что завтра прибудет партия еврейчиков (а их прибывает раза три в год по сто или по двести), и сразу шлет унтер-офицеров стеречь их хорошенько, не подпускать к ним близко никого из солдат-евреев. Приведут их в казармы, загонят в холодную комнату, без кроватей, без тюфяков; все, что у них наедется съестного — отнимут и запрут их под замок. И валяются они на голом полу, стучат от холода зубами и плачут целые сутки. На утро придет к ним начальник, за ним принесут туда несколько чашек щей, каши, каравая три хлеба и десятки пучков розог. — „Что за люди?" — крикнет он, будто сам не знает. — „Жиды", — ответит ему фельдфебель. — „Как жиды? — закричит он во все горло. — „Откуда они взялись? Ножей, топоров сюда, всех перережу, изрублю на мелкие кусочки: жидов мне не надо; в огонь, в воду всех побросаю; жиды продали Христа, прокляты Богом — туда им и дорога!". Те, известно, пугаются, а ему только этого и надо. — „Эй, ты, поди сюда!" — зовет он того из еврейчиков, кто трусливей выглядит. — „Кто ты?" — „Еврей" — „А, еврей, ну, хорошо... Желаешь креститься, а?". Тот молчит. — „Выбирай любое: или говори „желаю" и иди вон в тот угол обедать, или, если хочешь, раздевайся. Все долой с ног до головы! Запорю!" Голод, как известно, не свой брат, розги — страх, ну, и отвечает „желаю" и идет есть. А кого ни страх, ни голод не берет, тех через три четвертого дерут, морят голодом, в гроб, можно сказать вгоняют. А крещеные нередко по три месяца не могут запомнить, как их зовут по-русски, а молитвы выучат разве только через год"[1].

---

[1] Примечательно, что в январе 1880 года в Петербургском окружном суде состоится слушание дела бывшего кантониста Мовше Айзенберга (Алексея Антонова), поведавшего леденящие подробности своего насильственного крещения: „Нас пригнали из Кронштадта целую партию и... загнали в тесную комнату, начали бить без всякой милости, потом на другой и на третий день повторяли то же самое, не было сил вы-

Страшен рассказ еврея Бихмана о том, как его в 11 лет схватили, потащили в острог, сковали вместе с другим евреем и доставили с партией грязных, заеденных вшами в заведение, где их насильственно окрестили. — „Кто теперь приласкает меня от души, кто приголубит? Мать, что ли, да жива ли она? Где она, да и приголубит ли она меня, крещеного? Ведь крестился, значит от родных отступился... Вот этаким путем душа моя изныла. Житья нету. Я руки на себя наложу", — так говорил юноша, удавившийся потом на полотенце в клозете. — „Нарочно, шельмец, испортил новое полотенце, — отозвался о смерти кантониста фельдфебель, — а оно ведь казенное, за него каптенармус житья не даст"...

Саранчев несколько раз перечитал рукопись „Многострадальных", внося в нее стилистические коррективы, наконец, остался доволен текстом и даже похвалил Виктора, сказав, что получилось сильно и весьма выразительно. „Не смотри сентябрем, — ободрил он Никитина, — непременно попробуем напечатать!". И вот наш герой с рекомендательным письмом Саранчева у знаменитого профессора-историка Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). Дрожащими руками Никитин подал ему рукопись, которую тот проглядел.

— Это ты про кантонистов написал, — отозвался он, — вполне современная тема. Кантонистская школа была, помню, и в Саратове, где я долго жил и слыхал про нее много дурного.... Я отрекомендую тебя одному из редакторов „Современника", куда это, как я полагаю, подходит, а он, Чернышевский, человек с отзывчивой душой, — выдвинет тебя, если твоя работа ему понравится... он ценитель хороший, беспристрастный.

— Милости прошу сюда, — встретил в тот же день гостя Чернышевский, — Положите сюда на стол Вашу рукопись... Расскажите мне вкратце, где и чему Вы учились, давно ли на службе, где служите, и что побудило Вас в тяжелом солдатском положении заняться сочинительством.

Когда же Виктор ответил на вопросы Чернышевского, тот сказал:

— Коль скоро Вы протянули такую суровую лямку, то из Вас может выйти дельный человек.

Вдруг вошел без доклада высокий серьезный мужчина в очках, с бородой, как у немецких пасторов, и отрекомендовался Николаем Добролюбовым. Как оказалось, он знал крестного Никитина, ибо был сыном протоиерея Покровской церкви Нижнего Новгорода.

держать, и мы невольно должны были сдаться. Потом нас загоняли в жарко натопленную баню, поддавали пару и с розгами стояли над нами, принуждая креститься, так что после этого никто не мог выдержать" (Дело Айзенберга // Еврейская библиотека, 1880, Т. 8, С.61).

— Итак, бывшие: я — семинарист, а Вы — кантонист, вот где встретились. Так будемте вместе сбирать в наше ополчение, по примеру нашего предка Минина, — весело сказал он Виктору.

Открылась дверь, и на пороге появился пожилой высокий господин с французскою бородкой, истомленным, добрым лицом и сиплым голосом. Оба встали и поздоровались с ним, как младшие со старшим — почтительно, и называли его Николаем Алексеевичем.

— Пиши, пиши, братец, хорошенько, поддержим, — протяжно заговорил пожилой, потрепав Виктора по плечу. — Ты из народа — говори нам его устами правду про его радости и печали.

— А Вы читали стихотворения Некрасова? — спросил Добролюбов.

— Некоторые в „Современнике" читал.

— Так вот он, сам поэт, перед Вами.

„Я выпучил глаза и замер от охватившего меня волнения, — признается Никитин, — ибо в канцелярии все его превозносили, и я его представлял себе неземным существом".

— Если ты читал только некоторые, так дайте ему, Николай Гаврилович, все. Почитай, братец, и скажи, может ли народ понимать их?

Добролюбов тем временем достал из шкафа три книги, завернул их в газету и подал Никитину.

— Прочитайте, пожалуйста, внимательно, — внушал Чернышевский, — чтобы в Вашей памяти сохранились изображенные поэтом картины и лица. А рукописью Вашей я непременно займусь, зайдите ко мне недели через три, побеседуем...

Едва дождался Никитин назначенного Чернышевским времени встречи. Тот принял его радушно и так отозвался о „Многострадальных":

— Мысли, факты, негодование против угнетателей — все это у Вас прекрасные, — начал он, — но все это нужно выставить поярче, а сами Вы едва ли сумеете сделать так, как нужно.... Я сам это сделаю, если не будете меня торопить. Еще вот что: пишите, как говорите, просто, прямо, а то у Вас какой-то книжный язык-с.

Эти слова, „книжный язык", точно колокол, звенели в ушах нашего автора, он не вполне понимал, что они значат. Тем не менее, он занялся литературной учебой с новой силой.

— Нет, я не против сочинительства, — объявил ему при приеме на новую службу обер-полицмейстер Петербурга Иван Васильевич Анненков (1814–1887), — Служите лишь честно и рачительно, а досугами пишите себе, что сумеете, ничьих только личностей не задевайте, чтобы не обижались и не жаловались на Вас.

В обязанности Виктора входило хранение и систематизация законодательных материалов, подготовка документов и прошений, и он —

к удивлению начальства! — в отличие от остальных, писал бумаги не „плохим темным слогом", а ясно, по-деловому. Знакомясь по службе с многообразными полицейскими обязанностями и житейскими казусами, Никитин приобретал опытность, развивал свои способности и деловитость. Работал Виктор без устали, за что в 1863 году был пожалован чином писаря 1-го разряда, а там и подоспел указ об освобождении кантонистов от обязательной службы, что он считал величайшим благом. А творил он вечерами, кое-какие мелкие рассказы удавалось печатать в „Северной Пчеле" и „Народной газете", причем в последней он получил первый в своей жизни гонорар — 5 рублей!



Гражданская казнь Н.Г. Чернышевского

А вот о повести „Многострадальные" от Чернышевского долго никаких вестей не было. Никитин отправился было к нему домой, но обнаружил полицейский наряд у подъезда. Оказалось, что литератор, к которому он питал „безотчетное уважение", не кто иной как государственный преступник, потому он арестован, а квартира его опечатана. Но говорят же, что рукописи не горят! По прихоти судьбы, тюк с книгами и бумагами Чернышевского поступил из III отделения в Канцелярию обер-полицмейстера, а составить их опись было поручено именно Никитину, который таким образом и спас свое сочинение.

Виктор посчитал своим долгом хоть издали увидеть Чернышевского в скорбный час его гражданской казни. Он вспоминал потом, как площадь запрудила толпа из пяти тысяч петербуржцев, „как бы удрученных одним горем". Полк ощетинившихся жандармских штыков.

Палач переломил шпагу над его головой „преступника". Вдруг „солнце ярко блеснуло и заиграло, а через головы солдат перелетел и прямо упал к ногам Чернышевского букет живых цветов. Он с улыбкой кивнул в ту сторону, откуда он прилетел. Войско выдвинулось ближе к эшафоту, а букеты и венки со всех сторон градом полетели на эшафот. Чернышевский улыбался, а полицейские тщетно пытались ловить руки бросавших цветы, ибо публика оттесняла их"...

Важно то, что во время обер-полицмейстерской службы внимание Никитина привлекли словесники круга славянофилов — литератор и фольклорист Павел Якушкин (1822–1872) и историк и публицист Михаил Хмыров (1830–1872). И знакомство Виктора с ними произошло как раз в Канцелярии, куда сии мужи были вызваны для сурового выговора за ношение неподобающего „мужицкого" платья. То были красная рубашка, армяк, плисовые шаровары и сапоги с длинным голенищем. Рассказывали, что Якушкина видели в таком наряде на опере „Жизнь за царя" в Мариинском театре, и когда ему указали, что негоже на себя внимание публики обращать, тот резко парировал:

— Вольно же им ротозейничать! Я никого не прошу смотреть на меня. К тому же опера русская, а я, как изволите знать, тоже русский, потому сюда и пришел.

Когда полицейские хотели обязать непокорных подпиской не носить такое платье, в этом же духе отозвался Хмыров:

— Такой подписки я не дам: это русское платье русским законом не запрещено носить русским людям.

При этом он заметил, что сам государь дозволил ему заниматься в своей библиотеке в таком вот виде.

Однако вскоре Виктор понял, что такая выставляемая напоказ русскость — вовсе не бравада, не дерзкий вызов существующему дресс-коду, а глубоко пережитое состояние души. Якушкин под видом офени „каликою перехожим" исходил всю Россию, чтобы изучить народ и жить с ним одной жизнью. Он жадно записывал народные песни. „Простодушный, великодушный, широкое сердце, чудный товарищ", Якушкин верил в честную, даровитую натуру великорусского племени. В этом самобытнике и Народнике с большой буквы Никитин видел такие замечательные свойства русского характера, как доброта, чистота, душевная прямота, удаль, веселость и „благородное самоотвержение". И вспоминал о том, как Якушкин взял вину на себя и тем самым спас от тюрьмы одну экзальтированную девушку, после того, как та бросила букет живых цветов к эшафоту во время гражданской казни Чернышевского. Еще одна яркая сцена — из Петербурга высылали опального историка и философа Афанасия Щапова (1831–1876), и тогда сочувствовавший ему Якушкин явился в к обер-полицмейстеру и громко объявил:

— Вот и я готов в какую угодно Палестину. Я, братцы, — заговорил он, обращаясь к жандармам, — человек веселый, и вы со мной не соскучитесь, да и мне с вами весело будет. Когда осведомились, где его поклажа, Якушкин показал на свой маленький узелок: его бессребреничество вошло в пословицу.

И Михаил Хмыров своим патриотизмом мог вполне поспорить с Якушкиным. Он был страстно увлечен историей России, древней и новой, и особенно известен трудами по генеалогии дворянства, а также биографиями русских писательниц. Штабс-капитан в отставке, человек непрактичный, доведенный к концу жизни буквально до нищеты, Хмыров все свои сбережения тратил на свою поистине уникальную библиотеку — из 12 тысяч изданий. Как отмечает Никитин, для того чтобы только обозреть все эти книги, потребен двухмесячный труд, причем... полутора десятка человек (ныне его библиотека хранится в Государственном Историческом Музее, Москва). Хмыров лелеял мечту создать универсальную „Энциклопедию Отчизноведения", а именно, подробный словарь того, что писалось о России, всевозможные сведения о ее истории, географии, статистике, этнографии, торговле, промышленности и т.д. Может статься, он делился этими (увы! — не осуществленными) планами и с Виктором. Несомненно одно — эти два самобытных русских таланта Никитина „очень интересовали" и помогли в его литературном становлении.

В Канцелярии Министерства государственных имуществ Виктор служил под началом Александра Порецкого (1819–1879), „замечательно кроткого, доброго человека, честного труженика", к тому же видного литератора, прославившегося прелестным, положенным на музыку детским стихотворением „Пойманная птичка" (1864):

Ах, попалась птичка, стой!
Не уйдешь из сети,
Не расстанемся с тобой
Ни за что на свете...

Порецкий был не только детским писателем, но и переводчиком (романов Ж. Санд, например), редактором популярного журнала „Воскресный досуг"; он писал художественную прозу, а также статьи по педагогике для журналов Федора и Михаила Достоевских „Эпоха" и „Время", вел библиографический отдел в журнале „Гражданин".

— Мне приятно знать, что Вы употребляете свой досуг на литературные занятия, — сказал Порецкий, но тут же не преминул дать Виктору важное наставление, требуя от него, русского литератора, художественной правды и народного языка.

— Советую Вам писать более простым разговорным языком, периоды делать — короче, чтобы легче было читать, брать сюжеты также из знакомой Вам среды, произведения Ваши и явятся правдивыми, а это всего важнее: народ не любит вымыслов. Лучше всех удается писать народною речью Н. Успенскому, Левитову.

— Продолжайте, продолжайте писать, — горячо ободрил он Никитина, — в Вас есть способность и наблюдательность, а стиль выработается прилежанием и внимательностью.

Никитин послал в „Отечественные записки" рассказ „С одного вола семь шкур", и, когда увидел его напечатанным (1871, № 3), поборов робость, решился отправиться прямо к редактору Некрасову, столь им почитаемому.

— Ах, хорош, хорош Ваш рассказец, потому скоро помещен, а не залежался. — приветил его поэт. — Описываемый Вами мир мрачен, очень мрачен, потому освещать его полезно... Молодец, молодец! Я рад, очень рад, что Вы сумели проторить себе дорожку и сделаться полезным деятелем. Народ помаленьку выдвигает своих представителей, а в числе их вот и Вы, ну и стойте за его процветание.

Когда же Некрасов узнал, что рукопись повести о кантонистах, переданная Чернышевскому, уцелела, он искренне обрадовался:

— Принесите ее: она, припоминаю со слов Чернышевского, очень интересна, и мы ее поместим и Ваш труд вознаградим. (Некрасов сдержал слово: „Многострадальные" были напечатаны в № 8–10 журнала за 1871 г.).

— По понедельникам от часа дня сюда приходят наши близкие сотрудники потолковать между собою. — продолжал Николай Алексеевич. — Вы мне нравитесь тем, что упорным трудом проложили себе дорогу, потому приходите запросто и Вы: познакомитесь с ними, они с Вами, услышите их суждения, узнаете взгляды на разные предметы, словом, многое такое, что Вам неизвестно, приобретете больше знаний, а они Вам пригодятся, очень пригодятся при писательских занятиях.

И Никитин с благоговением вспоминал об этих редакционных понедельниках, о горячих спорах их непременных участников — М.Е.Салтыкова-Щедрина, А.Н. Плещеева, А.М. Скабичевского, Г.И. Успенского, Н.К. Михайловского, А.Н. Островского, Н.С. Курочкина, П.И.Вейнберга, Е.П. Карновича и др. Речь вели преимущественно о литературе — о прочитанных журналах, книжных новинках, статьях, о цензурных гонениях. Тон всему задавал Некрасов, который неизменно вел беседу в деликатной, но наставнической форме. А Виктор, чтобы не сконфузиться, больше молчал или же кратко отвечал на обращенные к нему вопросы...

Отдавая дань Некрасову, Никитин в своих „Воспоминаниях" умолчал о том, что тот открыл ему широкое литературное поприще не только на ниве собственно русской словесности. Дело в том, что Николай Алексеевич с его „умением прозреть и поддержать таланты" обратил „лестное внимание" и на еврейского писателя Григория Богрова (1825–1885), чей полубиографический роман „Записки еврея", подготовленный к публикации М.Е. Салтыковым-Щедриным, напечатал в „Отечественных записках" (1871–1873). Знакомство с Богровым стало, по-видимому, судьбоносным для Никитина, поскольку помогло ему обратиться к своим забытым национальным корням. Писатель вновь возвращается к выстраданной им теме кантонистов, чтобы рассмотреть ее уже непосредственно с еврейской точки зрения. Так, мотив „приневоливания еврейчиков креститься", намеченный в „Многострадальных", получает новое сюжетное развитие. При этом в отличие от предшественников, так или иначе затрагивавших тему еврейских кантонистов (Г.И. Богров, О.А. Рабинович в рассказе „Штрафной" (1859), Н.С.Лесков в рассказе „Овцебык" (1863), И. Аксенфельд в драме „Der ershter idisher rekrut" (1862) и др.) только Никитин мог опираться на собственный армейский опыт.

Его повесть „Век пережить — не поле перейти" с подзаголовком „Записки отставного солдата" была опубликована в „Еврейской библиотеке" (1873, № IV) (вместе с „былью" Богрова „Пойманник", тоже, кстати, посвященной теме еврейского рекрутства). Главным героем предстает здесь своего рода alter ego Никитина — Лева Кугель, кантонист, который, в отличие от него, несмотря на все понуждения и издевательства, не отрекся от веры предков. Надо сказать, что сама эта фамилия — говорящая, и она подчеркнуто полемична. Кугель — традиционное блюдо восточноевропейских евреев (печеная лапша или картофельная запеканка) символизировало вообще все еврейское: на идиш о человеке, похожем на еврея, говорили: „у него на лице кугель написан". Показательно, что Богров, полемизируя с ревнителями иудейской традиции, называл их „кугельными патриотами" (по аналогии с „квасными патриотами"). Но все дело в том, что Лева Кугель таковым вовсе не был. Его скептик-отец считал раввинов ханжами, да и у него самого „с малолетства выбили ревность к религии". Как это водилось, он был отдан в хедер, где рыжий меламед „наказывал мальчуганов за всякие пустяки, колотил куда попало и даже стучал их головами об стену". Такая „наука" могла вызывать у него только стойкую неприязнь. Примечательна и такая сцена: как раз перед самым походом новоявленных рекрутов к месту назначения отуманенные горем родственники решили получить благословение на то у известного баал-шема (цадика, еврейского чудодея). Их встретил пожилой толстяк с длинными до плеч

пейсами и с окладистой бородою. Подозвав к себе Леву, благочестивый изрек прочувствованное наставление и дал медную медальку с какими-то знаками посредине, навязав ее на тесемку:

— Надень, дитя Израиля, вот этот талисман на шею и никогда его не снимай. — снова заговорил цадик. — Пока будешь его носить, будешь достоин обетованной земли, а как только снимешь, отдашь, потеряешь — все козни человеческие обрушатся на тебя, и ад, кромешный ад, помни твой удел!

Кугель говорит о своей „неограниченной вере в его слова", но тут же эту свою веру дезавуирует: оказывается, „точно таким же порядком все рекруты перебывали у благочестивого, по секрету друг от друга, причем... он взимал за наставление с медалькою — по пяти рублей, а за одно наставление — по два". Когда Леву и прочих „пойманников" угоняли по этапу в николаевские казармы, толпы иудеев провожали их с погребальными причитаниями: эти дети фактически умерли для еврейской общины. Словом, такие, как Лев Кугель, оставались „евреями только по физиономии, все остальные признаки они растеряли".

Богрова и Никитина роднит скептическое отношение к иудейской традиции и религии, о чем очень точно сказал Семен Дубнов: „застыл[и] в догме отрицания национального еврейства". Как убедительно показал историк Й. Петровский-Штерн, „сравнение рассказа Никитина „Век пережить — не поле перейти" с „Записками еврея" [глава „Странствия Ерухима" — Л.Б.] Богрова обнаруживает поразительные композиционные, тематические и образные совпадения между двумя произведениями". Однако трудно согласиться с Й. Петровским-Штерном в том, что критика еврейского мира служит этим писателям своего рода самооправданием для перехода в православие[1]. И Богров (крестившийся лишь значительно позднее), и Никитин проникнуты болью своего народа. С иудеями этих литераторов связывает, прежде всего, враждебность к ним окружающего большинства. „Если бы евреи в России не подвергались таким гонениям и преследованиям, я бы, быть может, переправился на другой берег [т.е. крестился — Л.Б.], — признавался Богров. — Но мои братья по нации, вообще 4 миллиона людей, страдают безвинно, ужели порядочный человек может махнуть рукою на такую неправду?". И еврейские герои Никитина, при всем своем критицизме, не устают повторять, что не желают быть отщепенцами своего народа и презирают ренегатов.

---

[1] Беспощадная критика „полудикого" хедера и „всевластных" цадиков представлена и в рассказе Осипа Рабиновича „Штрафной" (1859) — писателя-маскила, о крещении никак не помышлявшего.

Видя, какие льготы сулит крещение, как многие, помимо послаблений по службе, получают еще и прочие льготы, Кугель обращается за советом к честному русскому дядьке. Этот добрый человек сказал бесхитростные, врезавшиеся ему память слова: „Креститься и отступиться от родителев за корм и за какие ни есть деньги, по-моему, — грех, да и всяк назовет тебя веропродавцем, покеда не знаешь хорошенько веры — не крестись". Жуткие условия пребывания в казарме, в этой „человеческой бойне", „издевательства над телом" привели Леву в лазарет, а оттуда, за „окончательной неспособностью к фронту", — в Петербург, учиться ремеслу. Попав в услужение к одному переплетному мастеру, Кугель, хоть и натерпелся от хозяев за то, что „жиденок", „нехрист окаянный", со временем благодаря своему радению и расторопности стал старшим подмастерьем, оделся франтовски и превратился во вполне солидного Льва Абрамовича. Он полюбил милую русскую девушку Наташу, и эта любовь оказалась для него новым испытанием на верность гонимому народу.

— Ребенком меня оторвали от родных, от моей веры: лет девять сряду издевались над моим телом, разрушали мое здоровье, а теперь, когда уже я взрослый, вдребезги разбивают и мое сердце. — размышлял он. — Еврею и любить запрещается.

И он вынужден был объявить девушке, брак с которой возможен лишь при условии, что он станет христианином, что крещение для него неприемлемо. (Никитин верен реалиям эпохи с ее религиозной нетерпимостью: девушка, при всей, казалось бы, самоотверженной любви к Леве, не допускает и мысли о принятии иудаизма, ибо в то время это считалось уголовным преступлением.)

После долгих злоключений Лева попал в казарму, где спознался с Петровым, кантонистом из евреев, но крещеным — писарем, дослужившимся до унтер-офицера. Однажды они попали на дневку в уездный город, из которого происходил Петров. Когда отец Петрова узнал, что сын крестился, он не позволил ему даже переступить порог дома.

„Минуту спустя... выбежала женщина и прямо кинулась было Петрову на шею, но остервеневшийся отец оторвал ее, втолкнул в дверь и запер изнутри. [Они] слышали, как мать благим матом выла, рвалась к сыну, а отец силою удерживал ее"[1].

---

[1] Й. Петровский-Штерн ставит под сомнение свидетельство Никитина о том, что родители-евреи отказывались от крещеных детей-кантонистов, в доказательство чему приводит официальный циркуляр 1856 г. о невозвращении кантнонистов, принявших православную веру, их родителям и родственникам — иудеям (См. Петровский-Штерн Й. Евреи в русской армии. М., 2003, С.454). Думается, однако, что непримиримого враждебного отношение к крещению единоверцев в еврейской среде это никак не исключает.

Другое дело он, стойкий и несгибаемый Лев Кугель. Пройдя свои казарменные хождения по мукам, став калекой, этот отставной солдат отправился, наконец, восвояси с казенным наказом: „бороду брить, по миру не ходить". И вот, возвращаясь к родному пепелищу, он все убаюкивал себя надеждой, что родные непременно возгордятся его твердостью в вере. Но то были лишь грезы — он не нашел дома, да и в живых из близких никого уже не осталось. Горечь и отчаяние овладели им: „Общего у меня с моими соплеменниками ничего не осталось: в 15 лет я совершенно отвык от всех беспорядочных их порядков, запрещающих и разрешающих всякий вздор; я даже их наречия не понимал. Напрасно только я растравлял зажившие было раны".

Автор, похоже, сознательно, не занимает твердой позиции, допуская множественность оценок поведения и нравственной позиции героев. Неслучайно и современные исследователи трактуют текст поразному. Литературовед Бетиа Вальдман акцентирует внимание на том, что герой повести „не отрекся от веры отцов, чем вызывает уважение христиан". А современные израильские историки, напротив, видят в произведении Никитина „художественно-оформленный социально-политический манифест, призывавший... оправдать уход от еврейства".

Рассказ Никитина „Искатель счастья" (Еврейская библиотека, 1875, T.V) так же полемичен по своему заглавию, ибо так называли „чувствительные" любовные романы. Здесь же протагонист, Абрам Шмулевич, кадит бездушной Мамоне и в этом видит свое предназначение. Впрочем, подзаголовок „Из записок отверженного" сообщает повествованию вполне определенный эмоциональный заряд. Выходец из самой бедной еврейской семьи „судьбой обиженной местности", герой сызмальства пережил национальные и человеческие унижения и затвердил наказ разорившегося в прах отца: „Богатому все кланяются. Если вырастешь и сделаешься богатым, отлично жить будешь". Абрам одолеваем самыми неукротимыми страстями: „Злоба, страшная злоба и ненависть закипела во мне за свое бессилие, и я почувствовал неописанную жажду к обогащению всем, всем, что под руку попадется".

Он и впрямь упрямо идет к цели, не разбирая путей, благо умен, дерзок, самоуверен, отчаянно беспринципен (хотя у него достает сил на то, чтобы не предать свою веру), увертлив, обладает жаждой к жизни. В религии разочарован; раввина, у которого служит лакеем, называет фарисеем и ханжой. Он вполне ассимилирован: владеет русской грамотой, речь его изобилует пословицами („Раньше вставай да свой затевай", „С сильным не борись, с богатым не тянись" и т.д.), более того, в обществе скрывает свое еврейство, выдает себя за русского и соглашается есть некошерную пищу.

В отличие от героя романа Федора Достоевского „Подросток" (1875) Аркадия Долгорукого, обуреваемого желанием „стать Ротшильдом, стать таким же богатым, как Ротшильд", чтобы получить господство над миром, Абрам с помощью богатства не в последнюю очередь стремится избавиться от национального унижения, уравняться de facto в правах и возможностях с коренным населением империи.

В поисках барыша этот корыстолюбец отправляется в Петербург, где пробавляется то ростовщичеством, то скупкой краденых вещей, то работой в кухмистерской, „где кормили падалью, которую подавали миловидные девушки", то в качестве надсмотрщика на водочном заводе, где крали спирт и подделывали градусники и т.д., а сам ищет все новых и новых гешефтов и никак не может остановиться. Он с жалостью и брезгливым высокомерием смотрит на тех своих соплеменников — портных, сапожников, медников, часовщиков, бриллиантщиков, наборщиков — кто зарабатывал на жизнь честным трудом: „Все отзывались, что они довольны, счастливы, а чем? Работою по 12 часов в сутки, тухлою селедкою, коркою черствого хлеба!" Нет, у него, Абрама Шмулевича, запросы крупного масштаба: „Мне, человеку неугомонному, как большому кораблю, нужно было большое плавание, такое широкое раздольное плавание, какое выпадало на долю других, ловких моих соплеменников". Оказавшись на приеме у одного такого денежного воротилы и неловко намекнув ему на прежнее ничтожество, Шмулевич был выгнан взашей гайдуками.

Три года Абрам служил полицейским агентом и, несмотря на немалую зарплату и успехи в сыске, он и здесь польстился на куш, разоблачив вора и попросив за молчание кругленькую сумму, однако был взят с поличным и сам посажен в тюрьму.

— Закон не для вас, жидов, — обратился к нему привратник, — а ты, коли чего добиваешься, валяйся у меня в ногах, лижи мне сапоги, так сделаю, а не хочешь — шиш получишь. Кланяйся же мне в ноги, проси — прощу, нет — зубы разобью.

Но как ни тяжело доставалось в тюрьме иудеям („над ними все потешались, их презирали, на них сваливали всякие скандалы, хотя они жили тише воды, ниже травы"), и здесь с деньгами „еврею жилось не хуже русских, а случалось, и лучше". Как только у Абрама завелись деньги, к нему стали относиться благосклонно и даже разрешили гулять пять раз в день. Так он лишний раз убедился, что „деньги на свете дороже всего, во всяком положении".

В последнем слове на суде он напирает на то, что совершил преступление, „чтоб избавиться от бесчисленных притеснений, какие выносят евреи, эти, точно прокаженные, судьбою гонимые, вечные ски-

тальцы, бобыли". Судья, однако, начисто отверг эту национальную подоплеку и согласился с мнением прокурора, что мотивом к совершению преступления стала безудержная жажда наживы. Осужденный был приговорен к 2,5 годам гражданских арестантских рот.

Похоже, что и автор вполне удовлетворен таким приговором суда: ведь поражение в правах и дискриминация — весьма жалкое оправдание для еврея, вставшего на путь жульничества и уголовщины. Он на стороне честных тружеников-евреев, а корыстолюбцы и гешефт-махеры ему явно антипатичны. Когда этот несостоявшийся „миллионщик" говорит о себе как о человеке, „тщетно искавшем счастья, но не нашедшем его нигде и ни в чем", он, конечно, лукавит, поскольку его счастье заключено исключительно в богатстве. Это о таких, как алчный Абрам, говорят здесь русские арестанты с их простонародными предрассудками:

— Сейчас еврей везде виден: везде с деньгами. Евреи, слышал я, и в могилу кладут покойникам деньги, чтоб на том свете от ада от чертей откупиться. Правда, ребята?

— Вестимо, правда, на то жиды и хитрость эдакую чертовскую имеют.

Никитин, с его богатым опытом исследования арестантских рот, похоже, с документальной точностью приводит слова начальника такой роты, какими он встретил вновь прибывших евреев:

— Шабашовать не позволяется, а гуляй вместе с прочими по воскресеньям... по воскресеньям же молитесь хоть до тошноты в камере, покуда народ в церкви. Все свои тфилен-шшилен, цицес-мицес и другие там молельные ваши штуки — к черту до выхода отсюда, а то могут ими удавиться, чего доброго. Жидов, что они из трусости перед розгами не курят, не пьянствуют и не дерутся — одобряю, а за то, что канючат легкой работы, фискалят, разводят переписку о каких-то своих правах — ненавижу!..

Существует мнение, что этими рассказами национальная тема в творчестве Никитина и исчерпывается, и „к еврейским сюжетам и мотивам он в дальнейшем не возвращался". На деле же, еврейские темы и сюжеты мы находим во многих „русских" произведениях писателя, где даются живые зарисовки, а также характеристики лиц, с которыми автор соприкасался, преимущественно по служебной надобности. Специфика этого разнородного, не учтенного еще исследователями материала в том, что речь ведется здесь от лица российского чиновника, радеющего о государственных интересах. Здесь нет и намека на чувство национальной солидарности. Никитин пишет о евреях отстраненно, что предполагает тем более объективную оценку.

Выделяются характеры и обстоятельства, способные вызвать любопытство, удивление у русского читателя. Между прочим, он живописует такую курьезную сцену. В Никольском соборе в присутствии генералитета и многочисленной публики отпевали управляющего делами Военного совета тайного советника А.А. Котомина. И вот последним на катафалк для прощания с покойным взобрался старик-иудей и при общей тишине произнес ошеломляющую речь. Он говорил о том, что тридцать лет назад он был богачом, но из-за военных подрядов постепенно разорился, а, ведя по сему предмету тяжбу с военным ведомством, вовсе впал в нищету. Покойный же в продолжение десятков лет не удосужился рассмотреть его дело, потому теперь еврей просит его хоть на том свете заняться им, и, когда он сам вскоре явится туда, — объявить о своем решении. Кончив говорить и положив на грудь покойника памятную записку об этом своем деле, оратор в изнеможении упал навзничь, его подняли, вывели из церкви и отвезли в полицию. А через несколько дней, по особому повелению, старику до решения его дела выдали 10 тысяч рублей и отправили из северной столицы домой.

В другом месте автор предлагает вниманию рассказ о сколь бедных, столь благочестивых и набожных иудеях Брест-Литовска. Несмотря на все уговоры, еврей-извозчик в божественную субботу не соглашается никого везти даже за 5 рублей (хотя „деньги эти для него, нищего, — целый капитал!"), тем не менее, „ни за какие земные блага он не нарушит правила святой веры". И далее следует разъяснительная реплика, причем, что характерно, не самого Никитина, а русака-офицера, сопровождавшего его в походе:

— Все почти здешние и окружные евреи — голытьба, — молвил Бобров, — в будни они чрезвычайно трудолюбивы, оборотливы, изворотливы, делают все, что угодно, за гроши, а наступит шабаш — хоть озолоти их — пальцем не шевельнут; фанатики по религии, не смотря на то, что народ вообще умный. И не только в доме, но и в дороге, где бы их ни застал пятничный вечер, — с места не стронутся до субботнего вечера. Их религиозности и семейным добродетелям всем можно позавидовать.

И даже, казалось бы, обыкновенно ходульная фигура еврея-ростовщика, служившая в русской литературе мишенью для самой едкой и беспощадной сатиры, под пером Никитина обретает известную многомерность. Речь идет о такой, по его словам, „оригинальной личности", как директор Тюремного комитета Пинхус Хаймович Розенберг (1810–1881). (Между прочим, он увековечнен Аркадием Аверченко в его рассказе „Пинхус Розенберг"). И опять-таки сближение их происходит никак не на национальной почве, но исключительно „по коми-

тетским делам". Розенберг, оказывается, обладал инстинктивным чувством справедливости, а потому „спорные речи" Никитина, рвение, с которым тот на заседаниях Комитета отстаивал права сирых и убогих, как добивался правды, даже если на пути к ней стояли самые сильные, чиновные супостаты, вызвали его симпатию и уважение. Никитин продолжает: „Протянулись годы, в течение которых я изучал его *из любопытства* и вызывал его на откровенность". А путь к почестям и богатству этого нувориша был весьма тернист: „Смолоду прослужив 25 лет солдатом мастеровой команды и закройщиком Преображенского полка в качестве портного, обшивал офицеров. Выйдя в отставку, умом и ловкостью открыл и быстро расширил свою мастерскую до значительных размеров и одновременно ссужал заказчиков деньгами под проценты, а когда разжился — продал мастерскую, приписался в купцы и в члены благотворительных организаций, по ним за пожертвования пробрался в почетные граждане, поселился в бельэтаже на Невском [в доме № 4], обставил шикарно квартиру, женился на молоденькой красавице-еврейке и ежедневно катался с ней по Невскому в щегольском экипаже. Она обращала на себя особое внимание светских франтов, но ревнивый муж ни на шаг одну ее от себя не отпускал, а потому франты поневоле знакомились с ним посредством займов у него денег. Мало-помалу он сделался светским ростовщиком и узнал всю высшую аристократию, посредством наживы от нее. Короче, его знало все столичное общество".

Однако при всем его корыстолюбии, Розенберг „в Комитете считался в числе полезнейших членов: за право называться Директором и сидеть между известными лицами он щедро платился". Его благотворительность не знала границ. Задумали, например, устроить в пересыльной тюрьме водопровод. Архитекторы составили смету на 2 500 рублей. В заседании начались прения о размере стоимости. Он прислушался и спокойно сказал, что дает всю сумму, лишь бы спорить перестали. Понадобились для Николаевского детского приюта железные кровати и новые матрацы, и Розенберг незамедлительно прислал тех и других по 25. Содержал он и специальную кухмистерскую, доставлявшую кошерную пищу арестантам-евреям.

При этом Пинхус был религиозен и, пригласив однажды в гости Никитина, похвалялся сделанным на заказ серебряным макетом иерусалимской синагоги величиной с полкомнаты. Он был преисполнен собственной значимости и, казалось, по-детски счастлив.

— Кто в Петербурге первый человек? — лукаво вопрошает он Никитина.

— Государь, — отвечает тот.

— Нет, а кроме царской фамилии? — не унимается ростовщик.

— Не знаю.

— Так я Вам скажу: я, да, я.

— Почему Вы?

— Потому что вся аристократия мне должна, и векселями ее наполнен вот этот железный шкаф; она меня любит за то, что я ее выручаю, и уважает за то, что я ей услуживаю, а некоторых и обогащаю.

Заключительная сцена застает Розенберга уже во время тяжелой болезни. Тот настойчиво просит жену послать за графом Г., а когда граф является, приказывает Никитину поднести его к тому самому железному шкафу, что и было исполнено; Еврей отпирает шкаф и вручает графу толстый пакет со словами: „Вот Ваши деньги!". Когда граф откланялся, Пинхус подзывает к себе Никитина: „В пакете было графских 20 000 руб., находившихся у меня без расписки; теперь я рад, что отдал их ему; я сильно сомневался, чтобы жена возвратила их, в случае моей смерти, потому что она жадная на деньги, а я не хочу умирать бесчестным". Так, и на смертном одре Розенберг остается верен честному купеческому слову...

Историк литературы Абрам Рейтблат отмечал: „Как общественной, так и литературной деятельностью Никитин стремился облегчить положение представителей неполноправных, униженных слоев и групп населения". Неудивительно, что в поле зрения писателя оказались те иудеи, кто волею судеб стал маргиналами и подверглись тюремному заключению. О таких узниках „темного мира человеческих страданий" рассказывается в его книгах „Жизнь заключенных" (1871), „Быт военных арестантов в крепостях" (1873) и „Тюрьма и ссылка" (1880). И важно то, что Никитин говорит о причинах, вынуждавших иных евреев обходить закон, иными словами, вскрывает социально-экономическую подоплеку совершенных ими правонарушений. Вот какой диалог с извозчиком-евреем приводит он в бытность в Брест-Литовске (где находилась военно-арестантская рота с 40 узниками-евреями):

— Чем здесь евреи занимаются?

— Плютуют.

— Зачем же они так недобросовестно поступают?

— Нузда, — ну и хоцели назить более гросей.

Далее следует развернутый комментарий автора: „Едва мы поместились в сквернейшем номере корчмы, как нас осадила толпа факторов с предложениями: кто разведать о чем угодно, кто посредничать при покупке, продаже чего бы то ни было, а кто с вопросами: „цаво пан хоцет?". На вопросы, кто побуждает их именно факторствовать — все отвечали одно и то же: „более зить нецем". Впоследствии мы убедились,

что они правы: производительности никакой нет, и масса евреев целый день бегает из города в крепость и обратно за какие-нибудь 5–10 копеек, на которые содержат семейства из 6–8 членов".

Положение иудеев в заключении очень точно охарактеризовал один сиделец-старожил: „Нам, русским, в арестантах жить, впрочем, еще можно, а вот евреям — точно, беда: ...пищи нашей не едят: вера запрещает, к строгостям не привычны, к работам тоже... ну, и тают, бедняжки, точно воск".

Никитин вводит в текст живые монологи (своего рода интервью) арестантов-евреев, имитируя при этом их характерный местечковый говор. В этом он был не одинок: тогда только вошли в моду „Сцены из еврейского быта" Павла Вейнберга (1-е изд. — 1870), где комический эффект достигался как раз пародированием еврейского акцента. При этом критики сравнивали такой его прием с бездумным „хрюканьем" и упрекали Вейнберга за бессодержательность и даже за разжигание юдофобии. У Никитина, однако, такая имитация вовсе лишена негативного оттенка (к слову, он имитирует также кавказский и татарский акценты), скорее в духе натуральной школы он лишь передает тем самым характерную особенность своих героев.

Тем более, что их бесхитростные рассказы о жизни вызывают доверие и сочувствие. Трагична судьба одного пожилого иудея, который поплатился за свое... законопослушание. Он „23 года отслужил верой и правдой горнистом в полку, зил аккуратно, скопил 1000 рублей, вышел бессрочный, вернулся на родину в Варшавскую губернию и занялся торговлей". Однако здесь торговца стал притеснять „земский стразник" и добился того, чтобы с него ни за что ни про что взыскали штраф. А поскольку тот отказался платить, посчитав это незаконным, стражник явился к нему домой, при этом обругал и толкнул жену еврея, после чего та родила раньше срока и тяжело заболела. Тот самоотверженно вступился за супругу и прилюдно „хорошо укусил" обидчика. Накануне суда взятки от него домогался писарь, но еврей опять захотел быть честным. В результате его осудили и посадили на полтора года, а жена, получившая 4 месяца тюрьмы, „хлопотала, подала 80 жалоб и просудила весь капитал".

А вот другой иудей, „сильно заморенный, совершенно одичалый, низенького роста" двадцатилетний арестант Юдилевич, не выдержав тюремных порядков, был доведен до умопомешательства. Его незаконно сдали в солдаты в возрасте 15 лет, потому что „кагальные заплатили доктору 30 р. и обставили 19 годов". От отчаяния и тяжести службы он бежал из полка и оказался в арестантских ротах. Говорит он сбивчиво и бессвязно: „За сто зе я риштант? Не хочу быть риштантом... Как зе это

мозно такой порадок?.. Ползу никому нет, сто я 3 года буду зить здесь, а мине оцень цизало. По заповедям, обизать людей — грех, а риштанты обизену; по заповедям, луди надо на воле жить, а не в риштантах. Зацем зе не исполняют заповеди?.. Я цалвек деликатный, сердце горацее имею, все изнил. Здесь много риштантов затосковали... Ви только поглядите, народ залко".

— Все говорят, что свихнулся маленько с панталыку, — пояснил его товарищ-сокамерник, — Мы все его жалеем: он добряк и простяк, одно слово, дурашный парнишка.... Он изведется беспременно.

Судьба этого еврея, как видно, живо интересовала Никитина. „Судя по рассказанному и другим сведениям, — сообщает он, — Юдилевич с год бродил полупомешанным, пользовался в госпитале и недавно умер, наконец". Смысл здесь в этом „наконец", ибо нежизнеспособность в условиях тюрьмы такого „деликатного цалвека" вполне закономерна.

А вот об отщепенцах своего народа, людях аморальных и безнравственных, говорится с нескрываемой издевкой. В пересыльной тюрьме внимание автора привлекла „очень миловидная, франтовато одетая женщина, лет 18-ти", присланная для отправки по этапу, в Ковно, за просрочку паспорта.

— И зацим зе мине в Ковну, коли я не хочу больше бить еврейкой? — закартавила она, всхлипывая. — Там мине скорей втонают, цим крестят... Мине и паспорт не прислали нарочно: нихай я еду туда, а там... они мине убьют, верно убьют... Я теперь желаю криститься.

Оказалось, что это проститутка, и она пожелала принять православие, чтобы избежать высылки на родину и остаться в Петербурге и продолжать амурное ремесло.

— А вот погоди! Тронемся в путь, так мы сами тебя и окрестим. — сурово отрезал один арестант. — Вспороть бы тебя, анафему этакую, чтоб не таскалась в таких малых годах. Нашего брата портить ведь только!

Понятно, что Никитину чуждо „сентиментальное представление" о проститутках как о жертвах, возобладавшее потом в русской, да и в русско-еврейской литературе (господствовало убеждение, что девочки и молодые женщины вынуждены торговать собой, чтобы не умереть с голоду). Для него это именно хищницы, чья порочность усиливается их своекорыстным ренегатством.

В книге „Общественные и законодательные погрешности" (1872) Никитин сосредотачивается на деятельности ходатаев в суде, защищавших своих доверителей „часто самыми нелепыми, грубыми и лишенными всякого смысла аргументами". И приводит пример откровенной в своем цинизме адвокатуры такого витии-охотнорядца, силя-

щегося оправдать торговца, который избил в кровь женщину-еврейку. Этот новоявленный Цицерон разглагольствует о том, что „жиды не достойны уважения и бить их, будто бы, не преступление; наказывать же за это христианина, напротив, грешно, тем более, что жиды, вероятно, стоят того, если их издавна били и унижали; теперь это делается, по его мнению, для того, чтоб они не перебирались, куда им не следует — в столицу, а жили бы в западных губерниях; что им напрасно дана слишком большая свобода селиться, где пожелают, что они теперь запрудили Петербург, один за другого стоят горой, а не так, как русские, которые, будто бы, сами добровольно душат, грабят друг друга". Едва ли суд внял сему ходатаю, но пышущие злобой юдофобские филиппики слушались с вниманием и находили отзвук в обществе, даже в те относительно „вегетерианские" для российских евреев времена.

Нет возможности привести все высказывания Виктора Никитина о своих соплеменниках. Но и из сказанного понятно: как ни дистанцируется от них писатель, как ни рядится в одежды бесстрастного и беспристрастного наблюдателя, его симпатии к гонимому народу все равно выходят наружу.

Знаменательно, что к 50-летию служебной и общественной деятельности Никитина еврейский еженедельник „Будущность" (1904, № 118, 7 мая) посвятил ему специальную статью, где отметил его кантонистское прошлое, а также „неутомимую энергию", благодаря чему тот „выбился на широкую дорогу". Обращалось внимание на то, что, добившись высокого положения, юбиляр „остался добрым отзывчивым человеком, готовым все сделать для блага ближнего, будь то знакомый или незнакомый". Говорилось и о неутомимой благотворительности Никитина и его заслугах в деле улучшения „мира отверженных" — российских тюрем. А среди прочих его произведений упоминались „Многострадальные", „Жизнь пережить — не поле перейти", труды по истории еврейских земледельческих колоний. Здесь же сообщалось, что многие его сочинения „хорошо известны еврейской публике". Так бывший кантонист Виктор Никитич Никитин оставил свой неповторимый след и в русской, и в русско-еврейской литературах. Он стал видным писателем, признанным самой широкой читательской аудиторией многонациональной России.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ

МОИСЕЙ МАЙМОН



М.Л. Маймон

К этой самой известной своей картине еврейский живописец и график Моисей (Мовше) Львович Маймон (1860–1924) шел 33 года. Впрочем, казалось, ему уже изначально было предначертано создать нечто важное, значительное во славу своего народа. Ведь род Маймонов восходил к знаменитому средневековому галахисту, философу, врачу и математику Моисею бен Маймониду (Рамбаму) (1135–1204), а тот, по некоторым сведениям, был прямым потомком царя Давида. Дедом же Моисея был видный раввин, ученый-талмудист, автор комментариев к Мишне и статей в газете „Ха-Магид" Александр Зискинд Маймон (1809–1887), оказавший на внука огромное нравственное влияние.

Уроженец местечка Волковишки Сувалкской губернии (ныне Вылкавишкис, Литва), Мовше сызмальства был отдан в хедер, где учился весьма прилежно, но проявлял неукротимый интерес к рисованию, что, однако, не только не признавалось и не поощрялось, но вызывало улыбку и насмешки. Образцами ему служили лубочные иллюстрации к еврейским изданиям „Эсфири" и „Пасхальной Агады". Местечковый раввин, увидев испещренные рукой Мовше страницы молитвенных книг, назвал его страсть к художеству „паскудным делом". Тем не менее, мануфактурные лавочники, прознав о способностях школяра, обращались к нему за рисунками, а иногда и награждали за работу. Поэтому, когда юноше минуло тринадцать, и настала пора определяться, каким ремеслом зарабатывать на жизнь, сомнений быть не могло — он станет художником.

Но окружающие обыватели слово „художник" понимали на свой лад. „В то время в городке К[альварии], отстоящем от нашего местечка верст за пятьдесят, — вспоминает Маймон, — жил и работал часовщик-

еврей Цамех. О нем рассказывали чудеса, говорили как о великом мастере и прозвали „художником". Он в действительности был мастером своего дела, а художество его заключалось в том, что он чинил обывательские часы хорошо и добросовестно... К этому-то „художнику", в виду моего влечения к искусству и решили меня определить, и это считалось большим успехом и счастьем". Мовше наука мастера пошла впрок и может статься, он тоже со временем стал бы заправским часовщиком. Но не привелось: подвели его младые годы („я не обладал разумом и понятием взрослого"), а также обостренное эстетическое чувство. Случился пожар, а Мовше, вместо того чтобы в критический момент побежать и помочь Цамеху, стоял, как завороженный, и все глазел на эти багровые языки всепоглощающего пламени и не мог шелохнуться. „Художник", возмущенный такой черной неблагодарностью ученика, выгнал его вон из дома. Пришлось заниматься работой, не связанной с художеством даже отдаленно — отрок определяется приказчиком в бакалейную лавку в г. Ковно. Но страсть к искусству не оставляет, и он удивительно точно, схватывая самую суть характера, зарисовывает в альбом типы покупателей и прохожих. К тому же он берет уроки живописи у местных знаменитостей.

И вот в жизнь юноши властно вторгается многомудрый дед Александр Зискинд Маймон: видя недюжинные способности внука, он буквально настаивает на том, чтобы тот в 1878 году отправился в Варшаву, в тамошнюю художественную школу, как будто заранее знал, что и экзамен он выдержит и обязательно будет принят. Дед был для Мовше непререкаемым духовным авторитетом и вместе с тем ярким воплощением еврейского мира. И то, что он верил в звезду Маймона-художника, окрыляло талант и возвышало душу. После Варшавы Моисей отправляется в Виленскую рисовальную школу, где на отделении живописи под руководством академика Ивана Трутнева (1827–1912) совершенствует свое профессиональное мастерство. И вот уже двадцатилетний Маймон в Петербурге, студент Академии Художеств. Иудеи (коих было 9 человек), по словам инспектора Академии Павла Черкасова, „как терпимые в заведении, должны быть тише воды, ниже травы".

Но Маймон был из числа тех студентов, которые не только не скрывали своего еврейства, но дерзали говорить о нем во весь голос, и это было весьма симптоматично. Ведь в то лихолетье погромов и усиления российской антиеврейской политики авторитетный критик и теоретик искусства Владимир Стасов как раз призывал художников-евреев творить национальное искусство. И еврейская интеллигенция, разочаровавшаяся в просветительских и ассимиляторских идеалах, обратилась к национальным истокам, озаботилась поиском духовных

связей со своим народом. Стасова по праву называли „отцом еврейского искусства": его призыв „служение искусства — народу" обретал для художников-иудеев особый смысл: „служение искусства еврейскому народу", „еврейское национальное искусство"; искусство воспринималось уже, прежде всего, как явление национальной жизни.

Впрочем, свой путь в искусстве Моисей Маймон нашел не сразу. Он обратился к историческим сюжетам, и вот — первая победа: за картину „Смерть Иоанна Грозного" (1887) он получил золотую медаль и звание „классный художник первой степени". Теперь у него появилась возможность отправиться в Европу, чтобы изучить произведения великих мастеров. Постепенно он приобретает известность своими портретами, и хотя среди них есть такие официально-парадные, как „Его Величество Император" и „Цесаревич", все же превалируют изображения еврейских деятелей, и не только российских: востоковеда-эпиграфиста Даниила Хвольсона (1819–1911), главного ортодоксального раввина Британской империи Натана Маркуса Адлера (1803–1890), фольклориста, собирателя древнееврейских манускриптов д-ра Мозеса Гастера (1856–1939), юриста и филантропа Уолтера Льюиса (1849–1930) и др. Работает Маймон и над пейзажами и жанровыми сценами. В 1889 году он участвует в выставке в Кенигсберге, а затем — постоянно на академической выставке в Петербурге. В 1891–1892 гг. здесь экспонировались его жанровые полотна „С прошением", „Политики", „Уголок театра", „Ремонт" и др.



Антокольский М.М. Инквизиция. *Скульптура. С рисунка пером*

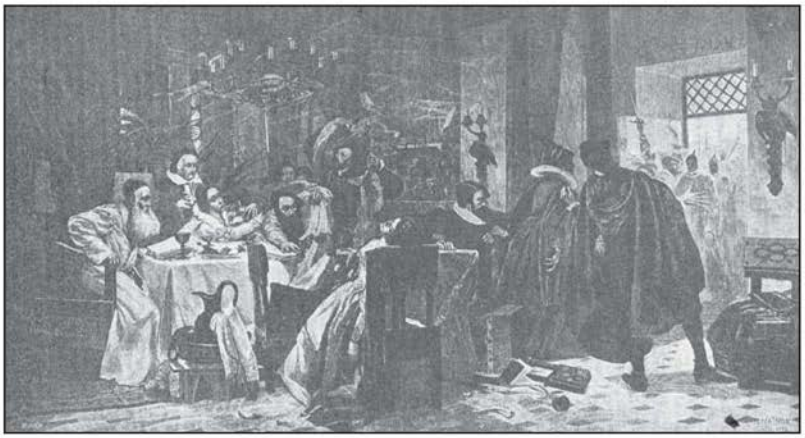
Наконец, в 1893 году он создает свою главную картину „Марраны (Тайный седер в Испании во времена инквизиции)". Тридцать лет спустя художник поведал в своих воспоминаниях о том, что импульсом к созданию его произведения послужило событие в пору его ученичества в Академии художеств. Его пригласили тогда в один еврейский

дом на празднование „чудесной Пасхи". Настроение у гостей было торжественно-приподнятое. Во главе стола восседал живописный старик, „одетый в китель, с вышитою ермолкой на голове, обложенный разноцветными подушками. В знак свободы и радости читал он однообразно, но певуче знакомым мотивом агаду. Все в такт вторили ему, и было уютно и отрадно"... Но вдруг — „резкий звонок и одновременно стук многих кулаков в дверь". Являются сыщик, помощник пристава, дворники, проверяют документы и, обнаружив, что у хозяев нет необходимого разрешения на жительство в Петербурге, приказывают взять их под арест, а прочим — освободить помещение. „Ошеломленный и разбитый", плелся Маймон домой. Он все силился и никак не мог понять, „за что разорили уютное гнездо". И принял твердое решение — этот случай необходимо увековечить, и сделать это должен именно он, Маймон. Но как? Представить картину на подобный сюжет из современной российской жизни было тогда совершенно немыслимо...

Между тем, Академия объявила конкурс тематических работ на соискание звания академика. Дело спасла удачно найденная Маймоном историческая аналогия. Художник вспомнил, что грядет 400-я годовщина печально знаменитого события, когда христианнейшие король Испании Фердинанд и королева Изабелла изгнали из страны сотни тысяч евреев, живших здесь веками. Теме жестокости инквизиции был посвящен нашумевший тогда роман Людвига Филиппсона „Яков Тирадо" (1887), переведенный на русский язык Петром Вейнбергом. Вот к этой-то дате Маймон и приурочил свое полотно.

Надо сказать, историческая живопись никак не противоречила требованиям академического искусства. Сюжеты из Библии, например, занимали в иерархии изобразительного искусства самое высокое место. Но важно то, что еврейские художники и здесь ставили перед собой и решали национальные задачи — напоминали о былом величии „народа книги", пробуждая в угнетенных соплеменниках чувство национальной гордости. Таков Исаак Асканзий (1856–1902) со своим монументальным „Моисеем в пустыне" (1885) — картине, доставившей художнику звание академика. И тема марранов не была обойдена вниманием еврейских мастеров. Марранами называют иберийских евреев-сефардов, которые в XV веке вынуждены были под давлением инквизиции перейти в христианство, но втайне продолжали соблюдать еврейские обычаи. То была мрачная пора мракобесия и фанатизма, господства „святой инквизиции", когда еретиков — людей, обвиненных в несогласии с догматами католической церкви, приговаривали к пыткам, а то и к сожжению заживо. Испанские евреи были вынуждены жить в строго определенных кварталах гетто, носили унизи-

тельные опознавательные знаки на одежде, подвергались оскорблениям, гонениям и резне. А марраны, празднуя великий еврейский праздник исторического исхода из Египта — Пейсах, подвергали себя неминуемой опасности: за оступничество от Христовой веры им грозили самые жестокие кары. И тем не менее, некоторые из них шли на это, оставаясь верными иудейской религии.



Маймон М.Л. Марраны и инквизиция в Испании. 1893

Как ни отдалена была тема расправы инквизиции над евреями, художники находили в ней параллели с современной российской действительностью. Запертые в гетто черты оседлости, иудеи империи были поражены в правах, и с молчаливого одобрения императора Александра III по стране прокатилась волна погромов. Как некогда в средневековой Испании, в России в XIX веке крещение и ассимиляция все еще оставались важными инструментами политики в отношении иудеев, направленной на „борьбу с их религиозным фанатизмом и сепаратизмом". В разное время эта борьба принимала разные формы, начиная от учреждения еврейских светских школ, откуда вытеснялся Талмуд, и запрета традиционной национальной одежды и заканчивая недоброй памяти рекрутчиной — „кантонизмом", призывом в армию малолетних детей, иногда и семи лет, которых самыми недозволенными методами принуждали принять христианство. По образному выражению историка Семена Дубнова, „для еврея единственным способом снискать благоволения правительства было склониться перед греческим крестом". И обращение к временам средневековых гонений стало

для русско-еврейских художников своеобразным протестом против национального и религиозного притеснения, которое они ощущали на протяжении всей своей жизни.

Великий скульптор Марк Антокольский (1842–1902) выполнил горельеф „Нападение инквизиции на евреев в Испании во время тайного празднования ими пасхи" (1869), который в 1871 году был выставлен в Академии художеств и имел впечатляющий успех; великая княгиня Мария Николаевна заказала его на терракоты. Однако отлитая потом скульптура из цинка испортилась, и художник никому ее более не показывал, продолжая работать над композицией вплоть до своей кончины. Произведение его являло собой панораму, где скульптурные фигуры, предметы обстановки, комната, ее освещение органично сливались воедино. „В этой работе, кажется мне, заключена глубокая мысль и оригинальность исполнения. — отмечал скульптор Илья Гинзбург. — Горельеф изображает подвал со старинными каменными сводами. Случилось что-то ужасное... Опрокинут стол, скатерть, тарелки, подсвечники — все на полу. В паническом страхе все бегут, прячутся в огромную печь, некоторые захватили с собой молитвенники. Тут толпятся и старики, женщины с детьми, и молодые. Остались только двое... Один — убежденный и закаленный в вере старик: на него точно столбняк нашел. Другой, помоложе, смотрит в испуге туда, откуда слышны шаги. По круглой каменной лестнице спускается жирный инквизитор; рядом с ним идет привратник, освещающий факелом ступеньки: дальше видны воины с алебардами и цепями. Ужас, испытываемый при созерцании этой драмы, соединяется с наслаждением от талантливого исполнения работы".

И Маймоном сюжет с марранами был выбран для отвода глаз: ведь таким образом он решил изобразить то же „разорение уютного гнезда", только отодвинул событие на столетия назад, обрядил персонажей в испанские костюмы, а вместо полиции изобразил инквизиторов.

Хотя картина была посвящена „делам давно минувших дней", художник сомневался, что в условиях государственного антисемитизма академическое начальство санкционирует эту его работу. Дело спас влиятельный конференц-секретарь Академии граф Иван Толстой (1858–1916). Либерал и юдофил, он встал горой за „марранов", и Маймону предоставили на год необходимую мастерскую. Более того, он получил возможность отправиться в творческую командировку за границу. В поисках материала художник исколесил Испанию, Португалию, Голландию и Англию, где собрал данные об обстановке, утвари, быте евреев-изгнанников. Труднее было с фигурною частью:

хотя было сделано много этюдов и эскизов, в картине наличествовал зияющий пробел — не давался образ старого маррана, по мысли художника, центральный в композиции. Фигура его, признавался Маймон, „была недостаточно сильна, недостаточно выразительна и портила общее впечатление; как я ни старался, дело не двигалось вперед, и я был в отчаянии".

По счастью, тут помог случай. Маймон оказался на одном из клубных собраний так называемых „Мюссаровских понедельников" — филантропического общества высокопоставленных чиновников и аристократов, покровительствовшего художникам и их семействам. Основатель общества, известный педагог и любитель искусств Евгений Иванович Мюссар (1814–1896) привлек в него видных коллекционеров и меценатов, а также профессиональных художников, которые в качестве ежегодного взноса обязывались предоставлять свои работы. Маймон пишет, что он неожиданно „увидел фигуру входившего в залу седого генерала, огромного, широкоплечего, с удивительно красивою старческою головою, как раз такою, которая мне была так необходима и которой я не мог найти в течение многих лет как у нас, так и в Европе". Когда Мюссар сообщил ему, что это или „начальник, или бывший начальник артиллерийской дивизии, большой любитель искусств Арнольди", Маймон „почти в слезах" умолил его уговорить генерала позировать для картины. К его удивлению, услышав о марранах, Арнольди воодушевился и, бросив на художника оценивающий взгляд, по-военному четко произнес: „Буду у Вас завтра в 11 утра — и баста!". И назавтра художник одел генерала в белый китель, опоясал его, надел на голову ермолку, и „получился редкой красоты старик с огромной седой бородой".



А.И. Арнольди

Маймон ощутил какое-то особое вхождение генерала в художественный образ, его горячее душевное участие в работе над картиной: „Он вошел в мастерскую, посмотрев на огромный холст, стал его подробно осматривать с одного конца до другого и особенно внимательно как бы изучал главную фигуру старого маррана... У меня перебывало много натурщиков, но я не помню, чтобы кто-то с таким интересом позировал. Я чувствовал, что мне судьбою послан клад, и я должен использовать это счастье как можно шире и глубже. С каждым новым мазком голова оживала, и фигура принимала то выражение, которое нужно было для общего впечатления". Наконец, когда на пятый день генерал, по обыкновению, подошел после сеанса осматривать полотно,

он вдруг зычно скомандовал: „Ни одного мазка больше! И никаких испанцев!" От неожиданности художник вздрогнул, но, увидев на лице Арнольди довольную улыбку, понял смысл его категоричного приказа: тот опасался, что Маймон испортит так удачно написанную голову. И вот, перед самым своим уходом, стоя у картины и указывая на главного маррана, он сказал нечто ошеломляющее: „А знаете ли Вы, молодой человек, почему я так старательно Вам позировал? Потому что... потому что я сам из евреев. Меня мальчиком похитили из родного дома и насильно крестили, и я до сих пор помню два праздника: Пейсах и Йом-Кипур. Поэтому сразу согласился Вам помочь, что Вы угадали во мне еврейскую душу, которую я ношу уже восьмой десяток, хотя вместе с крестом на шее". Маймон был потрясен этой исповедью новоявленного соплеменника и наговорил ему много горячих слов. „После, — вспоминал художник, — я часто бывал у него на квартире, и много интересного рассказывал он из своей жизни и жизни кантонистов вообще".

Кто же этот самый генерал Арнольди, имя которого так тогда и не было названо?

Некоторые исследователи, исходя из рассказа художника, ничтоже сумняшеся, аттестуют его „прославленным генералом от артиллерии Арнольди"[1]. А американский литературовед Габриэла Сафран воссоздает возможную биографию генерала: „родился приблизительно в 1820-х гг. Кантонистом стал лет 12–18 (обычно мальчиков забирали в кантонисты в этом возрасте, хотя в некоторых случаях и раньше) — в 1830-х или 1840-х гг., во время проведения политики кантонизма, следовательно, когда он позировал Маймону, ему было около семидесяти лет".

Многие еврейские историки и литературоведы утверждают, что речь здесь идет о „генерале от артиллерии Михаиле Арнольди"[2]. С ними полемизирует российский публицист-почвенник Виктор Остерцов, который уверен, что военачальника Арнольди с таким именем не существовало[3]. Кто же прав? На самом деле, Михаил Павлович Арнольди (1838), действительно, имел место быть и не только служил в российской армии более тридцати лет, но и издал в свет две книги:

---

[1] Бейзер М. Евреи в Петербурге. Иерусалим, 1989, С. 24: Вайскопф М. Покрывало Моисея. Еврейская тема в эпоху романтизма. М.; Иерусалим, 2008, С. 290 и др.

[2] См.: Штейнберг М. Евреи в войнах тысячелетий. Очерк военной истории еврейского народа. М.; Иерусалим, 2005, С. 143–144; Вальдман Б. Русско-еврейская журналистика (1860–1914): Литература и литературная критика. Рига, 2008, С. 49; Рабинович Я.И. Еврейство между Сталиным и Гитлером. М., 2009, С. 12; и др.

[3] Остерцов В. Из истории „еврейского вопроса" и его отношения к „русскому вопросу"// Русская народная линия. 31.03.2014.

„В Закаспийском крае в 1877 году (Воспоминания офицера)" (Спб., 1885) и „Сбережение казачьей сотни: Практические советы старого командира (из 32-х лет практики" (Спб., 1905). Известно, что в 1877 году он был сотенным командиром Лабинского Кубанского казачьего полка. Но правда и то, что никаким генералом он не стал, да к тому же был слишком молод, чтобы стать прототипом старика-маррана для художника.

Между тем, в просмотренных нами российских „Списках генералитета по старшинству" 1876–1885 гг. фигурирует лишь один Арнольди, Александр Иванович, который с 1883 г. характеризуется как уволенный в запас. С 1886 г. упоминания об Арнольди отсутствуют[1]. Напомним также обстоятельства знакомства Моисея Маймона с генералом. Последний был завсегдатаем собраний Мюссара и „большим любителем искусств". А именно таковым был и Александр Арнольди, известный меценат и не последний художник-аквалерист. Правда, далекий от армии, человек большого света Мюссар в аттестации рода службы генерала все напутал, назвав его „начальником или бывшим начальником артиллерийской дивизии". Генералом от артиллерии был его отец, остзейский мещанин из Риги Иван Карлович Арнольди (1783–1860); подлинная его фамилия Арнольд. Он сочинил себе герб и прибавкой „и" в конце фамилии переделал ее на итальянский лад: будто бы он принадлежал к дворянству, и корни его рода — в Италии (солдаты звали его между собой „Арлондий"). Герой Прейсиш-Эйлау, Березины, Лейпцига и Кулвечи, бравый служака и острослов, сей сподвижник неутомимого Аракчеева особо лютовал при соблюдении строгих воинских уставов. „Он был по характеру своему настоящий русский Вандам, — пояснял современник, — не жалел ни приятелей, ни подчиненных".

Сам же Александр Арнольди (1817–1898) был генералом от кавалерии. Но вот незадача: биография и послужной список военачальника такого ранга, казалось бы, известны в мельчайших подробностях, и получается, что никаким кантонистом он не был, а получил воспитание в самом аристократическом военно-учебном заведении — Пажеском корпусе. Выпущенный оттуда в 1837 году корнетом в лейб-гвардии

[1] Впрочем, известны также генерал-майоры Павел и Петр Карловичи Арнольди, к моменту описываемых событий уже покойные, а также генерал-майор, командир 1-й кавалерийской бригады Евгений Карлович Арнольди (1827), который должен быть выключен из подозреваемых в силу возраста и происхождения (воспитывался в Дворянском полку, куда принимали только детей благородных родителей) (Волков С.В. Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. I (А-К). М., 2009, С. 74.

Гродненский гусарский полк, он сделал головокружительную карьеру: участвовал в Кавказских походах, отличился при подавлении Венгерского восстания (1848–1849 гг.), в Русско-турецкой войне (1877–1878 гг.). Отличался исключительной отвагой и мужеством. Показательно, что во время баталии около села Кацелеве он принял начало над передовым отрядом и остановил наступление турок, пытавшихся прорвать центр Рущукской обороны, за что был награжден золотой саблей с надписью „За храбрость". Кавалер семи российских и иностранных орденов, он командовал двенадцатой, а затем четырнадцатой квалерийской дивизиями, был военным губернатором Софии, в 1883 году был произведен в генералы от кавалерии и уволен со службы с мундиром и полным пенсионом...

Чем же объяснить такое явное несоответствие рассказа о кантонистском прошлом Арнольди его всем известной биографии? Быть может, все это — плод безудержной фантазии художника? Но Маймон говорит столь убежденно, а его удивление при известии о еврействе генерала столь неподдельно, что едва ли можно усомниться в правдивости его слов. Или это Арнольди сочинил историю о кантонисте и „еврейской душе", дабы потрафить иудею Маймону? Но какая корысть у заслуженного, овеянного славой русского генерала в том, чтобы произвести впечатление на начинающего рисовальщика? Зачем понадобилось что-либо измышлять ему в угоду?

Позволительно высказать еще одну версию, — самую невероятную! (но ведь жизнь оказывается порой куда невероятнее самой дерзкой выдумки!). Представим себе, что Александр Арнольди не солгал, и он, действительно, этнический еврей. Мальчиком был отдан в кантонисты и насильственно крещен, но был замечен и тайно усыновлен чадолюбивым[1] генералом от артиллерии Иваном Арнольди. После чего, благодаря отцу, поступил в Пажеский корпус, и это положило начало его блистательной военной карьере. В пользу этой версии говорит поразительное сходство известного портрета седобородого генерала Александра Арнольди и старика-еврея на картине Маймона — одно и то же лицо!

Отметим еще одно привходящее обстоятельство. В 1815 году Иван Арнольди женился на вдове Надежде Ивановне Россет (Лорер); считается, что от этого брака в 1817 году и родился Александр Арнольди. Генерал, между тем, удочерил дочь Россет от первого брака, знаменитую впоследствии фрейлину Александру Смирнову-Россет (1809–1882). Замечательно, что последняя в своей „Автобиографии" делает неожидан-

[1] Он был женат трижды и имел десять детей, в том числе и приемных.

ное заявление: „Когда и где родился Саша Арнольди, не знаю". И хотя известно, что Александра с 1814–1818 гг. жила в Громоклее, в имении дяди по отцу Николая Лорера, такая неосведомленность о сводном брате невольно настораживает...

Но вглядимся пристальней в картину Маймона. Сюжет ее перекликается с „Инквизицией" Антокольского, но выполнен весьма своеобычно, что неудивительно, поскольку художник никак не мог видеть этот горельеф (когда он экспонировался, Мовше был еще подростком и жил в местечке). Седобородый патриарх марранов восседает во главе стола на праздновании еврейской Пасхи. Богатый дом, гости в элегантных платьях испанских грандов, роскошная мебель — кажется, все подчеркивает благополучие этих людей. Вдруг все смешалось — в дом врываются вооруженные инквизиторы в масках. Общее оцепенение и — опрокинутые стулья, разбитая посуда... И ясно, что всех их, тайных иудеев, ждут неправедные судилища, а затем — огни беспощадных аутодафе. Внимание приковывает этот старик с волевым лицом сефарда. (Примечательно, что в „Альбоме Академической выставки 1893 года", Спб., 1893, картина так и названа „Арест богатого маррана при совершении им обряда ветхозаветной Пасхи (из времен испанской инквизиции"). Спокойный и величественный, он лишь слегка приподнимается с места, и в его мужественной фигуре проступает статная генеральская выправка...

Картина приобрела известность, ее репродукция разошлась огромным тиражом, а Маймон вторым из евреев удостоился звания академика Российской Академии художеств и получил чин титулярного советника. Она выставлялась в Варшаве и Вильне, была воспроизведена в „Еврейской энциклопедии" Брокгауза и Ефрона и многих иностранных журналах, даже открытки с ней были весьма популярны.

Но незамедлительно последовала и жесткая критика картины в печати, а затем и преследования со стороны властей. Маймона обвиняли в плагиате „Инквизиции" Марка Антокольского, и самому скульптору пришлось объяснять беспочвенность такой оценки. Гвоздь был здесь, конечно, в идеологической подкладке, „вредной" тенденции картины, которую мгновенно уловила реакционная критика. В статье в „Московских ведомостях" „Марраны" Маймона названы „кучкой преступников", обманывающих „испанское христианское правительство". Мало того, президент Академии художеств, великий князь Владимир Александрович, в нарушение существующих правил (конкурсные картины, авторы которых удостаивались звания академика, приобретались для Музея Александра III), отменило

решение о покупке „Марранов" как произведения „антихристианского". А что Моисей Маймон? Его мысли и чувства очень точно передает искусствовед Григорий Казовский: „Трагический смысл еврейской истории остается неизменным, независимо от эпохи и места; полицейские, нарушившие пасхальный седер, превращаются у Маймона в стражей инквизиции, а ее отношение к марранам соответствует официальной реакции на картину. Отпечаток этого трагизма просвечивает сквозь каждую еврейскую судьбу: седобородый генерал оказывается „марраном", а сам художник — одним из тех, кого притесняли и угнетали за их верность собственному народу (подобно марранам)".

Маймон был захвачен величием прошлого своего народа. В 1897–1900 гг. он создает впечатляющие художественные альбомы „Библейские женщины", „Мужи Библии", „Картины из еврейской жизни". Проявляет он интерес и к российской истории, создавая полотна „Петр I редактирует „Ведомости" (1903), „Александр I у Серафима Саровского" (1904), но особенный успех заслужил его „Иван Грозный" (1911). И все же главной темой, пронизывающей все творчество Маймона, была тема еврейская, и он сам Маймон заявлял о себе как о художнике еврейском (16), что в тех условиях было проявлением гражданской позиции и национальной гордости. Под его кистью оживают памятные события из жизни народа. Работа „18 апреля в горах Тюренчена" (1905) воссоздает героический эпизод Русско-японской войны, когда еврейские солдаты-музыканты, поддерживая раненого священника о. Щербаковского, самоотверженно ведут полк в атаку на неприятеля. А вот картины „Вечный странник" и „Опять на родине" (1906) вызваны непосредственной реакцией на кровавые погромы 1905–1906 гг. По силе эмоционального воздействия особенно выделяется последняя: раненый еврейский солдат, проливавший кровь на войне за Россию, возвращается на родину и находит здесь разоренный дом и узнает о жертвах погрома среди родных. Показательно, что цензура признала такой „реализм" вредным и распорядилась снять картину с выставки. Маймон выставлял свои произведения на международных вернисажах в Амстердаме и Лондоне, где некоторые его работы были приобретены в собрания частных коллекционеров. Человек яркого общественного темперамента, он активно участвовал в деятельности многих еврейских культурных организаций, избирался в правление крупнейшей из них — Еврейского общества поощрения художников (1916–1919). Обладая литературным даром, он был автором многочисленных статей, опубликованных в тематических сборниках, а также в журналах „Восход" и „Будущность". Признанный мастер и тонкий знаток живописи, он к тому же

оказался и недюжинным педагогом: в 1910–1920-х гг. преподавал рисование в различных столичных учебных заведениях; а в 1919 году, когда был открыт Еврейский университет Петрограда, читал там лекции по истории еврейского искусства...

А какова дальнейшая судьба картины Маймона о еврейской Пасхе во времена инквизиции? В своей неоконченной статье „Кто виноват?" (1901) он сетовал на невнимание „просвещенных интеллигентов" к живописи еврейской тематики, при этом упомянул своих „Марранов", говоря о себе в третьем лице: „У одного моего близкого известного еврейского художника стоит до сих пор никем не приобретенная громадная историческая картина из еврейской жизни. Картина имела огромный успех здесь на выставках и в провинции. О ней говорили и судили на все лады, а между тем не нашелся никто, который ее приобрел исключительно из-за сюжета".

И далее, уже на закате жизни, он пишет: „Эта картина находилась в моей собственности до 1904 года, когда вместе с другими российскими художниками я порлучил приглашение участвовать в международной выставке в Сент-Льюисе. Я послал картину вместе с другими моими работами представителю этой выставки меховому фабриканту Грюнвальту, который должен был доставить ее в Америку". И с горечью прибавляет: „Затем моя любимая работа исчезла навсегда". Долгое время картина считалась безвозвратно утерянной. И художник в 1916 году рисует ее наново, однако не удовлетворен результатом: этот вариант по силе и чувству явно проигрывал первоначальному.

Но если правда, что рукописи не горят, то не обращаются в тлен и произведения искусства. Совсем недавно картина „Марраны" была найдена, в Нью-Йорке, в одном из еврейских Домов для престарелых. Американский искусствовед Муся Гланц, обнаружившая эту бесценную находку, увидела здесь закрывавшую почти всю стену картину размером 9 на 16 футов. „Слои пыли, покрывавшие ее много лет, — признается она, — не смогли скрыть ее выразительности и глубокого смысла... Чем дольше я смотрела на картину, тем сильнее я чувствовала великую силу искусства, которая способно соединять времена, страны и народы". Исследователь скрупулезно прослеживает путь „Марранов" из мастерской художника в Петербурге до Дома престарелых в Нью-Йорке, историю пропажи картины и ее новое обретение. Вдаваться в детали мы не будем, скажем только, что в историю эту вовлечено большое число людей, событий и мест. Хотя многие вопросы все еще остаются без ответа и требуют дальнейших розысканий.

Интерес к истории марранов заметен и в сегодняшней России. Осенью 2014 года в Музее истории религии в Санкт-Петербурге открылась экспозиция, где выставлены горельеф Антокольского „Инквизиция" (1902) и картина Маймона „Марраны" (1916), а также демонстрируется мультимедийный фильм о судьбе этих произведений и их авторов. А лейтмотивом выставки стали стихи Самуила Маршака о старике-марране на том праздновании Пасхи, твердом в вере и непоколебимом, как храбрый победоносный воитель:

Могучий и смелый, лишь он не дрожал,
И встал он пророком
В молчаньи глубоком
И взором окинул подвал.
И тихо он начал: „Рабами мы были!"
Но в темной могиле, в подвале немом
Мы гордо повторим: „Мы были, мы были!
Теперь мы тяжелое время забыли —
И дышим своим торжеством!"

„ПО ДОЛГУ СОВЕСТИ И ПРИНЯТОЙ ПРИСЯГИ...”

МИХАИЛ ГРУЛЁВ

В 2007 году в московском издательстве „Кучково поле”, выпускающем литературу национально-патриотического направления, вышла книга с несколько неожиданным названием „Записки генерала-еврея”. В рекламном объявлении о ее авторе, Михаиле Владимировиче Грулёве (1857–1943), сообщалось, что „в царской армии, оказывается, был один такой... генерал-еврей на службе Отечеству”. И хотя известно, что и один в поле воин, издатели-патриоты здесь несколько не точны: в Российской империи генерал из евреев — случай отнюдь не уникальный. Командующий Добровольческой армией А.И. Деникин в своей книге „Путь русского офицера” (Нью-Йорк, 1953) утверждал, что параллельно с ним „в Академии Генерального штаба учились семь офицеров еврейского происхождения, шесть из которых стали потом генералами”.


М. ГРУЛЕВЪ

ЗАПИСКИ ГЕНЕРАЛА-ЕВРЕЯ

ПАРИЖЪ
1930

Тит.л. кн.:
Грулев М.В. Записки генерала-еврея (1930)

Потомками этнических евреев — бывших кантонистов (а из них 33 642 человека приняли православие) были такие видные военачальники, как истый монархист и последний защитник престола Николая II генерал Н.И. Иванов, а также генералы В.Ф. Новицкий и А.П. Николаев. А говоря о временах более отдаленных, нельзя не помянуть генерал-аншефа А.М. Дивьера, служившего еще при Петре I, генерал-лейтенантов М.П. Позена и В.И. Геймана, генерал-майоров С.В. Цейля и А.П. Ханукова, генерал-адъютантов В.А. Вагнера и П.П. Гессе, контр-адмиралов Я.О. Кефали, А.Д. Сапсая и др. Разумеется, все названные

лица приняли христианство[1], а большинство из них вовсе отмежевалось от своего народа, превратившись в иванов (точнее, в абрамов), не помнящих родства. Не то Михаил Грулёв! В подготовленном им издании книги „Записки генерала-еврея" (Париж, 1930) он на отдельном листе посвящения во всеуслышание объявил то, что „патриоты" в 2007 году со скрежетом зубовным воспроизвели лишь в предисловии: „Последние мои думы и слова посвящены памяти моих незабвенных родителей и многострадальному еврейскому народу". Этот генерал-лейтенант российского Генштаба, обладатель самых почетных наград и орденов, герой русско-японской войны, блистательный военный аналитик и историк, талантливый журналист и публицист никогда не забывал о своих национальных корнях.

Михаил родился в городке Режице Витебской губернии (ныне Резекне, Латвия), находившемся в черте оседлости, в еврейской семье, бедной и многодетной, все помыслы которой были направлены на заботу о куске хлеба. Впоследствии он заметит: „Удивительно, как это все знают хорошо богатства Ротшильда или какого-нибудь Полякова, о которых говорят много, хотя их мало кто видел, но никто... знать не хочет повальной нищеты массового еврейского населения, которая у всех перед глазами". О занятиях режицких евреев в то время дает представление записка уездного предводителя дворянства адмирала Г. Мофета. На заседании Витебской губернской комиссии он заявил, что иудеи „приносят пользу своей торговлею, которую они находят возможным вести так, что местные продукты дороже покупают, а колониальные дешевле продают". Говоря же о беспатентной продаже евреями горячительных напитков, адмирал признал, что таковая „поддерживается самим народом"; в то же время он посетовал на скученность еврейского населения, лишенного права покупать землю и, соответственно, заниматься хлебопашеством.

Михаил был самым младшим в семье — „мизинником", как его называли (от слова „мизинец"), а потому самым обласканным и балованным сыном у родителей. Подобно другим местечковым мальчуганам, он сызмальства был отдан в хедер, где ежедневно ученики штудировали древнееврейский язык, постигали Тору и премудрости Талмуда под водительством бдительного меламеда, громко и вразнобой повторяя пройденное. И, хотя такое шумное зазубривание, сопровождаемое щипками и подзатыльниками учителя, Грулёв назовет потом „ушираз-

[1] Утверждения почвенников о том, что генерал Грулев — „еврей, отнюдь не крещеный" (См.: Мара-Бат. А. Краткая справка о евреях. М.; Касабланка, 1990. С. 15), совершенно беспочвенны.

дирающей какофонией", он овладел языком своих пращуров настолько, что сочинял на нем вполне складные вирши, а одно из его стихотворений опубликовала даже солидная еврейская газета „Га-Цфира" в Вильно.

Надо сказать, что в 1860–1870-е годы под влиянием охвативших империю просветительских реформ по всей территории черты оседлости открылись правительственные русские школы, посещение которых стало обязательным для еврейских детей[1]. И Михаил здесь не стал исключением, пройдя курс такой „казенной" школы в Режице. Щеголяя знанием русского языка, он вместе с другими школярами-евреями распевал „Птичку Божию" или вот такую, очень злободневную тогда, песенку:

Нынче свет уж не таков:
Люди изменились,
Стало меньше дураков,
Люди просветились.

И, в самом деле, правительство в те времена всеми силами стремилось приохотить евреев не только к начальному, но и к среднему и высшему образованию (только вот желающих находилось тогда не много). Это потом, при Александре III и Николае II возобладает прямо противоположная тенденция — пресловутая процентная норма приема сынов Израиля в гимназии и вузы. А в 1869 году Михаила с распростертыми объятиями принимают в уездное реальное училище в городе Себеже, куда переезжают Грулёвы. Даже по тем либеральным временам Александра II для Михаила это был неординарный и

[1] Характерно, что почерпнутые у М.В. Грулева сведения об обязательном обучении иудеев грамоте в 1860–1870-е годы публицисты монархистского толка приводят в доказательство того, что те якобы никаким притеснениям в царской России не подвергались (См.: Остерцов В. Черная сотня. Взгляд справа. М., 1994, С.76; Красный В. Дети дьявола. М., 1999, С.80–81 и др.). Действительно, при Николае I евреев настойчиво привлекали в общие учебные заведения, и министр народного просвещения С.С. Уваров выработал проект открытия сети школ для „борьбы с еврейской косностью". Та же политика продолжалась и при Александре II, и 1870-е годы совпадают с эпохой огромного роста евреев-учащихся и создания многочисленного слоя дипломированной интеллигенции. Однако при Александре III возобладала прямо противоположная тенденция: в 1887 году министр народного просвещения И.Д. Делянов во всеподданнейшем докладе царю предложил „ограничить известным процентом число учащихся евреев". В результате в учебных заведениях в пределах черты оседлости была установлена норма в 10%, вне черты — 5%, а в Петербурге и Москве — 3%. Такая же норма была установлена для университетов и других высших учебных заведений, а в некоторые из них прием евреев был вообще прекращен.

смелый шаг: он был единственным иудеем в этом русском заведении, и ему, в отличие от учащихся-христиан, государство выплачивало еще и стипендию — 60 рублей в год.



М.В. Грулёв. 1875 г.

Овладев основами общего образования, Михаил становится запойным книгочеем и жадно впитывает в себя русскую культуру, которую, подобно другим своим ассимилированным соплеменникам, начинает считать своей. Особенно притягательной для него становится отечественная классическая литература, и он сам упражняется в словесном творчестве, оттачивая свой письменный русский язык, что впоследствии принесет ему славу публициста и безукоризненного стилиста. Однако иудеи-ортодоксы, одержимые, по слову писателя Льва Леванды, „школобоязнью", не могли не видеть таившуюся в русском просвещении опасность „воспитания гоев из еврейских детей". Обоснованы ли были эти опасения в случае Грулёва? Вот что говорит он сам: „Двадцать лет жизни в тесной еврейской среде были... достаточны для того, чтобы детская и юношеская восприимчивость впитала не только сокровенную любовь ко всему родному, но и немало еврейских суеверий и предрассудков... Но эти предрассудки рассеялись, как туман при ярком свете, оставив в тайниках сердца доподлинно лишь голос крови — врожденную любовь и жалость к своему многострадальному народу".

Приходится признать, что под „предрассудками" Михаил разумел завещанную ему праотцами иудейскую религиозную традицию, против которой он восстал уже в ранней юности. Прежде всего, он революционизировал одежду самым решительным образом: вооружившись ножницами, беспощадно обрезал фалды своего длинного сюртука, а стародавнюю шапку сменил на предерзкий щеголеватый котелок со шнуром для пенсне, вызывая ужас правоверных соплеменников. Дальше — больше! Он посмел даже покуситься на священный для раввинов Талмуд, который аттестовал не иначе как „мертвящую схоластику", „кудреватые толкования", „круглое невежество, граничащее с непостижимыми нелепостями с точки зрения современных понятий". Да и к хасидизму, этой религии еврейской бедноты с ее декларацией чувственного приближения к Богу, относился весьма скептически. Как-то, прознав, что в соседнем местечке остановился некий цадик (праведник), знаменитый своими чудесами и пророчествами, Грулёв вознамерился „проверить его святость". Но встреча с ним не впечатлила Михаила: ничего

сверхъестественного цадик собой не явил. По словам нашего героя, он просто был неплохим психологом, поскольку поднаторел в общении с простолюдинами, а потому зачастую и отвечал на вопросы впопад.

После окончания училища Грулёву пришлось призадуматься: „Что же оставалось предпринять мне, еврею, для которого в нашем городе закрыты были все пути, вне удушливого прозябания в еврейской среде?". Неожиданно он решает посвятить себя военному делу — занятию для иудея отнюдь не типичному. Знаток и бытописатель гетто Карл-Эмиль Францоз отмечал, что местечковые иудеи видели в желании стать „зельпером" (солдатом) „преступный замысел", противный вере, хотя бы потому, что таковой априори не станет исполнять предписанные религиозные обычаи. Михаил же свой выбор пояснил так: „Едва ли какую-нибудь роль играли воинственные порывы или славянский патриотизм. Вернее всего — простое любопытство: просто хотелось посмотреть войну".

Интересно, что сама фамилия „Грулёв" тоже связана с Марсовым ремеслом: ведь героем Севастопольской эпопеи был знаменитый генерал Степан Александрович Хрулев (1807–1870). Грулёв-старший по роду своей деятельности общался с военными людьми и принял такую фамилию (при этом идишский фрикативный звук „h" в русском написании был воспроизведен буквой „г"), словно отец знал о жизненном предначертании тогда еще не родившегося сына. Казалось бы, эта громкая раскатистая фамилия с самого начала обрекла Михаила на успех. Но вот незадача — он подает документы для поступления вольноопределяющимся в Царицынский полк, но получает от ворот поворот как лицо иудейского вероисповедания: ведь даже при Александре II Освободителе путь иудею в офицеры был заказан. „Обоснования" такому положению дел дал один ангажированный духовидец, протоиерей Дмитревский. На одном из заседаний Минской губернской комиссии по еврейскому вопросу (декабрь 1881) он воззвал: „Отвергая всякую возможность видеть русских солдат под командой еврея, обратить внимание на ту нравственную связь, которая существует между русским солдатом и его начальником-офицером, связь, которая необходима для поднятия духа армии в самые трудные минуты жизни, а подлинная связь между евреем-офицером и русским солдатом более чем сомнительна".

Хотя в 1878 году Михаила зачислили в Красноярский полк, где он проявляет такую смекалку и рвение, что скоро получает унтерофицерский чин, все его попытки поступить на учебу неизменно терпят крах по той же самой причине. „Меня изгоняют за вероисповедание, — с горечью пишет он, — скорее за моих предков, за то, что я родился

в еврействе, потому что с тех пор как я уехал из дома, я ни в чем не соприкасался с еврейским вероисповеданием — забыл про него. В каких-то бумажках что-то числится формально о вероисповедании".

Наконец, он держит экзамены в Варшавское юнкерское училище и, наученный горьким опытом, пытается вероисповедание скрыть. Поначалу все было вроде бы гладко — перед вступительной комиссией предстал исполнительный, дисциплинированный унтер, к тому же прекрасно аттестованный ротным командиром. Экзамены он выдержал превосходно, но, когда пришла пора зачисления, тут-то „каинова печать" иудейства снова выплыла наружу. И Грулёву было предложено: или (в который уже раз!) забрать документы и идти восвояси, или креститься. После долгих раздумий и колебаний он склонился к последнему...

Михаил и не скрывал, что обратился к православию не в результате напряженных духовных исканий (как это довелось сделать С. Франку, Л. Шестову, И. Гессену и др.), а принял его из соображений чисто прагматических. Тем не менее, он и спустя много лет полностью оправдывал свой поступок. „Я пытал мой разум, мою совесть, мое сердце, — писал он, — хорошо ли я поступил тогда, в мои юношеские годы, что перешагнул через этот Рубикон...; и — положительно не нахожу против себя никаких упреков, даже оставляя в стороне соображения материального характера. Ведь все-таки, и с материальной точки зрения, как-никак, а по ту сторону Рубикона я обрел — пусть не корону, пусть не „Париж, стоящий обедни", но и не какую-нибудь чечевичную похлебку по примеру Исава, а хорошую карьеру и совсем иное земное существование..." Крещение еврея он напрямую связывал с „положением гонимого, поставленного в невозможность сколько-нибудь человеческого существования и вынужденного совершить *формальность* для перемены религии, чтобы только получить возможность дышать воздухом, буквально: ведь это не везде позволительно было евреям!"

Однако Грулёв не мог не знать, что, согласно иудаизму, подобная *„формальность"* есть отступничество. И воспринимается эта самая *„формальность"* как предательство своего народа, веры и собственной семьи. Подобный еврей-отступник представлен в рассказе Шолом-Алейхема „Выигрышный билет" (1902). Биньоминчик, сын служки в синагоге, уезжает в большой город учиться „на доктора" и присылает письмо, в коем сообщает о своем крещении. Но оправдания сего ренегата, сказанные в свое оправдание, кажутся односельчанам диковатыми, лишенными какой-либо логики. „Язык какой-то странный... — говорят о его письме жители местечка, — Хм... Хм... Язык какой-то нечеловеческий... Нация... Манципация... Пацимация... Черт его ведает, что

это значит!". Послание выкреста воспринимается как неприкрытая фальшь: „Иначе не могло быть, — писал он, — я очень мучился, так как знаю, какую боль я причиняю своим родителям. Но стремление к свету, к науке с самого детства было во мне так сильно, что оно победило". И, конечно, автор сочувствует еврейской родне: „Боль и позор были, видимо, так велики, что они не могли смотреть друг другу в глаза".

Тем не менее, атеизм в иудейской среде стал тогда столь массовым, что известный ученый-юрист Г.Б. Слиозберг в начале XX века вынужден был признать: определяет евреев России не религия, а национальная этническая идентификация. Еще в 1870-е годы народник А.И. Зунделевич подчеркивал: „Главный элемент, связующий евреев в одно целое — религия — признавался нами фактором безусловно-регрессивным". А если обратиться к 1920–1930-м годам, то именно евреи-коммунисты — наследники воинствующего богоборца (и антисемита) Маркса стали одними из самых непримиримых врагов религии своих отцов. Вот что писал о них тогда С.М. Волконский: „Много я видел людей яростных за эти годы, людей в последнем градусе каления, но таких людей, как еврей-коммунист, я не видал. В его жилах не кровь, а пироксилин: это какие-то с цепи сорвавшиеся, рычащие, трясущиеся от злобы. И затем — ненависть еврея коммуниста к еврею-некоммунисту..., никогда не видел, на что способен родич по отношению к родичу только за разность в убеждениях". Эти „пламенные борцы" уничтожали свою древнюю культуру, преследовали своих братьев, изучавших Тору и иврит, расправлялись с верующими евреями, посылали их в лагеря по обвинению в контрреволюции...

И сегодня в современном Израиле, по некоторым данным, около 25% населения не верит в Бога, а более половины считают себя сторонниками светской традиции. Примечательно, что известный своими антирелигиозными воззрениями академик РАН Виталий Гинзбург высказался за материальную поддержку синагог исключительно потому, что они являются „не только молельным домом, но и центром общины", и их посещают и евреи-атеисты.

В XIX веке, по данным Святейшего Синода, в православие было обращено 69400 российских иудеев. А к 1917 году число это увеличилось до 100 тысяч. Хотя в 1871–1880 годы сию веру приняли всего 686 человек, современник говорит о „почти массовом ренегатстве" среди евреев в конце XIX века. Американский историк М. Станиславский наметил несколько типологических групп евреев, добровольно принявших христианство: 1) стремившиеся к образовательному и профессиональному росту; 2) представители высшей буржуазии; 3) преступники (крестившись, они часто получали амнистию); 4) искренние приверженцы новой веры; 5) сильно нуждавшиеся и отчаявшиеся.

Православная миссия среди иудеев насчитывает много веков и освящена именами Иосифа Тивериадского, Романа Сладкопевца, Нафанаила (Кузнецкого), Александра Алексеева и других этнических евреев, превратившихся в ревностных проповедников греческой веры. Хотя Церковь и поощряла обращение евреев, ко многим выкрестам часто относились с покровительственным пренебрежением (отсюда известная пословица: „жид крещеный, что вор прощеный"). А поскольку православие было в России религией государственной, и принимая его, человек обретал права и привилегии, ранее ему не доступные, неофитов подозревали в неискренности (тем более, что некоторые позже возвращались к иудаизму). Еще в Византии церковники стремились предотвратить такое „лицемерное" обращение в христианство: Седьмой Вселенский Собор (Никея, 787 год) принял правило 8-е о том, что иудеев следует крестить только если обращение их будет от чистого сердца и засвидетельствовано „отречением от ложных учений и обрядов". Был даже установлен специальный „чин отречения от иудейских заблуждений" — испытание, которому должен был подвергнуться всякий желающий перейти из иудаизма в православие. И в Российской империи власти также предпринимали соответствующие меры. В некоторых губерниях прошения евреев о крещении рассматривало полицейское управление. Главным требованием здесь опять-таки была искренность перехода, а также знание основных догматов православной веры и молитв.

Наш герой-агностик придерживался на сей счет иного мнения. Своим оппонентам — и еврейским, и русским — он адресовал исполненный горечи страстный монолог: „Отнимают у человека право на человеческое существование, подвергают нравственным пыткам и гонениям всякого рода, сами указывают выход, где легко и просто найти убежище; и, когда человек воспользуется этим выходом, упрекают его в отсутствии стойкости. Можно ли представить себе провокацию худшего сорта! Ведь по элементарному здравому смыслу ясно, что быть стоиком в этом случае значило бы преклоняться перед явными предрассудками, которые представляются мне глупыми, жестокими и несправедливыми".

Не знаем, как готовился Михаил Грулёв к крещению, что чувствовал он в минуту, когда священник под звуки благостного церковного пения торжественно окроплял его чело святой водой. Может статься, ему слышался в сей миг и другой напев — древняя молитва Кол-Нидре в их городской синагоге в день Йом-Кипура. То была мольба о прощении: „Мы во всех обетах раскаиваемся. Пусть они не будут связывать нас. Пусть обет не будет признан обетом, а обязательство обязательст-

вом". Так обращались когда-то к Богу вынужденные принять христианство испанские мараны: они каялись в этом и пели о своей приверженности религии Моисея. Но смысл слов ускользал от Михаила. В его сердце раздавалась только мелодия, возвышенная, величественная, причем церковный хор чудным образом слился с синагогальным пением, и звуки эти как будто срослись, в согласии зазвучали, соединясь в какой-то небесной гармонии. Осенив себя крестным знамением, он не каялся в этом, но и отщепенцем своего народа себя тоже не считал, тщась примирить непримиримое. В отличие от славянофилов (особенно И.С. Аксакова), объявивших религию иудеев „безусловно враждебной" христианской, Грулёв ищет скрепы, наводит мосты между еврейством и православием, пытаясь избежать разлада в собственной душе. „Ни по букве, ни по духу христианского вероучения вообще, и православного, в частности, нет никакой вражды к еврейству; — говорит он себе, — напротив, — это ведь родственное вероучение, состоящее из Старого и Нового Завета, не имеющее ничего общего с гонением на евреев, народившимся лишь впоследствии, с течением веков, среди темных низин народных, при изуродованном понимании религиозных верований".

И логика жизни вела его от прагматизма и безбожия к вере, причем именно к вере православной. И дело, конечно, не в том, что он по роду своей деятельности стал посещать церковные службы. На войне, где смерть подстерегала на каждом шагу, Михаил пришел к твердому убеждению, что „в жизни человеческой виден какой-то перст Божий". А в его мемуарах и дневниковых записях проступает со всей очевидностью благоговение перед „великим Богом земли Русской". Бойцов вверенного ему полка, по его признанию, всегда настраивала и вдохновляла молитва. И Грулёв в самых восторженных тонах рассказывает о том, как войска после напутственного молебна „оказались снабженными для похода целыми иконостасами: поднесены иконы и от городов, и от дворянства, и от купечества... каждому нижнему чину выданы маленькие образки". И вот перед сражением он мысленно обращается с горячей молитвой к русскому Богу, прося его о помощи в предстоящем деле. И солдаты, его солдаты, „без напоминаний и команд... сами, по собственному побуждению, как один, сняли шапки, перекрестились, и... тронулись в первый поход — навстречу неведомым, но жгучим событиям". А над почившим юным солдатом-новобранцем Грулёв в порыве отчаяния „нагнулся, поцеловал и перекрестил его, призвав мысленно поцелуй его матери". Он признает Божий суд, а не „близорукий суд человека" и преклоняется перед великими истинами, явленными миру и завещанными Спасителем. Он твердо знает, что есть в мире

„христианская вера в Божью помощь поднявшимся в защиту правды и готовым положить жизнь свою за ближних". И эта вера, „в связи с прирожденными русскому народу мужеством и храбростью", всегда склонит успех на сторону Отечества.

Но обращение в православие, к коему он все более прилеплялся душой, нисколько не ослабило любовь Михаила к „избранному" народу, частью которого он всегда себя ощущал, — избранному, по его словам, „не для радостей жизни, всем доступных, а для неизбывных гонений и страданий, неведомых и непонятных никакому другому народу в мире". Более того, делая карьеру и обретая все большее влияние в обществе, он мог приносить теперь большую пользу своим соплеменникам[1]. Существенно и то, что и родные не отреклись от него, и он неизменно поддерживал с ними самые добрые отношения.

Позже, уже на закате дней, Грулёв признается: „Самое важное, что старательно и неусыпно держал всегда под светом моей совести, — это было то, что по мере сил я боролся, пассивно или активно, против несправедливых обвинений и гонений на евреев. Следуя вот в этих случаях „голосу крови" и велениям сердца, я в то же время видел в такой борьбе сокровенное и разумное служение России, моей Родине, по долгу совести и принятой присяги". Как видно, наш герой всемерно пытался соединить в своей жизни то, что нынешним националистам-почвенникам кажется несоединимым: беззаветный российский патриотизм и заботу о судьбе евреев.

Юнкерское училище Михаил называл „колыбелью главной массы нашего офицерства" и учился в нем блистательно. Овладевая специальными предметами и навыками боевой подготовки, он штудирует бездну военной и исторической литературы, не вылезая из училищной библиотеки. Не оставляет он и занятия литературой — перевел с немецкого пьесу Ф. Шиллера „Племянник — дядя" (переделку французской комедии Л-Б. Пикара), которая была поставлена в Офицерском собрании и имела успех. Тогда же проявились его аналитические способности и талант журналиста. Написанную им статью о походе в Индию напечатала в 1880 году авторитетная либеральная газета „Голос", причем как передовую, что для начинающего военного историка и ли-

---

[1] Преданность еврейству, радение его интересам сближает Грулева с выдающимся ориенталистом Д.А. Хвольсоном (1819–1911), евреем, который в 1855 году также принял православие в целях профессионального роста. На вопрос о причинах крещения он ответил: „Я решил, что лучше быть профессором в Санкт-Петербурге, чем меламедом в Эйшишоке". Академик Д.А. Хвольсон вошел в историю как ревностный защитник иудеев, доказал необоснованность их обвинений в ритуальных убийствах и глубоко исследовал историю семитских религий.

тератора было большой честью. Позднее он опубликует много статей в „Русском Инвалиде", „Военном сборнике", „Историческом вестнике", „Русской Старине" и т.д. Но нельзя не сказать и о том, что тогда же, будучи юнкером училища, Михаил стал невольным свидетелем еврейского погрома в Варшаве. Потрясенный увиденным, он в сердцах выхватил винтовку и бросился защищать евреев и призывать их к самообороне, не думая о последствиях.

В 1882 году Грулёв был выпущен из училища прапорщиком в Красноярский полк. Условия жизни в сырой казарме, подобной склепу, отнюдь не вдохновляли, однако настроение нашего героя было радужным и приподнятым. „Что все эти невзгоды по сравнению с занявшейся зарей новой жизни, со всеми ее заманчивыми перспективами! — восклицал он. — Да есть ли предел фантастическим грезам, куда юного прапорщика уносит его душевное ликование в первые дни, когда он наденет офицерские эполеты? Что по сравнению с весенним трепетом души все эти преходящие неудобства житейские!" И прапорщик Грулёв по собственному почину обучает нижних чинов грамоте, но вскоре полковой командир сие нещадно пресекает. А все потому, что в годы наступившей тогда реакции на грамотность в войсках начальство смотрело чуть ли не как на родоначальницу вольнодумства. „Поощрялись только праздность, безделье, даже пьянство, — сетовал Михаил, — а всякая наклонность к серьезному отношению к жизни и службе в лучшем случае высмеивалась товарищами, а в худшем — привлекала подозрительность начальства". А сколько подтруниваний и зубоскальства пришлось вынести Грулёву, когда сослуживцы узнали, что он готовится к экзаменам в Академию Генерального штаба!

Через три года строевой службы он, по счастью, в Академию поступил и учился в ней весьма успешно. К чести Михаила, он, в отличие от других учащихся еврейского происхождения, никогда не скрывал свои национальные корни; напротив, — голос крови иногда одушевлял его действия, заглушая подчас голос разума. Такая неосторожность могла самым пагубным образом отразиться на его карьере. Так, он вступается за свою родственницу, студентку Петербургской консерватории, которую как еврейку грозятся выслать вон из столицы. И ведь не побоялся он пойти на прием к самому градоначальнику фон Валю, отъявленному юдофобу, которому так прямо и сказал, что ходатайствует о своей родственнице. Хорошо еще, что фон Валь, увидев перед собой бравого офицера, Грулёву не поверил, а игриво ему подмигнул: „Понимаем, с какой стороны „молодая жидовочка" приходится родственницей молодому офицеру. Что ж, пожалуй, так и быть, оставляю Вам Вашу „родственницу".

Другой эпизод имел для Михаила не вполне приятные последствия. Случилось так, что на один музыкальный концерт в Павловске Грулёв пригласил свою невестку, жену брата, и той почему-то пришло на ум говорить с ним на языке идиш. Их беседу услышал полковник Кублицкий, профессор Академии, и твердо вознамерился не давать ходу этому „шустрому еврейчику". И вот, когда пришла пора выпускных экзаменов, Кублицкий цинично придрался к Грулёву, стараясь всеми мерами преградить ему дорогу в Генеральный штаб. И, хотя другие профессора и преподаватели энергично защищали Михаила, из-за происков Кублицкого ему, выпускнику, не хватило все же двух сотых балла до первого разряда. Впрочем, ректор Академии дал Грулёву такую выдающуюся аттестацию, что тот был переведен в Генштаб даже раньше своих сверстников, получивших первый разряд.

После окончания Академии Грулёв направлен штаб-офицером в Забайкалье. Здесь, помимо военных, он демонстрирует и свои научные способности — в 1892 году выходят две его книги „Забайкалье. Сведения, касающиеся стран, сопредельных с Туркестанским военным округом" и „Аму-Дарья. Очерки Бухары и Туркмении", а в 1895 году — „Описание реки Сунгури" и „Сунгарийская речная экспедиция 1895 года", не утратившие своей ценности и сегодня.



М.В. Грулёв

Путешествуя по городам и весям империи, вглядываясь в жизнь и быт народа, Михаил пытается постичь русский национальный характер и делает зоркие наблюдения над „особым своеобразным типом сибиряка". Его взвешенной оценке людей этой „не видевшей крепостного права, необъятной страны" чужды как славянофильские восторг и умиление, так и русофобские шельмования. В самобытном русском характере, по словам Грулёва, „привольно размахнулись душевные качества по широкому масштабу: тут и чуткая отзывчивость к чужому горю, самоотверженная — просто ангельская иногда доброта, рядом с неудержимой удалью, железной волей и прямо нечеловеческой иногда жестокостью. Это кажущееся противоречие представляет собою ничто иное, как живое воплощение все той же беспредельной шири сибирской: доброта — так доброта без удержу; даст ли сибиряк простора злой воле, то она может проявиться в [самых] чудовищных размерах".

Офицера Михаила Грулёва заботило, чтобы Россия прирастала новыми землями и зонами влияния. Он руководит научной экспедицией в Маньчжурию и указывает место для строительства города Харби-

на, ставшего позднее центром русской эмиграции. Его направляют в командировки в Индию, Китай, Японию, Аравию, почти во все страны Европы. Он исколесил и всю Сибирь, Забайкалье и Приамурье, шел с караваном верблюдов по туркменским пустыням и поднимался на вершины Памира; побывал в буддийских монастырях и у бухарского эмира; плыл на пароходе по Атлантике к Новому Свету и останавливался на побережье Тихого океана.

В поездках по странам и континентам нашего героя иногда сопровождала жена, Н. Грулёва (известен лишь первый инициал ее имени), обладавшая, между прочим, незаурядными литературными способностями. В „Туркестанском литературном сборнике, в пользу прокаженных" (Спб., 1900), изданном на средства Российского Красного Креста, она опубликовала очерк „Ниагарский водопад", в коем ярко живописала это „ошеломляющее явление природы на нашей планете, превосходящее по своему величию почти все, что на земле доступно наблюдению". До нас дошло лишь одно ее сочинение, но и по нему можно судить об уме и тонком психологизме автора. Чего стоят, например, ее размышления о том, что мы сегодня называем „индустрией развлечений": „Где силами природы или слабыми руками людей создано что-либо достойное внимания туриста, там непременно прилепились назойливые чичероне, способные отравить ваше существование. Вы стоите иногда пораженные чудным произведением человеческого творчества или дивным явлением природы, вам хочется забыть хоть на миг житейские невзгоды, стать ближе к великому художнику или Божественному Творцу, отдаться наплыву поэтического чувства, как вдруг, точно грозный memento mori — вам над самым ухом вкрадчивым голосом навязывает свои услуги неотвязчивый гид. Иной раз кажется, что он задался специальной целью изводить вас, не дать возвыситься над будничными чувствами. Отклоните вы его услугу, он все же будет преследовать вас, как тень; заплатите ему — он уже по обязанности неотступно сопровождает вас, как хозяин". Помимо безупречного стиля, глубоко оригинально художественное мышление очеркиста: „громадные изумрудные устои" и „неумолкаемый рокот" Ниагары вызывают у нее ассоциации с бессмертным державинским „Водопадом", где „подобно пучине вод, кипит стремление страстей". Хотя каких-либо биографических данных об Н. Грулёвой не находится, ее очерк позволяет нам заключить, что Михаил Владимирович выбрал себе в спутницы умную, проницательную и талантливую подругу, к тому же свою единомышленницу.

В это же время со всей силой развернулся и его яркий дар историка, журналиста и редактора. Он пишет острозлободневные статьи

о международных отношениях, жизни российской армии, печатается в „Русском Инвалиде", „Историческом вестнике", „Военном сборнике", „Приамурских ведомостях", „Русской Старине" и др. Грулёв стяжал себе славу видного востоковеда. Он стал редактором „Известий Туркестанского отдела Императорского Российского Географического общества", основателем секретного журнала „Сведения, касающиеся стран, сопредельных с Туркестанским военным округом"; опубликовал также несколько статей и переводов в многотомном издании Военно-ученого комитета „Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии". Михаил Владимирович редактирует газету „Туркестанские Ведомости", причем за короткий срок превращает этот сухой официальный листок в боевой орган прогрессивной печати, издаваемый 5 раз в неделю. Его передовицы перепечатываются в Лондоне, Берлине и Париже.

Поставив перед газетой задачу „не кривя душой, стоять на страже правды и справедливости", Грулёв, как редактор и честный человек, не мог не откликнуться на дело Дрейфуса. В своем правдоискательстве он никогда не боялся идти против общего течения. Характерный тому пример: в зале суда полковник казачьего полка Сташевский убил выстрелом из револьвера адвоката Сморгунера, отца многочисленного семейства. А все потому, что Сташевскому якобы *послышалось,* что адвокат в своей защитительной речи сказал что-то оскорбительное для чести казаков. Однако было ясно, да и следствием доказано, что Сташевскому это только показалось. Тем не менее, местная военная среда это убийство даже одобряла: ведь с одной стороны — какой-то там еврей, а с другой, — свой казачий командир, „защищающий честь полка". Столичная печать на сие никак не откликнулась, а вот „Туркестанские Ведомости" отреагировали молниеносно! И тут же к военному министру полетела жалоба: Грулёв, дескать, принижает авторитет русского солдата и офицера.

Обвинение явно облыжное, ибо не кто иной, как Грулёв не уставал говорить об „искони присущей русскому воину дисциплине, добродетели и самоотверженной скромности", о „непобедимой стойкости русского солдата". При этом он цитировал слова Фридриха Великого: „Недостаточно убить русского солдата, его надо еще потом повалить!". И такой солдат мог происходить только из народа с „великой нравственной упругостью, неистощимой живучестью моральной силы", каковым, по мнению Михаила, был великий русский народ. И разве не Грулёв радел об уважительном отношении к русскому солдату не на словах, а на деле, говорил о недопустимости „тыканья", зуботычин и рукоприкладства в обращении с ним. Он негодовал на то, что „появление начальника

в виде грозы и злого ненастья [подчас] отождествляется со служебным рвением", что „живуч и крепок еще у нас затхлый дух крепостничества, который поборники всякой косности готовы сделать каким-то привилегированным культом нашей армии". И уж совсем недопустимы случаи, когда защитника Отечества изгоняют из публичных мест и гуляний. Но, отдавая дань несокрушимому мужеству русского воина, Грулёв не мог не видеть, чего тому недостает — „простых положительных знаний, сведений из обыденной солдатской науки, без которых все его чудные нравственные силы остаются втуне лежащими и не приносят никакой пользы". И он предлагает ряд неотложных мер по воспитанию солдата.

А сколько привелось ему писать о нравственном престиже военной службы, о том, сколь высока и ответственна эта государственная и общественная обязанность! Ведь требует она от человека сразу трех искупительных жертв — все его самолюбие, вкусы, призвание. Что же до малодушных, бегущих из армии, то эти, по его мнению, достойны лишь презрения, ибо „неразумно проявлять нескромность в светлые дни побед, но еще хуже, преступно падать духом под влиянием временных неудач!". Согласно Грулёву, основной атом военной службы — это солдат, и прежде чем стать офицером, надлежит побывать в солдатской шкуре, потянуть лямку в самых нижних чинах, как это сделал когда-то непобедимый Суворов. И Михаил Владимирович не боится затрагивать самые острые вопросы современности: то он критикует армию за ее оторванность от российского общества; то ополчается на воздыхателей „отеческой розги"; то бичует армейскую канцелярщину с ее хроническим „чернильным запоем"; то призывает офицеров к сокращению числа кутежных праздников и строгому, умеренному образу жизни; то требует от начальства иметь по одному только денщику (а не целой дворни, как это было на самом деле); то ратует за увеличение ассигнований на библиотеку Главного штаба — это „драгоценнейшее книгохранилище Всероссийской армии". Как отмечает современный военный историк А.И. Каменев, некоторые идеи Грулёва не устарели и „близки по духу времени начала XXI века, то есть дню сегодняшнему".

Михаила Грулёва с полным правом можно назвать российским патриотом. Но он ратовал за „здоровый патриотизм", основанный на единственной и постоянной цели — безопасности государства. Его любовь к Отечеству не имела ничего общего с тем миражом внешнего и внутреннего благополучия, который окутал российское общество. Михаил всегда выступал против тупого шовинизма, преувеличения своих сил и умаления сил противника. Между прочим, именно мнение Грулёва учел Николай II, определяя позицию России в связи с англо-

бурской войной (дело в том, что Германия в это время активно подталкивала Россию к военному вторжению в английские владения на Востоке — Афганистан и Индию). Грулёв тогда детально проанализировал последствия этой операции для России и региона в целом и выступил со своими рекомендациями на заседании Генерального штаба. А его капитальный труд „Соперничество России и Англии в Средней Азии" (1909) получил международное признание и был переведен на английский и немецкий языки.

Еще в 1895 году, будучи российским военным агентом в Японии, он представил подробную записку о боевом духе и вооруженных силах этой страны. Выводы его носили откровенно предостерегающий характер. Начальство, однако, не придумало ничего лучшего, как обвинить его в непатриотичности и самооплевывании, а ангажированные Военным министерством лекторы гастролировали по Руси и с лягушачьим бахвальством грозились „взять этих макак-японцев со стола и поставить их под стол" (по этому поводу язвительный генерал М.И. Драгомиров сострил: „Они-то макаки, да мы-то кое-каки"). Время, между тем, показало, что эти „ретивые партизаны самосмакования", кичившиеся своим патриотизмом, нанесли державе неисчислимый вред, а подлинными радетелями России были именно такие, как Грулёв, что они доказали и на поле брани.

Во время русско-японской войны полководческие таланты Михаила Владимировича раскрылись с наибольшей полнотой. Он командовал 11-м пехотным полком, затем целой дивизией и в конце войны был увенчан орденами Св. Владимира 2-й и 4-й степеней, получил наградное оружие „За храбрость" и чин генерал-майора. На этой войне он был тяжело контужен. Между прочим, благодаря донесению Грулёва (ведь бывают герои и проигранных сражений!) произошло спасительное отступление русской армии под Ляояном, что позволило избежать огромных людских и материальных потерь. При этом сам генерал прикрыл у Янтая тыл нашей армии от удара войск японцев. Он бросался в самое пекло битвы. „Жестокий кровопролитный бой кипит кругом меня; — живописует Грулёв в своих военных мемуарах, — это видно хотя бы потому, что смерть — лютая смерть — косит направо и налево. Меня самого смерть коснулась уже не раз в эти часы своим зловещим крылом, проносясь постоянно мимо меня, задев и седло, и лошадь; куда ни посмотришь около себя, видишь кругом кровь, страдания и смерть. А между тем — обозреваю глазом это поле смерти и поражает эта пустынность, эта наружная, чисто могильная тишина, прорывающаяся минутами среди ружейной трескотни; даже обычный мирный колорит жизни, судя по отдаленному дымку, который вьется из тру-

бы китайской фанзы — покрывает этот ужасающий разгул смерти...". А с какой любовью пишет он о стойкости и остроумии российских солдат: „Люди надрываются, но не теряют бодрости духа, пуская время от времени веселые прибаутки. Каждая пушка окрещена или „Марьей Ивановной" или „теткой Пелагеей":

— Ну, Марья Ивановна, повертывайся!

— Ну-ка, тетка, упрись задом!"

При этом он еще успевал освещать события этой войны в своих живых, чрезвычайно острых корреспонденциях, которые публиковались в „Русских Ведомостях" и в журнале „Разведчик".

Но, сражаясь на передовой за великую Россию вместе с другими своими соплеменниками, генерал остро переживал, что там, в тылу, прокатилась волна кровавых еврейских погромов. „На меня напало смертельное уныние, длившееся несколько недель, — признавался он, — одолела апатия, от которой я не мог освободиться. В душе произошел какой-то разлад с самим собою и со всем окружающим. Я стал искать выход из душевного маразма, примирения с совестью". Грулёв никак не мог взять в толк, почему в общественном сознании слово „патриот" никак не сопрягается со словом „еврей". Вот здесь, в этой самой Маньчжурии, погибли тысячи еврейских солдат. Но патриотами им быть отказано: ведь если они проливали кровь, то... не ту кровь; а если они погибали, то... как-то не взаправду, а с кукишем в кармане, — умирали вроде бы, сражаясь за Отечество, но думали-то при этом о тайном заговоре и закабалении России! А „окончивший службу еврейский солдат, случайно оставшийся в живых, не имел даже права жительства. Его сейчас же выселяли. С точки зрения правительства, только труп его мог там остаться. А сколько терпения и покорности злой судьбе нужно было еврейскому солдату, чтобы не только не бежать поголовно из армии, но еще проявлять... достаточную долю рвения!".

Более того, некоторые из евреев показали себя на войне подлинными героями, и среди них — знаменитый Иосиф Трумпельдор, ставший полным Георгиевским кавалером. Но вот что чудовищно — нередко самые смелые, самоотверженные поступки евреев истолковывались до того превратно, что служили мишенью для их обвинений и шельмования. Так, во время Тюреченского боя (15–18 апреля 1904 года) был ранен священник о. Щербаковский. Обессиленного иерея под сильным огнем неприятеля увели с поля брани двое евреев, которые этим и спасли ему жизнь. Оба были представлены к награде, и даже появилась литография, запечатлевшая трогательный момент единения разных сынов Отечества (сему была посвящена и знаменитая картина Моисея

Маймона „18 апреля в горах Тюренчена", о чем мы писали ранее). Но не тут-то было: правая пресса тут же представила сей эпизод как образчик трусости иудеев, которые будто бы бежали в самый разгар битвы, прикрываясь ризой священнослужителя...

После заключения мира с Японией увенчанный наградами Грулёв получает лестное предложение занять место первого заместителя начальника Генерального штаба, но отказывается. „После всего пережитого в... войне, — пояснил он, — после всего, что творилось в России после войны, у меня раскрылись глаза... От предложенной мне высокой должности я отказался под предлогом служить в строю".

Между тем, он увлеченно работает над историей этой войны и в Военно-исторической комиссии Генштаба. Он также переводит с немецкого труд барона Эберхарда фон Теттау (1857–1922), прусского майора и германского военного атташе при Российской армии „Восемнадцать месяцев в Маньджурии с русскими войсками" (1907–1908). Кстати, перевод докладов Э. фон Теттау, читанных им в Военном обществе в Берлине, Грулёв публиковал и в журнале „Разведчик" в 1904–1905 годах. Взгляды автора и переводчика на эту бесславную для России войну полностью совпадают. Э. фон Теттау говорит, к примеру: „Никто не сочувствовал этой войне, даже в высшем обществе относились к ней равнодушно. Солдаты... едва ли знали, за что они сражаются. В каждом письме с родины их спрашивали, когда они вернутся домой, чего они ищут там в Маньчжурии". В этом же духе и оперируя теми же фактами, высказывается о войне и Грулёв.

Важным итогом осмысления уроков Цусимы и Порт-Артура явился двухтомник Грулёва „В штабах и на полях Дальнего Востока: Воспоминания офицера Генерального Штаба и командира полка о Русско-японской войне" (1908). Цель этой книги Михаил Владимирович видел в том, чтобы „все пережитое в этой войне запечатлеть по свежей памяти на страницах истории. И, может быть, — надеялся он, — из общего запутанного клубка только что пережитых событий, фактов и впечатлений, пытливому историку удастся извлечь руководящую нить для грядущей жизни". Убийственен и вывод генерала: „Отсутствие инициативы и самодеятельности, пассивная роль нашего командного состава, полагавшего возможным руководить войсками в бою только на основании нехитрого кодекса „слушаю" и „как прикажете", — кто не сознавал у нас этого недуга задолго еще до начала злосчастной войны".

Расширилась и журналистская деятельность Грулёва. Он активно сотрудничает с русской либеральной периодикой Петербурга, Москвы, Одессы, выступает в газете „Русские Ведомости" с целой серией острополемических статей под названием „Вопросы национальные и веро-

исповедальные". При этом признавался: „Я усиленно боролся в печати против преследования всяких инородцев, так как, по моему убеждению, это губило Россию больше, чем какое бы то ни было другое зло".

Почти все сочинения и переводы Михаила Владимировича напечатаны видным русским издателем и книготорговцем Владимиром Антоновичем Березовским (1852–1917), с которым Грулёва связывала давняя дружба. Достаточно сказать, что редактируемый Грулёвым популярный иллюстрированный военный журнал „Разведчик" был основан и печатался на средства Березовского. Создатель первого в России специализированного военного издательства, в прошлом сам кадровый офицер, тот выпустил около 4000 книг, и среди них такие, как „Энциклопедия военных и морских наук" в восьми томах (1883–1897), издания серии „Солдатская библиотека", „Атлас сражений XIX века" (1894); печатал он труды выдающихся военных теоретиков М.И. Драгомирова, А.К. Пузыревского, П.Л. Лобко и др. Березовский был и комиссионером военно-учебных заведений России. И он сразу же поверил в Михаила Грулёва, в коммерческий успех его книг, не говоря уже об их общественном и воспитательном значении. И не ошибся.

Даже оппоненты генерала из консервативного лагеря вынуждены были признать „огромную долю гражданского мужества со стороны автора". Грулёв не побоялся выступить и против проекта военного министра В.А. Сухомлинова, возжелавшего упразднить крепости на западной границе России. При этом генерал повел такое наступление в печати на проект Сухомлинова, что склонил на свою сторону и премьера П.А. Столыпина, и самого царя. А взбешенный военный министр, словно в издевку, назначил Михаила Владимировича комендантом самой отдаленной крепости на западном рубеже империи — Брест-Литовской, бросив напоследок едкую фразу: „Вот Вы все совали мне палки в колеса по крепостному вопросу: поезжайте теперь туда, чтобы поближе изучить это на практике!"

Прибыв на место назначения, генерал обнаружил множество вопиющих пробелов: не было гаубичной артиллерии, минимального комплекта боевых припасов; многие форты требовали постоянного ремонта; даже гарнизон крепости не был полностью сформирован. „Но о таких пустяках мало думали придворные подхалимы в Петербурге, занятые лишь мыслью угождать высшим сферам; — с горечью писал Грулёв, — там заняты были главным образом секретными циркулярами, чтобы оградить Россию от какого-нибудь латыша или еврея-механика".

В Брест-Литовске ему, как начальнику штаба крепости, в местной типографии И. Кобринца удается издать книгу, которая в дру-

гом месте империи едва бы прошла вездесущую цензуру: „Злобы дня в жизни армии" (1911). Он без обиняков заявляет здесь, что попытка начальства через улучшение материального довольствия оградить войска от революционных настроений закончилась полным провалом. Вновь говорит об унизительном отношении к нижним чинам, о малограмотности рядового состава, о плохом санитарном обслуживании. Затрагивает самый широкий круг вопросов: и военного планирования, и законодательства, и реформ в армии, и агентурной работы, критикует российскую систему управления окраинами и т.д. Причину поражения в войне с Японией Грулёв видит и в том, что правительство пренебрегло военным воспитанием молодежи, а именно на этом вопросе следовало бы „сосредоточить на себе внимание всех ведомств еще в большей степени, чем создание флотов воздушных или подводных". "Во всех без исключения государствах, — пишет он, — где серьезно озабочены вопросами государственной обороны, принялись теперь энергично за военное воспитание юношества. Это вызывается не только развитием идеи превращения армии в вооруженный народ, но также и крайним сокращением срока службы под знаменами. Без лишних слов ясно, что в течение двухлетней действительной службы нет возможности надлежащим образом образовать и воспитать солдата. Приходится волей-неволей обратиться к учащейся молодежи, т.е. подготовке сырого материала, поступающего в кадры для обработки".



Тит.л. кн.: Грулёв М.В. Злобы дня в жизни армии (1911)

Выразительная, яркая и вместе с тем предельно доходчивая речь генерала обретает глубину и афористичность: „Солдату нашему нужна не муштра и палка, а школа... Существует общее правило — когда человеку дается больше прав, от него требуется и больше обязанностей. У нас же все права переданы в законное владение начальству, все обязанности предоставлены в удел подчиненным... На практике переданная с рук на руки работа оседает, наконец, на спине того, кто не может уже свалить ее на шею другому".

Михаил Владимирович продолжает отстаивать свои взгляды в печати, и некоторые его статьи буквально вызывают бурю в Военном министерстве. В июне 1911 года министр строго предупредил генерала-вольнодумца: если направление Ваших статей не изменится, последует увольнение в отставку в дисциплинарном порядке. Не дожидаясь сего, он сам подает прошение об отставке „по болезни" (хотя все знали, какого свойства была эта „болезнь"). Но изгнать из армии заслуженного, уважаемого всеми военачальника было, по-видимому, как-то не с руки. Все же в 1912 году начальство приняло, наконец, соломоново решение: Грулёв получает высокое звание генерал-лейтенанта и одновременно — отставку. Полководец без армии, наш герой покидает Россию и выезжает на постоянное жительство в Ниццу.



М.В. Грулёв с семьёй в Ницце

Израильский исследователь А.Я. Черняк задался вопросом: каковы были финансовые возможности эмигранта Грулёва? Сославшись на историка П.А. Зайончковского, он указал, что в 1898 году пенсия генерал-лейтенанта Российской армии составляла 2858 рублей в год, а это, учитывая высокую покупательскую способность тогдашнего рубля, было довольно солидной суммой. Однако именно с 1912 года размер пенсий увеличен, они исчисляются не только из окладов жалования, но и от столовых и добавочных денег (а одни только столовые деньги начислялись в то время: начальнику дивизии — 6000 рублей, а бригадному командиру — 4000 рублей в год). При определении пенсий учитывались участие в военных действиях, боевые ранения, ордена и награды, срок службы (военные, прослужившие более 25 лет, получали пенсию в размере своего полного оклада). По особым правилам назначалась пенсия увольняемым в отставку по болезни (так что прошение об отставке по болезни Грулёва было неслучайным). Не упустил сей исследователь и такой источник дохода Михаила Владимировича, как литературные гонорары, в том числе за переводы его сочинений на иностранные языки. И хотя мы не располагаем даже приблизи-

тельными данными о размерах оплаты всех его трудов, надо думать, что отставной генерал обеспечил своей семье за границей вполне безбедную жизнь. Показательна семейная фотография Грулёвых с Лазурного берега. Наш герой запечатлен здесь вместе с престарелой матерью, женой и дочерью на пороге внушительного дома с инкрустированной дверью. Он одет с иголочки в респектабельную пиджачную тройку с крахмальной рубашкой и галстуком, с золотыми часами на цепочке. Держится вальяжно, запустив руку в карман, а другой опирается на клетку с экзотическим попугаем, — чем не символ достатка и преуспеяния?

Ницца — это вечный праздник и примета благосостояния. Русский националист Михаил Меньшиков назвал сей город „негласной еврейской столицей". Однако, хотя иудеи поселились там с незапамятных времен, по данным на 1904 год, их насчитывалось лишь 500 при населении 93 тыс. человек, то есть менее 1%! Зато русские обживали Лазурный берег весьма настойчиво. Здесь жили и творили Н.В. Гоголь, Ф.И.Тютчев, А.П. Чехов, М.З. Шагал, И.А. Бунин. Массовая эмиграция в эти места начнется уже после Октябрьского переворота, и известно, что к 1930 году на французской Ривьере проживало около 30 тысяч выходцев из России. А в конце XIX — начале XX века в Ницце нашли приют оппозиционеры самого разного толка. В этом средиземноморском городе покоятся останки Александра Герцена; здесь доживали последние дни опальный „диктатор сердца" Михаил Лорис-Меликов и отставленный уже Николаем II экс-министр иностранных дел России Сергей Сазонов. К моменту же приезда сюда генерала русская колония составляла около 3300 человек.

О будничной жизни Грулёва в богоспасаемой Ривьере дает представление эмигрантская печать. Газеты пестрят объявлениями о божественной литургии и молебнах в православных храмах, о выдаче карточек Церковно-приходского совета, о занятиях клуба русских скаутов, о публичных лекциях и собраниях „Литературного содружества" писателей в изгнании, о приеме в студию хореографии и даже об отправке в Россию посылок и переводов с „гарантией скорого и точного исполнения".

И видно, что нити, связующие Михаила Владимировича с Россией, не прерываются — он переводит труды своего старого товарища по оружию, майора Эберхарда фон Теттау „Куропаткин и его помощники: Поучения и выводы из Русско-Японской войны" и „От Мукдена до Портсмута: Поучения и выводы из Русско-Японской войны", которые издает в 1913–1914 годах все тот же В.А. Березовский. Помимо бескомпромиссности оценок самого автора, беспощадно критикующего действия российского генералитета, и сам переводчик в своих выводах не

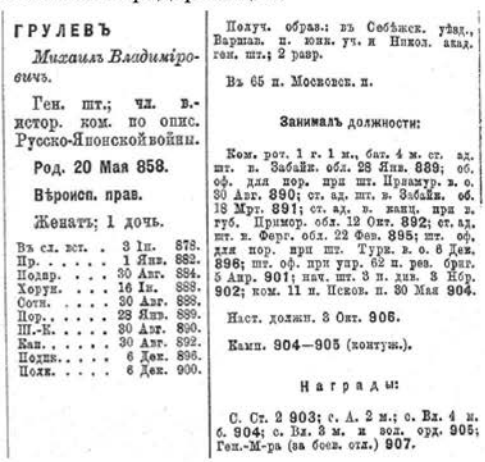
церемонится. „Я утверждаю, — заявляет Грулёв в предисловии, — что при всех таких качествах А.Н. Куропаткина и его помощников исход войны не мог быть иным даже в том случае, если бы в отношении тактической подготовки воюющие армии поменялись местами, т.е. если бы русскому командному составу... дали лучшую армию в мире, она даже при сравнительном превосходстве сил все же была разбита, потому что у начальников не хватало ни решимости, ни твердой воли, ни понимания важнейших факторов ведения войны".

Неудивительно, что позиция фон Теттау и Грулёва сразу же вызвала резко полемический выпад справа. Генерал-майор Николай Ухач-Огорович в опубликованном им сочинении „Куропаткин и его помощники: Ответ барону фон-Теттау" (1914) назвал их книги „пасквилем, оскорбительным для нашей армии". Восхваляя „боевой инстинкт русского народа" и подчеркивая, что „Куропаткин и большая часть его помощников — всей душой люди русские", Н. Ухач-Огорович склонен оправдывать и их, ибо, как он утверждает, „нельзя оценивать деятельность русских людей иноземным аршином"! Подтекст ясен: немец фон Теттау и еврей Грулёв, проявляя „близорукость и мелочность", чернят то, что для русского патриота светло и свято. И не Куропаткин с сотоварищами повинен в проигранной войне, а как раз такие „политические смутьяны", как автор и переводчик. В заключение генерал проводит весьма сомнительную параллель бесславной Русско-японской войны со спасительным поражением и отступлением армии в 1812 году. О русской армии Ухач-Огорович говорит самым приподнятым тоном.

Между тем, трезвая оценка военного начальства могла бы сыграть отрезвляющую роль в преддверии новой большой войны — Первой мировой. Накануне ее военный министр В.А. Сухомлинов опубликовал в „Биржевых ведомостях" статью с вызывающим названием — „Мы готовы!", и это в то самое время, когда, по его же признанию, Россия была не только не готова к войне, но элементарные реформы, необходимые армии, могли быть закончены только к 1916 году.

С самого начала баталий Михаил Владимирович выступает как военный репортер газеты Конституционно-демократической партии России „Речь", издаваемой под руководством П.Н. Милюкова и И.В.Гессена. Сотрудничество Грулёва с идеологами русского либерализма позволяет судить о его политических взглядах. Очевидно, что с кадетами его сближали такие пункты их программы, как равенство всех российских граждан без различия пола, религии и национальности, всеобщее избирательное право, культурное самоопределение всех наций и народностей.

Из Франции отставной генерал внимательно следит за событиями на полях сражений, подвергая действия противоборствующих сторон детальному аналитическому разбору. Результатом этой его работы как военного эксперта стали выпуски серии „Великая борьба народов" (1914–1918), явившие собой впечатляющие очерки боевых действий на европейских фронтах. Это роскошно иллюстрированное издание с картами, фотографиями баталий, портретами военачальников. Однако имя автора здесь не указано: по-видимому, генерал-эмигрант продолжал быть в опале у российских властей предержащих.



905
19
Фев.

ГРУЛЕВЪ

Михаилъ Владиміровичъ.

Ген. шт.; чл. в.-дистор. ком. по опис. Русско-Японской войны.

Род. 20 Мая 858.

Вѣроисп. прав.

Женатъ; 1 дочь.

Въ сл. вст. .	3 Ію.	878.
Пр.	1 Янв.	882.
Подпр. . . .	30 Авг.	884.
Хорун. . . .	16 Ію.	888.
Сотн.	30 Авг.	888.
Пор.	28 Янв.	889.
Шт.-К.	30 Авг.	890.
Кап.	30 Авг.	892.
Подпк.	6 Дек.	896.
Полк.	6 Дек.	900.

Получ. образ.: въ Себѣжск. уѣзд., Варшав. п. юнк. уч. и Никол. акад. ген. шт.; 2 разр.

Въ 65 п. Московск. п.

Занималъ должности:

Ком. рот. 1 г. 1 м., бат. 4 м. ст. ад. шт. в. Забайк. обл. 28 Янв. 889; об. оф. для пор. при шт. Приамур. в. о. 30 Авг. 890; ст. ад. шт. в. Забайк. об. 18 Мрт. 891; ст. ад. в. канц. при в. губ. Примор. обл. 12 Окт. 892; ст. ад. шт. в. Ферг. обл. 22 Фев. 895; шт. оф. для пор. при шт. Турк. в. о. 6 Дек. 896; шт. оф. при упр. 62 п. рез. бриг. 5 Апр. 901; нач. шт. 3 п. див. 3 Нбр. 902; ком. 11 п. Псков. п. 30 Мая 904.

Наст. должн. 3 Окт. 906.

Камп. 904—905 (контуш.).

Награды:

С. Ст. 2 903; с. А. 2 м.; с. Вл. 4 м. б. 904; с. Вл. 3 м. и зол. орд. 905; Ген.-М-ра (за боев. отл.) 907.

Послужной список М.В. Грулёва

При характеристике военно-политической обстановки Грулёв всегда привлекает исторический материал, изучает национальные традиции и обычаи народа воюющей державы. Его гражданская и человеческая позиция наиболее полно выражена в концептуальной статье „Война России с Германией" (Выпуск 4, 1915). „Если припомнить легенду о борьбе гигантов, имевшую место в доисторический период, — пишет он, — и если принять ее аллегорический характер, относящийся до всех времен вообще, то настоящая европейская война вполне отвечает древним символам. А Россия с Германией являются главными борющимися колоссами!" „Мир с удивлением узрел русскую сплоченность, готовую дать могучий отпор войскам, считавшимся до сего времени лучшими по своей организации и обучению. — заявляет Грулёв и говорит о несомненном духовном превосходстве русских над немцами. — Отныне оно [это превосходство — Л.Б.] будет служить основой нашей национальной гордости и поведет Россию по пути очищения от развившейся на ее могучем теле немецкой проказы. Сознание значения такого преимущества позволит нам возродиться и показать миру продукты нашего великорусского гения. Наша культура, доселе находившаяся в презрении у Запада, получила уже и теперь... название „культура ума, основанная на чистоте сердца". В будущем она

завоюет себе еще большее поклонение. Это духовная чистота, выказавшая себя так рельефно в рыцарском образе действий наших войск, делает каждого русского рядового героем и, являясь антитезой немецких зверств, заставляет наших друзей и недругов признать великую и благоприятную для нас разницу между русской и немецкой национальностями. Теперь настало время повторять, не сомневаясь, как то иногда было раньше, в своих способностях к работе, фразу „будем сами собою".

Значение сего труда для изучения истории Первой мировой войны трудно переоценить. Потому представляется странным, что в авторитетном издании „Военная мысль в изгнании. Творчество военной эмиграции" (М., 1999), имя Грулёва хотя и упомянуто, но сочинения его никак не освещены и не прокомментированы.

В эмиграции он сближается с видным деятелем освободительного движения, разоблачителем провокатора Е.Ф. Азефа, непримиримым борцом с монархизмом, большевизмом и нацизмом Владимиром Львовичем Бурцевым (1862–1942) и печатается в издаваемой им в Париже крупнейшей русской эмигрантской газете „Общее дело" (1918–1922), где публиковались такие признанные корифеи, как Л.Н. Андреев, И.А.Бунин, А.Н. Толстой и др. Генерал воспринимал это сотрудничество как продолжение своего служения свободному русскому слову и находил здесь преемственность со своей первой значимой публикацией — в либеральной газете А.А. Краевского „Голос", закрытой в 1883 году цензорами-гасильниками Александра III.

Грулёв сформулировал здесь принципиально важное положение: „Еврейские погромы всегда предвещают реакцию. Реакционеры пробуют здесь свои силы. Они бьют евреев, но метят в демократию". Показательно, что нетерпимость к антисемитизму проявляли русские эмигранты-демократы — представители самых разных партий и политических течений (В.А. Маклаков, П.Б. Струве, П.Н. Милюков, В.Д. Набоков и др.), в этом они противостояли нацистам и деятелям крайне правого толка.

В этой связи не вполне понятно, чем было вызвано согласие Грулёва стать одним из редакторов газеты „Вестник Ривьеры" (Ницца), начавшей выходить с весны 1930 г. На деле сия газета издавалась книготорговцем И.Г. Вилькомирским (1933) по инициативе Иосифа Иосифовича Колышко (1861–1938), личности в русской эмиграции весьма одиозной. Очевидно, что Колышко хотел воспользоваться именем Грулёва в чисто рекламных целях, как „свадебного генерала" при своем издании. Ведь взгляды Колышко достаточно ясно выражены в его письме от 5 апреля 1930 г. редактору белградской русской газеты фашистского

толка „Новое время" М.А. Суворину (сыну А.А. Суворина, издателя одноименной известной правой газеты), Колышко, в частности, пишет: „...Смею Вас уверить, Ваш и наш орган будут вполне созвучны... А, может быть, кто из Ваших сотрудников почтит нас своей статьей... В надежде, что найду в Вас отклик, прошу верить в искренность чувств уважения и преданности". Характерно, что когда в 1934 году в Берлине начнет выходить субсидируемая Геббельсом русская нацистская газета „Новое слово", Колышко станет одним из ее ведущих авторов и публицистов. Острые идейные разногласия между ним и Грулёвым были неизбежны.

По словам писателя-эмигранта Владимира Крымова, Колышко сам „писал все номера" этого издания. Тем не менее, без участия Грулёва здесь, как видно, тоже не обошлось. Публикаций за его подписью в газете действительно нет, однако анонимная статья в № 32 „Вестника Ривьеры" от 2 ноября 1930 года близка по стилю и публицистической манере корреспонденциям нашего генерала и заключает в себе анализ военно-политической обстановки в современной Европе. Меткость характеристик выдает в авторе человека проницательного и широко мыслящего, подлинного знатока ратного дела. Он вопрошает: „Может ли воевать Польша Пилсудского, *Германия Гитлера*, едва стоящая на ногах (экономически) Италия, защемленная между Эррио и Тардье Франция и даже монолитная сталинская Россия?" И следует вывод, что нынче, в 1930 году, мировая бойня невозможна: „Воевать, т.е. в кого-то стрелять, кого-то душить газами и танками они могут. Но разве же это будет война ... Да, пьяная, дикая свалка всех против всех возможна, как возможен тайфун или землетрясение" Далее дается прогноз, поражающий своей точностью: „Война как нечто осмысленное, глубоко обдуманное и обеспеченное ранее *10 лет* немыслима".

Откуда же исходит опасность? „Есть лишь одна страна, один народ в Европе, перед которым рисуется более или менее ясный объект войны — Германия, — утверждает он. — Реванш! Сбросить ярмо позорного Версальского мира! Мы знаем, как рисует себе реванш *Германия Гитлера*!". Примечательно, что Германия ассоциируется именно с Гитлером. И это притом, что нацистская партия еще не пришла тогда к власти (хотя и добилась успеха на выборах в сентябре 1930 года, получив в рейхстаге 107 депутатских мандатов: за нее проголосовало 6,5 млн. человек — 18,3% всех избирателей), первенствовали же там в то время все-таки социал-демократы. Но генерал провидит страшную силу коричневой чумы. Увы, эти невеселые пророчества сбудутся: ровно через *10 лет Германия Гитлера* нападет на Францию, и немецкие войска будут бойко маршировать по оккупированному Парижу.

Неповторимый стиль Грулёва с присущей ему афористичностью и яркой образностью угадывается в анонимной корреспонденции „У разбитого корыта" („Вестник Ривьеры", № 34, 1930, 16 ноября). В пользу его авторства говорят оригинальные исторические параллели, богатство культурных и литературных реминисценций, а также панорамный характер статьи, что вообще отличает работы генерала. Он весьма низко оценивает здесь нравственный уровень своих сотоварищей-эмигрантов. При этом все самые отталкивающие их свойства и черты объявляет наследием прежней, царской России, откуда те родом. Вот что он пишет: „В беженстве у нас пышно расцвели качества, заложенные со времен Тушинского вора (а то и раньше), Плюшкина, Держиморды, Фамусова, Хлестакова, Смердякова — имя же им легион: вероломство, скупость, злость, лакейство... В беженстве требуют от зайца доказать, что он не верблюд; в беженстве миллионеры собирают веревочки и окурки, а нищие пропивают последнее су; в беженстве скорпионы жалят насмерть зазевавшихся; в беженстве лгут, как не снилось Ноздреву, самозванствуют, как не снилось Хлестакову, подличают, как не подличал Смердяков, — в беженстве воскрешают ту Россию, над которой сквозь слезы хохотал Гоголь и с дворянским презрением морщился Бунин, которую в эпилептическом надрыве осязал Достоевский, с предсмертной тоской описывал Чехов и с хамским торжеством смаковал Горький — Россию смрада, застенка, лакейской и непревзойденного хамства... Не мало хамов и лакеев властвовало над Святой Русью. Со времен Бирона, Аракчеева, Булгариных, Бенкендорфов, Плеве, Витте, Протопоповых к лакейству и хамству отчизне Державина, Пушкина, Толстого не привыкать".

Как видно, столь уничижительная аттестация самовластья, прошлого страны разъединяет автора и с монархистами, и с русскими „патриотами" (потому атрибуция сего текста фашистствующему Колышко весьма сомнительна). Но в еще более резких выражениях характеризуется в статье послереволюционная Россия. Так, о захвате большевиками власти в 1917 году генерал пишет: „Тулуп монархии вывернули наизнанку и из вонючей, потом и насекомыми пронизанной овчины выползли такие хамы и лакеи, каких не знала Россия Гостомысла. И пала перед ними ниц Святая Русь. И хорохорились над ней революционные Хлестаковы..." А о „царстве Сталина" сообщается, что „власть бандита опирается на восемь миллионов ему сочувствующих и им живущих опричников; что остальные 142 миллиона русских людей — голодное, забитое стадо, которым успешно правит восемь миллионов отлично вооруженных, сытых пастухов; что голод нигде не способствовал инициативе и организации; что террор — именно то, что нужно большевикам, чтобы удержаться у власти".

Существенно, однако, что и либералы из окружения А.Ф. Керенского также не вызывают у автора ни малейшей симпатии. С горькой иронией пишет он о том, что бывший российский премьер вот уже 13 лет „учит оголтелое от нужды, унижений и размышлений беженское стадо, как надо сделать, чтобы Россию Сталина превратить в Россию... Керенского, чтобы вновь открылись царские постели и кухни и чтобы... золотая рыбка вновь служила ему за царским столом. Чтобы разбитое беженское корыто с намыленным беженским тряпьем превратилось в стол под зеленым сукном, за которым воссел бы, как в 1917 году, десяток болтунов под министерскими кличками и, разинув рты, внимали бы речам его, обер-болтуна". Грулёв глубоко разочарован, он называет Керенского „главой всероссийской говорильни" и заключает: „Главноуговаривающий Временного Правительства, не сняв еще юбки, сидит как ни в чем не бывало, у своего парижского корыта и приглашает постирать с ним грязное русское белье людям ума и таланта — тем людям, что были его жертвами в России... У разбитого корыта, если не разбитые надежды, то великий конфуз".

Разочаровавшись в либеральной говорильне, в возможности изменить государственный строй авторитарной России, наш генерал обратился к своим национальным корням, в чем и обрел свою духовную нишу. „Записки генерала-еврея" были завершены Грулёвым в 1929 году, а изданы за его счет в 1930 году. И знаменательно, что доходы от продажи издания автор пожертвовал „в пользу Сионизма" — в Еврейский национальный фонд.

Книга напечатана в парижской типографии Паскаля, издававшей книги на французском, немецком, армянском языках, иврите, выпускала и русские книги. Наряду с произведениями словесности (М.А. Алданова, О.А. Волжанина, А.М. Силетренникова, А.Б. Петрищева, сборников эмигрантских поэтов Парижа и т.д.) эта крупная типография активно печатала биографическую и мемуарную литературу, которая, по словам историка эмиграции М. Раева, вызывала „неизбежный интерес у читателя Русского Зарубежья" и пользовалась „особенным успехом". В числе таких изданий — „Дневник кавалерийского офицера" (1931) Г.А. Гошовта, „Чечня и разбойник Зелимхан: Из далеких воспоминаний" (1932) С.А. Бердяева, „Дела минувших дней: Записки русского еврея" (1933–1934) Г.Б. Слиозберга и др. „

Нельзя сказать, что позиция автора „Записок генерала-еврея" была сразу же и безоговорочно принята всеми. Генерал-майор В.И. Назнанский в своей книге „Крушение великой России и Дома Романовых" (1930) иронизирует по поводу „ярко-отчетливого заглавия" книги, да и

о самом Грулёве говорит, что тот затаил злобу человека, „обиженного начальством... в генеральских чинах". А ежемесячный журнал эмигрантского Русского Обще-Воинского Союза „Часовой" (1983, № 641–646) тоже явно раздражен, потому как книга посвящена „многострадальному еврейскому народу", а „своего государя автор не помянул ни одним добрым словом"!

И все же тон высказываний „патриотов" о генерале-еврее по большей части одобрительный. Так, „запасной полковник" С.В. Грибанов в своей книге „Аз воздам" (1998), повествующей „о месте евреев и еврейства в русской государственной смуте", говорит: „Генерал Грулёв, человек всем сердцем полюбил русский народ и Россию, сражавшийся за нее на поле брани". Ему вторит историк-антисемит А. Дикий, отметивший „огромные заслуги генерала Грулёва в деле изучения Дальнего Востока и Маньчжурии, где, по его указанию, в выбранном им пункте, был основан город Харбин". Более того, А. Дикий в приложении к своей книге „Евреи в России и в СССР. Исторический очерк" (1967) поместил некоторые выдержки из „Записок генерала-еврея". При этом он, разумеется, выбрал из нее лишь те места, где Грулёв резко отзывается о том, что называл „предрассудками" местечковой среды. Но важно то, что книга Грулёва согрета любовью к еврейскому народу, и нелицеприятные высказывания автора об иудеях воспринимаются здесь через призму этой его жертвенной всепоглощающей любви. А. Дикий же вырывает из контекста нужные ему критические пассажи и использует их прямо в антисемитских целях. Можно предположить, что именно сочинение А. Дикого (оно было напечатано в России в 1994 году), популяризировавшее „Записки генерала-еврея", подвигло „патриотов" издательства „Кучково поле" на их публикацию. Показательно, однако, что в общем контексте книги Грулёва эти неодобрительные высказывания об отдельных сторонах еврейской жизни тонут, зато на первый план выходит как раз привязанность сочинителя к своему народу, вера в его животворные силы. Все это заставило публикаторов из „Кучкова поля" В. Климанова и Ф. Филиппова дать в примечаниях „просвещающие" комментарии и аттестовать Грулёва „еврейским националистом" (о тенденциозности сих публикаторов уже писал Г. Нискеров в статье „Комментарий к комментарию" в научно-просветительском журнале „Скепсис"). Любопытно, что один интернетовский пользователь оставил на сайте такой отзыв: „По-моему, эту книжку (если судить по комментариям) издали какие-то полулатентные антисемиты. Денег им платить, конечно, жалко, но — с другой стороны — оригинальное парижское издание 1930 года купить несколько затруднительно, так что пусть их..."

По-видимому, в последние годы творческая активность Михаила Владимировича заметно поубавилась. Пример тому — его неучастие в работе Русских военно-учебных курсов, открытых в Ницце в январе 1931 года. И это при том, что одним из руководителей курсов был его бывший сослуживец, генерал-лейтенант Генерального штаба М.А. Свечин.

Прихожанин русской церкви на улице Лонгшамп, Грулёв похоронен на православном кладбище Кокад на западной окраине Ниццы, где нашли успокоение многие выдающиеся сыны России — генерал Николай Юденич, поэт и критик Георгий Адамович, писатель Владимир Жемчужников, художник Филипп Малявин.

Скончался Михаил Владимирович 17 сентября 1943 года. Франция была тогда оккупирована фашистами, и если бы Грулёв не остался в контролируемой итальянцами Ницце, местом его смерти наверняка стали бы Берген-Бельзен, Освенцим или Терезиенштадт — лагеря, куда отправляли евреев: ведь от нацистов нашего героя не спасло бы никакое вероисповедание. Он был еще жив, когда под Сталинградом русский солдат — тот самый русский солдат, которым так гордился и воспитанию которого отдал столько сил наш генерал-еврей — разбил в пух и прах хваленую армию фельдмаршала Паулюса. А это означало, что великий Бог земли Русской по-прежнему щедр и всеблаг и что его, Михаила Грулёва, жизнь прожита не зря.

О ЧЕМ МОЛЧАЛ АВТОГРАФ...

ВЛАДИМИР БУРЦЕВ


В. Л. БУРЦЕВЪ

ТОВ. ПРЕДСѢДАТЕЛЯ РУССКАГО НАЦІОНАЛЬНАГО КОМИТЕТА

„ПРОТОКОЛЫ СІОНСКИХЪ МУДРЕЦОВЪ"

ДОКАЗАННЫЙ ПОДЛОГЪ

(Рачковскій сфабриковалъ "Протоколы сіонскихъ мудрецовъ", а Гитлеръ придалъ имъ міровую извѣстность).

Я, судья, считаю «Протоколы сіонскихъ мудрецовъ» подлогомъ, наглымъ и безсовѣстнымъ.
В. Мейеръ.
Предсѣдатель суда въ Бернѣ.
V
Правда найдетъ! — и мечъ ее не остановитъ!
Ѳ. Зола.
V
Судъ вѣченъ!

OBERTH. ZELLER, EDITEUR
PARIS
1938 г.

Тит. л. кн.: Бурцев В.Л. «Протоколы сионских мудрецов» — доказанный подлог. (1938)

Личность Владимира Львовича Бурцева (1862–1942), ревностного бойца с монархизмом, большевизмом и нацизмом, получившего за разоблачение провокаторов царской охранки прозвище „Шерлок Холмс русской революции", всегда привлекала мое внимание. Занимаясь в научной библиотеке Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (UCLA), я неожиданно обнаружил его автограф. Он открылся мне на форзаце экземпляра книги В.Л. Бурцева „Протоколы Сионских мудрецов" — доказанный подлог" (Париж, 1938). Дарственная надпись гласила: „Дорогому Вас. Алексеевичу Маклакову от его подзащитного (1913 г.). Вл. Бурцев. 24.2.1938 г. В этой книге я защищаю то, что Вы всегда защищали".

Какие же взгляды разделял и защищал Бурцев? „Борьба с антисемитами — наше общее дело!" — не уставал повторять Владимир Львович и на протяжении всей своей долгой жизни неукоснительно сему завету следовал. Особенно важной и актуальной была его борьба после Октябрьского переворота, когда многие русские белоэмигранты, отмечая активное участие в революции этнических евреев-большевиков, возлагали их вину на весь народ Израиля (к слову, и сегодня евреев призывают публично покаяться за злодеяния Свердлова, Зиновьева, Юровского и им подобных). Вспышка неистового антисемитизма привела Россию в Гра-

жданскую войну к кровавым еврейским погромам. И Бурцев в конце 1919–1920 гг. едет в Крым и на Кавказ, добивается аудиенции у генералов А.И. Деникина и П.Н. Врангеля и просит, убеждает, настаивает, чтобы те приняли неотложные меры против сего варварства. Он настойчиво повторяет, что ненавистные всем коммунистические вожди „были отщепенцами еврейской нации" и что „на самом деле они не были связаны ни с еврейской историей, ни с еврейской религией, ни с еврейской массой, а были исключительно интернационалистами, исповедовавшими те идеи, какие разделяли социалисты других национальностей, и сами они были ярыми врагами национального еврейства вообще". Это, говорил он, „проходимцы, порвавшие связь с еврейством", и они не имеют к нему решительно никакого отношения. Еврейская же масса в России „не причастна к большевизму и неответственна за него, как непричастны и неответственны и те евреи, кому приходится жить и работать при большевиках, у большевиков, не будучи большевиками, как приходится работать и многим русским, убежденным антибольшевикам".



Автограф
В.Л. Бурцева
на форзаце книги



В.Л. Бурцев

Между тем, к еврейскому вопросу Бурцев проявлял живой и сочувственный интерес. Говорил, что он „находился у истоков большинства национальных еврейских течений, как Бунд, сионизм и т.д.". Дружеские узы связывали Владимира Львовича с еврейскими деятелями самых различных политических взглядов — Д.С. Пасмаником, Г.О. Слиозбергом и многими другими, в коих его всегда привлекали „искренность, честность и компетентность". Присутствовал он и на I-м Сионистском конгрессе в Базеле в 1897 году, проходившем под председательством Теодора Герцля, который произвел на Бурцева впечатление личности яркой и харизматической и чью идею о создании национального очага в Палестине он горячо поддерживал.

Бурцев последовательно выступал против антисемитизма на страницах издаваемой им газеты „Общее дело" (Париж, 1918–1922, 1928–1933). При этом он подчеркивал, что заскорузлая юдофобия, охватившая значительную часть белой эмиграции, лишь компроме-

тирует то „общее дело", под знаменами которого должны были бы объединиться все истинные патриоты России, — а именно, борьбу с коммунистическим режимом. Особенную силу его обличительный пафос обретает в 1930-е гг. В качестве свидетеля он участвует на Бернском процессе 1933–1935 гг., на коем была доказана подложность состряпанных в недрах царской охранки пресловутых „Протоколов сионских мудрецов". Современные исследователи называют их „главной ложью в истории" и „ордером на геноцид". Вместе с Бурцевым на сем процессе свидетелями обвинения были П.Н. Милюков, Б.И. Николаевский, С.Г. Сватиков и др.

Итогом этой его деятельности стала изданная в Париже в 1938 году книга „Протоколы сионских мудрецов" — доказанный подлог" с боевитым подзаголовком: „Рачковский сфабриковал „Протоколы сионских мудрецов", а Гитлер придал им мировую известность". На основании многочисленных документов и устных свидетельств он убедительно раскрыл здесь не только явный плагиат и подложность „Протоколов", но и их провокационный, человеконенавистнический характер. (Эту тиражированную антисемитскую фальшивку, переведенную с легкой руки нацистов на многие языки, и сегодня распространяют по свету в миллионах копий, продолжая работу по оболваниванию и развращению темного люда). „Пропагандисты „Протоколов", — говорил Бурцев, — люди, делающие заведомо нечестное, гнусное и кровавое дело. Про них нельзя сказать: „Не ведают, что творят!". Нет! Нет! Они хорошо знают, что творят". И собственную литературную работу Владимир Львович рассматривал как „отправной пункт борьбы со зловредным суеверием, опасным психозом масс и народов, зараженным маниакальным и до крайности злобным антисемитизмом".

Но вернемся к автографу Владимира Львовича. Надлежит выяснить, кто же этот „Вас. Алексеевич Маклаков", которому был подарен экземпляр книги? Что имел в виду Бурцев, когда писал о том, что они вместе защищали одно и то же, и почему указывает дату: 1913 год?

Оказывается, речь идет о члене ЦК кадетской партии, лучшем ораторе II, III, IV Государственных дум, бывшем после Временного правительства во Франции, активном участнике белого движения Василии Алексеевиче Маклакове (1869–1957). Он еще в начале XX века стал, по определению А.И. Солженицына, „сильнейшим адвокатом" России.

Сподвижник знаменитого Ф.Н. Плевако, Маклаков стяжал себе общероссийскую славу, проведя с блеском немало вероисповедных, „общественных" и политических судебных процессов. Профессионализм, компетентность, а также прекрасные человеческие качества — „благородное и доброе сердце" — его подзащитные ставили очень высоко. Но особенно ярко и впечатляюще адвокатское искусство Макла-

кова проявилось в самом громком процессе начала XX столетия — в деле Менахема Менделя Бейлиса, облыжно обвиненного в ритуальном убийстве христианского мальчика Андрея Ющинского.

Правая пресса раздула в связи с этим делом дикую антисемитскую истерию, пытаясь склонить власти к безжалостной расправе над всеми евреями, как извергами рода человеческого. Вот, к примеру, как злобно кликушествовала перед этим процессом черносотенная газетенка „Русское знамя" (1913, № 177): „Правительство обязано признать евреев народом, столь же опасным для жизни человечества, сколь опасны волки, скорпионы, гадюки, пауки ядовитые и прочая тварь, подлежащая истреблению за свое хищничество по отношению к людям и уничтожение которых поощряется законом. Жидов надо поставить искусственно в такие условия, чтобы они постоянно вымирали: вот в чем состоит ныне обязанность правительства и лучших людей страны".

Несмотря на угрозы охотнорядцев, Василий Алексеевич в 1913 году выступил защитником Бейлиса и сыграл важную роль в его оправдании. В ситуации, когда антисемиты уже предвкушали самый суровый приговор для еврея, Маклаков в своей защитительной речи, обращаясь к присяжным, говорил просто, убедительно и показал всю подоплеку выдвинутых против Бейлиса абсурдных обвинений. „Нам говорят, что на этот процесс глядит весь мир, а мне хотелось бы забыть про это, и говорить только с вами, господа присяжные заседатели, — голос его зазвучал вдруг твердо, спокойно и проникновенно. — Бейлис — смертный человек, пусть он будет несправедливо осужден, пройдет время, и это забудется. Мало ли невинных людей было осуждено. Жизнь человеческая коротка — они умерли и про них забыли, умрет Бейлис, умрет его семья, все забудется, все простится, но этот приговор... этот приговор, не забудется, не изгладится, и в России будут вечно помнить и знать, что русский суд присяжных, из-за ненависти к еврейскому народу, отвернулся от правды". Последние слова защитника были произнесены в напряженной тишине зала: „Вас всячески стараются восстановить против евреев, вам говорят, что евреи ваши враги, что они смеются над вами, что они не считают вас за людей. Вас приглашают к тому же самому отношению к ним. Не поддавайтесь этому приглашению; если вы осудите Бейлиса, но не по уликам против него, а за что-то другое, если он будет жертвой искупления за других, то если бы даже и нашлись люди, которые первое время в своем озлоблении порадовались бы подобному приговору, то потом, когда время пройдет, они и сами об этом пожалеют, а он все-таки навеки останется печальной страницей в истории русского правосудия. Помните это, когда будете решать судьбу Бейлиса". И суд присяжных вынес решение — невиновен!



М. В. Маклаков

Когда М. Бейлиса оправдали, Василия Маклакова поздравляла с этой победой вся демократическая Россия. Видный политический деятель, член Государственного совета М.А.Стахович прислал ему телеграмму: „Обнимаю. Чудная, главное, умная речь, убийственная прокуратуре, срамникам, руководившим обвинением". Поступили поздравления от И.И. Петрункевича, Д.Н.Шипова, других лидеров российского либерализма. Маклакову выражали сочувствие и простые люди: рабочие, крестьяне. А в послании духовного правления Главной хоральной синагоги в Ростове-на-Дону говорилось: „Дело Бейлиса, которое Вы так геройски защитили, это дело всего мыслящего человечества. Вы были наиболее ярким выразителем лучшего и благороднейшего, что вылилось так сильно, так стихийно, так величественно-прекрасно в Вашей талантливой защите".

Не вызывает сомнения, что указывая дату — „1913 год" — и говоря о „защите" Маклакова, Бурцев имеет в виду роль этого адвоката в оправдании Бейлиса. Надо сказать, что и сам Владимир Львович в 1913 году писал в защиту Бейлиса статьи в газете „Будущее", которую издавал тогда в Париже, и готовился дать бой популяризаторам „Протоколов сионских мудрецов", поскольку ждал, что именно на этот опус будут ссылаться антисемиты в этом процессе. Вот что он пишет: „Обвинители, антисемиты, надеялись на этом процессе нанести убийственный удар по еврейству. Более года они готовились к нему. Но обвинение было дутое, и на гласном разбирательстве перед присяжными оно окончательно провалилось. Бейлис по суду был оправдан. Когда этот процесс подготовлялся, мне казалось, что представители русской власти на нем будут ссылаться на „Протоколы" и, следовательно, будут доказывать их подлинность. Это я тем более допускал, что в правительственных сферах было решено поддерживать на суде легенду о ритуальных убийствах". Однако опасения Бурцева оказались напрасными: антисемиты не решились выступить на процессе в защиту „Протоколов". Вольно или невольно, они тем самым признали их несостоятельность.

Остается ответить на вопрос: почему Бурцев в 1913 году называет себя „подзащитным" Маклакова? Это тем более требует разъяснения, поскольку ни в каких тяжбах Владимир Львович в это время участия не принимал и вообще находился за границей. По-видимому, смысл сего высказывания следует понимать метафорически. Все дело в том, что Бурцев, человек с растревоженной совестью, так глубоко и пронзи-

тельно прочувствовал боль униженного и оклеветанного еврея Бейлиса, что чуть ли не отождествил с себя с ним. А потому не только за Бейлиса стоял Маклаков на том судилище — он отстаивал высокие нравственные идеалы русской интеллигенции, его, Бурцева, идеалы. Показательно, что и в самой книге Бурцева о борьбе с юдофобами можно прочитать такие слова: „Нам не приходится сражаться с лояльным врагом, ни даже просто с человечным. Мы должны поражать олицетворенную бессовестность, лживость, являющуюся признаком общего умопомешательства, буйного, автоматического, бездушного. Это значит, что придется быть не только беспощадным, но и неутомимым, до полного истребления этой гидры, у которой на месте срубленной головы вырастает семь новых".

И еще — Бурцев говорит о Маклакове, что тот „всегда защищал" евреев. И это верно. В 1919 году Василий Алексеевич как русский посол приезжает на Кавказ в ставку генерала А.И. Деникина и убеждает его выступить с заявлением о равноправии евреев в грядущей России. А в 1920-е годы он ведет полемику с В.В. Шульгиным, автором нашумевшей книги „Что нам в них не нравится..." (Париж, 1930), о причинах и характере Октябрьской революции 1917 года. Шульгин утверждал, что русскую революцию совершили евреи, озлобленные на власть и „крепко объединенные сознательным и бессознательным стремлением к господству". А вот что ответил ему В.А. Маклаков в письме от 5 марта 1925 года: „В Вашей схеме Вы выводите евреев, как представителей озлобленности; тут Вы, конечно, правы; но этот вопрос не национальный, а неизбежное последствие нашей глупой политики... Поэтому нет ничего удивительного в том, что количество недовольных и озлобленных в еврействе было больше, чем где-либо, и при этом среди них было больше интеллигентов. За это тоже спасибо черте оседлости. Я хорошо знаю, что евреи не очень ассимилируются с другими народностями, но, однако, я наблюдаю евреев во Франции, и ничего подобного с психологией русского еврейства здесь нет. И еще меньше его в Англии. Таким образом, наблюдая развитие русской революции, я мог бы сказать Вам то, что сказал Лаплас Наполеону о Боге: „для объяснения того, что происходит в мире, я не нуждался в этой гипотезе". Точно так же, для того, чтобы понять, как развивалась революция в России, мне вовсе не нужно было говорить о еврейском вопросе; его роль настолько второстепенная, что я убежден, что если вычеркнуть даже всех евреев, то в главных чертах революция совершилась бы точно таким же способом, как она совершилась".

Сегодня, говоря о духовном наследии В.Л. Бурцева, В.А. Маклакова и других борцов с антисемитизмом в России, нельзя не обратить внимание на то, что их деятельность вызывает у нынешних национал-

патриотов негодование и злобу. Как только их не чихвостят, называя то „русофобами", то „шабес-гоями", то „агентами мирового сионизма"! Но вот что примечательно: в годы войны выступавший против нацистов Бурцев сделался объектом травли со стороны фашистских властей, и когда те захватили Париж, его неоднократно вызывали в гестапо. Отпустили только из-за преклонного возраста, и этот оставшийся без средств к существованию „русофоб", как вспоминала дочь А.И. Куприна, „спорил с пеной у рта и доказывал, что Россия победит, не может не победить". А В.А. Маклакову повезло меньше: за свои откровенно антифашистские взгляды он в апреле 1941 года был арестован гестапо и пять месяцев провел в тюрьме. А в феврале 1945 года он в составе делегации русских эмигрантов посетил советское посольство в Париже и заявил: „Я испытываю чувства глубокого волнения и радости, что дожил до дня, когда я, бывший русский посол, могу здесь, в здании русского посольства, приветствовать представителя Родины и принять участие в ее борьбе с врагами-захватчиками".

А что же восхваляемые национал-патриотами „истинные радетели Отчества", те, что видели в жидо-масонском заговоре главную угрозу? Как боролись с „врагами-захватчиками" они? А вот как: бывший член Государственной думы, призывавший к „окончательному решению еврейского вопроса", Н.Е. Марков-Второй закончил свою „патриотическую" карьеру консультантом гестапо. Г.В. Бостунич, автор книжонки „Масонство и русская революция" и пропагандист „Протоколов сионских мудрецов", дослужился до чина штандертенфюрера СС, а заодно получил и звание почетного профессора СС как непревзойденный эксперт по козням мирового еврейства. А отличавшийся патологическим антисемитизмом генерал П.Н. Краснов приветствовал нападение Гитлера на СССР и активно сотрудничал с нацистами, сражаясь на стороне врагов своего Отечества (он, между прочим, корил другого предавшегося немцам русского генерала А.А. Власова за недостаточно последовательную анти-еврейскую пропаганду). Подобные примеры можно умножить. Думается, однако, что ни к патриотизму (в подлинном смысле этого слова), ни тем более уж к славе России они не имеют ни малейшего отношения.

Наши же герои, борясь со злом, стремились сделать Родину лучше и человечнее. А идеи справедливости и добра, как известно, всегда требуют защиты. Нуждаются в ней и Владимир Бурцев, и Василий Маклаков. А потому сегодня они — наши подзащитные, и мы должны защитить их от лжи и клеветы, невежества и обскурантизма, национальных фобий и предрассудков.

III

„МИЛЛИОНЩИК БЕДНЫЙ” РОТШИЛЬД В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

В XIX веке большую популярность получило в России стихотворение князя П.А. Вяземского „Бедный Ротшильд” (1855). Оно сразу же было разобрано на цитаты, вошло во многие фразеологические словари, стало хрестоматийным. Звучные стихи заучивали наизусть студенты и гимназисты:

Ротшильд, бедный Ротшильд, миллионщик бедный!
Точно так же умер в золоте и ты,
Как умрет поденщик из-за лепты медной,
Изнурявший силы, жертва нищеты...
В изобильи счастья, в неге ты купался,
На тебя, счастливца, любовались мы:
Королем червонным миру ты являлся
И давал червонцы королям взаймы...
Знаю, вам счастливцам, богачам-верблюдам,
Сквозь ушко иголки мудрено пройти,
Но ты ни таланты не держал под спудом,
Ни от нищей братьи дом на заперти.
В век наш златожадный, барышу послушный,
Биржу вавилонский столп и ты сложил,
Но смиренный в счастьи, нравом простодушный,
Ты не корчил знати, хоть и Ротшильд был.

Произведение это сочинено на кончину Карла Мейера Ротшильда (1788–1855), которому Вяземский симпатизировал. Поэт ценил в нем острый ум, душевную отзывчивость и кроткий нрав. Стихи о „миллионщике бедном” стали необычайно популярны, и это говорит о внимании тогдашнего русского общества к банкирам, имя которых стало поистине легендарным.



Карл-Мейер Ротшильд

В современном русском языке выражение „богат, как Ротшильд” считается уже устаревшим. Хотя этот банкирский дом существует и благоден-

ствует и в наши дни (вот только недавно объявлено о создании концерна Ротшильдов и Рокфеллеров, причем сумма сделки оценивается в 155 млн. долларов), влияние его на судьбы мира сейчас несопоставимо с тем, каким оно было в XIX веке. Тогда же, как писал в том же 1855 году русский „Справочный энциклопедический словарь", это был „самый большой и богатейший из всех торговых домов".

„Деньги — Бог нашего времени, а Ротшильд — пророк его", — говорили в Европе в XIX веке. Феноменальный успех семьи Ротшильдов в финансовом мире был столь впечатляющим, что их путь к богатству сравнивали с „историей вавилонской башни миллионов". Основатель династии Мейер Амшель Ротшильд (1743–1812) был выходцем из еврейского гетто Франкфурта-на-Майне и благодаря трудолюбию и фантастической предприимчивости достиг небывалых высот в банковском деле, завещав сыновьям продолжить свое дело. Наказ родителя держаться вместе братья Ротшильды, которых называли „пятью пальцами одной руки", с честью выполнили. И как символ единения на эмблеме династии изображено пять стрел, соединенных цепочкой, с девизом „Concordia, Integritas, Industria" (Согласие, Единство, Усердие).



Мейер Амшель Ротшильд, основатель династии

Ротшильд едва ли подозревал, что основал банкирский дом мировой власти, который изменит в XIX веке лицо Европы. Старший сын вел дела родового дома во Франкфурте, другие его братья действовали в Лондоне, Париже, Вене, Неаполе. В 1815 году их совокупный капитал составляет более 3,3 миллиона франков, к 1828 году — уже порядка 120 миллионов франков, а к 1830-м годам банкирский дом Ротшильдов становится самым значительным и влиятельным в Европе. Ротшильды создали мощную международную финансовую империю, стояли во главе грандиозных консорциумов, дававших многомиллионные кредиты почти всем европейским правительствам: Пруссии и Австрии, Испании и Португалии, Пьемонту и Франции. Одна только Россия при их посредничестве получила тогда займы на сумму 7400 миллионов золотых франков. Ротшильдов называли „династией, что возвышается над королями и императорами, держа у себя в ладонях весь континент".

Но главный завет Мейера, который затвердили сыновья, это быть верными иудейской вере и своему народу. Не в пример другим своим

ассимилированным соплеменникам, они всегда подчеркивали свою принадлежность к еврейству и иудейской религии. Ротшильдов называли и „королями евреев", и „евреями королей". Их волшебные дворцы с удовольствием посещали Бисмарк, Талейран, Меттерних, Луи-Наполеон III, и все они вынуждены были терпеть, когда на званых обедах братьям подавали кошерную пищу, приготовленную их личным поваром. При этом Ротшильды жили и трудились не только ради собственного благополучия: они меценатствовали, строили школы, больницы, дома с низкой квартирной платой, служа образцом широкой благотворительности.

Ротшильды оказались в самом средоточии общественных и политических страстей века. Масштаб деятельности банкиров, их несметное богатство, влияние на судьбы Европы и мира вызывали жадный и стойкий интерес в Москве и Петербурге.

При всей неоднозначности и противоречивости оценок деятельности этих банкиров, важно проследить трансформацию образа Ротшильда в русской литературе XIX века и выявить тенденции его трактовки. Это тем более важно, поскольку в созданном россиянами образе Ротшильда, как в зеркале, отразились различные идеологические и культурные стереотипы России. Нисколько не претендуя на полноту раскрытия темы, мы попытаемся ввести в оборот и систематизировать конкретный историко-литературный материал и тем самым прояснить трансформацию этого образа в отечественной культуре.

И разговор следует вести с 1820-х годов, поскольку уже тогда имя знаменитых „миллионщиков" было на слуху в России. Русский мыслитель П.Я. Чаадаев в письме к брату М.Я. Чаадаеву из Парижа от 1 апреля 1824 года заметил: „Штиглиц первый банкир в Петерб[урге], а Ротшильд — первый в свете, что, полагаю, сказывал тебе несколько раз К[нязь] Шаликов". Надо отметить, что если уж чувствительный „Вздыхалов" — П.И. Шаликов упорно твердил о таком „прозаическом" предмете, как капиталы Ротшильда, вопрос этот был тогда весьма злободневен. Вот и граф Ф.В. Ростопчин, проживший восемь лет за границей, аттестовал Ротшильда одним из „трех лиц, правящих ныне Европою", причем почитал „благодатью небесной" свою финансовую независимость от него.

О том, что богатство Ротшильдов было общеизвестным в самых широких кругах, свидетельствует эпизод из „Table-talk" А.С. Пушкина, где фигурировало имя банкира. В миниатюре „О Дурове" (1835) рассказывалось о том, что городничий из Елабуги, дворянин Дуров, помешан был на одном пункте: ему непременно хотелось иметь сто тысяч рублей. Все возможные способы достать их были им придуманы и переду-

маны. „Иногда ночью в дороге, — рассказывал А.С. Пушкин, — он будил меня вопросом: „Александр Сергеевич! Александр Сергеевич! как бы, думаете вы, достать мне сто тысяч?" Дуров хладнокровно рассматривал способы кражи ста тысяч и один за другим отвергал их как неудобные. И тогда Пушкин, как саму собой разумеющуюся, высказал мысль: „Вы бы обратились к Ротшильду". Оказалось, что и Дуров давно уже обдумывал такой экстравагантный вариант. „Да видите ли, — говорит он Пушкину, — один способ выманить у Ротшильда сто тысяч было бы так странно и так забавно написать ему просьбу, чтоб ему было весело, потом рассказать анекдот, который стоил бы ста тысяч. Но столько трудностей!". Автор книги „Муза и мамона" (М, 1989) А.В. Аникин назвал эту идею Дурова блажью и „дворянским чудачеством". Но любопытно то, что Ротшильд представлялся им человеком, живым, с юмором, к которому можно было найти подход, дабы выманить желаемую сумму.

Отметим важную особенность общественного восприятия Ротшильдов российским обществом — на раннем этапе, безусловно, превалировал интерес к феномену „миллионщика", об этнической же их принадлежности говорилось вскользь, либо не упоминалось вовсе. Журнал „Московский телеграф" (1826) назвал Ротшильдов „без сомнения, первыми богачами Европы" и подробно рассказал об основателе династии, отмечая его „честность и расторопность". И далее о банкирах в двух словах: „Они иудеи". Если учесть, что в словесности и журналистике того времени пренебрежительная аттестация „жид" была общепринятой, это говорит о высокой оценке знаменитого банкира, который никак не ассоциировался с его запертыми в черте оседлости российскими соплеменниками.

В „Биографическом известии о братьях Ротшильдах", опубликованном в „Московском вестнике" (1827), сообщалось, что банкирский дом „беспримерно отличается... по дальновидным соображениям, предприимчивости, верной оценке людей и соотношений", что братья „вышли из границ обыкновенного круга действий, соделались великими, цветущими, и в некотором отношении даже сильными". Что до их национальности, то говорится об этом туманно, с экивоками (в одном только месте, рассказывая о Ротшильде, автор замечает: „он принужден был определить себя на ученое звание, что и теперь еще в обыкновении между бедными Евреями в Германии"). Причем уважение вызывает у журналиста даже то, что Ротшильд-старший заставил детей „произнести обет никогда не переменять своей религии". Религия здесь не поименована, но речь-то идет об иудаизме, который отнюдь не привечался в России.

Завидную веротерпимость к миллионеру обнаруживает и репортерская заметка в „Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду" (1839). Здесь рассказывается сразу о двух Ротшильдах — бедном однофамильце богатея и самом банкире; но „жидом" назван только первый, другой тактично аттестуется его „единоверцем". Сюжет таков: жена бедного торговца Иосифа Ротшильда, отправившегося в Вену на заработки, посылает ему письмо о рождении сына, которое по ошибке попадает к его богатому тезке. Сей добрый миллионер тут же отправил бедной женщине 100 флоринов, а затем пригласил к себе в дом и самого бедняка. „Не печалься, мой друг, — благодушно сказал ему банкир, — я буду воспитателем твоего сына и покровителем на дальнейшем поприще его жизни. Веди себя честно и надейся на меня как на лучшего друга и единоверца". В заключении сообщалось: „Банкир Иосиф Ротшильд известен в Вене своими благодеяниями. Он помогает каждому попавшему в нужду и бедность человеку, несмотря на религию его".

Об особом статусе Ротшильдов свидетельствует и высокая оценка его личности литератором Ф.В. Булгариным. Он и сам признавался, что „не жаловал жидов", в романе „Иван Выжигин" (1829) вывел омерзительные еврейские типажи, при этом обвинял польских иудеев в „гнусном шахерстве". И все же подчеркивал, что „чтит Ротшильда, умевшего снискать общее уважение".

И его литературный друг Н.И. Греч тоже относился к Ротшильду с большим пиететом. О „неопрятных евреях" говорил уничижительно, а вот о знаменитых банкирах, которых знал лично, напротив, благодушно и даже несколько заискивающе. Неаполитанского Ротшильда он назвал „почтенным человеком с преумной физиономией", который смотрел на него с „невыразимым удовольствием". Их беседа о красотах Италии была жива и занимательна. „Несказанное умиление" испытал Греч и при посещении конторы парижского Ротшильда. Услужливый миллионер помог ему заполучить новую книгу из Гамбурга. „Для банкира первая обязанность угождать публике и быть ей полезным, — галантно сообщил он русскому писателю, — перевод ваших пяти франков в Гамбург для меня такое же дело, как и перевод пяти тысяч".

Некоторых русских литераторов возмущало, когда в Европе еврейским банкирам ставили палки в колеса из-за их вероисповедания. Герой эпистолярного романа того же Н.И. Греча „Поездка в Германию", попавший во Франкфурт, сетовал: „Здесь видел я на практике доказательство, что нет пророка в своем отечестве. Еврейский банкир ворочает миллионами, имеет решительный голос на всех биржах, переписывается с Кастельро и Меттернихом и — не может добиться того, чтобы

его выбрали в члены Франкфуртского клуба (Casino). Он обещает дать за то двести тысяч гульденов для постройки дома для казино. „Нет! — говорят члены: — вы все же поганый жид; не хотим иметь его!" — Хоть не умно, да, по крайней мере, упрямо".

А в журнале „Современник" (1848) с симпатией излагается жизненное кредо основателя британской ветви банкирского дома. Приняв к руководству принцип „капитал — это труд", Натан Мейер Ротшильд признавался: „Весь мой успех основывался на следующем рассуждении: я могу, думал я, делать то же, что другие люди, и потому могу быть соперником всякого купца, но у меня было одно преимущество: я был очень деятелен". А вот его завещание детям: „Для приобретения большого богатства надобно иметь много смелости и много осторожности, но для сохранения приобретенного требуется в десять раз более. Я хочу дать детям ум, душу, сердце, здоровье и все необходимое для деятельности, потому что это путь к счастью".

Благотворительность Ротшильдов вошла в пословицу, об этом писала наперебой русская печать. В журнале „Отечественные записки" (1847) приводился любопытный эпизод. Один юный парижанин поиздержался и стал требовать от Ротшильда... 16 тысяч франков! И не просто требовать, но „жестоко угрожать ему кинжалом и ядом". Шантажист был пойман с поличным, схвачен и предан суду. Но добродетельный банкир не только спас его от тюрьмы, но и устроил на теплое местечко в управлении одной железной дороги, а „жена Ротшильда приняла участие в матери молодого человека и помогла ей". А некрасовский „Современник" (1864) опубликовал панегирическую статью Л. Берне, где утверждалось, что „никто не содействует народному делу так, как именно дом Ротшильдов, и... Ротшильды носят в душе сознание такого своего назначения". И вот что интересно — филантропия банкира оказалась созвучной русской благотворительности, „странноприимству", как ее назвали в XVIII веке, что считалось русской национальной чертой. Тема получила развитие у И.С. Тургенева в стихотворении в прозе „Два богача" (1878): „Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых — я хвалю и умиляюсь. Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. — Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут, — не на что будет соли добыть, похлебку посолить... — А мы ее... и не соленую, — ответил мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика!".

И подчас грандиозный масштаб деятельности Ротшильдов мерился российским аршином, ассоциировался с русской молодецкой удалью и широтой. Интересна в этом отношении заметка о волжских промышленниках братьях Большаковых в журнале „Библиотека для чтения" (1839): „Они идут по базару — и толпа рассыпается; кивнут головой — и шапки грядой, как от могучего вихря слетают с маковок. Привет и уважение народное встречают их и провожают... Это русские туземные братья Ротшильды, банкиры своего края и по-своему. Они имеют несколько тысяч рублей капитала и оживляют ими промышленность своего края и торговые обороты, ссужая промышленников тут же на месте их промыслов на базаре, деньгами... Русский ум из всего извлечет выгоду, все приспособит к делу!". Как видно, хитроумие и предприимчивость еврейских банкиров становятся примером для подражания, активизируют мысль и творческую энергию российских предпринимателей.

Иногда Ротшильд представал и двигателем мирового прогресса. „Единственные возможные в нашу эпоху гении суть гении промышленные и коммерческие, Джон Кокериль и Ротшильд, — писали „Отечественные записки" (1840). — Они управляют веком; в их руках пружины, двигающие жизнью народов, на их поприще сосредоточились талант, изобретательность, отважность, предприимчивость". И Н.А. Добролюбов в статье „Забитые люди" восхищался размахом предприятий англичанина, который „в своих соображениях — изобретет несколько машин, переедет несколько раз все океаны, оснует несколько колоний, устроит несколько фабрик и затмит собою всех Ротшильдов".

В пьесе В. Пискунова „Экономист: Сцены из современной жизни", опубликованной в журнале „Отечественные записки" (1859), апологетом банкира выступает протагонист с говорящей фамилией Крикунов: „Вы называете Ротшильда жидом, поклонником Золотого тельца, но знаете ли вы, что этот поклонник Золотого тельца дает существование и жизнь десятку тысяч, а, может быть, и сту тысяч народу, которые без него опухли бы с голоду. Знаете ли вы, сколько в Европе каждый день умирает с голоду? Сколько делается преступлений, святотатств от голода и бедности? Ротшильд раскрывает свой мешок и уменьшает число татей, воров, грабителей".

Но надо отметить, что эти положительные, а порой и восторженные, оценки Ротшильдов часто тонут в море злобы и нетерпимости, уничижительных и оскорбительных характеристиках. В отзывах титулованных русских дворян сквозят раздражение и неприятие Ротшильдов как представителей „черной кости". Деловая сметка, жизненная энергия, удачливость вызывали враждебность князей и графов. И часто самих „выскочек" Ротшильдов обвиняли в высокомерии и за-

знайстве: будто бы они стремились перещеголять родовую знать. Поминалось иногда и еврейство нуворишей, но не как самостоятельный, а скорее как дополнительный признак их „плебейства". Граф Ф.Г. Головкин в 1818 году сокрушался по поводу того, что эти „ евреи, братья Ротшильды, ...благодаря своим деньгам, входили в сношения с правительствами", а „один из них был возведен в бароны императором Австрийским, другой — в маркизы королем Неаполитанским, и все это без крещения!". Но особенно возмущало графа поведение парижского Дж. Ротшильда, который „нанял большой дворец и стал устраивать празднества". Головкин с негодованием писал: „Его тщеславие возрастало низкопоклонством публики". А граф М.Д. Бутурлин называл Ротшильдов „надменными" и с удовольствием рассказывал анекдот о том, как одному из них „французский посол при римском дворе, герцог де Лавалль-Монморанси, сказал: „Знаете ли, какая разница между нами? Я происхожу от христианского барона, а вы — первый еврейский барон".



Пять братьев Ротшильдов

О похожем случае граф М.Ю. Виельгорский поведал А.С. Пушкину: „Французские принцы имели большой успех при дворах, куда они явились. Были, однако ж, с их стороны и некоторые промахи: они сыпали деньги и дорогие подарки; в Берлине старый принц Виттенштейн сказал Брессону, который хвастался их расточительностью: „Но мой дорогой г-н Брессон, ведь это же вовсе непристойно; ваши принцы принадлежат к дому Бурбонов, а не Ротшильдов". Подтекст ясен: банкирский дом Ротшильдов — символ нового, буржуазного воплощения богатства и могущества — противопоставлялся здесь французскому королевскому дому с его старой феодально-монархической властью, основанной на вековых привилегиях. Показывалась несообразность поведения этой новой „денежной знати" — вопреки правилам благородного общества, согласно которым „непристойной" считалась всякая открытая и нарочитая демонстрация богатства. Тем самым показывалась безнравственность новой денежной буржуазии.

К середине XIX века, когда, по словам историка, происходит „идентификация иудеев с ростовщичеством и банковским делом" (а Ротшильд был именно „королем ростовщиков"), образ получил новую трактовку. В то время процентщик демонизировался и изображался в самых черных красках. В произведениях Н.В. Гоголя ростовщик — злобный чужак „с мертвецом наместо сердца" спешил унести пропащую душу в преисподнюю, и на всем его золоте лежит „нечистый" отсвет. А одно слово „миллионщик" рождало „расположение к подлости". Так, подловатый Чичиков с детства уверовал, что „все сделаешь и все перешибешь на свете копейкой", „эта вещь надежнее всего на свете". Такого подлеца писатель аттестовал „жидомором", что, согласно словарю В.И. Даля, означало „корыстный скупец", а „жидовать, жидоморничать" — „скряжничать, добывать копейку, вымогая, не доплачивая". А в письме В.А. Жуковскому от 12 марта 1847 года Гоголь, говоря о проволочке с выдачей ему денег „миллионщиком" — неаполитанским Ротшильдом — язвительно заметил: „Еврейская душа почувствовала в эту минуту только то, что речь идет о деньгах, стало быть, о предмете, священнейшем всего на свете, а потому просила меня дать ему время". В этой иронии Гоголя угадывалась тенденция времени. Если раньше Ротшильд и еврейство разводились, и знаменитый банкир выставлялся как счастливое исключение из общего правила, то теперь он воспринимался уже как плоть от плоти своего народа (в данном случае внимание акцентировалось на его сребролюбии, что трактовалось как сугубо национальная черта).

Трудно сказать, под влиянием ли предрассудков или „передовой" общественной мысли (а в Европе ходячей формулой стали тогда слова К. Маркса: еврей — „квинтэссенция торгаша"), но и критик В.Г. Белинский в письме к В.П. Боткину от <2–6> декабря 1847 года высказал ту же мысль, приправленную, правда, гневно-осуждающим пафосом. Аттестуя торгаша как существо „свирепее зверя, неумолимее смерти", „цель жизни которого нажива, поставить пределы которой невозможно", Белинский утверждал, что честный человек и патриот априори чужд коммерции и, занявшись ею, непременно пойдет по миру. И далее патетически восклицал: „Вот Ротшильд — тот не разорится: он жид, стало быть, торгаш par excellence".

Любопытна судьба одной книги, которая представляет интерес именно в связи с восприятием Ротшильда в России. Дело в том, что в русском обществе середины XIX века остро дебатировался вопрос о допустимости достижения счастья с помощью богатства. В этом отношении переводная брошюра под именем М. Ротшильда „Искусство наживать деньги способом простым, приятным и доступным всякому"

(Спб., 1849) весьма примечательна. Оригиналом ее послужила 70-страничная книжка французского литератора В. Даккета „L'art de gagner l'argent..." (Paris, 1848) — литературная мистификация с характерной еврейской топикой. Автором ее значился некий мифический Ротшильд с именем ветхозаветного Мельхиседека, банкира из древнего Капернаума, что в Галилее; сообщалось, что французский перевод с последнего издания на иврите сделан будто бы самим Натаном Мудрым (Nathan Le Sage). Петербургские издатели, ничтоже сумняшеся, опустили все эти „национальные" атрибуты, оставив одно лишь имя Ротшильда, понимая, что оно и только оно обеспечит книге в России коммерческий успех.

Хотя авторство Ротшильда здесь мнимое, показательно, что именно с ним связывался вопрос о нравственности богатства вообще. Для русского самосознания это была важнейшая философская и мировоззренческая проблема. Ведь идея богатства как блага в целом была присуща западноевропейской общественной мысли и лежала в основе этики протестантизма. В России же возобладала ориентация на ту часть библейских текстов, где говорилось о греховности богатства. В контексте православной этики, эстетики и культуры в целом понятия „злата" и „зла" вводятся в один семантический ряд ценностей. Неслучайно русские журналисты в оценке книги „Искусство наживать деньги..." были непреклонно суровы. Некрасовский „Современник" (1849) язвительно аттестовал Ротшильда „душою образованного и, следовательно, любящего деньги мира" и с иронией рекомендовал книгу к скорейшему чтению. Обозревателю из „Библиотеки для чтения" (1849, Т.95) не нравилась сама моралистическая подкладка книги, то, что „Ротшильд смотрит на „искусство добывать деньги" как на remedium universale к исправлению рода человеческого" (а это как раз и была обсуждаемая и осуждаемая идея о достижении счастья с помощью богатства!). Причем тон рецензента часто сбивался на ернический: „Поблагодарим же от души человеколюбивого Ротшильда за его советы, которые, впрочем, доступны только для богатых, потому что продаются за деньги, да еще за наличные. Но вспомним, как сам же автор рекомендует тщательное сбережение денег, не советуем вам тратиться на то, что не может принести вам ни малейшей пользы". А вот „Москвитянин" (1849) выступал против экономической инициативы и личного накопительства, потому отнес книгу к разряду „бумагопрядильной литературы": когда „всякий сам себе господин, у всякого деньгами хоть пруд пруди", утверждал он, пользы Отечеству не предвидится. Однако, несмотря на столь сокрушительную критику, книга продавалась бойко и быстро разошлась. О ее популярности говорит тот факт, что вскоре в Петербурге вышла книж-

ка „Еще нечто большее об искусстве наживать деньги", причем рецензенты отмечали, что ее „породил успех небольшой брошюры с именем Ротшильда, вышедшей в прошлом году". Интересно, что в романе „Отцы и дети" И.С. Тургенева о книге упоминает Базаров в разговоре с Павлом Кирсановым: „ — Вы, стало быть, искусства не признаете? — Искусство наживать деньги, или нет более геморроя, — воскликнул Базаров с презрительной усмешкой".

Если издатели книги обошли национальный вопрос молчанием, то в литературе, напротив, еврейство Ротшильдов настоятельно подчеркивалось и стало предметом многочисленных спекуляций. Внимание сосредоточилось на семитической внешности банкиров. Русский поэт и неистощимый острослов Ф.И. Тютчев о знаменитой картине А.А.Иванова „Явление Мессии" (1852) отозвался так: „Да это не апостолы и верующие, а просто семейство Ротшильдов". (Есть и другая версия реплики — „Семейство Ротшильда на водах"). Известно, художник А.А.Иванов, действительно, использовавший в качестве типажей для картины „достаточных евреев" из гетто Неаполя, глубоко огорчился: „Как, неужто может он так говорить?"

А Н.С. Лесков в романе „Островитяне" (1866) с присущим ему юмором отождествлял местечкового шарманщика, этого „несчастнейшего из жидов", с банкиром Ротшильдом, поскольку оба они „участвуют... в искуплении грехов падшего племени Израиля".

Своеобычно актуализировался в российских условиях и взгляд на Ротшильда как на „короля евреев" — защитника их интересов. Критик А.В. Дружинин иронизировал: „какой-нибудь член семейства Ротшильдов" мог бы потребовать от Пушкина сатисфакции за якобы оскорбляющие национальное достоинство известные стихи:

Однажды созвал я веселых гостей;
Ко мне постучался презренный еврей.

С развитием капитализма и банковского дела Ротшильды в глазах русских писателей становятся наглядным олицетворением „бездушного" мира капитала. Эту инвективу облекает в поэтическую форму князь П.А. Вяземский, еще недавно восхищавшийся одним из банкиров:

Наш век — век звонкого металла,
Ему ль до звучности стихов,
До чистых жертв, до идеала,
До этих старых пустяков?
На бирже ищем вдохновений,
Там сны златые, бой страстей:
Кто миллионщик, тот и гений,
И Ротшильд — Байрон наших дней.

Ему вторил князь В.Ф. Одоевский, который противопоставлял „напыщенный и нарумяненный XVIII век" нынешнему „веку расчета и сомнения". Писателю претят свежие газеты, потому что они „наполняются известиями... о том, каким образом однажды поутру банкир Ротшильд, завертывая пакет, засунул куда-то сверток ассигнаций".

Отчаянными противниками „паразитического капитала" выступили и русские славянофилы. Ратуя за „ответственную деятельность", направленную на любовь к Богу, они признавали только „соборную личность" и отрицали „логику человеческую" в пользу учения Церкви. В такой системе ценностей могущество, основанное на всевластии денег, виделось им как подрыв самих основ веры, а „король банкиров" Ротшильд жупелом бездушного материализма, противным христианству вообще. Не последнее место в их построениях занимали концепция русского народа-богоносца, а также расово-критический взгляд на еврейство. Апокалиптическую картину будущего рисовал известный славянофил И.С. Аксаков: „Кто как не Израиль? Не братья ли Ротшильды, эти цари бирж, восседающие на своих биржевых престолах в трех столицах Европы, с тысячами же еврейских банкиров, рассеянных по земному шару, могут служить уже и теперь прообразом слагающегося еврейского единства и мощи? Конечно, если для еврейского Мессии потребны будут финансы, то ему потребуются и финансы, и для будущего ли обетованного царства евреев мир христианский заранее, постепенно обращается Израилем в оброчную статью". А глашатай славянофильства А.С. Хомяков говорил о Ротшильде как о национальном типе, носителе материализма и ветхозаветного пантеизма, органически чуждых русскому духу. Он, в частности, писал: „Газеты недавно дразнили читателей перечнем Ротшильдовых миллионов, но Ротшильд явление не одинокое в своем народе: он только глава многомиллионных банкиров еврейских.... *В его денежном могуществе отзывается целая история и вера его племени.* Это народ без отечества, это потомственное преемство *торгового духа древней Палестины*, и в особенности это любовь к земным выгодам, которая в древности не могла узнать мессию в нищете и уничижении. Ротшильд факт жизненный".

О том, что всесилие Ротшильдом воспринималась как „факт жизненный", свидетельствует предостерегающее письмо малороссийского губернатора князя Н.В. Репнина Е.Ф. Канкрину, министру финансов при Николае I: „Монополия есть цель всех Жидовских действий, от Ротшильдов до шинкарей, ибо в руках этого пронырливого и расчетливого племени она потом соделывает их властелинами торговли, промышленности, произведений земли и, наконец, Правительств". Впрочем, сигнал Репнина остался без каких-либо последствий.

Между прочим, бредовая идея о заговоре Ротшильдов и масонов против России была впервые положена на бумагу тоже в царствование Николая I. Придумщиком ее был приметный реакционер М.Л. Магницкий. В 1831 году он направил обстоятельный донос, в коем пугал императора, что иллюминаты Запада, сговорившись с плутократами, контрабандно засылают евреев на Святую Русь. „Люди сего рода, — сигнализировал Магницкий, — в Россию приезжать могут по большей части под именем приказчиков торговых домов, от коих, действительно, для закрытия себя, легко иметь им некоторые поручения наших произведений и проч., ибо произведения всей Европы приведены уже в руки жидов (четыре братья Ротшильда)". Государь, однако, проигнорировал абсурдный извет Магницкого, которого еще в 1826 году отправил его в отставку.

Главными эксплуататорами и кровососами объявляли Ротшильда русские социалисты. Мощный обличительный заряд заложен в программе М.В. Буташевича-Петрашевского, оказавшего непосредственное влияние на русскую общественную мысль и, прежде всего, на Ф.М. Достоевского. Опираясь на идеи А. Сен-Симона, Ш. Фурье и Луи Блана, он утверждал, что „Ротшильд и другие властители капиталов с помощью биржевой игры производят разбой". Петрашевский видел задачу социалистов в том, чтобы „восставать и представлять в настоящем их виде... законами доставляемые разбои, которые могут производить в обществе Ротшильды и другие владельцы кошельков".

Интересно, что находились деятели, которые подозревали евреев-социал-демократов в лоббировании узко-национальных интересов. Характерно, что анархист М.А. Бакунин утверждал, будто Ротшильды могут ценить заслуги К. Маркса, а сам К. Маркс — испытывать влечение и глубокое почтение к Ротшильдам. В этом же ключе высказался и В.В. Розанов, подчеркивавший, что революционер-народоволец В.Г. Тан-Богораз и Ротшильд друг другу родня и союзники: „Вавельберг и Ротшильд едят те же „кутли" и „мацу", как и Богораз, в свою пасху, — он так же волнуется около Менделя Бейлиса и благородного офицера Дрейфуса, как Ротшильд". Вздорность подобных обвинений была показана и в русской литературе. Писатель Е.И. Чириков в романе „Евреи" привел обличительную речь народника Нахмана Фурмана. Тот „впал в жесточайшую истерику" и „обвинял Ротшильда, что тот испортил душу народного движения, растлил его..., а затем обрушился на всех крезов... Он им бросил в лицо огромнейший ком грязи: он их обвинил, что евреи многие считают мошенниками из-за таких, как Ротшильды и им подобные!" Как видно, для евреев-социалистов Ротшильды вовсе не были предметом национальной гордости, но знаком стыда и позора.

Широкий общественный резонанс вызвал раздел книги „Былое и думы" А.И. Герцена с провокационным заглавием „Император Джемс Ротшильд и банкир Николай Романов". Здесь рассказывается о том, как Ротшильд под угрозой нанесения серьезного урона кредиту России заставил Николая I оплатить финансовые билеты матери Герцена (имущество которой было арестовано на родине), причем с процентами! И говорил этот еврей с царем тоном требовательным, не терпящим возражений, „как власть говорит с властью". Ротшильд представал здесь могущественным „государем императором", что правит Европой из своего кабинета с парижской улицы Лафит: „Царь иудейский сидел спокойно за своим столом, смотрел бумаги, писал что-то на них, верно, все миллионы или, по крайней мере, сотни тысяч".

Герцен назвал Ротшильда „царь иудейский", и это, по-видимому, было подсказано ему Г. Гейне, который в статье „К истории религии и философии в Германии" (1834) прямо соотнес Христа с „мосье Джеймсом де Ротшильдом", у которого „все деньги этого мира лежат в кармане". Впрочем, у Гейне, как и у Герцена, параллель эта скорее ироническая. И их оценка Ротшильда не носит резко осуждающего оттенка. Но, как справедливо заметил историк С.Ю. Дудаков, „здесь мы видим не только пиетет перед еврейством, но и мистический ужас перед необыкновенной историей еврейства, видим зачатки зарождения мифа о всемирном владычестве еврейства, что у авторов-антисемитов получило дальнейшее развитие".

Рассказанный Герценом эпизод, в котором „железный Николай должен был преклонить перед [Ротшильдом] главу", дал импульс русскому политэмигранту В.С. Печерину к размышлениям о неистребимости еврейского народа: „Они не устарели — они вечно юны и будущее им принадлежит. Они везде блистают умом — в науке, в искусстве, в торговле; половина европейской прессы в их руках. Закон их не изменился ни на одну йоту, они поклоняются тому же единому Богу Авраама, Исаака и Якова, и на них буквально исполнились слова их пророка: „Вы будете опекунами, отцами-благодетелями, кормильцами властителей мира. Цари вас будут на руках носить" и пр. Какое блистательное исполнение пророчества!" И далее непосредственно о банкире: „Какому государю не пришлось сказать Ротшильду: „Отец ты мой, благодетель! Помоги, ради Бога! Пришла крайняя нужда; охота смертная, да участь горькая: хочется воевать, да денег нет: сделай божескую милость, одолжи несколько миллионов!" Даже сам папа, если я не ошибаюсь, не раз прибегал к Ротшильду (смотри Второзаконие гл. 15.8. „Ты будешь давать взаймы многим народам, а сам ни у кого не будешь занимать; ты будешь господствовать над многими народами, а они не будут господствовать над тобою")... Велик Бог Моисеев! Да воскреснет Бог и расточатся врази его и да бегут от лица ненавидящие его!"

А вот Ф.М. Достоевского могущество еврейского банкира повергло в ужас. Под его пером образ „царя иудейского" Ротшильда демонизировался и преобразился в Антихриста. „Или властвовать по-тирански, или умереть за всех на кресте — вот что только и можно", — отметил писатель в черновой рукописи романа „Идиот". Хотя Достоевскому, как это видно из его дневников, были ведомы личные добродетели и широкая благотворительность некоторых из Ротшильдов, по-видимому, великому писателю не было до этого решительно никакого дела. „Разве покойный Джемс Ротшильд был дурной человек? — риторически вопрошал он. — Мы говорим о целом и об идее его, мы говорим о жидовстве и об идее жидовской, охватывающей весь мир, вместо „неудавшегося" христианства". А герой романа Достоевского „Подросток" Аркадий Долгорукий одержим неукротимой страстью: „Моя идея — это стать Ротшильдом, стать таким же богатым, как Ротшильд, не просто богатым, а именно как Ротшильд, — откровенничал он, — [чтобы] из множества жидовских вредных и грязных рук эти миллионы стеклись в руки трезвого и скромного схимника, зорко всматривающегося в мир".

Важно и то, что, согласно Достоевскому, реализация „Ротшильдовой идеи" никак не предполагала дарования соискателя, поскольку сама система капитала „совершенно бесталанна". Писатель сравнивал Ротшильда с Санчо Пансой — „ординарностью", „ничтожеством", коего гложет лишь одна „подленькая мысль о самообеспечении". Но незатейливый и приземленный герой М. де Сервантеса безобиден, поскольку мелок, а вот „бездарь" Ротшильд архиопасен, ибо возжелал стать „властелином и господином чужих судеб": ведь „деньги — это единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество". Власть такого субъекта — это „торжество бесталантливости и средины". И при этом Ротшильд — самая темная сила, олицетворение всего „малого народа". „Подумаешь, не они царят в Европе, не они управляют там биржами хотя бы только, а стало быть, политикой, внутренними делами, нравственностью государств".

Прогрессивные литераторы и публицисты говорили о недопустимости отождествления дискриминируемых в Российской империи иудеев и их жирующих соплеменников-богатеев. Писательница Э. Ожешко с едкой иронией излагает тенденциозную юдофобскую аргументацию: „Еврей и Крез — одно и то же. Ведь всякий знает, что среди евреев есть, прежде всего, Ротшильды и другие банкиры, обладающие бесконечным множеством миллионов, дворцами, зеркалами, статуями. Отсюда ясный, как день, вывод, что народ, среди которого живут Ротшильды и много других банкиров, очень богат, и обладает в изобилии миллионами, дворцами, зеркалами, статуями и т.д. Если же кто-нибудь

из них не обладает всеми этими благами, то только по той причине, что сам он не желает этого и может довольствоваться малым, но если бы только захотел, то, конечно, обладал бы ими". „Если бы юдофобы, изводящие „жида", — писал К.М. Станюкович, — пожили в каком-нибудь городке черте оседлости, они, может быть, поняли, как жестока, бессмысленна эта травля евреев, как народности и увидали бы, в какой ужасающей нищете живет большинство их, благодаря именно подневольной скученности. Они поняли бы, что все эти Ротшильды... и им подобные мастера гешефтов и миллионеры составляют ничтожную часть богачей среди миллионной голытьбы, которая несмотря как будто бы на прославленное свое кровопийство, все-таки остается голытьбой". А разве не в пику обвинителям иудеев дан образ протагониста в замечательном рассказе А.П. Чехова „Скрипка Ротшильда". Выбор его фамилии остро полемичен, ибо говорит и о примате духовных ценностей для еврея. Нищий местечковый музыкант ценит свою скрипку неизмеримо выше, чем все „Ротшильдовы миллионы".

Можно констатировать, что ко второй половине XIX века имя Ротшильда становится нарицательным в России. Поначалу слово это еще как-то соотносится с личностью банкира. Но постепенно происходит известное обобщение, о чем пишет Н.Г. Чернышевский: „Первоклассный богач в Европе один — какое-то лицо, называемое Ротшильдом, о котором почти никто не знает даже, который это Ротшильд, парижский или итальянский". Обобщение перерастает в тип, а затем — в ходячее слово, идиому. „Я уж теперь и сам не разберу, Несчастливцев я или Ротшильд", — заявляет известный персонаж драмы А.Н. Островского. „Будь у меня в кармане состояние всех Ротшильдов вместе, я бы, не думая ни секунды, немедленно все отдал бы с тем только, чтоб... получить свободу", — восклицает в сердцах запертый в возке герой Д.В. Григоровича („Сон Карелина"). „Ротшильдом не буду, да и не для чего, а дом на Литейной буду иметь, даже может и два", — хвалится Ганя Иволгин („Идиот" Ф.М. Достоевского). М.Е. Салтыков-Щедрин одного богатея называет „местный Ротшильд". Постепенно слово „Ротшильд" употребляется и как собирательное понятие. Писательница А.Я. Головачева-Панаева, обрушиваясь на революционеров и клеймя их „иудами-предателями", аттестовала их „либеральными Ротшильдами", которые „эксплуатируют бедным человечеством, как банкиры и фабриканты на своих биржах". А критик Г.Е. Благосветлов назвал „людей, скопивших в своих руках огромные капиталы нашей эпохи, — Ротшильдами всех стран и сословий".

А как ощущали себя сами Ротшильды? Вернемся к стихотворению П.А. Вяземского о „миллионщике бедном". На экземпляре своей книги

„В дороге и дома" (М, 1862). против строк „Знаю, вам, счастливцам, богачам-верблюдам / Сквозь ушко иголки мудрено пройти" поэт сделал запись: „Довольно странно и дико применить слова Евангелия к еврею". Тем самым русский поэт как будто дистанцируется от оценки этого еврейского миллионера по христианским меркам. Интересно, что эта реплика Вяземского перекликается с известным рассуждением на ту же тему... еврея Г. Гейне о Дж. Ротшильде, где как раз обсуждался этот, по его словам, „великий верблюжий вопрос": „Богачи... и после смерти не могут попасть на небо! „Скорее верблюд пройдет сквозь ушко иголки, чем богач внидет в царствие небесное"; эти слова божественного Учителя — страшная анафема, свидетельствующая о горькой ненависти, произнесшего их к бирже и haute finance Иерусалима".

При этом, по свидетельству Гейне, миллионы принесли Ротшильду душевные страдания: „Деньги для него — больше несчастье, чем счастье; будь у него жесткий характер, он не оставался бы до такой степени терпеливым; но при его добродушии и кротости, он должен много страдать от напора множества бедствий, которые он должен облегчать... Избыток богатства, может быть, переносить тяжелее, чем бедность". И он приводит любопытный диалог: „Как ваше здоровье?" — спросил однажды немецкий поэт г. барона. — „Я помешался", — отвечал барон, — „Прежде, чем вы не выбросите денег в окошко, я не поверю этому", — сказал поэт. Но барон со вздохом перебил его: „В том-то и состоит мое помешательство, что я никогда не выброшу денег за окно". Гейне резюмирует: „Нашим ученым обществам следовало бы обещать значительную премию за разрешение вопроса, как протащить верблюда сквозь ушко иголки".

Стоит ли говорить, что вопрос о нравственности богатства актуален и сегодня. И, конечно, проблема эта общечеловеческая, а не исключительно христианская, ибо и согласно иудаизму, главная цель в жизни заключается вовсе не в достижении богатства, а в том, как человек использует все, что имеет, для служения Богу. Задумываются ли над этим нынешние олигархи? Так или иначе, великий „верблюжий вопрос" по-прежнему злободневен. И как укор современным толстосумам звучат слова Вяземского, обращенные к „миллионщику бедному":

Да прости богатство Бог тебе! а люди
Скажут с умиленьем по твоим следам:
„Памятью сердечной ты помянут буди
И служи примером прочим богачам".

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Авенариус В. П. Бироновщина; Два регентства. М., 1994.

Азадовский М. К. История русской фольклористики. Т.II. М., 1963.

Аксаков И. С. Соч. Т. 1–7. М., 1886–1887.

Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М., 1995.

Алексеев А.И. Религиозные движения на Руси моследней трети XIV – начала XV в.: стригольники и жидовствующие. М., 2012.

Альтман М.С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. Спб., 1995.

Амфитеатров А.В. Забытый смех. Поморная Муза. Вып.1–2. Спб., 1914–1917.

Аникин А.В. Муза и мамона. М., 1989.

Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. М., 2002.

Анисимов Е. В. Россия без Петра: 1725–1740. Спб., 1994.

Артаксерксово действо. Первая пьеса русского театра / Вступ. Ст. и коммент. И.М. Кудрявцева. М.;Л., 1957.

Арье-Лейб. Братья Вейнберги // Лехаим, 2004, № 7 (147), июль.

Афанасьев А. Н. Народные русские сказки: В 3-х т. Т. 1–3. М., 1984–1985.

Балтийский архив, Т.4, 1999.

Бейзер М. Евреи в Петербурге. Иерусалим, 1990.

Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т.12. М., 1956.

Бенуа А.Н. Мои воспоминания. Кн. 1–3. М., 1990.

Берлин М.И. Очерк этнографии еврейского народонаселения в России. Спб., 1861.

Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера Фридриха-Вильгельма Берхгольца // Неистовый реформатор. М., 2000.

Берхин И. Два еврейских врача при Московском дворе // Восход. Т. III. 1888.

Бершадский С.А. Литовские евреи. Спб., 1883.

Беспятых Ю. Н. Иностранные источники по истории России первой четверти XVIII века: Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л. Эренмальм. Спб., 1998.

Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. Спб., 1997.

Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Спб., 1991.

Бобе М. Евреи в Латвии. Рига, 2006.

Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанная самим им для своих потомков. М., 2013.

Борисова Т.С. Иконы живописца Василия Познанского в церкви Распятия Большого Кремлевского дворца. М., 2011.

Булгарин Ф.В. Воспоминания. М., 2001.

Булгарин Ф.В. Дурные времена. Спб., 2007.

Бутурлин М.Д. Записки графа М.Д. Бутурлина. Т.1. М., 2006.

Буцинский П.Н. Отзывы о Павле I его современников. Харьков, 1901.

Вайскопф М. Покрывало Моисея. Еврейская тема в эпоху романтизма. М.; Иерусалим, 2008.

Валишевский К.Ф. Дочь Петра Великого (Елизавета Петровна). М., 2007.

Вальдман Б. Русско-еврейская журналистика (1860–1914): Литература и литературная критика. Рига, 2008.

Веллер М.И. Заговор сионских мудрецов // lib.ru/WELLER/r_r2.txt

Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. 1–6. Спб., 1889–1904.

Вернадский Г. В. Россия в Средние века. Тверь; М., 1997.

Верникова Б. „Еврейские мотивы" Генриха Гейне // Иерусалимский библиофил. Вып. III. Иерусалим, 2006.

Верховский Н.Ю. Книга о чтецах. М., 1950.

Вильбоа Ф. Рассказы о подлинной смерти царя Петра I и о всешутейшем и всепьянейшем Соборе, учрежденном этим государем при дворе // Вопросы истории, № 11, 1991.

Виноградов И.А. Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. М., 2001.

Вишняк М. В. Дань прошлому. Нью Йорк, 1954.

Вокруг евреев. (Еврейский вопрос в России: Мемуарные и художественные хроники в изложении сочувствующих и негодующих) / Сост. М. Б. Авербух. Изд 2-е. Филадельфия, 2011.

Волконский С. М. Воспоминания: В 2-х т. Т. 1–2. М., 2004.

Вяземский П.А. В дороге и дома. М., 1862.

Вяземский П.А. Избранные стихотворения. М., 1935.

Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. VII, X, XI Спб., 1882, 1887.

Гейне Г. Полн. собр. соч. Т.VII. М.; Л., 1936.

Георги И. И. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. Ч. 1–3. Спб., 1776–1777.

Георгиевский А.П. Юрий Крижанич и современная действительность. Казань, 1914.

Герцен А.И. Былое и думы. Ч.I–V. М., 2001.

Гессен В. Ю. К истории Санкт-петербургской еврейской религиозной общины от первых евреев до XX века. Спб., 2000.

Гессен Ю. И. Евреи в России: Очерки общественной, правовой и экономической жизни русских евреев. Спб., 1906.

Гессен Ю. И. Закон и жизнь. Спб., 1911.

Гессен Ю. И. История евреев в России. Спб., 1914.

Гессен Ю. И. История еврейского народа в России. М.; Иерусалим, 1993.

Гинзбург И.Я. Воспоминания, статьи, письма. Л., 1964.

Гиппиус З.Н. Живые лица. Л., 1991.

Гланц М. Потеряна и найдена в Америке. Картина Моисея Маймона „Марраны и инквизиция в Испании" // Параллели: Русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. 2007, Вып.8.

Глинка А. П. Жизнь пресвятой Девы Богородицы по книгам Четьям Минеям. Харбин, 1933.

Глинка Ф. Н. Письма к другу. М., 1990.

Гнедич П.П. Книга жизни. Воспоминания. 1855–1918. М., 2000.

Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т.13. Л., 1952.

Гозенпуд А.А. Дом Энгельгардта. М., 1992.

Голиков И. И. Анекдоты, касающиеся до государя императора Петра Великаго... М., 1798.

Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России. Т. 1. М., 1837.

Головина В. Н. Мемуары. М., 2005.

Головкин Ф.Г. Двор и царствовавние Павла I: портреты, воспоминания. М., 2003.

Голицын Н.Н. История русского законодательства о евреях. Спб., 1886.

Гордон Я.И. Гейне в России (1870–1917). Душанбе, 1979.

Градовский Н.Д. Отношения к евреям в древней и современной Руси. Ч.I. Спб., 1891.

Греч Н.И. Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии. Т.2. Спб., 1843.

Греч Н.И. Сочинения. Т.2. Спб., 1855.

Грибанов С. В. „Аз воздам": Государственные и обыкновенные соображения на исходе века запасного полковника. М., 1998.

Грузинский А. Е. П. В. Шейн // Журнал Министерства Народного просвещения. 1900, № 12.

Давыдов А.В. Воспоминания. 1881–1955. Париж, 1955.

Давыдов В.Н. Рассказы о прошлом. М., 1962.

Даймонт М. И. Евреи, Бог и История. Иерусалим, 1979.

Дейч А.И. Поэтический мир Генриха Гейне. М., 1963.

Де-Лириа-и-Херика Х.Б.Ф.Ф.Д.С. Записки о пребывании при Императорском Российском дворе в звании посла короля испанского // Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989.

Дело о сожжении отставного морского флота капитан-поручика Александра Возницына за отпадение в еврейскую веру и Бороха Лейбова за совращение его (1738 г.) / С предисл. и примеч. И. Ю. Маркона. Спб., 1910.

Диаспора: Новые материалы. Вып. 1. Париж; Спб., 2001.

Дикий А. Евреи в России и в СССР: Исторический очерк. Новосибирск, 1994.

Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрание двух царей Петра и Иоанна // Рождение империи. М., 1999.

Добролюбов Н.И. Избранное. М., 1961.

Долгоруков П. В. Время Петра II и императрица Анна Иоанновна. М., 1909.

Долгоруков П.В. Российская родословная книга. Т. 1–4. Спб., 1854–1857.

Донесения французского полномочного министра при русском Дворе Кампердона и агента Маньяка за 1725 и 1727 гг. // Сб. Имп. Рус. Ист. Общ-ва., 1888., Т.64.

Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Т. 3, 9, 25. Л., 1972, 1974, 1983.

Дружинин А.В. Собр. соч. Т.6. Спб., 1865.

Дудаков С. Ю. История одного мифа: Очерки русской литературы XIX–XX веков. М., 1993.

Дудаков С. Ю. Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России: Очерки. М., 2000.

Дудаков С.Ю. Петр Шафиров и другие. М., 2011.

Дудаков С. Ю. Шафиров. Иерусалим, 1989.

Дудаков С.Ю. Этюды о любви и ненависти. М., 2003.

Евгений (Болховитинов Е. А.). Переписка митрополита киевского Евгения с государственным канцлером графом Николаем Петровичем Румянцевым и с некоторыми другими современниками (с 1813 по 1825 год включительно). Вып. 1–3. Воронеж, 1868–1870.

Евгений (Болховитинов Е. А.). Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России. Т. 1–2. М., 1845.

Евреи в России: XIX век. М., 2000.

Евреи в Российской империи XVIII–XIX веков. Сборник трудов еврейских историков. М.; Иерусалим, 1995.

Евреи и жиды в русской классике / Сост. Г. С. Зеленина. М., 2005.

Еврейская Энциклопедия: Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. Т. I–XVI. Спб., 1906–1913.

Екатерина II. Записки императрицы Екатерины II. М., 1989.

Ефимов А. В. Из истории русских географических открытий. М., 1991.

Живов В.М. Культурные реформы в системе преобразований Петра I // Из истории русской культуры. Т.III. М., 1996.

Загоскин Н. П. Очерки организации и происхождения служилого сословия допетровской Руси. Казань, 1875.

Зайончковский П.А. Военные реформы 1860–1870 годов. М., 1952.

Зайончковский П.А. Высшее военное управление. Император и царствующий дом. М., 1998.

Зарубина Н.Н. Бизнес в зеркале русской культуры. М., 2004.

Зверев В. П. Федор Глинка — русский духовный писатель. М., 2002.

Зернов Н. М. Три русских пророка. А. С. Хомяков. Ф. М. Достоевский. В. С. Соловьев. М., 2010.

Зилоти А.И. Воспоминания и письма. Л., 1963.

Знаменитые россияне XVIII–XIX веков: Биографии и портреты. Спб., 1996.

Из истории белградского „Нового времени". Письма М. А. Суворину // НЛО, № 15, 1995.

Из литературного наследия: Горький и еврейский вопрос. Иерусалим, 1986.

Иосиф Волоцкий. Просветитель, или Обличение ереси жидовствующих. Казань, 1903.

История еврейского народа в России. От разделов Польши до падения Российской империи / Под ред. И.Лурье. Т.2. М.; Иерусалим, 2012.

История еврейства московского // www.russisk.org/article.

Казовский Г.И. Еврейские художники России на рубеже веков: Способы национального самовыражения // Зеркало, 1994, № 14.

Казовский Г.И. Еврейские художники на рубеже веков: Статья М.Л. Маймона „Кто виноват?" // Вестник Еврейского университета в Москве, 1993, № 2.

Казовский Г.И. Еврейское искусство в России. 1900–1948. Этапы истории // Советское искусствоведение, 1991, №27.

Каменев А.И. Офицерский вопрос в России: история и современность // Трагедия русского офицерства (уроки истории и современность). М., 1999.

Каменский А. Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века: Опыт целостного анализа. М., 1999.

Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: Традиция и модернизация. М., 1999.

Кантемир А. Д. Реляции кн. А.Д. Кантемира из Лондона (1732–1733). М., 1892.

Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. I–III. Спб., 2000.

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984.

Карский Е. Ф. П. В. Шейн (Некролог) // Русский филологический вестник. 1900, № 3–4.

Клейн Б. Потемкинские евреи // http://www.sem40ru/ ourpeople/ history/16859/

Клиер Дж. Россия собирает своих евреев. Происхождение еврейского вопроса в России: 1772–1825. М.: Иерусалим, 2000.

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2005.

Коган Л. Еврейская русскоязычная литература. Историко-литературная и научно-популярная монография. Иерусалим, 2000.

Когут А. Знаменитые евреи: мужчины и женщины в истории культуры человечества. Т.1–2. Одесса, 1902.

Кожинов В.В. История России и русского слова: Опыт беспристрастного исследования. М., 1999.

Коллинс С. Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне // Утверждение династии. М., 1997.

Коняев Н.М. Петр Первый и его птенцы (Из рассказов о русской литературе) // www.zavtra.ru/cgi/veil/data/denlit/ 055/61.html

Корб И. Г. Дневник путешествия в Московское государство // Рождение империи. М., 1997.

Корнилович А. О. Нравы русских при Петре Великом. Спб., 1901.

Костомаров Н. И. Великорусская народная песенная поэзия. По вновь изданным материалам // Вестник Европы. 1872, кн. VI.

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях важнейших деятелей. М., 2004.

Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. Спб., 1906.

Красов В. И. Сочинения. Архангельск, 1982.

Красов В. И. Стихотворения В.И. Красова / Изд. П.В. Шейна. М., 1859.

Краткая Еврейская Энциклопедия. Т. 1–11. Иерусалим, 1976–2005.

Краткая литературная энциклопедия: в 9-ти т. Т. 1–9. М., 1962–1978.

Крафт Г. В. Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санктпетербурге в генваре месяце 1740 года Ледяного дома и всех находившехся в нем домовых вещей и уборов с приложенными при том гридированными фигурами... Спб., 1741.

Крижанич Ю. Русское государство в половине XVII века: Рукопись времен царя Алексея Михайловича. М., 1859.

Крымов В. П. Портреты необычных людей. Париж, 1971.

Кузнецов Е.М. Из прошлого русской эстрады. М., 1958.

Кунин И. Евреи в Москве во второй половине XVII века / Еврейская старина, 1913, № 6.

Ла Шетарди Ж.И.Т. де. Маркиз де ла Шетарди в России 1740–1742 годов. Рязань, 2010.

Лажечников И. И. Соч. Т. 1–2 М., 1963.

Лахтин М. Ю. Медицина и врачи в Московском государстве (в допетровской Руси). М., 1906.

Леванда Л.О. Сборник законов о евреях России. Спб., 1874.

Левин Ю.Д. Русские переводчики XIX века. Л., 1985.

Левитина В.Б. Русский театр и евреи. Т. 1–2. Иерусалим, 1988.

Лейзерович А. Горе разуму — „Уриэль Акоста" Карла Гуцкова // Семь искусств, 2011, № 5 (18).

Лейкин Н.А. Французские слова / Медные лбы: Картинки с натуры. Спб., 1880.

Лесков Н.С. Еврей в России: несколько замечаний по еврейскому вопросу. New York, 1969.

Линь Ш. Ж. де. Портрет Екатерины II // Екатерина II в воспоминаниях современников, оценках историков. М., 1988.

Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Т. 1–3. Л., 1987.

Львов-Рогачевский В.Л. Русско-еврейская литература. Тель-Авив, 1972.

Лютостанский И.И. Талмуд и евреи. Кн.5. Спб., 1903.

Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.

Мазон А.А. „Артаксерксово действо" и репертуар театра пастора Грегори / Труды Отдела древнерусской литературы, Т.14, 1958.

Маймон М.Л. История одной картины // Еврейская летопись, 1923, №1.

Марек П.С. Очерки по истории просвещения евреев в России (два воспитания). М., 1909.

Маркиш Д. Еврей Петра Великого, или Хроника из жизни прохожих людей, 1689–1738. Спб., 2001.

Маркиш Ш. Русско-еврейская литература: предмет, подходы, оценки // НЛО, 1995, №15.

Маурин Е.И. Людовик и Елизавета. М., 2010.

Медовар Л.Е. Гейне из Тамбова // Лехаим, 2004, 11 (151), ноябрь.

Мейерберг А. Путешествие в Московии // Утверждение династии. М., 1997.

Мережковский Д. С. Петр и Алексей // Мережковский Д. С. Соч. Т. 2. М., 1990.

Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. М., 2006.

Миллер В. Ф. Памяти П.В. Шейна // Этнографическое обозрение. 1900, кн. XLVI.

Минкина О.Ю. „Сыны Рахили": Еврейские депутаты в Российской империи 1772–1825. М., 2014.

Миранда Ф. де. Путешествие по Российской империи. М., 2001.

Михневич В.О. Наши знакомые. Фельетонный словарь. Спб., 1884.

Молчанов Н. Н. Петр I. М., 2003.

Мондри Г. Писатели-народники и евреи: Г.И. Успенский и В.Г. Короленко (по следам „Двести лет вместе"). Спб., 2005.

Мордовцев Д. Л. За чьи грехи? Великий Раскол. М., 1990.

Москва еврейская. М., 2003.

Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина. Спб., 1998.

Нагибин Ю. М. Шуты императрицы // Нагибин Ю. М. Любовь вождей. М., 1994.

Назанский В. И. Крушение Великой России и Дома Романовых. Париж, 1930.

Нарежный В.Т. Собрание сочинений в двух томах. Т. 1–2. М., 2012.

Натанс Б. За чертой. Евреи встречаются в позднеимперской России. М., 2005.

Неведомский М. Зачинатели и продолжатели: Поминки, характеристики, очерки по русской литературе от Белинского до наших дней. Пг., 1919.

Никитин В.Н. Воспоминания // Русская старина, 1906, №7–11, 1907, №1–2.

Новиков Н. В. Павел Васильевич Шейн: Книга о собирателе русского и белорусского фольклора. Минск, 1972.

Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л., 1973.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 2003.

Оршанский И.Г. Русское законодательство о евреях. Спб., 1877.

Остерцов В.М. Из истории „еврейского вопроса" и его отношения к „вопросу русскому" // Русская народная линия, 30.03.14. (интернет-издание).

Островская Г.В. Петр Исаевич Вейнберг — поэт и переводчик. Спб., 2013.

Павел Иванович Мочалов: Заметки о театре. М., 1953.

Павленко Н.И. Екатерина I. М., 2004.

Павлов Н. Ф. Избранное: повести, стихотворения, статьи. М., 1988.

Пайпс Р. Россия при старом режиме. Кембридж, 1980.

Песковский М.Л. Роковое недоразумение: Еврейский вопрос, его мировая история и естественный путь развития. Спб., 1891.

Петр Великий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. Спб., 1993.

Петровский-Штерн Й. Евреи в русской армии. 1817–1914. М., 2003.

Пештич С. Л. Русская историография XVIII века. Т. 1–3. Л., 1961–1971.

Писемский А. Ф. Письма. М.; Л., 1936.

Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980.

Плещеев А.Н. Под сению кулис. Париж, 1936.

Плещеев А.Н. Что вспомнилось (За 50 лет). Париж, 1931.

Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993.

Позье И. Записки придворного брилльянтщика Позье, 1729–1764 // Русская старина, 1870.

Полонская И. М. и др. Библиотека А. А. Матвева: Каталог. М., 1985.

Поляков Л. История антисемитизма. Эпоха веры. М.; Иерусалим, 1997.

Права, по которым судится народ малороссийский. Глухов, 1743.

Поэты „Искры". Т.2. Л., 1955.

Прохоров Г. М. Памятники переводной русской литературы XIV–XV веков. Л., 1987.

Пушкарева Н. Л. Женщины Древней Руси. М., 1993.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 1–10. Л., 1977–1979.

Пыляев М. И. Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы. М., 1990.

Пыляев М. И. Старый Петербург: Рассказы из былой жизни столицы. Спб., 2004.

Пыпин А. Н. История русской этнографии. Т. II, IV. Спб., 1891, 1892.

Пятковский А. П. Государство в государстве: к истории еврейского вопроса в России и Западной Европе. Спб., 1901.

Рабинович Я.И. Еврейство между Сталиным и Гитлером. М., 2009.

Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919–1939 гг. М., 1994.

Райкова Н. И. Петр I: Предания. Легенды. Сказки. Анекдоты. М., 1993.

Раковский Л. И. Изумленный капитан. Исторический роман. Л., 1938.

Ратнер Л. На русской службе государевой // www.hesed.ru/gazeta/ archiv/2002/7/5/5.htm

Ратников К. В. Степан Петрович Шевырев и русские литераторы XIX века. Челябинск, 2003.

Ребель А.И. Евреи в России: самые богатые и влиятельные. М., 2011.

Регесты и надписи: Свод материалов для истории евреев в России 80–1800 гг. Т. I–III. Спб., 1899–1913.

Резник С. Е. Вместе или врозь: Заметки на полях книги А. И. Солженицына. М., 2003.

Рейтблат А. И. Никитин // Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 4: М-П. М., 1999

Родной голос: Страницы русско-еврейской литературы конца XIX – начала XX века: Книга для чтения / Сост. П. Ш. Маркиша. Киев, 2001.

Розанов В. В. В нашей смуте. М., 2004.

Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. Спб., 1884.

Российская еврейская энциклопедия: Биографии. Т. 1–3. М., 1994–1997.

Ростопчина Е. П. Стихотворения, проза, письма. М., 1986.

Русская летопись по Никоновскому списку. Ч. IV. Спб., 1790.

Рубинов А.З. Такова еврейская жизнь. М., 2007.

Русский биографический словарь. Т. I–XV. Спб., 1896–1918.

Савва В. В. Московские цари и византийские василевсы: К вопросу о влиянии Византии на образование идеи царской власти московских государей. Харьков, 1901.

Сафран Г. „Переписать еврея...": Тема еврейской ассимиляции в литературе Российской империи (1870–1880). Спб., 2004.

Сборник кавалергардов. 1724–1762. Т.1. М., 2007.

Светов Ф.Г. Отверзи ми двери. Париж, 1978.

Себаг-Монтефиоре С. Потемкин. М., 2003.

Семевский М.И. Русская родословная книга. Т.1–2. Спб., 1873–1876.

Серов Д. О. Строители империи: Очерки государственной и криминальной деятельности сподвижников Петра I. Новосибирск, 1996.

Синдаловский Н. Санкт-Петербург. Действующие лица: Биографический словарь. Спб., 2002.

Слободчикова Р. И. Романовы. Нарышкины и их потомки. Филадельфия, 2006.

Словарь Академии Российской: В 6-ти т. Т. 1–6. Спб. 1789–1794.

Словарь русских иконописцев XI–XVII веков // rusico.indrik.ru

Словарь русского языка XVIII века. Т. 1–17. Спб., 1987–2005.

Словарь языка А. С. Пушкина. Т. 1–4. М., 1956–1961.

Смирнова-Россет А.О. Автобиография. (Неизданные материалы). М., 1931.

Слиозберг Г. Б. Дела минувших дней: Записки русского еврея. Т. 1–3. Париж, 1933–1934.

Соколов А. И. Меншиков. М., 1965.

Солженицын А. И. Двести лет вместе. Т. 1 (1795–1916). М., 2001.

Соколов Б. М. Собиратели русских народных песен: П. В. Киреевский. П. И. Якушкин. П. В. Шейн. М., 1923.

Соловьев В. С. Еврейство и христианский вопрос // Тайна Израиля: „Еврейский вопрос" в русской религиозной мысли конца XIX — первой половины XX вв. София, 1993.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. I–XVIII. М., 1988–1995.

Соломонов А. Мысли израильтянина. Вильно, 1846.

Сомов О.М. Сказки о кладах. Б.м., 2013.

Старикова Л. М. Театральная жизнь в России в эпоху Анны Иоанновны. М., 1995.

Старикова Л. М. Штрихи к портрету Анны Иоанновны // Развлекательная культура России XVIII–XIX вв. Спб., 2000.

Стасов В.В. Собр. соч. Т.III. Спб., 1894.

Страленберг Ф. И. Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого: Северная и Восточная часть Европы и Азии. Т. 1–2. М., 1985–1986.

Строев В. Н. Бироновщина и Кабинет министров: Очерк внутренней политики императрицы Анны. Историческое исследование. Т. 1–2. Спб., 1909–1910.

Сумароков А. П. Первый и главный стрелецкий бунт, бывший в Москве в 1682 году в месяце Майи. Спб., 1768.

Табак Ю. С. Сумерки шовинизма. Сборник статей. М., 2002.

Татищев В. Н. Избр. произв. Л., 1979.

Тернистый путь Моисея Маймона / Публикация Г.И. Казовского // Лехаим, 2005, № 158, Июнь.

Тихомиров Л.А. Евреи в России. Из журнала „Русское обозрение" / rusk.com.ru/lib/rus/tikhom

Тихомиров Л. А. Тени прошлого. М., 2000.

Толстой А. Н. Петр Первый: Роман. М., 1981.

Тредиаковский В. К. Избр. произв. Л., 1963.

Троицкий В.И. Плащаница XVII в., работы В. Познанского. М., 1909.

Тростников В. Н. Православная цивилизация: Исторические корни и отличительные черты. М., 2004.

Уварова Е.Д. Как развлекались в обеих столицах. Спб., 2004.

Улицкий Е.Н., Фельдман Д.З. Евреи в Москве, конец – XV – начало XX в. М., 2012.

Усов П.С. Властелины капиталов // Исторический вестник. 1887, Т.29.

Усыскин Л.Б. Еще раз о жидовствующих // polit.ru/article/2007/12/ 21/zhidovstvo/

Фельдман Д. З. Страницы истории евреев России XVIII–XIX веков: Опыт архивного исследования. М., 2005.

Флисфидер Д.И. Евреи и их учение об иноверцах. Спб., 1874.

Фортунатов В.В. Российская история в лицах. Спб., 2009.

Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988.

Цареубийство 11 марта 1801 года: записки участников и современников (Саблукова, графа Бенигсена, графа Ланжерона, княгини Ливен, князя Чарторыйского, барона Гейкинга, Коцебу). Спб., 1907.

Цинберг С. Шклов и его „просветители" в конце XVIII века // Еврейская старина. Т.XII. Л., 1928.

Черняк А. Я. Российский генерал-еврей во Франции // Русское еврейство в Зарубежье. Т. 4 (9). Иерусалим, 2002.

Швабахер С.Л. Речь, произнесенная в Главной синагоге в Одессе в день восшествия на престол... государя императора Александра Николаевича одесским раввином доктором Швабахером 19 февраля 1868 года. Одесса, 1868.

Шевляков М.В. Русские остряки и остроты их. Спб., 1898.

Шевляков М.В. Современники: Анекдотические черты из жизни общественных деятелей настоящего. Спб., 1900.

Штейнберг М. Евреи в войнах тысячелетий. Очерк военной истории еврейского народа. М.; Иерусалим, 2005.

Шубинский С. Н. Исторические очерки и рассказы. М., 1995.

Шугуров М.Ф. История евреев России // Русский архив, 1894, Кн. I, Вып.1–4; Кн. III, Вып. 9.

Щербальский П.К. Дело о курляндском герцоге Эрнесте-Иоанне Бироне. М., 1862.

Щербатов М.М. О повреждении нравов в России. М., 1984.

Энгель В.В. Курс лекций по истории евреев в России // http://history-nfurman.com/russ001.htm

Энгельгардт Л.Н. Записки Льва Николаевича Энгельгардта. 1766–1836. М., 1867.

Энгельгардт Н.Л. Екатерининский колосс // Исторический вестник, 1908, Апрель.

Юль Юст. Записки датского посланника при Петре Великом // Лавры Полтавы. М., 2001.

Якобсон Р. Звуковые особенности, связывающие идиш с его славянским окружением // Идише шпрах, № 13, 1953.

Ямпольский И.Г. Сатирическая журналистика 1860-х годов. Журнал революционной сатиры „Искра" (1859–1873). М., 1964.

Янов А. Н. Патриотизм и национализм в России 1825–1921. М., 2002.

Янов А. Н. Россия, у истоков трагедии: 1462–1584: Заметки о природе и происхождении русской государственности. М., 2001.

Ярон С.Г. Воспоминания о театре (1867–1897). Киев, 1897.

Ясинский И. И. Роман моей жизни. М.; Л., 1926.

Ястребов А.Л. Деньги и богатство. Поэзия и проза денег. М., 1999.

Bar-Yosef H. The Heine Cult in Hebrew Literature of the 1890s and Russian Context // The Jewish Reception of Heinrich Heine. Tubingen, 1992.

Bonfill R. Jewish life in Renaissance Italy. Berkeley, 1994.

Brennan J.F. Enlightened despotism in Russia: the reign of Elisabeth, 1741–1762. New York, 1987.

Curtiss M. C. A Forgotten Empress. Anna Ivanovna and Her Era. 1730–1740. New York, 1974.

Fishman D. Russia's First Modern Jews. The Jews of Shklov. New York; London, 1995.

Hertz D. Jewish High Society in Old Regime Berlin. New Haven; London, 1988.

Hetenyi Z. In Maelstrom. The History of Russian Jewish Prose (1860–1940). Budapest; New York, 2008.

Hughes L. Peter the Great: A Biography. New Haven; London, 2002.

Hurwitz S.Y. Sefer hayai (zikhronot) // Ha-Shiloah, 1923.

Israel J. European Jewry in the Age of Mercantelism, 1550–1750. London; Portland, 1998.

Jewish Apostasy in the Modern Word. New York; London, 1987.

Klier J. I. S. Aksakov and the Jewish Question, 1862–1886 // Евреи в России. История и культура. Сборник научных трудов. Спб., 1998.

Laver J. The concise history of costume and fashion. London; Toronto, 1969.

Litvak O. Conscription and the Search for Modern Russian Jewry. Bloomington, 2006.

Litvak O. The Jewish Persona in the European Imagination. The Case of Russian Literature. Standford, 2010.

Longworth Ph. The three empresses: Catherine I, Anne, and Elisabeth of Russia. New York, 1973.

Printer W. M. Russian economic policy under Nicholas I. Ithaca; New York, 1967.

Rosman M. J. Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth during the 18-th Century. Cambridge, 1990.

Stanislawski M. Tsar Nicholas I and the Jews: the transformations of the Jewish society in Russia, 1825–1855. Philadelphia, 1983.

Stanislawski M. The Tsarist Mishneh Torah: A Study of the Cultural Politics of the Russian Haskalah // American Academy of Jewish Research. Proceedings. Vol.1. Jerusalem, 1983.

Stong Ph. Marta of Muscovy: the fabulous life of Russia's first empress. New York, 1945.

Stern S. The Court Jew. A Contribution to the History of Absolutism in Europe. New Brunswick; Oxford, 1985.

Weber F. Ch. The Present State of Russia. London, 1968.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Табак. Евреи в России: чужая родня. *Предисловие* 7
Yuri Tabak. Jews in Russia: Alien Kin. Foreword. 11

I. ЕВРЕИ ПОД МОНАРШЕЙ ПОРФИРОЙ

Гонитель поневоле. Иван III 17
Тишайший прозелит. Алексей Михайлович 38
Импульсивный прагматик. Петр I 57
Карманная императрица. Екатерина I 68
Анна Иоанновна и евреи
I. Бироновщина или Липмановщина? 82
II. „Казнить смертью и сжечь!" 98
Два лика императрицы. Елизавета Петровна 118
От равноправия — к черте оседлости. Екатерина Великая 135
Благожелательный император. Павел I 152
Дресс-код и самовластье 170

II. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Мудрец из Шклова. Иегошуа Цейтлин 193
Два мира в одном Шапиро. Константин Шапиро 202
Из иудеев — в славянофилы. Павел Шейн 215
Братья-антиподы
I. Рыцарь духа. Пётр Вейнберг 256
II. Присяжный смехотворец. Павел Вейнберг 296
Из кантонистов — в писатели. Виктор Никитин 316
История одной картины. Моисей Маймон 344
„По долгу совести и принятой присяги..." Михаил Грулёв 358
О чем молчал автограф... Владимир Бурцев 388

III

„Миллионщик бедный". Ротшильд в зеркале русской культуры 397

Основная литература 414

Бердников Лев Иосифович

Евреи в царской России :
сыны или пасынки?

Главный редактор издательства *И.А. Савкин*
Дизайн обложки *И.Н. Граве*
Оригинал-макет *Б.Н. Марковский*
Корректор *И.Е. Иванцова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47

Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,
тел. (812) 577-48-72, aletheia92@mail.ru

Отдел продаж: fempro@yandex.ru, тел. (921) 951-98-99

www.aletheia.spb.ru

Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
Магазин «Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16
в Киеве:
«Книжный бум», книжный рынок «Петровка», ряд 62, место 8.
Тел. +38 067 273-50-10, gron1111@mail.ru
в Минске:
«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by
в Варшаве:
«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,
ul. Ptasia 4. Tel. (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x88 1/16. Усл. печ. л. 26,40. Печать офсетная.
Заказ №